

ОТТЕПЕЛЬ 1960-1962

ОТТЕ-
ПЕЛЬ
1960-
1962

*Страницы
русской
советской
литературы*

ОТТЕПЕЛЬ

1960-1962

*Страницы русской
советской литературы*



Московский рабочий
1990

ББК 84Р7

О-87

Составитель и автор
«Хроники важнейших событий»
С. И. ЧУПРИНИН

Художник
В. ХАРЛАМОВ

О-87 **Оттепель: 1960—1962: Страницы русской советской литературы / Сост., автор «Хроники важнейших событий» С. И. Чупринин.**— М.: Моск. рабочий,— 1990.— 528 с.

В третий выпуск «Оттепели» вошли роман В. Аксенова «Звездный билет», повести Г. Владимова «Большая руда», Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр!», рассказ Г. Шелеста «Самородок» и другие произведения, оставившие заметный след в истории советской литературы и общественной жизни.

Контекст эпохи воссоздан в «Хронике важнейших событий», сопровождающей это издание.

О $\frac{4702010206-258}{M172(03)-90}$ 135—90

ББК 84Р7

ISBN 5—239—00750—0

© Составление и «Хроника важнейших событий» С. И. Чупринина,
1990

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

ИЗ ПОЭМЫ

«ЗА ДАЛЬЮ — ДАЛЬ»

ТАК ЭТО БЫЛО

...Когда кремлевскими стенами
Живой от жизни огражден,
Как грозный дух он был над нами,—
Иных не знали мы имен.

Гадали, как еще восславить
Его в столице и селе.
Тут ни убавить,
Ни прибавить,—
Так это было на земле...

Мой друг пастушеского детства
И трудных юношеских дней,
Нам никуда с тобой не деться
От зрелой памяти своей.

Да нам оно и не пристало —
Надеждой тешиться: авось
Уйдет, умрет — как не бывало
Того, что жизнь прошло насквозь.

Нет, мы с тобой другой породы,—
Минувший день не стал чужим.
Мы знаем те и эти годы
И равно им принадлежим...

Так это было: четверть века
Призывом к бою и труду
Звучало имя человека
Со словом Родина в ряду.

Оно не знало меньшей меры,
Уже вступая в те права,

Что у людей глубокой веры
Имеет имя божества.

И было попросту привычно,
Что он сквозь трубочный дымок
Все в мире видел самолично
И всем заведовал, как бог;

Что простирались эти руки
До всех на свете главных дел —
Всех производств,
Любой науки,
Морских глубин и звездных тел;

И всех свершений счет несметный
Был предуказан — что к чему;
И даже славою посмертной
Герой обязан был ему...

И те, что рядом шли вначале,
Подполье знали и тюрьму,
И брали власть и воевали, —
Сходили в тень по одному;
Кто в тень, кто в сон — тот список
длинен, —

В разряд досрочных стариков.
Уже не баловал Калинин
Кремлевским чаем ходоков...

А те и вовсе под запретом,
А тех и нет уже давно.
И где каким висеть портретам —
Впредь на века заведено...

Так на земле он жил и правил,
Держа бразды крутой рукой.
И кто при нем его не славил,
Не возносил —
Найдись такой!

Не зря, должно быть, сын востока,
Он до конца являл черты

Своей крутой, своей жестокой
Неправоты.
И правоты.

Но кто из нас годится в судьи —
Решать, кто прав, кто виноват?

О людях речь идет, а люди
Богов не сами ли творят?

Не мы ль, певцы почетной темы,
Мир извещавшие спроста,
Что и о нем самом поэмы
Нам лично он вложил в уста?

Не те ли все, что в чинном зале,
И рта открыть ему не дав,
Уже, вставая, восклицали:
«Ура! Он снова будет прав...»?

Что ж, если опыт вышел боком,
Кому пенять, что он таков?
Великий Ленин не был богом
И не учил творить богов.

Кому пенять! Страна, держава
В суровых буднях трудовых
Ту славу имени держала
На вышках строек мировых.

И русских воинов отвага
Ее от волжских берегов
Несла до черных стен рейхстага
На жарком темени стволов...

Мой сверстник, друг и однокашник,
Что был мальчонкой в Октябре,
Товарищ юности не зряшной,
С кем рядом шли в одной поре,—

Не мы ль, сыны, на подвиг дерзкий,
На жертвы призванной земли
То имя-знамя в нашем сердце
По пятилеткам пронесли?

И знали мы в трудах похода,
Что были знамени верны
Не мы одни,
Но цвет народа,
Но честь и разум всей страны.

Мы звали — станем ли лукавить? —
Его отцом в стране-семье.
Тут ни убавить,
Ни прибавить,—
Так это было на земле.

То был отец, чье только слово,
Чьей только брови малый знак —
Закон.
Исполни долг суровый —
И что не так,
Скажи что так...

О том не пели наши оды,
Что в час лихой, закон презрев,
Он мог на целые народы
Обрушить свой верховный гнев...

А что подчас такие бури
Судьбе одной могли послать,
Во всей доподлинной натуре —
Тебе об этом лучше знать.

Но в испытаньях нашей доли
Была, однако, дорога
Та непреклонность отчей воли,
С какою мы на ратном поле
В час горький встретили врага...

И под Москвой, и на Урале —
В труде, лишениях и борьбе —
Мы этой воле доверяли
Никак не меньше, чем себе.

Мы с нею шли, чтоб мир избавить,
Чтоб жизнь от смерти отстоять.
Тут ни убавить,

Ни прибавить,—
Ты помнишь все, Отчизна-мать.

Ему, кто всем, казалось, ведал,
Наметив курс грядущим дням,
Мы все обязаны победой,
Как ею он обязан нам...

На торжестве о том ли толки,
Во что нам стала та страда,
Когда мы сами вплоть до Волги
Сдавали чохом города.

О том ли речь, страна родная,
Каких и скольких сыновей
Не досчиталась ты, рыдая
Под гром победных батарей...

Салют!
И снова пятилетка.
И все тесней лучам в венце.
Уже и сам себя нередко
Он в третьем называл лице.

Уже и в келье той кремлевской,
И в новом блеске древних зал
Он сам от плоти стариковской
Себя отдельно созерцал.

Уже в веках свое величье,
Что весь наш хор сулил ему,
Меж прочих дел, хотелось лично
При жизни видеть самому.

Спешил.
И все, казалось, мало.
Уже сомкнулся с Волгой Дон.
Канала
Только не хватало,
Чтоб с Марса был бы виден он!..

И за наметкой той вселенской
Уже как хочешь поспевай —

Не в дальних далях,— наш смоленский,
Забытый им и богом,
Женский,
Послевоенный вдовый край.

Где занесло следы поземкой
И в селах душам куций счет,
А мать-кормилица с котомкой
В Москву за песнями бредет...

И я за дальней звонкой далью,
Наедине с самим собой,
Я всюду видел тетку Дарью
На нашей родине с тобой;

С ее терпеньем безнадежным,
С ее избою без сеней,
И трудодем пустопорожним,
И трудоночью — не полней;

С ее дурным озимым клином
На этих сотках под окном;
И на печи ее овином,
И среди избы гумном;

И ступой — мельницей домашней —
Никак, из древности седой;
Со всей бедой —
Войной вчерашней
И тяжелой нынешней бедой,

Но и у самого предела
Тоски, не высказанной вслух,
Сама с собой — и то не смела
Душа ступить за некий круг.

То был рубеж запретной зоны,
Куда для смертных вход закрыт,
Где стража зоркости бессонной
У проходных вросла в гранит...

И, видя жизни этой вечер,
Помыслить даже кто бы смог,

Что и в Кремле никто не вечен
И что всему выходит срок...

Но не ударила царь-пушка,
Не взвыл царь-колокол в ночи,
Как в час урочный та *Старушка*
Подобрала свои ключи —

Ко всем дверям, замкам, запорам,
Не зацепив лихих звонков,
И по кремлевским коридорам
Прошла к нему без пропусков.

Вступила в комнату без стука,
Едва заметный знак дала —
И удалилась прочь наука,
Старушке этой сдав дела...

Сломилась ночь, в окне синея
Из-под задернутых гардин.
И он один остался с нею,
Один —
Со смертью — на один...

Вот так, а может, как иначе —
Для нас, для мира не простой,
Тот день настал,
Черту означил,
И мы давно за той чертой...

Как говорят, отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть борода ползи на грудь.

Еще в виду отцовский разум,
И власть, и опыт многих лет...
Но вот уйдет отец — и разом
Твоей той молодости нет...

Так мы не в присказке, на деле,
Когда судьба потрянула нас,
Мы все как будто постарели —
Нет, повзрослели — в этот час.

Безмолвным строем в день утраты
Вступали мы в Колонный зал,
Тот самый зал, где он когда-то
У гроба Ленина стоял.

Стоял поникший и спокойный,
С рукою правой на груди.
А эти годы, стройки, войны —
Все это было впереди;

Все эти даты, вехи, сроки,
Что нашу метили судьбу,
И этот день, такой далекий,
Как видеть нам его в гробу.

В минуты памятные эти —
На тризне грозного отца —
Мы стали полностью в ответе
За все на свете —
До конца.

И не сробели на дороге,
Минуя трудный поворот,
Что ж, сами люди, а не боги
Смотреть обязаны вперед.

Там — хороши они иль плохи —
Покажет дело впереди,
А ей, на всем ходу, эпохе,
Уже не скажешь: «Погоди!»

Не вступишь с нею в словопренья,
Когда гремит путем своим...
Не останавливалось время,
Лишь становилось иным.

Земля живая зеленела,
Все в рост гнала, чему расти.
Творил свое большое дело
Народ на избранном пути.

Страну от края и до края,
Судьбу свою, судьбу детей
Не божеству уже вверяя,

А только собственной своей
Хозяйской мудрости.

Должно быть,
В дела по-новому вступил
Его, народа, зрелый опыт
И вместе юношеский пыл.

Они как будто из-под спуда
Возникли — новый брать редут...
И что же — чудо иль не чудо,—
Дела идут не так уж худо —
И друг и недруг признают.

А если кто какой деталью
Смущен, так правде не во вред
Давайте спросим тетку Дарью —
Всего ценней ее ответ...

Но молвить к слову: на Днестре ли,
На Ангаре ль — в любых местах —
Я отмечал: народ добрее,
С самим собою мягче стал...

Я рад бывал, как доброй вести,
Как знаку жданных перемен,
И шутке нынешней и песне,
Что дням минувшим не в пример.

Ах, песня в поле, — в самом деле
Ее не слышал я давно,
Уже казалось мне, что пели
Ее лишь где-нибудь в кино, —

Как вдруг он с дальнего покоса
Возник в тиши вечеровой,
Воскресшей песни отголосок,
На нашей родине с тобой.

И на дороге, в темном поле,
Внезапно за душу схватив,
Мне грудь стеснил до сладкой боли
Тот грустный будто бы мотив...

Я эти малые приметы
Сравнил бы смело с целиной
И дерзким росчерком ракеты,
Что побывала за Луной...

За годом — год, за вехой — веха,
За полосой — полоса.
Нелегко путь.
Но ветер века —
Он в наши дует паруса.

Вступает правды власть святая
В свои могучие права,
Живет на свете, облетая
Материки и острова.

Она все подлинней и шире
В чреде земных надежд и гроз.
Мы — это мы сегодня в мире,
И в мире с нас
Не меньший спрос!

И высших нет для нас велений —
Одно начертано огнем:
В большом и малом быть, как Ленин,
Свой ясный разум видеть в нем.

С ним сердцу нечего страшиться.
И в нашей книге золотой
Нет ни одной такой страницы,
Ни строчки, даже запятой,
Чтоб нашу славу притемнила.
Чтоб заслонила нашу честь.
Да, все, что с нами было, —
Было!
А то, что есть, —
То с нами здесь!

И все от корки и до корки,
Что в книгу вписано вчера,
Все с нами — в силу поговорки
Насчет пера
И топора...

И правда дел — она на страже,
Ее никак не обойдешь,
Все налицо при ней — и даже
Когда молчанье — тоже ложь...

Кому другому, но поэту
Молчать потомки не дадут.
Его к суровому ответу
Особый вытребует суд.

Я не боюсь суда такого
И, может, жду его давно,
Пусть не мне еще то слово,
Что емче всех, сказать дано.

Мое — от сердца — не на ветер.
Оно в готовности любой:
Я жил, я был — за все на свете
Я отвечаю головой.

Нет выше долга, жарче страсти
Стоять на том
В труде любом!

Спасибо, Родина, за счастье
С тобою быть в пути твоём.

За новым трудным перевалом —
Вздыхнуть
С тобою заодно.
И дальше в путь —
Большим или малым,
Ах, самым малым —
Все равно!

Она моя — твоя победа,
Она моя — твоя печаль,
Как твой призыв:
Со мною следуй,
И обретай в пути,
И ведай
За далью — даль.
За далью — даль!

ВТОРАЯ НОЧЬ

1

Случалось ли вам когда-нибудь искать нужную вам часть в день, когда началось наступление? Если нет — вам просто повезло. Будь вы даже трижды стреляным-перестреляным фронтовиком, возвращающимся после недолгого лечения из армейского или фронтового госпиталя, и то на это у вас уйдет дня три или четыре, если не больше. Что же говорить тогда о новичке бойце, впервые попавшем на фронт? А Ленька Богорад был именно таким бойцом. Было ему восемнадцать лет, и на фронт он попал впервые. Из Камышина до штаба фронта, а затем армии их — сто двадцать человек из запасного полка — вез лейтенант Гурмыза. В штабе армии Леньку и Федьку Кожемякина заставили рыть щели возле хат. Вырыли они восемь щелей по полтора метра глубиной, разровняли землю, замаскировали травой, а тем временем группа их ушла. В довершение всего Кожемякин отравился какими-то консервами, его отправили в госпиталь, и Ленька остался один, как палец. О нем все забыли. Где-то на Донце началось наступление, все бегали как угорелые, и никто не хотел с ним разговаривать. Один только повар из офицерской кухни, которому он принес четыре ведра воды, дал ему полный котелок лапши с маслом и посоветовал обратиться к капитану Самойленко.

— Вон там, где верба сухая. Парень хороший. Попросись в дивизию Петрова. Мировой генерал, и дивизия мировая. Я в ней весь Сталинград кашу варил.

Капитан Самойленко оказался действительно хорошим парнем, не накричал на Леньку, когда, попытавшись козырнуть, он уронил винтовку, а только рассме-

ялся, сказал: «Эх ты, село» — и дал ему конверт с надписью: «Х-во Петрова, к-ну Переверзеву».

— На Донце ищи, у Богородичного. Они уже там, вероятно. — И вдогонку крикнул: — Штык, смотри, не потеряй, а то достанется по первое число!

Ленька вышел на улицу, перевернул и привязал штык к стволу, обмотал тряпочкой затвор, чтобы не пылился, и пошел искать Богородичное. День был солнечный, веселый, в сидоре — буханка хлеба, круг колбасы и две пачки пшеничного концентрата, за обмоткой — ложка, на боку — котелок, махорки полон кисет и бумаги целая газета — что еще надо? Начальства над тобой нет, иди потихонечку, присаживайся где хочешь, а надоест идти — машин на дороге много, вскакивай в любую, куда-нибудь да подвезет.

И Ленька шел и ехал, глаза по сторонам. Черт-те что творится! Он никогда не видал такого количества пушек и тридцатьчетверок. Так прямо и прут среди бе-ла дня, грома́хают, пылят, и все в одну сторону. Раза два прогнали партии пленных немцев, и Ленька даже соскочил с машины, чтобы посмотреть на живого фрица, — до сих пор он их только в газете на карикатурах видал. Разочаровался. Люди как люди — пыльные, усталые, только сидора раз в десять больше, чем у нас, и в землю все смотрят. Один раз пролетел «мессер», кто-то крикнул «воздух», но разбежаться не успели — «мессер» улетел.

Все шло чин чинном — с машины на машину, с повозки на повозку, — пока не оказалось, что день кончился, полбуханки и круг колбасы съедены, а до Богородичного как было, когда он выходил, двадцать километров, так и осталось.

Ленька свернул с дороги, наткнулся на какой-то куст и завалился — сидор под голову, винтовку меж колен.

Всю ночь трещали над головой «кукурузники», где-то за горизонтом вспыхивали ракеты и стреляли пушки — днем их почему-то не было слышно, сейчас же грохотали без умолку. На дороге лязгали гусеницы, доносились откуда-то голоса. Ленька ворочался с боку на бок и никак не мог заснуть. Стало вдруг жалко самого себя: валяешься вот под кустом, а ребята ушли, и ни с кем не попрощался — будь они трижды прокляты, эти щели! — ни с Ванькой, ни с Глебкой Фурсовым, ни

с лейтенантом Гурмызой. Неплохой все-таки лейтенант был — за две недели один раз только на него накричал, когда курицу поймал, а так очень обходительный командир. Потом в голову полезли всякие мысли. Мария Христофоровна — молодая учительница. Как она, когда его в армию брали, принесла тетрадку и карандаш, чтобы письма писал. Потом еще что-то, тоже жалостное, еще что-то и еще, и наконец заснул.

2

Проснулся — и все как рукой сняло. Небо голубое, кузнечики кричат, над головой жаворонки — как будто и войны никакой. Доел остатки колбасы, винтовку на плечо — и пошел. От встречных раненых — Ленька с уважением смотрел на этих усталых и совершенно серых от пыли людей, ковылявших по дороге, — узнал, что Богородичное на том берегу Донца, километрах в пяти или десяти, а может, и пятнадцати, но кто там — немцы или наши, — никто толком не знал. О хозяйстве Петрова тоже не слышали — иди разберись, где там чье хозяйство. А вообще «идет дело помаленьку», просили закурить и шли дальше.

Часам к трем верхом на «катюшиных» снарядах добрался наконец до Донца. Речушка как себе — желтенькая, мутная, один берег пологий, другой — в гору. Лозняк вдоль дороги и у моста забит машинами, повозками. На обочине сидят бойцы, покуривают. Красные, потные лейтенанты бегают от одного к другому и загоняют в кусты. Бойцы неохотно поднимаются, делают шагов десять и опять усаживаются. У самого понтонного моста молодой парень, в танкистском шлеме, с красным флажком в руке, поочередно пропускает на мост то транспорт, то пехоту. Пыльно. Жарко.

Ленька пересек железную дорогу, примазался к какой-то части, прошел с ней мост и только подумал: «А что, вдруг фриц сейчас налетит?» — как откуда-то посыпались бомбы. Очнулся Ленька под мостом, по горло в воде. Как он туда попал — один бог знает. Трясло всего, с головы до ног. Кое-как вылез на берег, волоча за собой винтовку, перелез через перевернутую пушку, упал, встал, опять упал, опять встал. Кто-то кричал визгливым голосом: «Рятуйте, рятуйте!» Билась на дороге

лошадь, вытянув морду. Промчалась мимо никем не управляемая повозка, теряя какие-то ящики.

Ленька побежал. Бежал, ни на кого не глядя, ничего не слыша, ничего не видя, все вверх и вверх по дороге, подальше от моста. Выбился из сил у опушки какой-то рощи. Сел. Пилотки нет, все мокрое, в ботинках хлюпает. Шагах в двухстах от него какие-то бойцы вярят что-то на костре. Ленька подошел, спросил, не знают ли они, где хозяйство Петрова. Нет, не знают, сами недавно пришли.

Пошел дальше. При звуке самолета сворачивал с дороги и шел прямо через кустарник. Опять стала слышна стрельба орудий. По дороге один за другим, подымая клубы пыли, проносились здоровенные «студебеккеры» с боеприпасами. А Ленька все шел, спрашивая всех встречных, но никто толком не мог объяснить. Одни не знали, другие чесали затылки и говорили, что «кажется, за той рощей какой-то штаб стоит», третьи просто ничего не отвечали.

Наконец, напоролся на раненого, попросившего закурить. Оказалось, слава тебе господи, из петровской дивизии.

— Тебе какой полк нужен? — спросил раненый.

— Не полк, а штаб дивизии.

— Это не знаю, — устало ответил раненый и принялся перематывать черный от пыли бинт на ноге.

— А ты с какого? — спросил Ленька.

— С тридцать третьего.

— Далеко отсюда?

— Да как сказать... Километров так... В общем... Топай по дороге во-он до того столба — видишь, на проводах висит? Налево овраг будет. Вот по оврагу и двигай, дойдешь...

Ленька присел — сбилась портянка.

— А фронт где? Далеко?

Раненый посмотрел на простецкую круглую Ленькину морду и улыбнулся одними губами.

— А вот он и есть -- фронт-то...

— Как так?

— А вот так. Лесочек видишь? Так там уже фриц.

— Почему ж не стреляет? — удивился Ленька.

— Ужинает, потому и не стреляет.

Помолчали. Потом Ленька спросил:

— Ну а вообще как? Драпает фриц?

— Да не очень. «Ванюши» подтянул и минометы. Хорошо еще, авиации пока нет.

Ленька удивился — как же нет, когда он сам под бомбежку попал.

— Да разве это бомбежка? Ты, брат, бомбежек, значит, не видал...— И раненый устало, но с подробностями стал рассказывать обычную историю о бомбежках, о том, как рядом с ним, «ну вот так, как отсюда до того дерева», упала бомба и всех убила, а его даже осколком не задела. Рассказал, встал, посмотрел на темнеющее уже небо, поблагодарил за махорку и двинулся, прихрамывая, в сторону реки. Отойдя шагов двадцать, обернулся и крикнул вдогонку: — Где развилка оврага будет, направо валяй, а не налево, а то к фрицам попадешь!

Ленька миновал столб, свернул с дороги и пошел по дну оврага. Быстро темнело. Где-то слева застрочил пулемет. Потом справа, совсем близко. Стало как-то не по себе. Ленька вынул из мешка патроны, рассовал по карманам, проверил затвор — все в порядке. Дошел до развилки, свернул вправо. Еще полкилометра, и — что за черт! — овраг кончился. Полез по откосу, добрался до края, высунул голову. Пусто. Впереди темнеет роща. Только сделал шагов десять — выстрел: один, другой, третий, и над головой засвистело. Ленька назад, кубарем на дно оврага. Что за чертовщина? Куда же это его занесло? И куда идти? Вперед, назад? Решил — назад. Стало совсем темно — ни черта не видно. Дошел опять до развилки. Остановился. Откуда-то слева донеслись голоса. Ленька почувствовал, как под мышками у него потекли ручейки. Прижался к земле. С левого берега оврага один за другим спускались какие-то люди. Слышно было, как у них из-под ног сыпалась земля и как тяжело они дышали. «Наши», — подумал Ленька, и в этот момент кто-то совсем рядом с ним вполголоса выругался. Ленька приподнялся.

— Эй, друг...

Щелкнул затвор.

— Кто там?

— Да свой, свой... Не с тридцать третьего?

Человек приблизил свое лицо вплотную к Ленькиному:

— Нет, не с тридцать третьего. А зачем он тебе?

— Как зачем? Надо.

— Пулю тебе в лоб надо, вот что... Шляешься тут в темноте, а твой командир с ног сбился, ищет...

Кто-то впереди позвал громким, сдавленным шепотом:

— Кравченко... Кравченко...

— Да тут я...— таким же шепотом ответил боец и скрылся в темноте. Некоторое время было слышно еще, как сыплется на дно оврага земля, потом опять стало тихо.

Ленька посидел еще немного, потом решил вылезти из оврага и пойти в ту сторону, откуда пришли бойцы. Заметить сейчас его уже никто не мог. Небо заволкло тучами, и ни звезд, ни луны не было видно. Начал накрапывать дождик. Время от времени где-то совсем рядом взвизвались ракеты. Ленька ложился на живот и ждал, пока они не погаснут. Ракеты бросали слева, и Ленька решил двигаться правее — там виднелись не то хаты, не то стога сена.

Прошел метров двести, как вдруг из-под самых ног кто-то:

— Майборода, ты?

Ленька вздрогнул.

— Какого лешего пропал? Нашел наших?

Ленька ударился обо что-то твердое. Заржала лошадь. Повозка, что ли?

— Чертова кобыла,— продолжал голос из темноты.— Ну, нашел, спрашиваю?

— А ты кого ищешь? — Ленька сел на корточки, стараясь рассмотреть говорившего. Голос доносился откуда-то снизу.

— Как кого? А ты кто?

— А ты?

— От нечиста сила! — выругался невидимка.— Подавиться им на том свете, всем этим фрицам и гитлерам. Холера им в бок! — И неожиданно перейдя на просительную интонацию: — Помоги, браток.

Взвилась ракета. При свете ее Ленька увидел накрившуюся набок груженую повозку, лошадь, спокойно щиплющую высокую траву, и бойца, уткнувшегося лицом в землю.

Ракета погасла.

— Подсоби, друг,— опять заговорил боец.— Может, вытянем как-нибудь. Майбороду только за смертью посылать. Говорил я ему — по дороге надо ехать.

— А что везете? — спросил Ленька.

— Да мины чертовы эти, кто их только придумал!

— Ну, давай... — Ленька обошел повозку и стал щупать колесо. — Э, друг, да оно сломалось у тебя.

Боец выругался длинно и заковыристо и стал объяснять, что капитан, мол, велел как можно скорее доставить мины и Майборода — вечно он чего-нибудь придумает — сказал, что так, мол, через поле, на добрый километр короче. Вот и докатились. А тут еще фриц из минометов каждые двадцать минут шпарит.

В это время явился откуда-то и сам Майборода.

— Копыця, где ты?

— Явился. Ты б еще три часа гулял.

— Нашел. Метров триста отсюда.

— Спасибо тебе в шапочку. Колесо сломали.

— Ну?!

— Вот те и ну.

— Холера чертова... А капитан уже ругаются. Двести метров, говорит, осталось, а там танки ихние уже гуркочат.

— «На километр короче, на километр короче»... — передразнил первый. — С этой шкапой только и сокращай. Сколько их там, в повозке?

— Штук шестьдесят, что ли.

— В десять ходок уложимся?

— По четыре за раз брать — уложимся, — ответил Майборода.

— Может, вот парень еще подмогнет. Где ты там?

Стали в темноте разбирать мины. Оказалось, что они не минометные, как решил сначала Ленька, а саперные здоровенные деревянные ящики, килограммов этак по шесть-семь. Пришлось связывать их попарно проволокой, а чтобы не резало плечи — снять гимнастерку и подложить под проволоку. Возились долго — искали в повозке проволоку, обматывали мины. Наконец пошли: Майборода впереди, за ним Копыця, последним Ленька. Идти было трудно — грунт мягкий, много воронок, под ногами ничего не видно, винтовка мешает, при каждой ракете садись на корточки. Ко всему Майборода в темноте, очевидно, сбился — триста метров давно уже позади остались.

То тут, то там натыкались на окапывающихся бойцов — должно быть, пехота занимала оборону. Хорошо,

с минометами еще повезло — немцы перенесли огонь левее, не пришлось пережидать.

Майборода вдруг остановился.

— Вот здесь, кажется.— И скинул мины наземь.— Кидай!

Ленька осторожно снял свои и положил рядом. От напряжения весь был мокрый, хотя шел без гимнастерки и даже без рубашки.

— Капитан... а, капитан! — сдавленным шепотом позвал Майборода. Никто не отвечал.— Товарищ капитан, где вы? Мы мины принесли.

— Они там...— донесся откуда-то со стороны слабый голос.— На минометном поле.

— Кто это? Русинов? — спросил Майборода.

— Ага.

— Ранен, что ли?

— Да вроде как. А Кирилюка наповал. Так там и остался.

— Да где же ты?

— Тут, у лопат... А капитан там! Мины ставит... за место меня.

— Далеко?

— Да нет. Метров пятьдесят. Правее туда.

— Доложить бы надо,— неуверенно сказал Майборода и кашлянул.— Противопехотных не ставили?

— Нет, не ставили. Валяй смело, не подорвешься... Водички нет, ребята?

— На повозке осталась. Подожди до следующей ходки.

Из темноты неожиданно появилась фигура.

— Сюда, сюда, товарищ капитан,— обрадовался Майборода.

Тот, кого назвали капитаном, сел на корточки.

— Где пропадали, черти? Из-за вас... А это кто — третий?

— Боец один, мины подсобил тащить. Повозка-то сломалась.

Капитан выругался.

— А сколько привезли?

— Шестьдесят.

— Черт! Не везет просто. Двоих из строя вышибло, через час светать начнет.— Капитан в сердцах сплюнул.— Ну ладно. Так сделаем — Майборода с Копыцей

за минами, чтоб через полчаса все были здесь. А ты... Как твоя фамилия?

— Богорад.

— Поможешь Русинову до расположения добраться. Он дорогу знает.

Раненый заворочался в темноте.

— Не надо, товарищ капитан. Я здесь, в окопчике, полежу. Пускай лучше мины таскает.

Капитан помолчал, потом посмотрел на часы со светящимся циферблатом.

— Два часа уже. Вот бежит время! — И встал. — Солдат, где ты?

— Здесь.

— Бери мины и за мной. Осторожно только.

Ленька отполз в сторону, разыскал мины, взвалил на плечи и, согнувшись, пошел за капитаном.

— Клади.

Ленька положил.

— Теперь слушай внимательно. — Капитан сел на корточки, взял Ленькину руку и стал шарить ею по земле. — Видишь, ямки вырыты? Рукой пощупай. Рядом с ней и клади мину. Через четыре метра будет другая, через четыре — еще одна. Потом второй ряд — то же самое. Понял? Вот это и будет твоя задача — все мины разнести по ямкам.

Капитан говорил шепотом, но так спокойно и неторопливо, что Леньке как-то легче даже стало. Он разложил принесенные четыре мины и пошел за другими. Когда уложил двенадцатую и вернулся назад, Майборода с Копыцей принесли уже следующую партию — на этот раз они обернулись довольно быстро.

Кругом было удивительно тихо. Шум моторов прекратился. Только где-то очень далеко пофыркивал пулемет. Дождик перестал, потом опять пошел — мелкий-мелкий, даже приятно разгоряченному телу. От темноты, от тишины, оттого, что таскал эти мины, которые никогда в жизни не видал и от которых взрываются танки, было жутковато, но Ленька старался ни о чем не думать, а только таскать и укладывать, таскать и укладывать.

Один раз, когда среди мертвой тишины где-то вдруг заскрежетало и заныло и высоко над головой пронеслись огненные хвостатые снаряды, Ленька бросился на землю и прижался к кому-то, упавшему рядом с ним.

«Страшно?» — услышал он над самым ухом и попытался перестать дрожать, но не смог. «Ничего, солдат, обвыкнешь!» — Ленька узнал голос капитана. — «А почему без рубашки? Может, потому и дрожишь?» Ленька ничего не ответил, поднял мины и пошел дальше.

Кончили, когда начало уже светать. Раза два немцы открывали огонь из минометов, но все обошлось благополучно. Собрали лопаты, ящики с оставшимися взрывателями и двинулись в расположение. Шли молча, один за другим, усталые, мокрые, тяжело шагая по размокшему чернозему. Двое бойцов вели раненого, двое несли убитого. Хотелось спать, больше ничего. Даже курить не хотелось. Когда пришли, Ленька камнем упал под первым кустом, так и не увидев в лицо тех, с кем провел свою первую боевую ночь.

3

— Эй ты, проснись... Орел!

Ленька вскочил и, ничего не понимая, захлопал глазами.

— Сколько спать можно? Ребята уже давно позавтракали.

Щупленький хитроглазый боец в выцветшей гимнастерке стоял перед ним и смеялся.

— А рубаха где твоя? Потерял с перепугу?

Ленька посмотрел по сторонам — действительно, в одних штанах, гимнастерки нет. Вот голова, забыл-таки там.

Боец подсел.

— Не узнаешь? Майборода.

— А-а... — неопределенно сказал Ленька и поежился: было довольно прохладно.

Майборода звонко шлепнул его по спине.

— Ну и здоров же ты, парень. Знал бы раньше, не отпустил бы, когда мины таскали! — Он критически осмотрел Леньку с ног до головы, тот до сих пор никак не мог проснуться. — Пойди хоть морду ополосни. Капитан уже спрашивал тебя. — И опять хлопнул его по спине. — Бычок, ей-богу. Да очухайся ты наконец! А я в повозке поищу — может, найду чего.

Через минуту он прибежал с майкой в руках — «валяй пока это, потом на складе поищем что-нибудь бо-

лее подходящее». Ленька с трудом натянул на себя узкую ярко-оранжевую майку.

— Пошли к капитану. Пилотку только надень.

Но капитана в палатке не оказалось. Сидевший у входа боец — ординарец, должно быть, — не поворачиваясь, буркнул «сейчас придут» и продолжал чистить песком котелок. Майборода вытащил из кармана круглую коробку с махоркой и развалился у входа в палатку. Кругом был лесок — молоденький, свеженький, летали какие-то желтые бабочки, где-то над головой стучал дятел.

— Да-а... А Кирилюка вот и нет, — сказал Майборода и протянул Леньке коробку. — Закуривай. И двое пацанов осталось. — Он как-то боком посмотрел на Леньку. — Не женат?

— Не... — почему-то смутился Ленька.

— А у того двое пацанов. И ведь тоже молодой, с двадцать третьего года. Ты с какого?

— С двадцать пятого, — ответил Ленька.

— А он с двадцать третьего. На два года только старше тебя. Весь Сталинград сохранился, а тут... — Майборода как-то с присвистом вздохнул. — Вон под теми сосенками похоронили. Я утром посмотрел, аж страшно стало. Вот по сих пор, — он провел рукой над бровями, — снесло. Так мозги и вывалились...

Помолчали. Майборода повернулся к ординарцу:

— А далеко капитан пошел?

— А я хйба знаю, — не поворачиваясь, ответил парень. — Мне пока не докладывают.

— Командир батальона, что ли? — спросил Ленька.

— Ага, сейчас командир. Орлик его фамилия — чудная такая. Был замкомбатом, а как майора Слезнева на Донце кокнуло, стал командиром.

— Тоже сталинградский?

Майборода мотнул головой:

— Нет, из новеньких. К концу Сталинграда только пришел. С госпиталя прямо. С палочкой еще долго ходил.

Из дальнейшего рассказа выяснилось, что капитан с майором были не в ладах. Майора в батальоне не любили — он был из тех командиров, которые на фронте тише воды, ниже травы, а в тылу расправляют плечи и без толку орут на подчиненных. С этого и начались раздоры.

— Ты про Ляшко, про лейтенанта, расскажи,— всучился в разговор ординарец, совсем еще молоденький паренек, тщетно старавшийся придать своему детскому голосу солдатскую грубость. Он уже кончил чистку котелка и старался ввязаться в разговор, но так, чтобы не уронить своего достоинства.— Здорово его капитан отбрил тогда, а?

— Дай бог как,— усмехнулся Майборода и повернулся к Леньке.— Напился, понимаешь, майор раз пьяный и лейтенанта Ляшко, командира первой роты, матом при всех обложил. И перед строем. Лентяй, мол, бездельник, воевать не хочешь. А капитан стоит, слушает, покраснел весь, и челюсти только ходуном ходят. А потом: «Стыдно мне, говорит, за вас перед бойцами, товарищ майор. Ляшко — лучший офицер батальона и, когда перед строем стоит, четвертинкой из кармана не светит». Хлопнул хлыстиком, повернулся и ушел. Ну, после этого как началось, как началось... И к подворотничку, и к сапогам брезентовым придирааться стал, и рапорт, мол, не так написан, и так далее, и так далее... Пока война не началась. А началась — майор сразу шелковым стал. Капитан, тот всегда с людьми — и на походе и на переправе, а майор, тот нет, больше все на повозочке или: «На НП, к комдиву пойду, покомандуй тут, капитан, без меня». Ну вот на НП-то его и поймала шальная пуля. Жаль, ранение пустяковое, мускул на руке задело, в неделю заживет.— Майборода сокрушенно вздохнул.— Да... С капитаном веселее как-то, ей-богу! — И неожиданно вдруг рассмеялся, черные хитрые глазки его даже заблестели.— Ну а то, что бабы по нем сохнут, так разве это он виноват? Сами липнут как мухи...

— Когда на формировке стояли в Червонотронцкой...— начал было ординарец, но Майборода его перебил:

— А ты не вмешивайся. Чисти свой котелок и помалкивай. Вон все дно черное.

— Черное... черное,— обиделся ординарец.— Расселся тут, как барин, окурки свои паршивые накидал. Вон капитан идет, покажет он тебе.

— Ты чего там уже рычишь? — издали еще крикнул капитан.— Хозяином почувствовал себя?

Высокий, статный, в сбитой на ухо синей пилотке с голубым кантом, в расстегнутой гимнастерке, в ле-

гоньких хромовых сапожках, он шел ленивой, слегка вразвалку, походкой, сбивая хлыстиком листья с кустов.

— Вот ты какой, значит,— сказал он, подойдя и хлопнув Леньку хлыстиком по груди.— Богорад, кажется?

— Богорад Леонид,— как можно бойче ответил Ленька, расправив плечи и прижав сжатые кисти рук по швам.

— А отчество?

— Семенович.

— Ну заходи, Леонид Семенович, потолкуем.

И, наклонившись, вошел в палатку. Ленька и Майборода — за ним. Капитан бросил хлыстик на кучу травы, прикрытую одеялом, повернулся, засунул руки глубоко в карманы и, слегка раскачиваясь, осмотрел Леньку с головы до ног. Ленька стоял, выпятив грудь, поджав живот, в ярко-рыжей, треснувшей уже под мышкой майке, набрав полные легкие воздуха, чтобы казаться еще здоровее.

Капитан улыбнулся.

— Да ты не тужься. И так вижу, что здоровый. Копать умеешь?

— А что же тут уметь, товарищ капитан?

— А ну, согни руку.

Ленька напряг мускул. Капитан пощупал.

— Дай бог. Тебе бы такие, Майборода, хоть польза какая была бы. А то только языком и умеешь.

— Молодое, что вы хотите, товарищ капитан. А я уже старик, скоро тридцать. Языком-то легче, чем руками.

Ленька стоял красный от похвалы и не знал, что бы сделать такое, чтобы еще больше понравиться капитану.

— У вас гири нет, товарищ капитан? — спросил он.

— Какой гири?

— Обыкновенной. Пудовой, двухпудовой. Я одной рукой могу...

— Ладно,— перебил капитан.— У нас тут не цирк. У нас надо землю копать. По восемь, десять, пятнадцать часов. Пока орден заработаешь, не одно ведро поту потеряешь. Это тебе не пехота — в атаку ходить и «ура» кричать. Мины знаешь?

— Мины? — Ленька растерялся.

— Так точно, товарищ начальник. Те самые, что вчера таскал,— «ЯМ», «ПМД», «ПОМЗ». А? По глазам вижу, что и названия-то в первый раз слышишь. А «ТМБ»? Тоже не знаешь? — Капитан свистнул. — Плохо дело. А я-то думал...

Он сделал паузу и уголком глаза глянул на Леньку. Ленька стоял красный, растерянный. Ему до смерти хотелось понравиться капитану, но он не знал, как это сделать, и от беспомощности только краснел.

— У тебя что, направление есть какое-нибудь? — спросил капитан.

— Есть.

— А ну покажи.

Ленька полез в карман и вытащил мятый, замусоленный конверт. «Теперь все. В дивизию пошлет». Капитан прочел и вернул обратно.

— М-да... Так «ТМБ», значит, не знаешь?

— Не... — упавшим голосом ответил Ленька.

— Годен, не обучен?

— Почему не обучен? В запасном нас...

— Чучело кололи? Коротким коли, сверху прикладом бей?

— Не только чучело,— обиделся Ленька.— Гранату кидать, и «Дегтярева» собирать и разбирать, и винтовку чтоб назубок, и по-ползунски лазить...

— Как, как? — переспросил капитан.

— По-ползунски, говорю, лазить.

Капитан рассмеялся.

— По-ползунски, говоришь? Ну а сапером хочешь быть?

— Хочу.

— За неделю берешься выучить все наши премудрости?

— Берусь, товарищ капитан.

— Вон он какой, смотри. Люди годами учат, а он за неделю... — И, повернувшись к Майборде: — Отведика его к Ляшко в первую. И гимнастерку подыщи. Поприличнее только. А теперь — кругом, шагом марш!

Ленька лихо козырнул, повернулся на каблуках и строевым зашагал из палатки.

Капитан ему понравился: молодой такой и уже орден, и красивый, как черт,— кудрявый, смуглый, брови черные,— и отчаянный, должно быть, по глазам видно. Да и вообще все складывалось хорошо. И Ленька пошел на кухню знакомиться с поваром.

Саперный батальон, в который попал Ленька, входил в состав весьма заслуженной гвардейской дивизии — «Сталинградской непромокаемой», как в шутку называли ее бойцы. Боевое крещение получила она летом сорок второго года под Касторной, потом выстояла весь Сталинград, от начала до конца, и в начале марта сорок третьего собралась на восток формироваться. Но тут немцы захватили вторично Харьков, и дивизию спешным порядком перебросили на Украину, решив, очевидно, пополнить на ходу. К моменту прибытия ее на фронт немцев сдержали, бои прекратились и началось «великое стояние», длившееся месяца три, если не больше.

Расположились в живописных украинских селах с тополями, ставками и прочими деревенскими прелестями и принялись за то, что на языке военных донесений называется «боевой подготовкой», на языке же бойцов — «припуханием», иными словами — набирались сил, получали пополнение, изучали материальную часть, уставы, занимались тактическими играми: «взвод, рота, батальон, в наступлении, обороне, разведке», ну и — без этого никак уж нельзя — копали бесконечное количество окопов и ходов сообщения, всю землю вокруг сел изрыли.

Жили сперва в хатах, потом выстроили себе комфортабельные землянки, обзавелись подсобными хозяйствами, ели борщи из свежей зелени, пили молоко. Офицеры стали франтить: завели себе какие-то особенные кинжалы с пластмассовыми ручками, болтающиеся, как кортики, где-то у самых колен, шили новые гимнастерки и галифе, увлекались только что полученными погонами — втискивали под подкладку куски жести и целлулоида, чтобы не мялись, — и мастерили из плащ-палаток легкие летние сапожки, крася их потом в черный цвет, чтобы не поймало начальство, запрещавшее использование плащ-палаток не по назначению.

Одним словом, отдохнули на славу, хотя, как это уж заведено, и ворчали, что нет хуже формировок: «То ли дело на фронте — никаких тебе конспектов, расписаний и занятий — вой, и только...»

Так прошел апрель, май, июнь.

Пятого июля над расположением дивизии целый

день куда-то пролетали «кукурузники». На следующий день сводка сообщила, что начались бои в районе Курска. Вечером дивизия поднялась и двинулась на юг, а еще через несколько дней совместно с державшими оборону частями форсировала Донец и закрепилась на южном его берегу.

Саперный батальон в течение полутора суток обеспечивал переправу, к концу вторых суток с реки был снят и перекинут на передовую — минировать, разминировать и копать бесконечные НП и КП.

Вот в самом сжатом виде и вся история подразделения, рядовым бойцом первой роты которого стал Ленька Богорад. Выдали ему автомат, новую гимнастерку с погонями, негнувшиеся английские ботинки сорок первый номер, саперную лопату, на которой он сразу вырезал ножом «Л. Б.», и в очередном донесении дивинженеру цифру в графе «Личный состав батальона» увеличили на единицу, не вдаваясь в излишние подробности.

И сразу Ленька стал своим человеком. Во-первых, у него был веселый нрав, а уж одно это многого стоит, во-вторых, был он услужлив и покладист, в-третьих, любил работать — вернее, не любил бездельничать. Ко всему этому у него была славная морда — курносая, веселая, с кучей веснушек, разбросанных по всему лицу, вплоть до ушей.

Первое время над ним немножко подтрунивали, вспоминая, как он забыл на передовой свою гимнастерку, но Ленька так добродушно все это принимал и сам так забавно рассказывал о впечатлениях той ночи — как тащили они втроем мины и как потом он «ванюши» испугался, — что все остроты отскакивали от него, как от брони. Когда же при копке котлована для опергруппы штаба он перекрыл вдвое все существующие в наставлении нормы земляных работ, оставив далеко за собой такого здоровилу, как Тугиев, даже ничему никогда не удивляющийся лейтенант Ляшко сказал: «Ого!»

На второй день крикливый и бранчливый повар Тимошка, у которого лишней ложки каши никогда не выклянчишь, подкидывал ему в котелок добавочный кусок мяса, начальник артснабжения разрешил разобрать и собрать трофейный «вальтер» и сделать даже парочку выстрелов, а пухленькая розовощекая Муся — писарша штаба, — жеманно складывая губки, говорила:

«Вы очень, очень похожи на моего одного очень, очень хорошего знакомого» — и в меру своих возможностей загадочно улыбалась. Даже замполит, серьезный очкастый майор Курач, благоволил к Леньке, хотя в вопросах политики Ленька разбирался, пожалуй, не лучше, чем в высшей математике.

Одним словом, Леньку все полюбили, а он если иногда и злоупотреблял этим, то, во всяком случае, не часто и никому не во вред. Вообще же чувствовал себя со всеми хорошо и свободно и только черт знает почему одного капитана Орлика стеснялся. Подойдет капитан, станет, глаза черные с золотистым отливом, слегка насмешливые, и эта сбитая пилотка над чубом, засунет руки в карманы и спросит: «Ну как, Леонид Семенович, не надоело копать, может, перекур устроим?» Сядет, закурит, ребята вокруг смеются, острят, а Ленька как воды в рот набрал. Или позовет к себе в палатку и по саперному делу начнет что-нибудь спрашивать, вроде экзаменует. А Ленька в два дня все мины назубок выучил, и как заряжать, и как бикфордов шнур зажигать, а вот надо блеснуть перед капитаном — и все из рук валится, и спички ломаются, не зажигаются.

Короче говоря, Ленька влюбился в капитана. Влюбился так, как влюбляются школьники в своих старших товарищей. Попытался даже подражать его манере курить и походке, но разве в этих бутсах пройдешь так легко! А капитан не замечал или делал вид, что не замечает, и Леньке оставалось только мечтать о том дне, когда он отличится в бою или, еще того лучше, рискуя собственной жизнью, спасет капитана от смерти. Вот тогда он увидит, на что Ленька способен. Но случай этот не подворачивался, батальон занимался теперь самым прозаическим на фронте занятием — рыл землянки и рубил лес для перекрытия, — и спасти капитана можно было разве только от штабных начальников: каждый из них требовал, чтобы именно его блиндаж был сделан в первую очередь и перекрыт не в два, а в четыре наката.

5

На южном берегу Донца, начиная от Изюма и дальше на восток, завязались бои. Несколько позднее в сводках Информбюро о них писалось: «Бои местного

значения, имеющие тенденцию перерасти в бои крупного масштаба». Дивизия, в которую входил батальон, обогнув слева Богородичное, прошла с боем еще несколько километров, очутилась перед селом Голая Долина и там стала. Немцы окопались, подтянули технику и пытались даже перейти в контрнаступление, которое, правда, окончилось безуспешно, но на довольно долгое время задержало наше продвижение вперед.

В ходе боев одному из полков дивизии удалось захватить немецкую дальнобойную батарею — шесть громадных стопятидесятичетырехмиллиметровых гаубиц. Полк получил благодарности, но командир его, предчувствуя, что немцы попытаются отбить пушки обратно, затребовал роту саперного батальона — пускай заминируют батарею хотя бы против танков.

Первая рота как раз кончала маскировку землянок для опергруппы штаба, когда прибежал запыхавшийся Шелест — тот самый ординарец Орлика, который чистил котелок, — и сообщил, что «капитан велели к новой землянке не приступать, а сейчас же в распоряжение возвращаться».

По дороге Ленка подлатался к Шелесту.

— Наступать, что ли, будем?

— Не отступать же, — уклончиво ответил Шелест. Парень он был неплохой, но, как человек, ближе других стоящий к начальству и раньше всех узнающий все, немало задирает нос.

— Говорят, двадцать седьмой батарею какую-то захватил?

— Говорят.

— Ну а капитан что говорит?

— Живот, говорит, болит.

— Ну тебя! Как человека ведь спрашиваю.

Шелесту самому до смерти хотелось рассказать последние новости, но надо ж набить себе цену, поэтому минут пять он еще пыжился, пока не сообщил наконец, что Богородичное наши взяли, но много народу потеряли и что у фрица «ванюш» до черта и какие-то «тигры» и «фердинанды» появились, танки, что ли, новые. Говорят, ни один снаряд пробить их не может.

— А на минах рвутся?

— На минах? — Шелест этого не знал, но, не желая терять достоинства, отвечал, что на минах рвутся, только не так быстро. Что значит «не так быстро», он еще

не придумал, но сама по себе эта деталь казалась ему вполне правдоподобной.

— Между прочим, капитан лейтенанту Ляшко говорил, чтоб внимание на тебя обратил.

— Как это — внимание? — Ленька насторожился.

— Ну, чтоб подзанился с тобой. Парень, говорит, туповатый, так ты сам с ним позанимайся, а то скоро на задания пошлем, того и гляди подорвется на mine.

На самом деле разговор проходил в несколько других тонах, но почему, в конце концов, не подразнить парня?

— Так и сказал — туповатый?

— Так и сказал.

— Врешь!

— Нечего мне делать, как врать. Такой, говорит, медведь неосесанный, сегодня чуть-чуть мне голову, говорит, учебной гранатой не оттяпал.

— Так прямо лейтенанту и сказал?

— Так прямо и сказал. А лейтенант подумал-подумал и говорит... — Шелест на минутку остановился, чтобы придумать, что же ответил лейтенант.

— Ну?

— И говорит ему, значит: «А может, мы зря его к себе в батальон взяли?»

— А капитан?

— Да не перебивай ты, черт! «Может, говорит, отдадим его в стрелковый полк какой-нибудь, меньше хлопот будет?»

— Ну а капитан?

— А капитан похмыкал там чего-то и говорит: «Может, и отдадим. Попробуем, говорит, на первом задании, проверим, стоящий ли парень или так, дерьмо».

— Это ты уж трепешься — «дерьмо» не говорил.

— Может, и похуже сказал.

— А ну тебя к лешему! — Ленька обиделся и отошел. — Придумал все... — Но на душе стало горько и противно.

...Вот вернется он с первого своего задания, подорвет этот самый «тигр» или как его там, и никому ничего не скажет. Вернется и спать ляжет. А на следующий день по батальону только и разговору — кто ж это «тигра» подорвал? А он молчит, ни звука. Тугиев? Нет. Сержант Кошубаров? Нет. Может, сам лейтенант Ляшко? Тоже нет. Кто же тогда? А все дело в том, что из

батальонных никто и не видал, как он подорвал, видали стрелки только. Вот они и скажут своему командиру, а тот своему и так далее, до самого верха,— боец, мол, Богорад из восемьдесят восьмого «тигра» подорвал. И вот генерал вызывает его... Нет, из-за этого генерал не станет к себе вызывать, просто благодарность в батальон придет: «За то-то и за то-то объявляю, мол, благодарность бойцу Богораду Леониду Семеновичу». И капитан тут как покраснеет, хлыстиком начнет по сапогу бить и спросит: «Что же это ты молчал, Богорад?» И тут ему Ленька ответит: «А чего мне было говорить, когда меня из батальона отчислить хотят и дерьмом считают». А капитан ему...

В этом месте Ленька споткнулся обо что-то и со всего маху налетел на впереди идущего.

— Ты що, сказывся, чи що? Очи повилазили?

Ленька ничего не ответил, отошел в сторону, но нить рассказа была уже порвана, и что ответил ему капитан, так и осталось неизвестным.

В расположении успели только быстро, на ходу, поужинать и сразу двинулись в путь. До батареи было километра четыре или пять, и Ляшко надеялся до рассвета успеть заминировать хотя бы основные направления. Но на фронте не всегда получается так, как хочешь. Ляшко решил сэкономить во времени, и пошли не дорогой, а лесом — один из самых ненадежных способов, когда торопишься, — в результате к батарее пришли, когда стало совсем уже светло. Мины, отправленные на четырех повозках, давно уже ждали их на месте. Начальник штаба полка, рыжий, потный, вконец задерганный майор Сутырин, неистовствовал.

— Вы бы еще через неделю пришли, мать вашу за ногу! Разбаловались там на своих КП и НП для начальства, а как на передовую — так калачом не заманишь.

Ляшко почесывал двумя пальцами небритый подбородок — этого человека трудно было вывести из себя, — спокойно слушал майора и, когда тот сделал паузу, чтобы набрать воздуха в легкие, спросил:

— Кто мне покажет танкоопасные направления?

Майор опять взвился:

— Ему еще направления показывай! Вот, вот, вот —

езде направления! — Он тыкал пальцем во все стороны. — Они с минуты на минуту танки могут бросить! Что мы будем тогда делать? Я вас спрашиваю — что мы будем делать? Ну, чего же вы молчите?

Ляшко прекрасно понимал состояние майора. Сам он воевал с первого дня войны, побывал во всех возможных переделках, видал на своем веку не одного начальника, сейчас даже сочувствовал несчастному начальнику штаба — он его знал еще по Сталинграду — и спокойно, не вступая в ненужные споры, ждал, когда тот наконец изольет свою душу. Но майор за пять минут до этого получил выговор от начальника штаба дивизии за поздно присланное донесение и еще долго носил бы и Ляшко, и его роту, и его батальон, и вообще всех саперов, если бы, на счастье Ляшко, не подошел к ним инженер полка Богаткин. Немолодой уже, с седеющими висками и перевязанной левой рукой, незаметно подошел и стал рядом, подмигнув Ляшко, — они тоже были старые знакомые. Майор сразу перекинулся на него.

— Вот, инженер, явились твои хваленые саперы! Что хочешь, то и делай с ними. Надоело мне все это. В лесу, видишь ли, прохлаждались, пока мы за пушки эти чертовы здесь воюем.

Инженер устало улыбнулся.

— К телефону тебя зовут. Сорок первый.

— Дежурного там, что ли, нет? Все Сутырин, за всех Сутырин.

— Ну ладно, ладно, иди уж.

Майор выругался и побежал в землянку.

Инженер опять улыбнулся.

— Замотали старика, ей-богу. А так — душа-парень. Ты сколько людей привел?

— Да всю роту. Приказали роту.

— Многовато, конечно, но ничего, скорей справимся.

Где люди?

— Вон яблоки уже трясут.

— Запрети. Комендантский уже двух солдат из-за яблок потерял. Жара, воды не хватает, вот и трясут с утра до вечера.

— А это не из-за яблок? — кивнул на перевязанную руку Ляшко.

— Чепуха. Пулей задело. Снайперы у них неопытные, не сталинградские.

Где-то совсем недалеко раздался щелк миномета, и почти сразу же несколько мин разорвалось в саду. С деревьев посыпались яблоки. Бойцы бросились подбирать. Ленька инстинктивно прижался к земле, но, увидев, как солдаты, ни на что не обращая внимания, ползают по саду и собирают яблоки, тоже, чтобы не отстать от них и не показаться трусом, набил себе карманы мелкими, совершенно еще зелеными «кислицами», как их тут называли.

— Отставить яблоки! — крикнул издали Ляшко и направился к бойцам.

Вместе с ним шел инженер и еще какой-то сержант.

— Петренко, бери свой взвод и пойдешь вот с сержантом, — сказал Ляшко и, увидев Леньку, добавил: — Ну, Богорад, с праздником тебя святого крещения.

— Не подкачаем, товарищ лейтенант! — Ленька почувствовал, как у него начинает пересыхать во рту.

Ляшко вынул из бокового кармана громадные, как у паровозного машиниста, часы.

— К пяти ноль-ноль чтоб было все готово, Петренко. Ясно?

6

Надолго запомнилось Леньке это утро — раннее июльское утро с только-только выглянувшим из-за яблоневого сада краешком солнца, с дрожащими на травинках росинками, с пробежавшей у самых его ног левой мышью, обернувшейся, посмотревшей на него и юркнувшей в только ей одной известную и больше никому на всем земном шаре норку. Запомнил и толстую яблоню, на которой уже кто-то вырезал ножом «Б. Р. С. июль 43», и как сержант скручивал последнюю, обязательную перед каждым заданием сигарку, и как у него слегка тряслись пальцы и он рассыпал махорку и стал подбирать ее с земли. Потом просвистела над головой пуля, и Ленька наклонился, а сидевший рядом с ним боец Антонов засмеялся и сказал: «Рано кланяешься, Ленька». Свистнула не пуля, а птица — есть такая сволочная птичка, которая свистит, как пуля. Потом Петренко сказал «подъем», и все, кряхтя, поднялись и пошли, и Касаткин забыл, конечно, свою лопату и с полдороги должен был за ней возвращаться. Шли сначала по саду, потом спустились в малень-

кий овражек, или «ложок», как называли его бойцы-сибиряки, и довольно долго двигались по дну ложка. Впереди — Петренко, командир взвода, рослый, плечистый, с широким рябым лицом, за ним — Антонов обычной своей косолапой, медвежьей походкой, придерживая рукой приклад винтовки, чтобы не стучал о лопатку. За Антоновым — Ленька; шел и смотрел на его красный, свежеподстриженный затылок и удивлялся, когда он, холера, успел подстричься, вчера ведь еще лохматый ходил. Потом вышли из ложка и оказались в кустарнике. Прошли немного по кустарнику, дошли до его опушки, и Петренко сказал «ложись». Все легли: направо от Леньки — Антонов, налево — долговязый Сучков, который сразу же вынул из кармана хлеб и стал жевать.

«Хорошо, что Антонов рядом,— подумал Ленька,— он-то уж собаку на минах съел, парень стреляный-перестреляный». А Антонов глянул уголком глаза на Леньку — тот чистил щепочкой винты на автомате — и, в свою очередь, подумал: «Пока ничего, не очень дрейфит». Потом Ленька засунул щепочку в пилотку и, подперев голову руками, от нечего делать стал рассматривать впередилежащую лужайку.

— На бинокль,— толкнул его в бок Антонов,— на фрицев посмотри.

Ленька взял, вдавил в окуляры глаза и стал водить слева направо. Лесок, сосенки, лужайки, опять лесок, опять сосенки.

— Ну, нашел?

— Не...

— А ты прямо против себя смотри.

Ленька посмотрел прямо и увидел — прямо перед самым носом! — двух бегущих солдат. Один отстал, сел на корточки, потом встал и побежал следом за первым. Даже винтовки видно, и что без гимнастерки оба, и что рукава засучены. Ленька стал еще водить и нашел еще одного. Он сидел на дереве, вроде как на площадке, и тоже смотрел в бинокль.

— О, смотри, смотри, наблюдатель!

— Чего орешь? Обрадовался...— Антонов отобрал бинокль.

Ленька посмотрел без бинокля и ничего не мог разобрать. Вот чертова штука! Сидит фриц на дереве и тоже, вероятно, видит Леньку. Вот скажет сейчас кому-нибудь, и по ним огонь откроют. Но тут же успоко-

ился: солнце светило из-за спины, и фрицы не могли их рассмотреть...

Подполз Петренко. Показал ему, Антонову и Сучкову, куда вести первый ряд. Подтащили мины, стали копать ямки. Немцы не стреляли, грунт хороший, дело шло быстро. Ленька копал ямки — раз, два, три, и ямка готова, — Антонов клал мину. Сучков прикрывал ее дерном и присыпал ветками. «Давай, давай, Сучков, не отставай — пять штук только осталось».

И вдруг как началось... как стало рваться со всех сторон! И снаряды, и мины, и черт его знает что еще. Ленька еле успел отскочить в окопчик — хорошо еще, выкопал их здесь кто-то, — уткнулся мордой в землю, зажал коленями уши и так сидел, скрючившись, закрыв глаза, стиснув зубы, и считал только: раз, два, три, четыре, пять, шесть... Потом и считать перестал.

Очнулся Ленька оттого, что его кто-то сапогом тыкал в спину. Высвободив голову из колен, посмотрел вверх — над ним лицо Антонова, что-то кричит, а что — никак не поймешь. Вылез из окопчика. В двух шагах от него Сучков лежит, ноги раскинул, голову руками обхватил. И чего он так по-глупому лежит? Немного дальше Антонов, уже лежит, и спина у него дрожит. Повернулся на секунду, лицо красное, губы сжаты, рукой только махнул — ложись, мол, — и опять отвернулся. Ленька подбежал к Антонову, лег рядом с ним и только сейчас увидел, что тот стреляет. Впереди по полю прямо на них бежали немцы — человек десять или двадцать, а может, и больше. Ленька прижал автомат к щеке и пустил очередь, потом вторую, третью. Немцы бежали и кричали и, кажется, стреляли, потом стали падать, потом начали рваться мины, и они побежали назад.

— А-а-а-а! — закричал неожиданно для самого себя Ленька и вскочил.

Антонов больно ударил его прикладом «ППШ» по ноге.

— Ложись, дура!

Ленька плюхнулся на живот, а Антонов опять ударил его, на этот раз по голове, чуть выше уха.

— Чего дерешься? — огрызнулся Ленька.

— Молчи, пока живой. Патроны есть еще?

Ленька пощупал рукой висевший на поясе в мешочке запасной диск, снял его и положил рядом. Искоса посмотрел на Антонова, потом на Сучкова. Тот все так

же лежал, раскинув ноги и обхватив голову руками. «Отвоевался», — мелькнуло в мозгу у Леньки, и он отвернулся. Откуда-то справа доносилась еще стрельба, потом и там утихло.

— Сорвалось пока. — Антонов отложил автомат и посмотрел на Леньку. — Ну как?

— Да ничего. — Ленька попытался улыбнуться.

Антонов состроил вдруг гримасу.

— Э, брат, да тебя уже того... Что это у тебя под ухом?

Ленька пощупал — липкое. Посмотрел на руку — красное. Кровь...

Но тут Петренко крикнул: «Кончай ряды, пока тихо», — и они с Антоновым стали укладывать оставшиеся мины.

К шести утра рота успела поставить пять минных полей — на одно больше, чем хотел того начштаба Сутырин, из них два — взвод Петренко. Антонов с Ленькой были на первом месте — вдвоем они поставили шестьдесят четыре мины. Ленька чувствовал себя героем. Голова его была перевязана, и на вопросы бойцов он с пренебрежительным видом отвечал: «Да так, ерунда, царапина». Лейтенант Ляшко сказал ему: «Был бы у меня фотоаппарат, сфотографировал бы тебя — вид у тебя больно геройский». А инженер с седыми висками, узнав, что Ленька новичок и уже столько мин поставил, сказал: «Давай догоняй старичков, чтоб не зазнавались». И Ленька сиял и краснел и из скромности говорил, что это все Антонов — без него он все равно что нуль без палочки, — и жалел, ох как жалел, что не было тут капитана Орлика...

И только смерть Сучкова, молчаливого долговязого Сучкова, не давала ему насладиться триумфом. Они не были друзьями — он и Сучков, — более того, Сучков был единственным, с кем Ленька повздорил в батальоне, и Леньку всегда злило, что Сучков без конца жевал хлеб и на земляных работах каждые пять минут устраивал перекур, но это был первый — первый убитый немцами человек, которого он знал. Недавно еще только разговаривали, и Сучков у него еще газетки для курева попросил, и он ему дал, а тот сказал «хорошая, не рвется», а вот сейчас лежит он, руки вытянул, глаза за-

крыл, и бойцы ему могилу копают. И когда на него, завернутого в плащ-палатку, упали первые комья земли, Ленька почувствовал, как к горлу его что-то подкатило, и он часто-часто заморгал глазами.

7

Задание было выполнено, минные поля поставлены, можно было идти домой. Но майор Сутырин, панически боявшийся танков,— а они все не шли и не шли, а он их все ждал и ждал—упросил Ляшко оставить один взвод до вечера.

— Ты понимаешь,— говорил он уже совсем другим тоном, чем утром, просительным, заискивающим,— дорога у меня тут одна паршивая еще есть. Если пустят танки, то обязательно по ней, вот увидишь. А сейчас светло, никак к ней не подступиться. Оставь ребят до вечера, они вмиг все сделают. А я им за это,— он щелкал себя пальцем по шее,— на сон грядущий выдам по маленькой.

Ляшко, как и утром, почесывал подбородок и, тяжело вздыхая, дразнил майора.

— Права не имею, товарищ майор. Все прекрасно понимаю, но не имею права. Приказано всем без исключения после выполнения задания в расположение вернуться.

Майор обнимал Ляшко за спину — он был на голову ниже его и до плеч не мог дотянуться — и не отставал.

— Ну, не мсти мне, не мсти мне, Ляшко. Я утром погорячился, сам понимаю, но надо же быть человеком. Я б и своих послал, да их, сам знаешь, как кот наплакал, и в разгоне все, по батальонам. А у тебя ж орлы, одно слово — орлы, повернуться не успеем, как все сделают. А я их и обедом и ужином накормлю, по две порции дам! — И он просительно заглядывал в глаза Ляшко. — Ну как? Договорились? А? Ну не мучь меня.

Кончилось тем, что майор уговорил-таки Ляшко, дав клятвенное обещание — «вот тебе крест святой», и он три раза истово перекрестился, — что к двадцати четырем первый взвод будет на месте.

Второй и третий взводы уже ушли. Первый расположился в немецких артиллерийских землянках и зава-

лился спать. Один только Ленька, возбужденный происшествиями сегодняшнего дня, не мог заснуть. Приставал сначала к Антонову с различными вопросами, потом к Пстренко, они что-то бурчали ему в ответ невразумительное, наконец просто обложили матом, и Ленька стал слоняться по батарее, шупая и ковыряя пушки, пока его и оттуда не погнали. Забрался в сад, наелся кислых яблок до оскомины и бурчания в животе и прибил наконец к полковым разведчикам — удалым хлопцам в пестрых шароварах, расстегнутых гимнастерках и с кинжалами за поясом. Ночью они ходили в разведку, задержали на дороге заблудившийся немецкий грузовик, привели «языка» шофера и притащили два чемодана трофеев. Сейчас, устроившись в одной из землянок, дулись в очко на трофейные часы и прочее барахло. Ленька поставил единственную свою ценность, перочинный ножик с двенадцатью предметами, и через час выиграл двое часов — одни с черным, другие с желтым циферблатом, — самописку в зеленых разводах и бритвенный прибор в беленькой пластмассовой коробочке. Потом разведчики угостили его коньяком, и кончилось все тем, что он у них заснул, не заметив даже как.

Проснулся, когда стало уже темнеть. Разведчики ушли на какое-то свое задание, и в землянке был один только старшина, перебиравший взводное имущество. Ленька с перепугу, что все проспал, побежал к своим, а там набросился на него Петренко:

— Где тебя носило? Всю батарею обыскали, весь сад, с ног сбились... И уже наклюкался где-то. А ну, дохни.

Ленькадохнул.

— Так и есть. Без году неделя в батальоне, а уже номера выкидывает. Это что тебе — запасной полк, что ли, или боевая единица? Капитан пришел, где Богорад, спрашивает, а что я ему отвечу?

Ленька стоял, вытянув руки по швам, и молчал. И нужно ж ему было к этим лихим разведчикам попадать — занесла нечистая сила! — как раз когда капитан пришел. Не везет, ну просто не везет!

— А, нашелся, бродяга, — раздалось вдруг у него за спиной. Ленька вздрогнул, узнав голос капитана. — Где пропадал?

— Разведчики здесь рядом. К ним вот заскочил, —

самым, каким только умел, невинным тоном ответил Ленька.

— Водку хлестал с ними, а?

Ленька почувствовал, что краснеет.

— Ну, чего стесняешься? Угощали водкой?

— Коньяком...— еле слышно ответил Ленька.

Землянка чуть не развалилась от хохота.

— Это что ж, чтоб голова не болела? — Капитан указал на Ленькин бинт и присел на снарядный ящик.— Напиться есть у кого? Только не коньяку.

Несколько рук протянулось к капитану.

— Яблочки вот хорошие, кисленькие.

Петренко хлопнул по одной из рук так, что яблоки разлетелись в разные стороны.

— Отставить! И выкинуть их все к чертовой матери! И так все желудки порасстраивали. Палкой из кустов не выгонишь. Майборода, принеси-ка воды, там, около пушки, бачок стоит.

Капитан встал.

— Ладно. Шутки в сторону. Сколько у тебя людей, Петренко?

— Со мной десять.

— Оставишь себе шестерых, хватит по уши, а мне дашь Антонова, Тугиева и...— капитан обвел глазами землянку, поочередно останавливаясь на каждом,— ну и...— остановился на Леньке.— Здорово тебе в голову заехало?

— Да какое там здорово... Просто...

— Ясно. Зрение хорошее?

— Ничего.

— И ночью хорошо видишь?

— Вижу...

— Значит, этих троих — Антонова, Тугиева, Богорада — я беру с собой. А остальных веди на задание. Ох уж этот мне Сутырин — всю жизнь мечтал с ним воевать. Только чтоб к двенадцати все уже на месте были.

— А мы и за час управимся.— Петренко встал.— Дома еще ужинать будем.

— Ну все. Собирай людей. А вы трое — за мной!

Капитан вылез из землянки, осмотрелся и направился к яблоням. Солнце уже село, и в воздухе пахло сыростью. Группа солдат, устроившись под пушкой, вполголоса пела какую-то украинскую песню. На пушке сох-

ли кальсоны и рубашки. Откуда-то очень издалека доносилась гармошка.

— Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут... Садись, ребята. Закуривай.— Капитан сел под яблоню, ту самую, где было выцарапано «Б. Р. С.», и вытащил пачку «Казбека». Антонов даже языком щелкнул.

— Откуда это у вас, товарищ капитан?

— А ты не спрашивай, закуривай. Подарили люди добрые.

Антонов подмигнул Ленке — знаем, мол, что это за люди.

— А штуку эту придется тебе чем-нибудь замотать.— Капитан указал на Ленкин бинт.

— Можно и вообще скинуть.

— Не скинуть, а замотать, я сказал. В темноте, как фонарь, светит. К немцам сейчас пойдем. Прямо в логово ихнее. Ты вот вблизи их никогда не видал. Надо ж посмотреть, правда?

— Надо,— без особой уверенности ответил Ленка. Капитан улыбнулся.

— Ну, не к самим немцам, но, в общем, поближе к ним. Завтра предполагается операция маленькая, ну и нам с вами надо на двух участках проверить, нету ли полей минных. И повернуться должны как можно быстрее, чтоб вторая рота успела сделать проходы. Бурлин придет сюда к двенадцати — значит, в нашем распоряжении три, максимум четыре часа. Ясно?

— Ясно,— ответил Антонов.— А далеко идти?

— Сейчас узнаешь. Возьмешь Тугиева, я — Богорада. Твой участок — дорога на Голую Долину, мой — левее, где разрыв между рощами. От передовой до немцев — метров триста: значит, до мин — метров двести — двести пятьдесят. За три часа должны успеть. Каждому взять по две гранаты «РГД» и проверить автоматы. Финки тоже с собой взять. На все это даю пятнадцать минут. Сбор здесь, у яблони. Шагом марш!

Все трое пошли в землянку.

— Ты за ним следи, за капитаном,— шепотом сказал Антонов.— Он знаешь какой? Обязательно во что-нибудь впутается.

— Как это впутается? — не понял Ленка.

— А уж придумает как. «Языка» захочет притащить

или что-нибудь в этом роде. Так ты не давай. Время, говори, истекает, рота ждет.

— Да он же и сам знает, что ждет.

— Знать-то знает, но и я его знаю. Ты думаешь, из штаба приказали именно ему идти? Сказали — послать офицера, вот и все, а он возьми да и сам. Шило у него в одном месте торчит.

Когда вернулись к яблоне, капитан сидел в той же позе, только с картой на коленях, и что-то мерил на ней циркулем.

— Ну что, все готово?

— Все, товарищ капитан.

— Пошли тогда.

— Это вам.— Антонов протянул две гранаты.— Свеженькие, краской еще пахнут.

Капитан подвесил гранаты на пояс, заправил гимнастерку и протянул руку Тугиеву, затем Антонову.

— Ни пуха ни пера.

— Вам того же,— улыбнулся Антонов. Тугиев, как всегда, молчал.— И помните, что Бурлин в двенадцать придет.

— Помню. А что?

— А ничего. Просто так.— Антонов опять улыбнулся и пожал Леньке руку.— Навалило на тебя сегодня, только держись.

Они расстались и пошли в разные стороны: Антонов с Тугиевым — мимо пушек по дороге, Ленька с капитаном — прямо через кустарник.

8

Почему Орлик выбрал Богорада, а не кого-либо из более опытных ребят, он и сам не знал. Когда шел из расположения батальона на передовую, он твердо решил — Антонова послать с Тугиевым, а Петрова с Вахрушевым. В разведке они бывали не один раз, ребята все опытные, бывалые, сталинградцы. Да и сам-то он вовсе не собирался идти — дивинженер так и сказал (Антонов был прав): «Пошлите кого-нибудь из командиров рот, или нет, даже из командиров взводов, только потолковее». А вот пришел в землянку, глянул на Богорада — стоит смущенный, мнется, и с коньяком этим самым умора,— как-то само собой в голову пришло: а почему не

послать его? «Ей-богу, может, и неплохой разведчик получится — парень расторопный, сообразительный, как будто не трус, а с разведчиками сейчас как раз особенно туго стало, из солдат только Вахрушев и Тугиев остались. Надо и им смену готовить. Возьму да пошлю».

И тут же вдруг захотелось и самому пойти. «Проследжу-ка за Богорадом, как он там со всем этим делом справляется. Да и вообще осточертели все эти землянки да блиндажи для начальства, будь они трижды прокляты». Так и решил — с собой Богорада взять, а Антонова с Тугиевым послать.

Сейчас они шли через кустарник — до передовой было около километра, — и где-то, невидимые, заливались кузнечики, и над самой головой стремительно проносились ласточки.

— Мессера... — улыбнулся Ленька. — Может, и дождь будет, больно низко летают. — И, пройдя несколько шагов, добавил: — Давно дождя не было. Земля вишь как потрескалась.

Дождей действительно давно уже не было — с той ночи, пожалуй, когда Ленька попал в батальон. Трава совсем выгорела, стала сухой и желтой. Ленька наклонился, взял горсть земли и растер ее между пальцами.

— Вон и червяк похудел. Посмотри, какой стал. — Он протянул руку капитану и пересыпал ему в ладонь сухую, как порошок, землю. — Дать ему, что ли, напиток из фляжки?

Орлик посмотрел на часы.

— Присядем-ка. Подождем, пока совсем стемнеет, — Он почувствовал, что с Леньки соскочила его обычная скованность, и захотелось поговорить с ним.

— Что ж, подождем... — Ленька с готовностью согласился и сел под кустом, поджав ноги по-турецки.

Орлик сел рядом и, стянув сапог, стал перематывать портянку.

— Тихо как, а? — шепотом, очевидно чтобы не нарушить этой самой тишины, сказал Ленька, и тут же, как будто нарочно, совсем рядом шелкнул миномет, и мина, просвистев над их головами, разорвалась где-то позади.

Капитан глянул уголком глаза на Леньку.

— Не боишься уже?

— Кого?

— Да мин.

— Мин? — Ленька пожал плечами, потом спросил:—
А вы?

Капитан улыбнулся.

— Я с ними давно уже знаком. Вот здесь вот,— он хлопнул себя по ноге, чуть выше колена,— три осколка берегу... А первые недели на фронте кланялся довольно-таки усердно.

— А вы давно воюете?

— С самого начала. С июня сорок первого.

— И теперь совсем уже не боитесь?

— Чего?

— Ну вот идти сейчас на задание хотя бы...

Орлик опять улыбнулся.

— А ты хитер, я вижу, в контратаку перешел. Ну как тебе сказать? — Он стал подыскивать подходящее объяснение, но никак не мог найти.— И да и нет как-то...

— Вот и я так думаю. Шел вот и думал. Человек, ведь он не хочет умирать, правда? А раз не хочет, то это уж и значит, что боится. Правда?

— Ну, допустим, что так...

— А идти надо, вот как нам сейчас с вами. А может, нас убьют или покалечат, а мы все-таки идем. И вообще...

Ленька вдруг умолк, поймал муравья и стал его рассматривать.

— Что вообще?

— Ну так, вообще... Воюешь вот, воюешь, а с кем и не знаешь...

— То есть как это — не знаешь? — Орлик даже удивился.— Два года воюем, а ты и не знаешь?

— Ну, не то что не знаю... Знаю, конечно. Знаю, что есть Гитлер, фашисты, что они хотят всю Россию завоевать и весь мир... Но раньше, лет сто или двести назад, не так было, правда? Сойдутся два войска и дерутся. Он тебя, а ты его — кто кого. А теперь...— Ленька сдунул муравья с ладони и посмотрел, куда он упал.— Убило вот недавно у нас Сучкова. Когда минное поле ставили. Вы его знаете, высокий такой. с нашего взвода. Прилетела мина и убила. А он живого фрица ближе как за триста метров никогда и не видел. Да и я тоже...

— Ну, это счастье успеешь еще увидеть,— сказал Орлик и с силой всунул ногу в тонкий хромовый сапог, но тут же вытянул ее.— А ну, дай-ка мне свой ножик знаменитый, торчит там пакость какая-то, гвоздь, что ли...

Ленька вынул нож, открыл отвертку и протянул капитану.

— Этим лучше всего.

Капитан стал возиться с гвоздем, и Ленька умолк. А ему хотелось еще о многом поговорить. Ну что это за война? Все с воздуха прилетает. Вот сейчас хотя бы: кругом тишина, красота, ласточки летают, жучки разные ползают, и вдруг, откуда ни возьмись, прилетает кусок железа — и прямо в тебя. И даже неизвестно, кто выстрелил... Или минное поле... Прячешь в землю ящики с толом и старательно-старательно их маскируешь травой, веточками там разными, и все это, чтоб обмануть. А потом сами подрываемся, как в тридцать третьем полку было два дня назад... И вообще, кто это войну выдумал? И когда самая первая, самая-самая первая война произошла? Лет тысячу назад, или две, или больше? И из-за чего она началась? И еще хотелось Леньке сказать о другом. О том, что идет он вот сейчас вместе с ним, с капитаном, на свое первое задание и конечно же ему страшно, но пусть капитан не беспокоится, он выполнит любое его приказание, даже больше, а если они столкнутся вдруг с немцами... Пусть, пусть столкнутся, он даже хочет этого — он не подкачает, он с любым фрицем справится, он видел, когда шел на фронт, в одном селе повешенных немцами партизан, пять человек, и среди них девушка, совсем молоденькая девушка, лет семнадцати-восемнадцати, не больше... И еще о многом хотел сказать и спросить Ленька, именно здесь, в лесу, когда рядом никого нет, только они вдвоем с капитаном, но капитан не слушал его, старательно всовывал ногу в сапог, а потом встал и веселым своим голосом сказал:

— Ну что, философ, пошли, что ли? — И протянул ему нож, знаменитый нож с двенадцатью предметами. — Хорошее оружие. Где достал?

Ленька спрятал нож в карман.

— В Свердловске еще, на толкучке. На сахар выменял.

Несколько минут шли молча — Ленька впереди, капитан сзади. Он нарочно отстал. Ленька шел, тихо раздвигая кусты, придерживая правой рукой автомат, чтобы не стучал о запасной магазин. Вид у него уже был самый что ни на есть заправский — обмотки в самом низу, не доходя до икры, гимнастерка кургузая, ладони на полторы ниже пояса, ремень матросский с якорем на

бляхе (у разведчиков выменял), пилотка крохотная на самом ухе и, несмотря на жару, суконная — тоже особый шик. «Еще бы парочку медалей, — подумал Орлик, — и кто бы сказал, что парень и месяца на фронте не провёл».

Ленька повернулся и спросил вдруг:

— Можно вопрос задать, товарищ капитан?

— Чего ж нельзя? Задавай.

— Это правда, что вы водки не пьете?

— Вот те раз! — Капитан даже рассмеялся. — Откуда ты это взял?

— Бойцы говорят.

— Бойцы, бойцы... Что ж, по-твоему, я перед строем этим делом заниматься должен, так, что ли? И вообще, почему это тебя интересует?

— А так...

— То есть как это — так?

— Ну просто... — Ленька несколько замялся. — Я не знаю, правда, может, солдату и нельзя с офицером, но я вот, товарищ капитан, очень хотел бы с вами выпить... честное слово.

Капитан весело рассмеялся и обнял на ходу Леньку за плечи.

— А что, нельзя? — спросил Ленька.

— Почему нельзя? Все можно, гвардии рядовой. Дай только до Берлина дойти.

Где-то впереди и левее заскрежетал «ванюша», и в фиолетово-прозрачном еще на западе небе медленно, одна за другой, обгоняя друг друга, пролетели огненные кометы. Потом загромыхало где-то сзади.

— У-у... сволочи! — выругался Ленька и остановился. Кустарник кончился. — Теперь куда?

— Теперь финку в зубы, на живот — и за мной.

Ленька не мог вспомнить потом, сколько времени они проползли — час, два, а может, и всю ночь. Не мог вспомнить и о чем он думал тогда и было ли ему страшно. Полз, и все — капитан впереди, он сзади. Сердце только сильно стучало, и он все боялся, что капитан услышит и выругает его потом, и поэтому сдерживал за чем-то дыхание — может, меньше стучать будет, но сердце все стучало и стучало и в груди, и в голове, и в руках, и в ногах — везде... Один раз они попали в какое-то болотце, промокли, и капитан еле слышно сказал «левее», и они стали огигать его слева. Потом попали в лесок или

рощицу — вероятно, ту самую, которую он рассматривал когда-то в бинокль.

«Ого, как далеко заперли», — мелькнуло у Леньки в голове. Ползти было неудобно: с непривычки болели колени и локти, от финки сводило челюсти, мешали гранаты и запасной магазин. Но он все полз и полз, боясь отстать от капитана, перебирая руками и ногами, глотая слюну и прислушиваясь к окружающей тишине.

Наконец, слава богу, повернули назад.

Никаких мин нигде не обнаружили. И немцев тоже. Черт его знает, куда они делись, — даже ракет никаких.

Попали на знакомое болотце, обогнули его. Впереди, в темноте, наметились смутные очертания двух расщепленных снарядами груш — до своих, значит, уже недалеко. И вдруг... Капитан остановился. Ленька чуть не ударился носом о его сапоги. Как был с протянутой рукой, так и застыл. Где-то правее, шагах в двадцати, слышны были голоса. Кто-то говорил сдавленным шепотом, кто-то отвечал. Потом умолкли. Ленька впился в темноту так, что в глазах поплыли зеленые круги. Как будто курит кто-то. Мелькнул огонек и погас. Ленька почувствовал, как в нем все сжалось и напряглось. Сердце уже не стучало — оно тоже притаилось. Во рту пересохло. Он вынул изо рта финку, подтянул правую ногу, потом левую, беззвучно подполз к капитану. Тот, не поворачивая головы, нащупал Ленькину руку и крепко сжал ее. Ленька понял... Медленно, затаив дыхание, пополз в сторону огонька.

9

Ленька лежал на траве и смотрел широко раскрытыми глазами в небо — черное, без единой звездочки. Сильно болела шея. Большой палец на левой руке был вывихнут и распух. Гимнастерка и даже майка распороты ножом сверху донизу. Нож прошелся по груди и животу, но как-то странно, оставив только легкую, даже не кровоточащую царапину. Немец оказался очень сильным, и Ленька долго возился с ним, пока тот не притих окончательно.

Капитан ушел куда-то докладывать о результатах разведки. Кругом было тихо — чуть-чуть только шумели сосны над головой и откуда-то издали доносилось ржание лошади. Лейтенант Ляшко с ребятами давно

ушли. Ленька остался один. Полк был чужой: кроме разведчиков, он в нем никого не знал, да и вообще ему сейчас никого не хотелось видеть. Почему-то все время трясло мелкой противной дрожью. И шея болела. Трудно было голову повернуть.

Мимо прошел боец. Ленька окликнул его и попросил спичек. Тот дал. Ленька чиркнул и, заслонив огонек ладонями, еще раз внимательно осмотрел финку. Нет, крови на ней не было. Значит, когда он ударил немца, он попал в ранец или противогаз. И все-таки он ткнул несколько раз финку в землю, потом старательно обтер ее краем гимнастерки.

...Немец почти сразу же выбил у него из рук финку. Потом они долго молча катались по траве. Потом... Ленька опять задрожал. Он встал и, вскинув автомат на плечо, пошел по лесу. Шагов через двадцать столкнулся с капитаном. Было темно, но капитан сразу узнал его.

— Ты куда?

Ленька ничего не ответил.

— А я за тобой. Начальству доложено, Бурлина назад отправил с Антоновым и Тугиевым, а нам с тобой можно и передохнуть.— Капитан слегка толкнул Леньку в спину.— Пошли.

Ленька не спросил куда, решил, что в расположение, но, миновав дальнобойную батарею, капитан повернул не направо, а налево, к артиллерийским землянкам.

— Кто идет? — раздался в темноте хриплый голос.

— Ладно, ладно, свон.— Капитан даже не убавил шагу.— Темнота эта чертова... Какая тут инженера землянка? Эта, что ли?

После лесной непроглядной тьмы в землянке казалось ослепительно светло. В глубине, за самодельным столиком, в расстегнутой гимнастерке сидел капитан Богаткин, листал журнал. В углу храпел связист.

— Вот он, наш герой,— весело сказал Орлик, входя.— Леонид Семенович Богорад. Прошу любить и жаловать.

— А мы уже знакомы.— Инженер устало улыбнулся и встал.— А вид действительно геройский.

Ленька только сейчас вспомнил, что гимнастерка на нем разорвана, и торопливо стал засовывать ее в штаны.

— Постой, постой, герой! — Инженер подошел к нему и провел пальцем по твердому, покрытому пушком

Ленькиному животу.— Это что, раны боевые? Давай-ка мы их зеленкой. У нас тут все есть.

Он по всем правилам намотал на спичку вату, окунул ее в пузырек и нарисовал на Ленькином животе яркую зеленую полосу от ключицы до пупка.

— Повезло тебе, брат. Все внутренности сохранил. Пригодятся еще. А теперь застегивайся и садись.

Ленька запахнул гимнастерку, как халат, и вправил ее в штаны. Гранаты и запасной магазин снял с пояса и положил рядом с автоматом в углу.

— Ну чего ты там возишься? — окликнул его Орлик.— Иди-ка сюда. Покажу тебе нового твоего знакомого.

Ленька, продолжая вправлять гимнастерку, подошел к столу.

— Узнаешь? — Орлик протянул фотографию.

На маленькой карточке с неровными, точно оборванными, краями улыбался курносый, с вихорком на лбу, светлоглазый парень в расстегнутой белой рубашке. Орлик бросил на стол еще две карточки. На одной тот же парень, в одних трусах, на пляже, сидит, обхватив руками колени, рядом — девушка в купальном костюме и резиновой шапочке. На второй — старик в высоком воротничке, старушка и тот же парень и та же девушка: он в пиджаке и галстуке, тщательно причесанный, без вихорка, она в светлом платье, с цветком в волосах.

Ленька поднял глаза на капитана. Тот весело смотрел на него и, собрав карточки, держал их сейчас веером в вытянутой руке.

— Иоганн-Амедей Гетцке. Обер-ефрейтор. Родился в городе Мангейме в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Убит на русском фронте в тысяча девятьсот сорок третьем году в районе Голой Долины, в ночь на... Какое сегодня число, Богаткин?

— Двадцать пятое, — сказал инженер.

— В ночь на двадцать пятое июля убит советским солдатом Леонидом Богорадом... Узнаешь теперь, солдат?

Ленька, не отрываясь, смотрел на карточку, на улыбающееся, веселое, курносое лицо. Там, в поле, у разбитых снарядами груш, он не видел этого лица. Но эту шею, крепкую круглую шею... Он отвернулся, он не мог на нее смотреть.

Орлик был весел и говорлив. После всего происшед-

шего он испытывал нервное возбуждение, и сейчас ему хотелось говорить, действовать, быть активным.

— А ну, хозяин, не жмись, не жмись. Вываливай на стол все свои богатства.

Он быстро и ловко очистил стол от бумаг и папок, покрыл его газетой.

— Тебе б такого ординарца, Богаткин, а? Возьми к себе, не пожалеешь.

Богаткин известен был на всю дивизию тем, что, как он сам говорил, не признавал «института денщиков»,— сам подшивал себе подворотнички, стирал носки, носовые платки. Сейчас он деловито, по-хозяйски, вытер полотенцем граненый стакан, крышку от фляжки и стаканчик для бритья, потом достал из-под стола две бутылки коньяку и, тоже обтерев их полотенцем, поставил на стол. Орлик со знанием дела стал разглядывать этикетки.

— Неважные у тебя, брат, саперы. Могли бы и французский достать.— Двумя ловкими ударами он выбил пробки и понюхал горлышко.— Нет, ничего, жить можно. А закуска?

Богаткин положил на стол плитку шоколаду в коричневой с золотом обертке и плоскую баночку сардин. Орлик прищелкнул языком.

— Живем, Богорад. Тут у нас целый интернационал — коньяк венгерский, шоколад швейцарский, сардины португальские. Ел когда-нибудь сардины, сознайся? Пальчики оближешь. Да оторвись ты от этих карточек. На Гретхен златокудрую загляделся.

Ленька молча протянул фотографию.

— А бабка ничего, а? — Орлик, прищутив один глаз, посмотрел на фотографию.— У покойничка, видать, губа не дура была...

Ленька исподлобья глянул на капитана и опустил глаза.

— Не надо так, товарищ капитан...

Но капитан не расслышал или сделал вид, что не слышит, подошел к столу, взял стаканы и протянул один Леньке.

— За твое огневое крещение, Леонид Семенович! За вторую твою боевую ночь.

Ленька молча стоял, опустив голову.

— В первую ты познакомился с минами. И с нами. А во вторую — с этим самым, с Гетцке... Ну, чего при-

уныл? — Капитан взял его за подбородок. — Пей, развесишься.

Ленька отрицательно мотнул головой.

— Ты что, болен? Богаткин, дай-ка градусник. Ей-богу, он заболел.

— Разрешите идти, товарищ капитан, — очень тихо сказал Ленька.

— Куда? — Орлик стоял перед Ленькой, держа в одной руке бритвенный, в другой граненый стакан, оба полные до краев. — Куда идти?

— Никуда... Подожду вас снаружи.

— Но ты ж сам еще вечером, когда мы шли на задание...

Ленька поднял голову и посмотрел капитану в глаза.

— Разрешите идти, товарищ капитан, — так же тихо, настойчиво повторил он.

Капитан круто повернулся, подошел к столу, поставил стаканы, постоял так несколько секунд, потом, не поворачиваясь, сказал «иди» и, когда Ленька вышел, залпом, не чокнувшись, выпил полный стакан.

Орлик долго стоял над спящим Ленькой. Свернувшись калачиком, он лежал под кустом, сжав коленями автомат и совсем по-детски подложив под щеку сложенные ладони. Во сне он шевелил губами, вздрагивал. И вокруг на траве, в кустах лежали такие же ребята, укрытые шинелями, телогрейками, по двое, по трое, прижавшись друг к другу, и всем им что-то снилось, и все они что-то бормотали, вздыхали во сне.

Был четвертый час, начинало уже светать, но птицы еще не пели, самолеты еще не появились. И хотя именно сейчас надо было идти к себе в батальон, Орлику жалко было будить этого спящего мальчика, так крепко сжавшего коленями автомат. А может, не только жаль, может быть, он просто оттягивал ту минуту, когда этот мальчик проснется, откроет глаза и посмотрит на него.

«Цвирик... цвирик... цвирик...» Проснулась первая птичка. «Цвирик... цвирик...»

Ленька поежился, почмокал, повернулся на спину, почесал голый живот, потом потер нос, зевнул и открыл глаза. И в глазах этих было сейчас только детство, только небо, только невероятное желание спать.

«Цвирик... цвирик... цвирик...»

«Новый мир», 1960, № 5

«НИГИЛИСТ»

Носил он брюки узкие,
читал Хемингуэя.
«Вкусы, брат, нерусские...» —
внушал отец, мрачней.

Спорил он горласто,
споров не пугался.
Низвергал Герасимова,
утверждал Пикассо.

Огорчал он родственников,
честных производственников,
вечно споря с ними
вкусами такими.

Поучали родственники:
«За модой не гонись!»
Сокрушались родственники:
«Наш-то — нигилист!»

На север с биофаковцами
уехал он на лето.
У парня биография
оборвалась нелепо.

Могилы есть простая
среди гранитных глыб.
Товарища спасая,
«нигилист» погиб.

Его дневник прочел я.
Он светел был и чист.

Не понял я: при чем тут
прозвание «нигилист».

«Юность», 1960, № 12

БАБИЙ ЯР

Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.

Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас —

я иудей.

Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус —

это я.

Мещанство —

мой доносчик и судья.

Я за решеткой.

Я попал в кольцо.

Затравленный,

оплеванный,

оболганный.

И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.

Мне кажется —

я мальчик в Белостоке.

Кровь льется, растекаясь по полам.

Бесчинствуют вожди тракторной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.

Я, сапогом отброшенный, бессилён.

Напрасно я погромщиков молю.

Под гогот:

«Бей жидов, спасай Россию!» —
лабазник избивает мать мою.

О, русский мой народ!

Я знаю —

ты

по сущности интернационален.

Но часто те, чьи руки нечисты,

твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло,
 что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется —
 я — это Анна Франк,
прозрачная,
 как веточка в апреле.
И я люблю.
 И мне не надо фраз.
Мне надо,
 чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть,
 обонять!
Нельзя нам листьям
 и нельзя нам неба.
Но можно очень много —
 это нежно
друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут?
 Не бойся — это гулы
самой весны —
 она сюда идет.
Иди ко мне.
 Дай мне скорее губы.
Ломают дверь?
 Нет — это ледоход...
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
 по-судейски.
Все молча здесь кричит,
 и, шапку сняв,
я чувствую,
 как медленно седею.
И сам я,
 как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я —
 каждый здесь расстрелянный старик.
Я —
 каждый здесь расстрелянный ребенок.

ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ

РОМАН

Часть первая

ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я ЧЕЛОВЕК ЛОЯЛЬНЫЙ. Когда вижу красный сигнал «стойте», стою. И иду только, когда увижу зеленый сигнал «идите». Другое дело — мой младший брат. Димка всегда бежит на красный сигнал. То есть он просто всегда бежит туда, куда ему хочется бежать. Он не замечает никаких сигналов. Выходит из булочной с батоном в хлорвиниловой сумке. Секунду смотрит, как заворачивает за угол страшноватый сверкающий «Понтиак». Потом бросается прямо в поток машин. Я смотрю, как мелькают впереди его чешская рубашка с такими, знаете ли, искорками, штаны неизвестного мне происхождения, австрийские туфли и стриженная под французский ежик русская голова. Благополучно увильнув от двух «Побед», от «Волги» и «Шкоды», он попадает в руки постового. За моей спиной переговариваются две старушки:

— Сердце захолонуло. Ну и психи эти нынешние!

— Штаны-то наизнанку, что ли, надел? Все швы наружу.

Зажигается зеленый свет. Я пересекаю улицу. У будки регулировщика Димка бубнит:

— И паспорта нету и денег...

Я плачу пять рублей и получаю квитанцию. Дальше мы идем вместе с моим младшим братом.

— Чудак,— говорит он мне,— деньги мильту отдал. Вот чудак!

— Увели бы тебя сейчас,— говорю я.

— Как же, увели бы!..

Димка свистит и смотрит по сторонам. Бросает пятак газировщице, пьет «чистенькую». Я жду, пока он пьет. Идем дальше. Приближаемся к нашему дому.

— Как диссертация? Назначили оппонентов? — спрашивает Димка.

— Да, назначили.

— Хорошие ребята?

— Кто?

— Оппоненты — приличные ребята? Не скоты?

— Классные ребята, — в тон ему усмехаюсь я, вспоминая оппонентов.

— Ну, блеск! Поздравляю. С тебя причитается.

Мы входим в наш дом, поднимаемся по лестнице.

— Чем сегодня кормите? — спрашиваю я.

— Не беспокойся, все твое любимое, — язвительно отвечает Димка. — Уж мы с мамочкой постарались. «Витенька любит печенку» — и я иду за печенкой. «Ему сейчас нужны витамины» — и еду на рынок за витаминами для вас, сэр. «Он терпеть не может черствого хлеба» — и я бегу в булочную. Советские ученые могут спокойно работать, не беспокоясь насчет еды. Вот в чем секрет наших успехов. Я обеспечу вам калорийную пищу, дорогие товарищи, я, скромный работник кастрюли! Только поскорее придумайте, как забросить человека в космос, и забросьте меня первым. Мне это все надоело.

Он стал мрачно острить, мой младший брат. Мама все время пытается воспитывать его на моем положительном примере. Всякий раз, когда мы собираемся за столом всей семьей, она начинает курить мне фимиам. Оказывается, я стал человеком благодаря трудолюбию и настойчивости, которые проявлялись у меня в раннем детстве. «Без пяти минут человеком», — говорит отец, намекая на еще не защищенную диссертацию. Тогда Димка начинает ехидничать. «Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан!» — хохочет он. Несколько лет назад, когда я играл в водное поло в команде мастеров, Димка боготворил меня. А сейчас я даже не знаю, как он ко мне относится. Димка недоволен своей жизнью. Вот злится, что мать гоняет его за покупками. Я могу сказать ему, что маме надо помогать, что я сам бы помогал ей, если бы больше бывал дома, что он напрасно опустил руки и тянет выпускные экзамены на сплошные тройки, ведь надо подумать и о будущем, и вообще-то, старик, действительно надо быть немного пона-

стойчивее. Но я не говорю ему ничего. Я только смеюсь и хлопаю его по спине. И мрачная маска, такая смешная на его семнадцатилетнем лице, сползает. Он улыбается и говорит:

— Слушай, старик, не подкинешь ли ты мне четвертную?

Я подкидываю ему «четвертную».

После обеда я ухожу в свою комнату и сажусь к окну бриться. Бреюсь и поглядываю в окно. Через двор напротив сидит у окна и бреется закройщик дядя Илья. А внизу, под моим окном, бреется лицо свободной профессии — мастер художественного слова Филипп Громкий. Я услышал зловещее гудение его электробритвы за несколько секунд до того, как включил свою.

У нас внутренний четырехугольный двор. В центре маленький садик. Низкий мрачный тоннель выводит на улицу. Наш папа, старый чудака, провожая гостей через двор, говорит: «Пройдем через патцию». А проходя по нашим длинным, извилистым коридорам, он говорит, что один воин с кривым ятаганом сможет сдержать здесь натиск сотни врагов. Таким образом он выражает свою иронию по отношению к нашему дому, который до революции назывался «Меблированные комнаты «Барселона». Я поселился здесь двадцать восемь лет назад, сразу же после выхода из роддома. Спустя одиннадцать лет то же самое сделал Димка. В нашем доме мало новых жильцов, большинство — старожилы. Вот появляется изпод арки пенсионерка княжна Бельская. Она несет бутылку кефира. Ее сухие ноги в серых чулках похожи на гофрированные трубки противогаса. Много лет княжна проработала в регистратуре нашей поликлиники и вот теперь, как всякий трудящийся, пользуется заслуженным отдыхом.

Это час возвращения с работы. Торопливой походкой заочника проходит шофер Петя Кравченко. Пробегают две девушки — Люся и Тамара, продавщицы из «Галантерей». Один за другим проходят жильцы: продавцы, и рабочие, и работники умственного труда, похожие на нашего папу. Есть среди наших жильцов и закоренелые носители пережитков прошлого: алкоголик Хромов, спекулянт Тима и склочница тетя Эльва. Преступный мир представляет недавно вернувшийся из мест не столь отдаленных Игорь-Ключник.

Все эти люди, возвращаясь откуда-то от своих дел,

проходят в четыре двери и по четырем лестницам проникают внутрь нашей доброй старой «Барселоны», теплого и темного, скрипучего, всем чертовски надоевшего и каждому родного логова.

Я выключаю электробритву и смотрю на себя в зеркало.

Я выгляжу точно на 28 лет. Почему-то никто никогда не ошибается, угадывая мой возраст.

Под окном — посвистывание. По двору прогуливается друг и одноклассник моего Димки, Алик Крамер. Я вижу сверху его волосы, разделенные сбоку ниточкой пробора, очки, фестивальный платок на шее и костлявые плечи, обтянутые джемпером. Появляется Димка. На нем вечерний костюм и галстук-бабочка. Одетый точно так же, подходит верзила-баскетболист Юрка Попов, сын нашего управдома. Компания закуривает. Я прекрасно помню, как приятно курить, когда наконец отвоюешь это право. И ребята, видно, наслаждаются, закуривая на глазах всего дома. Но они очень сдержанны, немногословны, как истинные денди. Забавно! Впрочем, и мы были такими же примерно.

— Как дела, Юрка? — спрашивает Алик. — Поверг ты наконец реактивного Галачьяна?

— Ты же знаешь мои броски с угла, — отвечает Юрка.

— Я знаю также его проходы по центру.

— Я его зажал сегодня, — говорит Юрка. Забыв про новый костюм, он показывает, как проходит к щиту его соперник Галачьян, тоже кандидат в сборную, и как он, Юрка, зажимает его. Алик убеждает Юрку играть так, как играет всемирно известный негр Уилт Чемберлен. Димка прерывает их:

— Планы на вечер есть?

Юрка поправляет галстук и огорченно говорит:

— Конь мой сегодня дома.

Конь — это значит отец. Великая радость, когда уходит конь. Ребята бросаются к телефонам: «Хата есть!» Приезжают смиренные девочки, одноклассницы. Танцуют. Кто-то на секунду выключает свет. Ребята лезут целоваться. Девочки визжат.

— Пойдемте в кафе, — предлагает Димка.

— В кафе! — свистит Юрка. — У меня всего десятка.

— Я тоже сегодня стеснен в средствах, — говорит Алик, — двенадцать.

— Сорок, — небрежно бросает Димка.

Немая сцена под окнами.

— Мать дала пятнадцать,— поясняет Димка,— а четвертную... четвертную вчера выиграл в бильярд.

— Разогни,— говорит Юрка.

— Не веришь? Выиграл у одного режиссера.

— У какого же это режиссера? — изумляется Алик. Он постоянно снимается в массовках на «Мосфильме», пишет сценарий и говорит: «У нас, в мире кино...»

— У молодого режиссера,— говорит Димка спокойно.— Забыл фамилию.

Я высовываюсь из окна.

— Добрый вечер, джентльмены! Куда собираетесь? На бал или в бильярдную?

У Димки падает изо рта сигарета. Мне почему-то хочется немного поиздеваться над ним.

— Виктор, Димка тут погибает, что у режиссера выиграл,— говорит Юрка.

— Конечно,— отвечаю я.— Дима — молодец! Не так просто выиграть в бильярд у режиссера.

— Это смотря у какого,— глубокомысленно замечает Юрка.

— У любого,— говорю я.— Правда, Алик? Что у вас, в мире кино; думают по этому поводу? Легко выиграть у режиссера?

— Практически невозможно,— отвечает Алик.

— А вот Дима выиграл. Горжусь своим младшим братом. Все бы вы были такими.

— Галка идет,— мрачно говорит Димка и тайком показывает мне: «Заткнись!»

Цок-цок-цок. На каблучках-гвоздиках подходит Галина Бодрова, прелестная девица современной конструкции. Мне очень нравится Галинка. Все светлеет вокруг, когда она появляется. По-моему, даже Димкина физиономия светлеет, когда появляется Галя. Когда-то они дрались здесь же, под этими окнами.

— Привет, мальчишки! — говорит Галя.— Здравствуйте, Виктор! — машет мне рукой.

Я улыбаюсь ей. Димка смотрит на меня с угрозой. Он боится, что я продолжу разговор о режиссере.

— У миледи новое платье,— говорит Алик.

— Нравится? — Галка делает круг, как манекенщица.

— Это кстати,— говорит Юрка,— мы сегодня в кафе потянемся.

— Нет,— говорит Галя,— мы пойдем в кино. Я хочу посмотреть новую картину «Весенние напевы».

— Ха! — Алик полон пренебрежения.— Очередная штамповка!

— А я хочу ее посмотреть!

— Алька прав,— говорит Димка,— нечего там смотреть. Сплошные напевы. Хоровые напевы, танцы и поцелуйчики.

— А чего тебе еще надо, Дима? — спрашивает Галя и смотрит на него.

— Мне? — Димка смущен.— Что мне надо?

— А тебе что нужно, Алик?

— Мне нужен психологизм,— обрезает Алик.

Мне становится немного жаль Димку. Алик вот твердо знает, что ему нужно. Психологизм ему нужен. А Димка, бедняга, не знает. Особенно когда Галя вот так смотрит на него.

Юрка вынимает из кармана монету.

— Ну что ж. Кинем?

Монета взлетает вверх почти до моего окна.

— Орел! — кричит Галя.

— Решка! — говорит Димка.

Все бросаются к упавшей монете. Галя весело хочет и хлопает в ладоши. Ничего не поделаешь: фатум! Придется идти смотреть новую кинокомедию «Весенние напевы», штампованную и лишенную психологизма. Я слышу, как Галя тихо говорит Димке: «Тебе не везет в игре»,— и вижу, как Димка краснеет. Когда они все проходят под арку, я кричу:

— Дима, ты не знаешь фамилии режиссера этой комедии? Как он в смысле...

Димка выскакивает из-под арки и показывает, как он, вернувшись домой, свернет мне шею.

СЕГОДНЯ СУББОТА. Я повязываю галстук и отправляюсь на свидание с Шурочкой. Шурочка — это моя невеста. Прошу прощения за несовременный термин, но мне нравится это слово: «невеста».

Я замешкался на углу, и теперь приходится пережидать бесконечный поток машин. А Шурочка уже вышла из метро и стоит на другой стороне. Ловлю себя на том, что опять рассматриваю ее. Определенно, она мила, эта девушка в узком красном платье. Чрезвычайно мила и

одета со вкусом. Я знаю, что когда мне не захочется рассматривать ее вот так, словно мы чужие, тогда я на ней женюсь. Черт возьми, долго это будет продолжаться? Жизни нет из-за этих машин. Там, на другой стороне, какой-то длинный сопляк осмотрел Шурочку, словно лошадь, и хихикнул. Подошли еще двое. Я побежал через улицу.

Длинный взял Шурочку за руку, и в этот момент я отшвырнул его плечом.

— Пойдем, Витя,— сказала Шурочка,— пойдем.

Я повернулся к парням. У всех троих вместо галстуков висели на шее шнурки, а один был даже с усиками. Мой Димка ни за что не нацепил бы на себя шнурок. Все что угодно он может нацепить на себя, но не такую похабную веревочку. Парни смотрели на меня, словно прикидывали, на что я способен. Потом они поскущтели и равнодушно отвернулись.

Мы входим в парк. Я люблю красные дорожки парка, и его аккуратные клумбы, и фонтаны, и лебедей, люблю ходить по аллеям и останавливаться возле киосков, аттракционами пользуюсь изо всех сил и пью пиво, люблю ходить в парк вместе с Шурочкой.

У входа возле столба с репродуктором стоит толпа. Лица у всех какие-то одинаковые.

— Любого агрессора, проникшего на нашу священную, обильно смоченную кровью землю, ждет плачевная участь. Мы имеем в распоряжении достаточно сил и средств для того, чтобы...

Я слушаю голос диктора и смотрю вокруг на лица людей. Потом смотрю вдаль, где на фоне вечернего неба вращается гигантское «колесо обозрения». В шестидесяти четырех кабинках этого колеса сейчас беспечно хохочут и ойкают от притворного страха люди. Из глубины парка несется джазовая музыка, движется колесо, и движется весь наш шарик, начиненный загадочной смесью, движется парк, и мы движемся, люди в парке. Там мы смеемся, а здесь мы молчим. Соотношение всех этих движений — попробуй разобраться. Джаз и симфония. Вот оно, наше небо, пригодное для фейерверка и для взлета больших ракет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Я люблю этот город вязевый.
Пусть обрюзг он и пусть одрях,
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах,—

вспоминаю я, наблюдая бесконечную карусель машин на привокзальной площади. Отсюда, с моста, виден большой кусок этого «вязевого» города. Вокзал еле успевает откачивать людские волны помпами электричек. Автомобилям несть числа. Площадь слепит огнями, неподвижными и мелькающими, а на горизонте исполинские дома мерцают, как строй широкогрудых рыцарей. Дремотная Азия! Поэт, вы не узнаете вашего города. Пойдемте по улицам. Вам немного не по себе? Вам страшно? Я понимаю вас. Я понимаю страх и растерянность приезжих на этих улицах. Мне, может быть, самому бы стало страшно, если бы я не любил этот город. Именно этот город, который забыл, что он был когда-то тихим и «вязевым».

— Пойдем,— говорит Борис,— что ты оцепенел? Не люблю я, когда ты так цепенеешь.

Мы спускаемся в метро. В потоке людей идем по длинному кафельному коридору. Навстречу нам другой поток. Если прислушаться, шлепанье сотен шагов по кафельному полу напомнит шум сильного летнего дождя. Обычно мы, москвичи, не слышим этих звуков. Для нас это тишина. Мы реагируем только на резкие раздражители. Я мечтаю о дожде, может быть, поэтому я его и слышу. Он настигает совсем недалеко от дачи, и ты таким мокрым чучелом вваливаешься на веранду, где пьют чай. Я мечтаю об отпуске.

Мы выходим на нашей станции. Встаем в очередь к газетному киоску, потом — в очередь к табачному киоску. На площадке возле станции, как всегда вечером, полно молодых ребят. Они сидят на барьере и стоят кучками. Усмехаясь, разглядывают выходящих из метро. Девушкам вслед летят реплики, междометия, иногда пошвыстывание. Лучшее вечернее развлечение — поторчать вечером у метро.

— Посмотри на них,— говорит Борис,— посмотри на их лица. Просто страх берет.

— Брось! — говорю я. — Нормальные московские ребята. Просто выпендриваются друг перед другом, вот и все.

— Нормальные московские ребята! — восклицает Борис. — Ты считаешь этот сброд нормальными московскими ребятами?

— Конечно! Самые обычные ребята.

— Нет, это выродки. Накипь больших городов.

— Ну тебя к черту, Борька! Димку моего ты, надеюсь, знаешь?

— Ну?

— Смею утверждать, что он самый нормальный московский малый. А он тоже часто торчит здесь, и если бы ты его не знал, не отличил бы от всех. И в его адрес метал бы свои громы и молнии,

— А что твой Димка?

— Ну, что Димка?

— Он недалеко от них ушел. Тоже хорош твой Димка!

— Ну, знаешь, Борис!..

— А что? Скажешь, у Димки есть какие-то жизненные планы, какие-то порывы, есть что-то святое за душой? В голове у него магнитофонные ленты, девчонки и выпивка. Аттестат получил позорный!..

— Довольно! — резко обрываю я. — Хватит о нем!

Черт его знает, каким он стал, этот мой друг Боря. Тоже позер! Любит, видите ли, «правду-матку в глаза резать».

Мы подходим к нашему дому. Борис должен взять у меня кое-какие книжки.

— Слушай, — говорю я ему после долгого молчания, — хочешь узнать, о чем думает мой Димка? — Говорю это так, как будто сам прекрасно знаю, о чем он думает. — Посидим у нас в садике минут пятнадцать. Он там в это время всегда бывает. Поговорим с ним.

— Тебя задели мои слова? — спрашивает Борис.

— Чепуха! Все же давай посидим в садике.

Мы входим в наш «патцио» и садимся на скамейку в глубине садика, под цветущим кустом сирени.

«БАРСЕЛОНА» ЖИВЕТ ВЕЧЕРНЕЙ ЖИЗНЬЮ, как и все дома в Москве. Семи тремя этажами, сотней окон она смотрит себе внутрь. За шторками двигаются люди, наяривают телевизоры.

В противоположном углу двора два приятеля Гера и Гора налаживают на подоконнике магнитофон. Сейчас

будут оглушать весь двор музыкой. Пока не придет дворник.

Под аркой зажигаются фары. Во двор въезжает новенькое такси. Сгусток энергии и комфорта XX века на фоне наших облупленных стен.

Из дверей выскакивает мастер художественного слова Филипп Громкий со своими элегантными чемоданами.

— Далеко, Филипп Григорьевич? — спрашивает дядя Илья.

— В турне, друзья. Рига, Таллинн... На Балтику, друзья.

— Филипп! — кричит из окна наш папа. — Ионами на взморье попользуйся. Подыши как следует. Лучшее лекарство для нас с тобой.

— Что же вы раньше не сказали, Филипп Григорьевич, что в Ригу едете? — обиженно говорит спекулянт Тима.

— Программа у вас та же? Новенькое что-нибудь выучили? — интересуется шофер Петя Кравченко.

— Товарищ Громкий, а за электричество вы заплатили? — светским тоном осведомляется тетя Эльва.

«Барселона» провожает своего любимца, свою звезду. Громкий машет шляпой вокруг. Самый громадный город — это просто тысяча деревень. Ну, чем наша «Барселона» не деревня?

Шофер включает счетчик, нажимает стартер. Фыркнув, голубой автомобиль исчезает под аркой. Так каждую весну артист на виду всего дома отбывает «в странствия» по приморским районам. Он будет пересаживаться с самолета в поезд и с поезда в такси, жить в гостиницах, обедать в ресторанах, купаться в соленых морских волнах и дышать ионизированным воздухом взморья. Осенью он вернется, и жители «Барселоны» будут его приветствовать.

В садике появляется вся Димкина компания и он сам. Я ни разу не видел Галю с подругами. Она ходит только с Димкой, Аликом и Юркой. И ребята не отстают от нее. Трудно понять: ухаживание это или продолжение детской дружбы. Они занимают скамейку недалеко от нас. Нас они не видят или просто не хотят замечать.

Вот уже десять минут Гера и Гора крутят магнитофон, а дворника все нет. Видимо, «Барселону» охватило в этот вечер лирическое настроение.

Джазовые синкопы бьют в землю, точно град, словно отбойный молоток, вгрызаются в стены и взмывают вверх, пытаясь расшевелить неподвижные звезды, подчинить их себе и настраивать попеременно то на лирический, то на бесноватый лад. Три пары остроносых ботинок и одна пара туфелек отбивают такт. Лица ребят нам не видны, они в тени сирени. Их голоса мы слышим только в перерывах между музыкой.

ДИМКА. На Балтику помчался Громкий. Эх, ребята!

ЮРКА. А что ему не ездить? Жрец искусства.

АЛИК. Тоже мне искусство! Читать стишки и строить разные рожи. Примитив!

ГАЛЯ. А почему бы тебе, Алик, не выучить пару стишков? Выучи и поезжай на Рижское взморье.

ДИМКА. Алька и так знает больше стихов, чем самый Громкий из всех Громких.

— Паблито,— призывно поет магнитофонная дева.

— Паблито,— говорит она задушевно.

— Па-аблито! — кричит что есть мочи.

Почему я вдруг решил поговорить с Димкой? Только лишь потому, что меня задела слова Бориса? «Пойдем, ты узнаешь, о чем он думает». Как будто я сам это знаю. Что я знаю о своем младшем брате? До какого-то времени я вообще его не замечал. Знал только, что с ним хлопот не оберешься. Потом он немного подрос, и мы стали с ним слегка возиться. Но у меня всегда были свои крайне важные дела. И вдруг младший брат приходит и просит на минутку твою бритву. А однажды ты видишь, что он лежит на диване с совершенно потерянным видом и на твой вопрос бурчит: «Отстань». И как-то раз ты замечаешь его в толпе возле метро. Ты ухмыляешься — «племя младое, незнакомое» — и думаешь: «А может быть, и на самом деле незнакомое?» У тебя наука, диссертация, ты, в общем, на самом переднем крае, а у него аттестат сплошь в тройках. О чем он думает? Мы, Денисовы, интеллигентная семья. Папа — доцент, а мама знает два языка. Димка прочел все, что полагается прочесть мальчику из «приличной» семьи, и умеет вести себя за столом, когда приходят гости. Но воспитали его «Барселона», и наша улица, и наша станция метро. В какой-то мере стадион, в какой-то мере танцевальная веранда в Малаховке, в какой-то мере школа. Звучит кощунственно. Его должна была воспи-

тать главным образом школа. А, брось! Ты сам еще не так давно учился в школе.

— Паблито...— совершенно изнемогая, шепчет магнитофонная дева.

АЛИК. Я не понимаю, почему стонет Юрка. Все лето будет кататься со сборной, а потом его, как выдающегося спортсмена, примут куда-нибудь без экзаменов.

ДИМКА. Верно, что ты стонешь? В Венгрию едет, а стонет еще.

ЮРКА. Галачьян в Венгрию едет, а не я.

ГАЛЯ. Что ты, Юрик!

ЮРКА. То, что слышишь. Галачьян в сборную включили. Говорят, он тактику лучше понимает. Конь мой ликует. В институт поступишь, человеком станешь, хватит, говорит, мяч гонять.

Труба. Звук трубы летит в небо. Он стремительно набирает высоту, как многоступенчатая ракета, выходит на орбиту и кружится, и кружится, и замирает, и на смену ему приходит глухой рокот контрабаса. И новые взлеты трубы. И жизнь идет. А Юрку не включили в сборную. Это трагедия, я его понимаю. Гудит саксофон. И жизнь идет. Младший брат недоволен жизнью. Что ему нужно, кроме трубы, контрабаса и саксофона? Попробуй-ка поговорить с ним об этом. Он засмеется: «Чудишь, старик!»— и попросит «четвертную». Это очень трудно— иметь младшего брата! Лучше бы мы с ним родились близнецами. Жизнь идет, и трубы сейчас звучат несколько иначе, чем одиннадцать лет назад.

ЮРКА. Были бы деньги, накирлялся бы я сейчас.

ДИМКА. Только и остается.

АЛИК. Давай, Юрка, вместе готовиться во ВГИК, на сценарный факультет!

ГАЛЯ. Лучше готовься вместе со мной на актерский. У тебя такая фигура!

ДИМКА. Я вам советую поступить в Тимирязевку. Говорят, там открылся новый факультет: тореадорский. У Юрки все данные для боя быков. А Галка поступит на пушной, будет демонстрировать шкурки песцов и лисиц. Тоже все данные.

ГАЛЯ. А ты куда, Димочка? На что ты можешь рассчитывать со своими данными?

Нахальный баритон в бешеном темпе уговаривает девушку. Перестань кукситься, забудь о разных пустяках и целуй меня. Чаше, целуй меня чаще. Только это

тебе поможет. Гера и Гора неистовствуют, а дворника все нет. Неужели им удастся докрутить ленту до конца?

Борис рядом со мной молча курит. Я тоже молча курю.

ДИМКА. А в общем, куда нам поступать, решают родители. Ведь это же они, дорогие родители, финансируют все наши мероприятия.

ГАЛЯ. Представляете, мальчики, мама мне заявила: или в медицинский, или к станку.

АЛИК. Родители не могут понять, что нам чужды их обывательские интересы. Даже мой дед и тот гудит день-деньской: сначала приобрети солидную специальность, а потом пробуй свои силы в литературе.

ЮРКА. А мой конь уже все продумал. Надежды у него мало, что я поступлю, так он уже место мне подыскал для производственного стажа. Учеником токаря на какой-то завод. Дудки я туда пойду. Ишь ты что придумал: учеником токаря!

Молчанье.

ТЕТЯ ЭЛЬВА (*кричит из окна*). Тима, будьте любезны, позовите дворника.

ДИМКА. Все лето в Москве торчат. Эх, ребята!

Снова трубы, саксофоны и контрабас. В освещенное пространство в центре садика выходят, пританцовывая, Галя и Димка. Алик и Юрка хлопают в ладоши.

Из окон высовываются любопытные. Есть на что посмотреть. Димка блестяще танцует. В этом отношении он меня превзошел.

А как все-таки здорово! Сидят детишки и хнычут, и жалуются друг другу на родителей, и ехидничают, как сорокалетние неудачники, но вот возникает какой-то подмывающий ритм и... наш жалкий садик поднимается вверх, повисает над крышами, звезды пускаются вокруг в хороводе. Девушка и юноша танцуют, и весь мир надевает карнавальные маски. Молодость танцует при свете звезд у подножья Олимпа, полосы лунного света ложатся на извивающиеся тела, и пегобородые бойцы становятся в круг, стыдливо прячут за спины ржавые мечи и ухмыляются недоверчиво, но все добрее и добрее, а их ездовые уже готовят колесницы для спортивных состязаний. Ребята танцуют, и ничего им больше не надо сейчас. Танцуйте, пока вам семнадцать! Тан-

цуйте, и прыгайте в седлах, и ныряйте в глубины, и ползите вверх с альпенштоками. Не бойтесь ничего, все это ваше — весь мир. Пегобородые не поднимут мечей. За это мы отвечаем.

— Галина! Иди сюда.

У входа в садик стоит Галина мать, инспектор роно.

— Ну что, мамочка? — заранее обиженным тоном говорит Галя и подходит к своей еще молодой и статной, одетой в серый костюм, как и положено инспекторам роно, маме. Та молча вынимает из сумочки платок и сильным злым движением снимает помаду с Галиных губ.

— Опять? Опять устроили дансинг у всех на глазах? Танцуешь с бездельниками, вместо того чтобы заниматься. Куда ты катишься, Галина? На панель? Немедленно домой!

— Совершенно согласна с вами, Зинаида Петровна, — прямо над ними из окна высунулась тетя Эльва. — Только крутые меры. Надо мобилизовать общественность. А куда смотрит жэк? Вместо того чтобы организовать в нашем дворе разумные настольные игры, викторины, кроссворды, предоставляют поле деятельности двум негодьям с магнитофоном. Отравляют юные души тлетворной музыкой. Тима, вы сказали дворнику?

ТИМА. Да вот он сам, Степан Феофанович.

ДВОРНИК (*навеселе*). Герка! Герка! Кончай тлетворную! Гони нашу! «Рябинушку»!

ДИМКА. Тетя Эльва, идемте танцевать! Герка, прибавь звука! Тетя Эльва хочет рок кинуть.

ТЕТЯ ЭЛЬВА. Тима, участкового позовите!

НАША МАМА. Дмитрий, домой!

ПЕТЯ КРАВЧЕНКО. Товарищи, у меня завтра зачет по сопромату.

Из-под арки появляется Игорь-Ключник.

ИГОРЬ. Граждане, что тут за шум? Что тут за шум, Тимка?

ТИМА. Кому Тимка, а отбросам общества...

ИГОРЬ. Служай ты, несимпатичный хулиган...

ТИМА. Бросьте, Игорь. Нам ли с вами?

ДЯДЯ ИЛЬЯ. Это ж ужас, что за дом! Боже ж мой, что за дом!

ДВОРНИК. «Рябинушку»!

ГЕРА (*в микрофон*). Концерт звукозаписи по заяв-

кам жильцов нашего дома окончен. Пишите нам по адресу: «Барселона», радиоцентр.

ТЕТЯ ЭЛЬВА. Я на вас найду управу, развратники!

И все начинает затихать. Прикрываются окна, расходятся люди со двора. Это обычный воскресный вечер, но я чувствую, что Борис поражен. Наш дом постоянно поражает Бориса. Еще бы, ведь он живет на девятом этаже в могучем доме на Можайке, опоясанном снизу такой массой гранита, которой бы хватило на целую сотню конных памятников.

— Виктор, я, пожалуй, пойду,— говорит Борис.

— Пока,— говорю я,— до завтра.

Прямой и подтянутый, идет мой друг Боря, надежда нашей науки. Ничего я ему не доказал. И вообще я, должно быть, никогда ничего ему не докажу.

ДИМКА. Проклятое дупло это, а не дом! Взорвать бы его к чертям!

АЛИК. Нельзя. Надо его оставить как натуру. Здесь можно снимать неореалистические фильмы.

ЮРКА. За год четыре дома на нашей улице снесли, а этот стоит.

ДИМКА. И даже не дрожит под ветром эпохи. Эпоха, ребята, мимо идет.

ЮРКА. Валерка переехал на Юго-Запад. Потрясные дома там. Во дворах теннисные корты. Блеск!

ДИМКА. Взорвем «Барселону»?

АЛИК. Да нельзя же, я тебе говорю, взрывать такую натуру.

ДИМКА. Сбежим?

ЮРКА. Окна там, что ты! Внизу сплошное стекло. Модерн!

АЛИК. Неужели и мы, как наши родители, всю свою жизнь проведем в «Барселоне»?

ДИМКА. Взорвем?

ЮРКА. Насчет всей жизни не знаю, а это лето точно. Галачьян в Будапешт поедет, а я буду диктанты писать.

ДИМКА. Сбежим?

ЮРКА. Конь мой ликует...

ДИМКА. Сбежим?

АЛИК. Куда?

ДИМКА. Куда? Ну, для начала хотя бы на Рижское взморье.

ЮРКА. То есть как это так?

ДИМКА. А так, уедем, и все. Хватит! Мне это надое-

ло. Целое лето вкалывать над учебниками, и ходить по магазинам, и слушать проповеди. Отдохнуть нам надо или нет? Никто ведь не думает о том, что нам надо отдохнуть. Дудки! Уедем! Ура! Как это раньше мне в голову не приходило?

АЛИК. А как же родители? Как же мой дед?

ЮРКА. А мой конь?

ДИМКА. Слезай с коня, иди пешком. Что вы, парни? Мы же мощные ребята, а ведем себя, как хлюпики. Вперед! К морю! В жизнь! Ура! Что я думал раньше, идиот!

АЛИК. А как же мое поступление во ВГИК?

ЮРКА. А мое в инфизкульт? Это тебе, Димка, хорошо. Ты еще ничего не придумал, куда идти.

ДИМКА. Институт! Смешно. В институты принимают до тридцати пяти лет, а нам семнадцать! У нас в запасе еще восемнадцать лет! Вы себе представляете, мальчишки, как можно провести годик-другой? Мчатся вперед: на поездах, на попутных машинах, пешком, вплавь, заглатывать километры. Стоп! Поработали где-нибудь, надоело — дальше! Алька, вспомни про Горького и Джека Лондона. А для тебя, Юрка, это отличный тренинг. Или вы хотите всю жизнь проторчать в этом клоповнике?

ЮРКА. Законно придумал, Митька!

АЛИК. А на какие шиши мы поедем? Денег-то нет.

ДИМКА. Это ерунда. Продадим свои часы, велосипеды, костюмы, у меня немного скоплено на мотороллер. Это для начала. А потом придумаем. Главное — смелость. Прокормимся. Ура!

ЮРКА. Купите мне ружье для подводной охоты, и уж рыбкой-то я вас обеспечу.

АЛИК. А я буду продавать стихи и прозу в местные газеты.

ДИМКА. Ну, видите! А я на бильярде подработаю. Значит, едем?

Ребята склоняются друг к другу и что-то шепчут. Алик подбросил монетку и прихлопнул ее на колене. Димка пишет веточкой на песке. Я вижу, как в садик скользнула Галя. Она в стареньком платице и в дражных тапках на босу ногу, но, ей-богу, ей не повредило бы даже платье, сшитое из бумажных мешков Мосхлебторга.

— Тише, ребята,— говорит она.— Я на минутку. Зна-

чит, сдем завтра в Химки? Я скажу, что иду в библиотеку...

— В Химки,— говорит Димка,— в Химки. Ха-ха, она хочет в Химки!

— На нашей планете и кроме Химок есть законные местечки,— говорит Юрка.

— А не хочешь ли ты, Галка, съездить на остров Валаам? — вкрадчиво спрашивает Алик.— Знаешь, есть на свете такой остров!

Ребята загадочно хихикают и хмыкают. Еще бы, ведь перед ними открыт весь мир, а для Галки предел мечтаний — Химки.

— Что это вы задумали? — сердито спрашивает Галя и, как Лолита Торрес, упирает в бока кулаки.

— Сказать ей? — спрашивает Алик.

— Ладно уж, скажи, а то заплачет,— говорит Юрка. Димка кивает.

— Мы уезжаем.

— Что?

— Уезжаем.

— Куда?

— В путешествие.

— Когда?

— На днях.

— Без меня?

— Конечно.

— Никуда без меня не поедете!

— Ого!

— Не поедете!

— Ха-ха!

— Ты без меня поедешь?

— Видишь ли, Галя...

— А ты?

— Я?

— А ты, Димка, без меня поедешь?

— А почему бы и нет?

Ошеломленная Галка все-таки действует с инстинктивной мудростью. Расчленив монолитный коллектив, она отворачивается, топает ногой и начинает плакать. Ребята растерянно ходят вокруг.

— Мы будем жить в суровых условиях.

— В палатке.

— Питаться только рыбой.

— Хочу в суровые условия,— шепчет Галка,— в па-

латку. Рыбой питаться хочу! Мне надоело здесь. Мама при всех губы стирает. Какие вы хитрые, без меня хотели уехать!

— Постой, а как же театральный факультет? — спрашивает ее Алик.

— А вы как решили с экзаменами?

— Мы решили не поступать.

— Как?

— А вот так. Подбросили монетку, и все. Хватит с нас! Мы хотим жить по-своему. Поступим когда-нибудь, когда захотим.

— Я тоже хочу жить по-своему!

— Ладно,— говорит Димка,— берем тебя с собой. Только не хныкать потом. А в театральный ты все-таки поступишь. В Ленинграде. В конце концов, театральный — это не медицинский. Готовиться особенно не нужно. Глазки, фигурка — это у тебя есть. Вполне достаточно для поступления.

— Смотрите, он сделал мне комплимент! — восклицает Галя.— Слышите, ребята, Димка сделал мне комплимент! Спасибо тебе, суровый Дима.

— Кушай на здоровье. Я сегодня добрый.

— В основном ты прав, Димка, но не совсем,— говорит Алик.— Внешние данные — еще не все. Нужен витамин «Т» — талант. Мне один актер рассказывал, какие к ним применяли пробы. Например, предлагают сказать два слова — «хорошая собака» с десятью разными выражениями. Восхищение, презрение, насмешка...

— Давайте Галку проэкзаменуем,— предлагает Димка.— Ну-ка, скажи с презрением: хорошая собака.

ГАЛЯ (*с презрением показывая на него*). Хорошая собака.

Юрка предлагает ей выразить восхищение.

ГАЛЯ (*с восхищением показывая на Юрку*). Хорошая собака!

— Ну а теперь... — говорит Алик.

ГАЛЯ (*с насмешкой показывая на Алика*). Хорошая собака!

ДИМКА (*показывает на Галю*). Ребята, с возмущением!

ВСЕ (*с возмущением*). Хорошая собака!

ГАЛЯ. Хорошие вы собаки, без меня решили уехать!

МЫ С ДИМКОЙ идем по нашей ночной улице. Перешагиваем через лужи возле газировочных автоматов, подбрасываем носками ботинок стаканчики из-под мороженого. Мы с Димкой одного роста, и в плечах он меня скоро догонит.

— План в общих чертах такой,— говорит Димка.— Сначала мы едем на Рижское взморье. Отдохнем там немного—должны же мы, черт возьми, хоть немного отдохнуть!—а потом двинемся пешком по побережью в Ленинград. По дороге наймемся поработать в какой-нибудь рыболовецкий колхоз. Мне один малый говорил, что там можно заработать кучу денег. А потом дальше. Посмотрим Таллинн и к августу будем в Ленинграде. Там отдадим Галку в театральный институт, а сами...

— А сами?

— А сами составим новый план.

— Отличный у вас план,— говорю я,— точный, детальный, все в нем предусмотрено. Кончатся деньги, появляется рыболовецкий колхоз. Вы забрасываете невод и вытаскиваете золотую рыбку. Чего тебе надобно, Димче? Прекрасный план!

— А, черт с ними, со всеми с этими планами!

Я останавливаюсь и беру брата за лацканы пиджака.

— Слушай, Димка, когда ты был маленьким, я заступался за тебя и никому не давал тебя лупить.

— Ну и что?

— А то, что сейчас мне хочется дать тебе хорошую плюху.

— Попробуй только.

— Фу ты, дурак!— Я машу рукой.— О матери ты не подумал? Что с ней будет, когда ты исчезнешь?

— Поэтому я тебе все и рассказываю. Успокой ее, но,— теперь он берет меня за лацкан,— если ты настоящий мужчина и если ты мне друг, ты не расскажешь ей, где мы.

— Она все равно поднимет на ноги все МВД.

Димка словно глотает что-то и лезет в карман за сигаретами.

— Витя, пойми, я уже все решил, ребят поднял. Нельзя мужчине отступать.

— Мужчина! Убегать из дому принято в 12—13 лет, да и то в детских книжках. А в 17 лет—это, старик, нелепо. Прояви свою волю в другом. Попробуй все-таки поступить в институт.

— Да не хочу я этого! — отчаянно кричит Димка. — К черту! Думаешь, я мечтаю пойти по твоим стопам, думаешь, твоя жизнь для меня идеал? Ведь твоя жизнь, Виктор, придумана папой и мамой, еще когда ты лежал в колыбели. Отличник в школе, отличник в институте, аспирант, младший научный сотрудник, кандидат, старший научный сотрудник, доктор, академик... дальше кто там? Всеми уважаемый покойник? Ведь ты ни разу в жизни не принял по-настоящему серьезного решения, ни разу не пошел на риск. К черту! Мы еще не успеем родиться, а за нас уже все продумано, уже наше будущее решено. Дудки! Лучше быть бродягой и терпеть неудачи, чем всю жизнь быть мальчиком, выполняющим чужие решения.

Вот оно что! Тут, оказывается, целая жизненная философия. Вот, значит, как? Ты презираешь меня, Димка? Ты не хочешь жить так, как я? Ты считаешь меня...

Честно говоря, меня совершенно потряс Димкин монолог, и я молчу. Я не чувствую уже превосходства старшего брата. Со страхом я ловлю себя на том, что завирую ему, ему, юноше с безумными идеями в голове. Но что он знает обо мне, мой младший брат?

Мы медленно бредем к нашему дому, заходим под арку и при свете фонаря читаем рукописную афишу:

30 июня 1960 г. во дворе дома № 12

ВЕЧЕР МОЛОДЕЖИ

Программа:

1. Встреча с т. Лямзным Т. Т.
2. Коллективная беседа «Поговорим о личном».
3. Демонстрация к/ф «Микробная флора полости рта».
4. Танцы под баян.

Димка вынимает карандаш и пишет внизу плаката: *«Танцы откроет тетя Эльва, старая сопящая кобыла»*. Ну, тут я не выдержал и дал ему слегка по шее.

РЕБЯТА СИДЯТ В МОЕЙ КОМНАТЕ. Когда я захожу, они даже не меняют поз. В общем-то, как это ни смешно, я дорожу тем, что они меня не боятся.

— Личности, титаны, индивиды, — говорю я им. Смеются. — Пиво, что ли, пили?

Заглядываю под кровать — бутылочек не видно. Сажусь на подоконник и закурываю. За моей спиной двор «Барселоны», и дальше все окно закрыто стенами соседних домов. Неба не видно. Но если лечь спиной на подоконник, можно увидеть небольшой четырехугольник со звездным рисунком. Мне хочется предаться любимому занятию: лечь спиной на подоконник, положить руки под голову, ни о чем не думать и созерцать этот продолговатый четырехугольник, похожий своими пропорциями на железнодорожный билет. Билет, пробитый звездным компостером. Кажется, это есть в каких-то стихах. Никто не знает про этот мой билет. Я никому не говорю про него. Даже не знаю, когда я его заметил, но вот уже много лет, когда мне бывает совсем неважно, я ложусь спиной на подоконник и смотрю на свой звездный билет.

Я слышу через форточку возню Геры и Горы. Что-то у них там сегодня не ладится. Обычно среди полной тишины вдруг раздается веселое лошадиное ржание, а сегодня Гера и Гора почему-то шепотом чертыхаются. Потом Гера говорит: «Ладно, заткнись. Включаю». Я слышу щелканье и гудение приемника. И вот двор «Барселоны» заполняется каким-то странным гулом. Это не наш гул, не земной. И... «Бип-бип-бип...» Кусок земного металла, жаркий слиток земных надежд, продукция мозга и мышц, смешанная с нашим потом и с кровью тех, которые этого уже не услышат. Кусок земного металла, полный любви, полный героизма, и счастья, и страдания. Весь он наш, плоть от плоти, и двигаясь там, он хранит в себе память о наших руках и глазах, о смене наших настроений и о нашей дурной привычке курить табак. Он один там, в чужой среде, окруженный чужими металлами, озаряемый кострами чужих звезд, летит и гудит и дрожит от мужества и трогательно сигнализирует: «Бип-бип...»

— Черт вас возьми! — кричу я своему братцу и его дружкам и распахиваю окно. — Слушайте!

— Ну, слышим! — говорит Димка. — Космический автобус.

— Радиостанция «Маяк», — говорит Алик.

— Поймали, наконец, молотки ребята! — довольно равнодушно басит Юрка.

— Черт бы вас побрал! — говорю я. — Шпана! Личности! Индивидуумы!

— Ишь ты, как раскричался, — насмешливо говорит

Димка.— Рановато ты воодушевился. Человека-то там нет.

Человека там нет! Там нет человека! Вот если бы сразу, сейчас, кто-нибудь слетал на Марс и вернулся оттуда с девушкой-марсианкой, тогда почтеннейшая публика, может быть, и удивилась бы. Так, слегка. Знаете, мол, вот забавная история: красотку с Марса привез себе один малый. Разучились удивляться чудесам. В мире чудес люди уже не удивляются чудесам.

— Вас не интересуют чудеса? — спрашиваю я.

— Какие же это чудеса? — удивляется Юрка.

— А ты думаешь, чудеса — это Змей-Горыныч и Баба-Яга?

Я вспоминаю, как несколько лет назад эти ребята построили в Доме пионеров яхту, управляемую по радио. Вот это было чудо! Какой восторг горел тогда в их глазах!

— Ребята, хотите я устрою вас работать на завод?

— Какой еще завод?

— Завод, где делают чудеса.

— Конкретней, — говорит Алик. — Что это за завод?

— Конкретней нельзя об этом заводе.

Я снова приоткрываю окно, и «бип-бип-бип» влетает в комнату. Многозначительно подмигиваю. Это мой последний козырь. Последний раз я пытаюсь отговорить их от задуманной авантюры.

— Да ну? — говорят ребята. — Можешь устроить на такой завод?

— Попытаюсь. Если станете людьми...

— Отпадает, — Димка машет рукой. — тогда отпадает.

— Почему отпадает? — говорю я, чувствуя себя последним кретином. — Выбросьте из головы свои дурацкие прожекты...

— Эх, жалко, — прерывает меня Юрка, — мы ведь скоро на Балтику уезжаем, Виктор. Если бы нам не надо было уезжать...

— Хватит дурачиться.

Молчат.

— Хотите работать на таком заводе?

Молчат.

— И уехать на Балтику тоже хочется?

Молчат.

— Роковая дилемма, значит? Подбросим монетку?

Молчат.

— Если орлом, то на завод. Идет?

Бросаю. Честно говоря, я немного умею бросать так, чтобы получалось то, что нужно. Орел. Упала орлом.

— Бросай с трех раз,— хрипло говорит Димка.— Дай-ка лучше я сам брошу.

Кажется, он тоже немного умеет бросать так, чтобы получалось то, что ему хочется.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

У МЕНЯ В ЛАБОРАТОРИИ можно снимать самый нелепый научно-фантастический фильм. Один только пульт чего стоит! Мигание красных лампочек и покачивание стрелок, больших и маленьких, кнопки, кнопки, рычажки... А длинный стол с приборами? А диаграммы на стенах? Но самое чудовищное и таинственное — это система приточно-вытяжной вентиляции. А звуки, звуки! Вот это потрескивание и ти-хо-е гудение. Потрясающую сцену можно было бы снять здесь. Запечатлеть, скажем, меня у пульта. Стою с остекленевшими глазами и с капельками холодного пота на лбу. Крупный план: капля течет по носогубной складке. Руки! Ходят ходуном.

Я люблю вдруг осмотреть свою лабораторию глазами непосвященного человека. Это всегда забавно, но священного трепета в себе я уже не могу вызвать. Все-таки я все здесь знаю, все до последнего винтика, до самой маленькой проволоочки. Любой прибор я смогу разобрать и собрать с закрытыми глазами.

Приборы, мои друзья! Вы всегда такие чистенькие и всегда совершенно точно знаете, что вы должны делать в следующую минуту. Разумеется, если вас включила опытная рука. Хотел бы я быть таким, как вы, приборы, чтобы всегда знать, что делать в следующую минуту, час, день, месяц. Но вам легко, приборы, вы только выполняете задания. До этого дня я тоже только выполнял задания, правда, не так точно, как вы, приборы. Что может быть лучше: получать и выполнять задания? Это мечта каждого скромного человека. Что может быть хуже самостоятельности? Для скромного человека, конечно.

Что может быть прекрасней, сладостней самостоя-

тельности? Когда она появляется у тебя (я имею в виду это чувство наглости, решительности и какого-то душевного трепета), ты дрожишь над ней, как над хрупкой вазой. А когда кокнешь ее, думаешь: к счастью, к лучшему: хлопот не оберешься с этой штукой, ну ее совсем!

Так начинать мне этот проклятый опыт или нет?

Выхожу в коридор покурить. Монтер Илюшка сидит на подоконнике и зачищает концы провода. Начинаем обсуждать с ним перспективы футбольного сезона. Илюшка родился в Ленинграде и, хотя совершенно не помнит города, фанатически болеет за «Адмиралтейца». Я над ним всегда подтруниваю по этому поводу. Сегодня я говорю, что вообще-то «Адмиралтеец» — это здорово придумано, но можно было бы назвать команду и иначе. «Конногвардеец», скажем, или «Камер-юнкер». Илья кипит.

По коридору мимо нас проходит мой друг Борис и еще один сотрудник нашего института, очень важный. Ловлю конец фразы моего друга:

«...чрезвычайно!»

«Люди работают,— думаю я,— вкручивают мозги членам ученого совета». Оставляю Илюшку с его грезами о победах «ленинградской школы футбола», с его уже зачищенными и еще не зачищенными концами и иду взглянуть на камеру. Заглядываю в окошечко. Там все в порядке. Вся живность здорова и невредима. Честно говоря, система у меня уже собрана, и остается только присоединить к ней кое-какие устройства камеры. Через несколько минут я могу начать свой опыт. Надо начинать, чего там думать! Ведь это же мой опыт. Первый плод моей самостоятельности (я имею в виду это чувство). Я его придумал и продумал сам с начала и до конца. И он может меня погубить. Полтора часа будут гореть лампочки, покачиваться стрелки, тихо гудеть и щелкать разные приборы. Дня два на расшифровку результатов, и все станет ясным. Он или погубит меня, или разочарует очень надолго. То есть меня-то он не погубит, я останусь цел, он просто может перечеркнуть последние три года моей работы. А если этого не произойдет, будет поставлен крест на мою самостоятельность. Странно работает моя голова, но это моя голова. Это мой опыт, и я уже стал фанатиком, я его уже люблю, хотя еще не соединил систему. Соединить или сначала... проверить еще раз записи?

Сажусь к столу и открываю (в который раз!) синенькую тетрадочку. Я ее всю исписал в свободное время, в свободное от диссертации время, в вечернее время на третьем этаже «Барселоны» под веселое ржание магнитофона и вопли тети Эльвы. Луна врывалась в железнодорожный билет над соседней крышей. Это чрезвычайно вдохновляло. Запах сирени и автомобильных выхлопов, сладковатый запах нечистот из-под арки, девушки цок-цок-цок каблучками прямо под окном, а на звонки Шурочки мама говорила, что я в библиотеке, насвистывание Димки, Алика и Юрки, и их веселые голоса, «Рябинушка» и детский плач — вся симфония и весь суп «Барселоны» окружали меня и затыкали мне уши и ноздри. И я написал эту тетрадку, ворую время у своей диссертации. Зачем мне сейчас ее читать? Я знаю ее всю наизусть. Читать ее еще, перелистывать! Выбросить в форточку, и дело с концом!

— Разрешите полюбопытствовать, Витя?

На тетрадь из-за моей спины опускается широкая худая рука со следами удаленной татуировки. Это шеф. Что его занесло ко мне в это время? Шеф — мой друг и учитель и автор моей диссертации. Прошу не думать обо мне плохо. Диссертацию написал я сам. Я три года работал, как негр на плантации. Но работал я над гипотезой шефа, над его идеей. Три года назад он бросил мне одну из своих бесчисленных идей. Это его работа — забрасывать идеи. Пользуясь спортивной терминологией, можно сказать, что шеф у нас в институте играет центра. Он распасовывает нам свои идеи, а мы подхватываем их и тащим к воротам.

Это нормально, везде, в общем-то, делают так же. Но эта тетрадка — это мой личный мяч. Я сам пронес его через все поле и вот сейчас остановился и не знаю: бить или не бить?

Шеф быстро переворачивает страницы, а я волнуюсь и смотрю на его тупоносые башмаки и хорошо отглаженные серые брюки из-под белого халата. У шефа худые руки и лицо, но вообще-то он грузного сложения. Шеф — человек потрясающе интересной судьбы. Те, кто не знает этого, видят в нем обычную фигуру: профессор как профессор. Но я вхож к нему в дом и видел фотоальбомы. Серию странных юношей, с чубом из-под папахи и с хулиганским изгибом губ; выпученные глаза георгиевского кавалера; лихой и леденящий прищур из-под ко-

зырька, а нога на подножке броневика; широкогрудый, весь в патронных лентах; и еще один, в странной широкополой шляпе, видимо захваченной в театре,— и все это наш шеф. Когда я смотрю на теперешнего шефа, мне кажется, что все эти люди: драгун, революционер, красный партизан, голодный рабфаковец — разбежались и бросились в одну кучу с целью слепить из своих тел монумент таким, каков он есть сейчас: грузный, огромный, беловолосый и спокойный, в хорошо отглаженных серых брюках.

— Поздравляю, Витя! Неплохо вы развернули свою мысль.

— Вы одобряете?

— Да. Но не волнуйтесь, я эту тетрадь не читал. Поняли? И в глаза ее не видел и не заходил к вам.

— Я не понимаю.

— Не притворяйтесь. Прекрасно понимаете, что эта работа опровергает вашу диссертацию.

— Это я понимаю, но что же делать?

— Да делайте то, что начали. Я вижу, систему вы уже собрали. Ставьте опыт, но никому не говорите о результатах. Обнародуйте их после защиты.

— Андрей Иванович!

— Не надо пафоса, Витя. Не люблю я таких восклицаний, как в пьесах.

— Я тоже не люблю, но... Как я смогу защищать диссертацию, если узнаю сегодня, что выводы неправильные? Наше дело... я говорю о деле, которым мы занимаемся...

— Вы думаете, выводы вашей диссертации будут сразу использоваться в нашем деле? Пройдет много времени, пока их начнут внедрять и тысячу раз еще проверят. А вы месяца через два после защиты опубликуете вот это,— он шелкает пальцем по синей тетрадке,— и все заговорят: мыслящий кандидат наук, многообещающий, мужественный, аналитический...

— Курс цинизма я проходил не у вас,— говорю я мрачно.

— Все дело в том, Витя, что вы гораздо больше многих других достойны называться кандидатом наук. Сколько вам можно еще тянуть? — сердито говорит шеф и направляется к двери.

— Андрей Иванович! — останавливаю я его.— Вы бы как на моем месте поступили? Вы бы зажали свою

мысль, пошли бы против истинных интересов нашего дела ради какого-то фетиша?

С минуту шеф смотрит на меня молча.

— Друг мой Витя, не говори красиво,— произносит он потом и с саркастической миной исчезает.

Шеф ненавидит громкие слова и очень тонко чувствует фальшь, но сейчас он сам сфальшивил и поэтому злится. В самом деле, мы с ним сыграли какой-то скетч из сборника одноактных пьес для клубной сцены. Он играл роль старшего и умудренного друга, а я — молодого поборника научной правды. С первых же слов мы оба поняли, что играем дурацкие роли, но в этой игре мы искали нужный тон и, может быть, нашли бы его, если бы не мой последний вопрос. С него так и закапала патока. По ходу пьесы шеф должен был бы подойти, положить мне руки на плечи, этак по-нашему встряхнуть и сказать: «Я в тебе не ошибся».

Сейчас я поставлю этот чертов опыт. Плывать я хотел на сарказм шефа и на все фетиши на свете. С этого дня я совершенно самостоятелен в своих поступках. Я вам не прибор какой-нибудь.

Фетиш! Этот фетиш даст мне кандидатское звание, уверенность в себе и лишних пятьсот рублей в месяц. Сколько еще можно тянуть? Через два года мне будет тридцать. Это возраст активных действий. После тридцати о человеке уже могут сказать — неудачник. Тридцатилетние мужчины — главная сила земли, они действуют во всем мире, осваивают Антарктиду и верхние слои атмосферы, добиваются лучших результатов во всем, женщины очень любят тридцатилетних, современные физики к тридцати годам становятся гениями. Нужно спешить, чтобы к тридцати годам не остаться за бортом. Тридцатилетние... Разными делами занимаются они в мире. И наряду со знаменитостями существуют невидимки, которые не могут рассказать о своем деле даже жене. Мы (я имею в виду ученых нашей области) тоже невидимки. Врач, казалось бы, самая скромная, будничная профессия. Но врач космический — это уже что-то. А рассказать никому нельзя. Мое имя до поры до времени не будет бить в глаза с газетных полос, но о нашем деле, когда мы добьемся того, ради чего работаем, закричат все радиостанции мира. Когда я слышу это «бип-бип-бип», у меня дыхание останавливается. Я представляю себе тот момент, когда ОТТУДА вместо

этих сигналов раздастся человеческий голос. Это будет голос моего сверстника. Главное — это то, о чем я никогда не думаю, это то, что я иногда чувствую, когда лежу на подоконнике и смотрю на кусочек неба, похожий на железнодорожный билет, пробитый звездным компостером.

Я встаю, иду к камере и делаю то, что нужно для ее подключения к системе. Эх, Димка, бродяга, привести бы тебя сюда! Как ты смеешь презирать мою жизнь? Как ты смеешь говорить, что я всю жизнь жил по чужой указке? Был бы ты постарше, я бы ударил тебя тогда. Трепач! Все вы трепачи!

Итак, для постановки опыта все готово. Шурочка будет потрясена, когда узнает, что защита откладывается на неопределенное время.

Я устал от этих бесплодных раздумий. Хожу по лаборатории, руки в карманах. Выглядываю в коридор: нет ли там Илюшки или моего друга Бориса? Никого нет. Снова подхожу к камере и вынимаю монетку. Орел или решка? Так делает всегда эта гоп-компания. Подбросят монетку один или три раза — и порядок. Голову себе особенно не ломают. Орел — ставлю опыт! Решка — нет! Честно говоря, я немного умею крутить так, чтобы получалось то, что нужно.

— Витька, что ты делаешь? — изумленно восклицает за моей спиной Борис. Он стоит в дверях и с тревогой смотрит на меня. Монетка падает на пол и укатывается под холодильник.

— Пойдем покурим? — говорит Борис участливо.

— Не мешай работать! — ору я. — Что за манера входить без стука?

Выталкиваю его в коридор, плотно закрываю дверь, подхожу к камере и соединяю ее с системой.

Пусть теперь все это щелкает, мерцает, качается и гудит. Что это здесь — кухня алхимика или бутафория марсианского завода? Надоедает в конце концов глазеть на непонятные вещи. Пойду искать Илюшку. Полтора часа с ним можно говорить о богатырской команде «Адмиралтеец».

— ВИКТОР, ВАШ БРАТ ПРОСИТ ВАС К ТЕЛЕФОНУ! — кричат мне снизу. Я спускаюсь и беру трубку.
ДИМКА. Витя, мы уже на вокзале.

Я. Попутный вам в...

ДИМКА. Мы едем в Таллинн.

Я. Почему в Таллинн? Вы же собирались в Ригу.

ДИМКА. Говорят, в Таллинне интереснее. Масса старых башен... А климатические условия одинаковые.

Я. Понятно. Ну, пока. Привет всем аргонавтам.

Вчера мы долго разговаривали с Димкой, чуть не подрались, но все-таки договорились писать друг другу до востребования. А ночью он пришел ко мне, сел на кровать и попросил сигаретку.

— Маму жалко, Витя,— сказал он басом.— Ты уж постарайся все это... сгладить как-то.

Я молчал.

— Виктор, скажи ей... Ну что со мной может случиться? Смотри.— Он вытянул руку, на ладони его лежал динамометр.— Видишь? — Он сжал пальцы в кулак и потом показал мне стрелку. Она стояла на 60.— Что со мной может случиться?

— Извини меня, Дима, я же не знал, что ты выжимаешь 60. Теперь я вижу, что с тобой ничего не может случиться. Ты раздобишь голову любому злоумышленнику, посягнувшему на твой пояс, набитый золотыми динарами. А мама знает, что ты выжимаешь столько?

Димка встал. Всю последнюю зиму он возился с гантелями, эспандером и динамометром. Рельеф его мускулатуры был великолепен.

— Виктор, ты на меня злишься. Я тебе тогда наговорил черт знает что. Ты уж...

— Наш простой советский супермен,— сказал я.— Ты понимаешь, что ты сверхчеловек? Когда ты идешь в своей шерстяной пополам с нейлоном тенниске, и мускулы выпирают из тебя, и прохожие шарахаются, ты понимаешь, что ты супермен?

Димка помялся в дверях, вздохнул.

— Ладно, Виктор. Пока.

Теперь я жалею, что говорил с ним так на прощание. У мальчишки кошки на душе скребли, а я не смог сдерживать свою злость. Но ведь не по телефону же изъясняться.

В странном состоянии я вступаю под вечерние своды «Барселоны». Со двора вижу, что все окна нашей квартиры ярко освещены. Мгновенно самые страшные мысли озверевшей ордой пронесаются в голове. «Неотложка», ампулы ломают руками, спины людей закрывают что-то

от глаз, тазики, лица, лица мелькают вокруг. Прыгаю через четыре ступеньки, взлетаю вверх и, подбегая к нашим дверям, уже слышу несколько голосов. Быстро вхожу в столовую.

Нервы у меня прямо никуда. Надо же так испугаться! Мама разливает чай, папа курит (правда, жесточно, рывками). Вокруг стола, как и следовало ожидать, расселись «кони». Здесь Юркин отец — наш управдом, мать Гали и дедушка Алика, персональный пенсионер. Говорят все разом, ничего нельзя понять. Меня замечают не сразу. Я останавливаюсь в дверях и минуту спустя начинаю в общем шуме различать голоса.

МАТЬ ГАЛИ (*еще молодая женщина*). И она еще в чем-то обвиняет меня! Это безумное письмо! Вот, послушайте: «...ты не могла понять моего призвания, а мое призвание — сцена. Ты всегда забывала о том, что я уже год назад обрезала школьные косички».

ДЕД АЛИКА (*с пафосом 14-го года*). Позорный документ! А мой внук заявил мне на прощание, что солидные профессии пусть приобретают мещане, и процитировал: «Надеюсь, верую, вовеки не придет ко мне позорное благоразумье».

ОТЕЦ ЮРКИ (*старый боец*). Мало мы их драли, товарищи! Мой олух совсем не попросился. Сказал только вчера вечером: «Не дави мне, папаша, на психику». Ну, я его... кхм... Нет, мало мы их драли. Решительно мало.

НАШ ПАПА (*мыслит широкими категориями*). Удивительно, что на фоне всеобщего духовного роста...

НАША МАМА (*это наша мама*). Какие жестокие дети...

Я вижу, что бурный период слез и валерьянки (то, что меня страшило больше всего) уже прошел, и, в общем, благополучно. Сейчас кто-нибудь скажет: «Что же делать?» И все будут думать, что делать, и, конечно, спросят совета и у меня. А что я могу сказать?

Я сказал:

— Товарищи родители! — и посмотрел на Галину маму. Мы с ней немного флиртуем. — Товарищи родители, — сказал я, — не волнуйтесь. Делать нечего, и ничего не надо делать. Ребята захотели сразу стать большими. Пусть попробуют. И ничего страшного с ними не случится. Димка просил передать, чтобы вы не беспокоились, он будет писать мне. Парни здоровенные, и Галю, Зинаида Петровна, они в обиду не дадут.

Несмотря на мое выступление, родители возмутились еще очень долго. Часам к 11 они перешли на воспоминания. Я прошел в свою комнату, открыл окно и лег спиной на подоконник.

Часть вторая

АРГОНАВТЫ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ОНИ СМОТРЕЛИ В ОКНО ВАГОНА. Над Каланчевкой уже зажглись неоновые призывы Госстраха, а небо было еще совсем светлым. Западный фасад высотной гостиницы весь пылал под солнцем слюдяным огнем.

И все это медленно-медленно уплывало назад.

Станционные пути и совсем рядом обычная московская улица. Огромный плакат на глухой стене старого дома: «Лучшие спутники чая». В космическом пространстве вокруг чашки чаю вращаются его лучшие спутники: печенье, варенье, торт.

И все это медленно-медленно уплывало назад.

— Шикарно придумана реклама,— сказал Димка.— Надо бы всю рекламу построить по этому принципу. Лучший спутник мыла — мочалка, лучший спутник водки — селедка...

Но Галя, Алик и Юрка не подхватили.

А потом все пошло быстрее и быстрее, трах-тах, тах-тах, трах-тах, тах-тах... То вдруг открывалась дальняя перспектива Москвы, то окно закрывалось вагонами, стоящими на путях, заборами, пакгаузами. Трах-тах, тах-тах, трах, свет, мрак, трах-тах-тах, бараки, свет, трах-тах-тах, встречный паровоз.

Уходила Москва, уносилась назад. Центр, забитый автомобилями, и полные ветра Лужники, все кинотеатры и рестораны, киностудия «Мосфильм», Ленинская библиотека и Пушкинский музей, ГУМ, трах-тах-тах, все уже позади, и в каменном море четырехугольная «Барселона», волна и корабль, что качал нас семнадцать лет, мама, папа, дедушка, брат, все дальше и дальше улетают они, трах-тах-тах, свет, мрак, барак, новостройка, тах-тах, это еще Москва, трах-тах, вдруг лес, это уже не Москва, трах-тах-тах, встречная электричка.

Проводники таскали матрацы и комплекты белья. В обоих концах вагона скопились граждане со сверточками в руках. По очереди они исчезали и появлялись снова уже в роскошных полосатых одеждах. Весь вагон возился и извинялся, а трое парней и девушка все смотрели в окно на лес и поле, где временами появлялись и стремительно мчались назад последние островки Москвы.

Рядом скрипнула кожа, и Галя почувствовала, что кто-то деликатно взял ее за талию.

— Разрешите проследовать? — пророкотал ласковый командирский басок. Прошел мужчина в синем костюме и скрипучих сапогах. Налитая красная шея, пересеченная морщинами, напоминала поверхность футбольного мяча. Обернулся, скользнул зеленым глазом, поправил рыжий ус и сказал кому-то:

— Гарная дивчина.

Димка, взглянув на рыжего, вдруг почувствовал себя маленьким и беспомощным и со злости сжал кулаки. Галя прошла в глубь купе и села там у окна. Димка сел с ней рядом. Алик вытащил из рюкзака кипу газет и журналов — «Дейли уоркер», «Юманите», «Юнге вельт», «Паэзе сера», «Экран», «Курьер ЮНЕСКО» и «Юность». Юрка вытащил из кармана «Советский спорт».

Напротив Гали и Димки сидели три парня в очень аккуратных костюмах. Двое из них все время посмеивались, вспоминая какую-то машину, которую они называли «самосвал ОМ-28-70». Третий, белобрысый гигант, молча улыбался, поворачивая голову то к одному, то к другому.

— Лучшая марка из всех, что я знаю, — сказал первый парень и подмигнул Димке.

— Верно, — согласился второй.

— КПД самый высокий, поэтому и хороша эта машина в эксплуатации. — Первый опять подмигнул Димке.

— Что-то я не знаю такой машины, — мрачно сказал Димка.

Первый парень, худой и прыщавый, откинул со лба черную челку и выкатил на Димку лакированные глазки.

— Не знаешь? Слышишь, Игорь, человек не знает самосвала «ОМ-28-70»!

— Молодой еще, — улыбнулся Игорь, человек с крепким и широким лицом. Разговаривая, он поднимал ладонь, словно что-то на ней взвешивая. Он вытащил бутылку и показал. Оказалось, что самосвал «ОМ-28-70» —

это «Особая московская» — 28 рублей 70 копеек». Страшно довольный, черноглазый малый безумно хохотал.

— Это нас вояки по дороге в Москву разыграли,— проговорил он, задыхаясь. Отсмеявшись, предложил знакомиться.

— Шурик,—сказал он и протянул руку Гале, которая все это время безучастно смотрела в окно. Галя обернулась к нему холодным лицом манекена. Она умела делать такие лица.

— Александр Морозов,— поправился черноглазый и привстал.— А это мои друзья — Игорь Баулин и Эндель Хейс.

Галя небрежно кивнула головой и снова отвернулась. Димка разозлился на нее и сказал:

— Ее зовут Галка. А я Дима Денисов. А это мои друзья — Юрий Попов и Алик Крамер. Идите сюда, ребята!

Алик уже давно остро поглядывал из-за «Паэзе се-ра», изучал типажи. Юрка, не отрываясь от «Спорта», пересел поближе, ткнул в грудь Энделя Хейса и спросил взволнованно:

— Слушай, как ты думаешь: припилят наши в баскет американцев?

— Цто? — тонким голосом спросил гигант и покраснел.

— Он по-русски слабо кумекает,— улыбнулся Игорь.

Проводник принес чай. Черноглазый, несколько обескураженный каменным лицом Гали, вскоре снова разошелся. Он сыпал каламбурами, анекдотами, корчил такие рожи, что Юрка уже не спускал с него глаз. Алик положил газету на стол. Черноглазый ткнул пальцем в фотографию Брижит Бардо на первой странице и сказал Гале:

— Артисточка эта на вас смахивает.

Напряженно прикрыл один глаз.

О, как Галя умеет улыбаться!

— Вы находите?

Черноглазый Шурик радостно засиял.

— Должен вам прямо сказать, что вы ужасно фотогигиеничны.— Ха-ха-ха!

«Страшно люблю таких психов в компании»,— подумал Димка.

Ребята охотно поддержали тон Шурика: дурачились изо всех сил. Игорь достал карты, а Алик стал учить но-

вых знакомых играть во французского дурака. Даже огромный Эндель развеселился и пищал что-то своим тоненьким голоском. Начало путешествия складывалось приятно. Поезд летел в красной закатной стране. Электричество в вагоне еще не включили, и от этого было как-то особенно уютно. Тени на лицах и блики заката сквозь хвойный забор, вокруг блестят глаза, и открываются в хохоте рты. Какие славные ребята наши попутчики! И вообще все — о'кэй! В мире полно смешных и благожелательных людей. Поезда ходят быстро, в них уютно и играет радио.

Я жду тебя, далекий ветер детства,
Погладь меня опять по волосам.

Все вскочили, отдавая честь, потому что вышел король, а Димка остался сидеть. Его затормошили, Юрка хлопнул картами по носу, но он отмахнулся.

Переулок на Арбате
С проходным нашим милым двором...

Димка встал.

— Я покурить.— И пошел в тамбур.

Поезда уходят быстро от родных мест, но в них есть радиоузлы, где крутят душещипательные пластинки. Черт бы их побрал! Иная песенка может выбить из колеи даже мужчину, выжимающего правой рукой 60.

— Ничего, это с ним бывает,— сказал Юрка,— поехали дальше!

И все закричали:

— Бонжур, мадам! — Потому что вышла дама.

Димка курил в тамбуре, и ему было стыдно. «Видимо, я все-таки слабак,— думал он.— Всем ребятам тяжело, но они держатся. Даже Галка. А меня словно кто-то за горло взял, когда стали крутить эту пластинку: «Я жду тебя, далекий ветер детства, погладь меня опять по волосам». Ветер детства, такого еще близкого, что там говорить! Он только там, этот ветер, больше нигде его нет для меня. Летает по переулкам медленно и властно, как орел. И вдруг со свистом — под арку «Барселоны», а мама из окна:

— Дима, ужинать!

Ребята кричат:

— Димка, выйдешь?

— Дмитрий, сколько раз тебя нужно звать?

— Димка, выйдешь?

А ветер детства уже заполнил все и распирает стены. Мама любила гладить по волосам до тех пор, пока я не устроил ей скандала из-за этого. Теперь ночью подходит и гладит — и ветер детства сквозь кирпичи и стекла... Все, покончено с этим ветром. Ему не долететь до Балтики».

Димка открыл дверь вагона, и резиновый ветер открытой земли дал ему в грудь.

Тра-ля-ля! Поехали исследовать разные ветры! Бриз — это прибрежный ветер. Муссоны дуют летом с моря на сушу, зимой наоборот. Пассаты — прекрасные ветры (это у Джека Лондона). Бора — в Новороссийске (где это он читал?). Торнадо — кажется, в прериях.

Географы и синоптики различают ветры по направлению и по силе. А кто их различает по запаху? Музыканты, что ли? Художники, наверное, умеют различать и по цвету. Боже мой, как только не пахнут ветры! Вот этот резиновый, на ощупь он каждую минуту разный. Сейчас дохнул мокрой травой и навозом. Опушка леса наполовину уже погружена в темноту, а лужа возле полотна пылает смесью всех цветов, словно палитра. И рядом апатичная лошадь с продавленной, как старый диван, спиной. Телега оглоблями вверх. Босой мальчишка. Одинокая изба на краю леса. Прошлогодний стог. Запах мокрой травы и навоза. Запах старины. До боли все это знакомо. Все это уже когда-то было. Когда? Попытайся вспомнить. Опушка мелькнула и исчезла. В дороге не только исследуют, но и вспоминают. К сожалению, никогда нельзя вспомнить до конца.

— Кукареку! — закричали в вагоне, потому что вышла десятка. Эндель опять зазевался. Брижит Бардо встала и, очень грациозно спотыкаясь, выбралась из купе.

Димка стоял лицом к двери и беспощадно дымил. Галя увидела его плечи, обтянутые черной фуфайкой, мускулистую шею, и ей неудержимо захотелось провести ладонью по его затылку снизу вверх, чтобы почувствовать мягкую щетку волос. Она это сделала. Димка резко повернул голову и отскочил.

— Ты что? — гаркнул он. — Чего тебе надо?

— Дайте мне сигарету, капитан, — сыграла Галя.

— Ты уверена, что Брижит Бардо курит? — буркнул Димка и протянул ей сигарету.

Несколько минут они курили, молча глядя на огромную равнину, покрытую кустарником.

— Ты думал о доме? — вдруг спросила Галя, и Димка снова вздрогнул.

Он посмотрел ей в лицо и сказал:

— Да.

Галя отвернулась. Плечи ее дрогнули.

— Мне страшно.

— Что ты, первый раз из Москвы уехала?

— Конечно. Я дальше Звенигорода нигде не была.

Димка взглянул на Галино лицо, ставшее совсем детским, и почувствовал себя слюнтяем и мягкотелым хлюпиком; ему захотелось вытереть этой девочке влажные глаза, погладить ее по голове и сказать ей что-то нежное. Он ударил ладонью по ее плечу и бодро воскликнул:

— Не трусь, детка! Держи хвост пистолетом!

Галя отпрянула.

— Слушай, почему ты так со мной обращаешься? Я ведь тебе не Юрка и не Алик.

— Что я тебе сделал?

— Дима, мы ведь уже не дети.

— Это она мне говорит! Сама разнюнилась, как...

— Я не то имею в виду.

— А что ты имеешь в виду?

Брижит Бардо улыбнулась. Димка терпеть не мог этих ее улыбок, особенно когда она так улыбалась другим.

— Знаешь, — крикнул он, — лучше бы ты осталась дома!

Хотел уйти, но в это время в тамбур влезли Юрка, Алик, Шурик, Игорь и Эндель, а потом полезли и другие пассажиры, мужчины. Оказывается, поезд подходил к крупной станции.

Когда появился перрон и здание вокзала, Галя снова почувствовала, что ее деликатно взяли за талию и прямо над ухом прогудел ласковый командирский басок:

— Разрешите продвинуться, землячка, не знаю, как величать.

Рыжий ус лез в глаза. Воняло сивухой. Юрка просунул вперед плечо и мощно притер рыжеусого к стенке. Галя оскорбительно засмеялась.

Внимание станционных служащих, местных жителей и железнодорожной милиции было привлечено весьма экстравагантной группой молодых людей. Удивительная

златоволосая девушка в голубой блузке с закатанными рукавами и в черных брючках выше шиколотки прогуливалась по перрону в компании трех насупленных парней в черном. Один из парней носил очки и бородку. Поскольку на станции привыкли терпеливо относиться к пассажирам скорых поездов (к тому же, черт их знает, может, иностранцы), милиция и должностные лица сохраняли полное спокойствие, не выпуская в то же время указанную группу из-под цепкого наблюдения. На вокзальном скверике вокруг гипсовой девы с веслом собралось много местной молодежи.

— Э, ребята, смотри, какие гуси!

— Не гуси, а попугаи.

— Ты его, приятель, примечай, может, он заморский попугай...

— Почему же попугай? Очень скромно и удобно одеты.

— Молчи, Зинка. Сама стилияга.

— Девка-то, девка, господи ты боже мой!

— А этот очкарик с бородой в дьячки, что ли, собирается?

— Сейчас мода в Москве под Фиделя Кастро.

Ребята остановились возле скверика и эффектно «хлопнули» по стакану газировки. Димка сказал:

— Волнение среди аборигенов.

Шурик, Игорь и Эндель долго не могли успокоиться, они охали и держались за животы.

— Господи,— пробормотал Шурик,— ну как же смешно жить на суше.

— МЫ ПЕРЕГОНЩИКИ.

— То есть?

— Перегоняем сейнеры на Дальний Восток. Из Ленинграда или ГДР гоним их на Камчатку.

— А вообще-то мы балтийцы,— сказал Игорь,— дети седой Балтики, так сказать. А это,— он улыбнулся и обнял за плечи Энделя,— прямой потомок викингов.

— Ваши предки тоже были такими застенчивыми? — лукаво спросила Галя у гиганта.— Как же они тогда разрушали и грабили города? И увозили женщин? О?

— Эсты не викинги. Тихие люди. Женщину не увозили. Всегда любили женщину,— в смятении залепетал Эндель.

От этого взгляда на него становилось жарко. Все засмеялись. Димка, Алик и Юрка переглянулись. Кто бы мог подумать, что эти ребята в аккуратных пиджачках перегоняют суда из ГДР на Камчатку через все моря и океаны?

— А вы, видно, студенты?

— Нет, мы школу кончили в этом году.

— В институт будете поступать или на производство?

— Ни то, ни другое.

— А что же тогда?

— Будем путешествовать. Мы туристы.

Алик поправил Димку:

— Какие же мы туристы? Туристы на время уходят из дому, а мы навсегда порвали с затхлым городским уютом и мещанским семейным бытом.

— Точно,— сказал Юрка.

— Мы пожиратели километров,— уточнил Димка.

— Вот дают!— восхитился Шурик Морозов.— Пожиратели! Ну и везет нам, ребята, в этот раз на суше! Сначала тот лейтенант, что сел в Иркутске, сказал, что он фаталист. Фаталист, понимаете? А теперь вот пожиратели километров. Все оригинальные личности попадают. Разрешите поинтересоваться: у вас, наверное, все не так, как у людей, а? Алик, ты как теоретик...

— У нас нет теорий,— отрезал Алик.

— А взгляды? На любовь, например, у вас какой взгляд?

— Любви нет,— отрезал Алик.— Старомодная выдумка. Есть только удовлетворение половой потребности.

— Правильно!— крикнул Димка.— Любви нет и не было никогда.

— Точно,— сказал Юрка,— нету ее.

— Маленькие сынки вы, вот вы кто,— сердито сказал Игорь. Он воспринимал все это крайне серьезно.— Я думал, вы ребята как ребята, а вы маленькие сынки. Не люблю таких. Блажь в голову пришла, и помчались, сами не знают куда. А деньги кончатся— побежите на телеграф. Милые родители, денег не дадите ли?

— Ошибаетесь,— сказал Алик,— мы сами себя прокормим. Мы труда не боимся.

— А знаете вы, что такое труд?

Димка понял: шутки в сторону. Ишь ты, уставился на Альку этот тип! Желваки на скулах катаются. Может,

поучать собирается, влиять? Знаем мы таких! Идите вы все подальше!

— Представь себе, знаем! — крикнул он. — В школе проходили. Учили нас труду. Труд — это такой урок, на котором хочется все ломать.

— Э,— сказал Шурик,— так шутить нельзя.

— Нельзя,— твердо сказал Эндель.

Игорь посмотрел на Димку.

— Интересно,— медленно проговорил он,— едешь в поезде и не знаешь, кто напротив сидит.

— А сидит-то пережиток капиталистического сознания,— усмехнулся Димка.

— Хватит трепаться! — гаркнул Игорь.— Трепачи вы, голые трепачи! Поехали бы в Сибирь, посмотрели бы, что там молодежь делает!

— В Сибирь все едут,— сказал Юрка.

— Все едут на Восток, а мы вот на Запад,— засмеялся Димка.

— Сопляки!

— Но-но! — Юрка рассердился.— Полегче ты, трибун!

— Говорю, что думаю,— буркнул Игорь и закурил.

— Держи при себе то, что думаешь.

— Не собираюсь.

— Схлопочешь!

— Что-о?

Игорь и Юрка уставились друг на друга. Через несколько секунд Игорь усмехнулся и откинулся.

— Свежий ты человек, Юра. Целина. Удивительное дело. Тебя бы к нам на судно. Вы вообще-то комсомольцы или нет?

— А ты, наверное, секретарь? Освобожденным секретарем работаешь? — спросил Димка.

— Не твоего ума дело. Тебя-то к судну и подпускать нельзя.

— А иди ты... в судно!

— Товарищи! — воскликнула Галя и хлопнула ладонью по столу.— Из-за чего вы ссоритесь, я не понимаю! Какие странные! Давайте лучше сыграем во французского дурака.

— Блестящая идея,— вяло откликнулся Шурик.

Игорь встал и ушел.

— Психованный он у вас какой-то,— сказал Юрка Шурику.

Шурик был растерян. Эти ребята ему почему-то нравились. Игорь зря орал. Не хватает у человека чувства юмора, что поделаешь! Пожиратели! Вот потеха! На суде мы таких обламывали в два счета. И эти где-нибудь обломаются. И все-таки Игорь — молодчина.

Эндель Хейс, не краснея, посмотрел на ребят и встал.

— Игорь Баулин не психованный. Принципиальный. Принципы — вы знаете, что это такое? Извините, пошел закуривать.

— От сна еще никто не умер, — пробормотал Шурик и взлетел на полку.

— Вот теперь и сыграем, — сказал Димка и стал раздавать карты.

НОЧЬЮ ПОЕЗД ИДЕТ ВДОЛЬ БОЛОТ. Сделай себе щелку между шторами и смотри на залитые лунным светом кочки и лужицы. Ты лежишь в длинном пенале, набитом людьми, как перышками. Пахнет одеколоном и сыром Рокфор. Рядом с тобой, за стенкой толщиной в сантиметр, лежит человек с железными челюстями и железными принципами. Все им ясно, железным. Плюс и минус. Анод и катод. Но все-таки это здорово — лежать в теплом пенале, а не блуждать где-то там, в мертвом болоте.

На перроне Таллиннского вокзала Игорь крикнул весело (на его шее висела молодая женщина):

— Гуд бай, пожиратели!

— Пока, перегонщики! — проорал в ответ Димка и отсалютовал выхваченной из рюкзака поварешкой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

НУ ВОТ ОН, МОРСКОЙ ПЛЯЖ.

— Пляжи мне всегда напоминают битву у стен Трои, — сказал Алик.

— Мне тоже, — сразу же откликнулся Димка. — Помню, как сейчас: идем у стен Трои втроем: Гектор, Алик и я — а навстречу нам...

— Пенелопа! — воскликнула Галя и сделала цирковой реверанс.

— Ты хочешь сказать, Елена, — поправил Алик, — тогда я Парис.

— Я ухожу из Трои. Я Менелай,— заявил Димка.

— А я? А я кто буду? — заорал Юрка.— Меня-то за-
были!

— Кем ты хочешь быть? Говори сам.

— Черт возьми! — Юрка зачесал в затылке.— Не
помню ни одного. Мы же это в третьем классе проходили.

— Тогда ты будешь рабом и будешь сторожить колес-
ницу,— сказал Димка.

— Я Ахилл! — заорал Юрка, потрясая ружьем для
подводной охоты.

Димка моментально бросился на песок и схватил его
за пятку.

Огромный пляж простирался на несколько километ-
ров к северо-западу, и все эти километры были забиты
голыми людьми. Это был воскресный и невероятно жар-
кий для Прибалтики день. Мелкие волны размеренной
чередой шли к пляжу, лениво сворачиваясь в вафли. На
горизонте медленно перемещались, то сбиваясь в кучу,
то вытягиваясь в красивую эскадру, белые треугольные
яхт. И над всем этим на юго-западе висел голубой и зуб-
чатый, как старая поломанная пила, силуэт Таллинна,
грозные камни Таллинна.

Вчера ребята уже успели разбить палатку в лесу, в
ста метрах от последнего дома пригородного курортного
поселка Пирита. Галке, как она ни сопротивлялась, жить
в палатке не позволили. Алик и Димка зашли в соседний
дом и увидели хозяина, пожилого мужчину. Он сидел на
корточках и фотографировал огромного доброго пса, ле-
жащего на крыльце. По двору бегали еще две собачки,
три кошки, павлин и жеребенок. Ребята представились
хозяину и сказали, что они студенты-ихтиологи из Мос-
квы и приехали сюда для изучения нравов рыб Финско-
го залива. Хозяина звали Янсонс. Он сказал, что он ани-
малист, что он охотно сдаст для девушки комнату на
мансарде, жена будет только рада, денег не надо,— а ре-
бятам он с удовольствием окажет помощь в благородном
деле изучения нравов рыб Финского залива. Так что с
устройством быта все произошло легко, как в сказке.

— Чудаки не дадут нам погибнуть,— сказал Димка,
ликуя.

Ребята спустились с холма и направились в дальний
конец пляжа, где еще виднелись островки свободной су-
ши. Впереди шел Димка. На плече он нес рюкзак и лас-
ты. Затем следовал Юрка с подводным ружьем. Алик

независимо шествовал с пишущей машинкой. Замыкала отряд Галка. У нее на плече висела сумка с надписью «SAS».

— Приказываю установить наблюдение за заливом,— распорядился Димка,— при появлении судна Янсонса выкинуть международный сигнал: «К нам, к нам, дядя!»

— Что делать женщинам, капитан? — приложив два пальца к виску, спросила Брижит Бардо.

— Раздеваться. Лечь в стороне, загорать и как можно реже давать о себе знать.

Они постелили полотенца, закопали в песок лимонад и улеглись в ряд, подставив спины солнцу.

— Сэр, я предлагаю провести общую политическую дискуссию,— сказал Алик,— пусть каждый внесет свои предложения на повестку дня.

— Проблема пищи,— сказал Димка.

— То есть финансовая проблема,— уточнил Юрка.

— А мне можно, капитан? — робко пискнула Галя.— Проблема равноправия женщин, капитан.

— Молчать!

Дебатировалась финансовая проблема. В наличии имелось 1500 рублей. Сумма сама по себе громадная, но на нее надо было прожить месяц вчетвером. Кроме того, имелось десять лотерейных билетов. Короче говоря, надо было дотянуть до тиража.

— Наши мысли не что иное, как электромагнитные колебания,— сказал Алик.— Если в день тиража мы напряжем свою волю, учетверенная мощность наших импульсов... Вам ясно? Телепатия и так далее. Выигрыш обеспечен.

— «Волгу» продадим, купим «Москвич» и на нем покатаем в Ленинград,— рассудил Димка.

— Дети,— сказала Галка, а Юрка захохотал.

— Вот с такими настроениями ни черта не выиграешь,— разозлился Алик.

— В общем, жрать пока надо поменьше,— подытожил Юрка.— До тиража. Потом уж поедим.

— Ты же обещал нас всех кормить рыбой,— заметила Галя.

— Рыбы-то, пожалуйста, ешь сколько угодно.

— Да где она?

— Финского залива тебе хватит на ужин?

— Я не понимаю, что это вы так разволновались из-за этих дурацких денег? — сказал Димка.

— Правда, чего мы волнуемся? — улынулась Галя. — Ведь наш капитан обыграет всех на бильярде, а Алик наводнит местные газеты своими стихами, балладами, новеллами, баснями, шарадами.

— Ты вроде струсила, детка? Побежишь на телеграф, как говорил эта дубина Игорь?

Галя села, подняла голову, и лицо у нее стало таким, что ребята уткнулись в песок.

— Что мне трусить? Разве трусят, когда впервые видят море? И едут на поезде так далеко и... все вместе? Я ничего не боюсь, когда... Ой, мальчики, мне сейчас так... Боюсь только женоненавистников. — Она открыла глаза и улынулась Димке. — Но, к счастью, их не так много.

— Судно Янсона в двух кабельтовых на норд-осте! — доложил Юрка.

Димка встал.

— Женщины и поэты остаются на берегу. Человек-амфибия и я идем на промысел. Сбор в шесть вечера возле автобусной остановки.

А Галя все сидела с таким лицом, что просто не было сил на нее смотреть.

К ногам Димки подкатился волейбольный мяч.

Ишь ты, сидит, размечталась! Актриса! Сидит и будто не видит этих типчиков, что перебрались к ней поближе со своим мячом.

— Уловил? — сказал Димка Юрке зловеще.

— К Галке хотят подклеиться. Ясно.

Трое парней, все как на подбор, стояли и ждали, когда Димка подаст им мяч.

— Покажем им?

— Пошли.

Димка небрежно одной рукой поднял мяч и, раскручивая его, пошел к парням.

— Подкинь мне вон на того пижона.

Покажем им, чертям, столичный класс! Ну-ка, давай, Юрка! Дима-а! Ничего, подождете, дойдет и до вас очередь. Еще заплачешь, пижончик. Давай, Димка! Юра-а! Узнаете, как клеиться к нашим девочкам! Разве Галка — твоя девочка? Просто товарищ, как Алька. Это — ее личное дело. Ей небось нравится, что она пользуется успехом здесь. Давай-давай! Можешь ты кинуть как следует? Не нравится мне этот пижончик. Просто не нравится, и все. Галка здесь ни при чем. Ну, давай!

Трое парней довольно равнодушно смотрели, как изгилялись Димка и Юрка. Наконец Димка уловил темп, прыгнул и ахнул что есть силы прямо в того пижончика. Пижончик принял мяч, падая на спину, и покатился, как заправский защитник.

— Молодец! — закричала Галка. Димка оглянулся на нее. Открыла глаза, спящая принцесса! Странно, что вот такие пижончики и пользуются у девчонок самым большим успехом. А взял он здорово. Молоток!

Мяч снова отскочил к Димке. Он поймал его и бросил далеко в сторону. Сказал пижончику:

— Что вам, места больше нет? У нас тут творческая личность, ему нужна тишина и чистый воздух. Понятно?

Ребята поговорили между собой по-эстонски, засмеялись и пошли туда, куда Димка забросил мяч.

— Молодец, — сказала Галя, — какой ты молодец, Дима!

— Слушай, детка, — Димка нахмурился. — Хочу тебя предупредить. Мы не собираемся тут за тебя кашу расхлебывать. Алька, смотри тут за ней!

Алик, ничего не замечая, словно одержимый, стучал на пишущей машинке.

— Ребята сами подошли, — сердито сказала Галя. — Что я их, звала?

— Ты хочешь сказать, что пользуешься успехом?

— А тебе в конце концов какое до этого дело?

— Алик, слышишь, Галка пользуется успехом.

Алик вздрогнул, посмотрел на них, лег на песок и сказал в бороду:

— Кому же еще пользоваться успехом, если не ей? Димка не унимался:

— Юрка, ты слышишь: Галка-то наша пользуется успехом!

— А нет, что ли? — Юрка проверял свою снасть. — Ты думаешь, не пользуется?

— Конечно, пользуется. Я же и говорю, что пользуется.

Юрка перекинул через плечо ласты.

— Я считаю, — сказал он, — что в нашей школе больше никто и не пользовался таким успехом, как Галка. Вот, может, еще Боярчук.

— Боярчук... Люся? — встрепенулся Алик. — Да, да!..

— Нет! — торжественно заявил Димка. — Боярчук в

счет не идет. Из нашей школы только Галка пользуется настоящим успехом. Боярчук ведь еще недоразвитая.

— В каком смысле? — Алик сел и уставился на Димку.

— В женском смысле, конечно. У Галки уже есть все, чтобы пользоваться настоящим успехом. А Боярчук, — Димка показал в воздухе, какая она, эта Боярчук. Плоская, мол.

Юрка захохотал:

— В этом смысле точно!

Галя переводила взгляд с одного на другого. Она была поражена. Ребята, ее друзья, впервые при ней вели такой разговор. В поезде они трепались о любви, но это же был обычный треп. А теперь они говорят так о ней! Ее друзья! А Димка даже с какой-то злобой. Подлец!

— И все-таки глаза у Люси... Боярчук удивительные, — сказал Алик.

— Глаза! — засмеялся Димка. — Ха-ха, глаза! Что ты будешь с глазами-то делать? С одними глазами успеха не завоеешь. Наша Галка глазами, думаешь, всех покоряет?

Галя вскочила и ударила Димку по щеке.

— Дурак, дурак, дурак! — Отбежала в сторону и упала на песок. — Все вы дураки и щенки!

Димка стоял, закрыв рукой щеку и глаз, и одним глазом смотрел на все вокруг. В этот миг берег, и лес, и люди выглядели, как десять лет назад, когда он захлебнулся в воде и на мгновение потерял сознание. После этого все казалось вот таким, неузнаваемым.

— Идиотка! — крикнул он первое, что пришло в голову. И сразу все стало на место. Галкина золотистая голова покачивалась за бугром. Плачет, что ли? Вот еще напасть с ней! А Алька-то какого черта смотрит, словно стервятник?

— Янсонс сигналит, — сказал Юрка, — пошли.

Алик с минуту смотрел им в спины, потом побежал и рванул Димку за плечо.

— Слушай, ты, ты! — пробормотал он. — Ты не прав насчет глаз! Глаза — зеркало души.

— Напиши это в стихах, — буркнул Димка.

— Не прикидывайся, Димка, что тебе наплевать на глаза.

— Отстань! Видишь, нам Янсонс сигналит.

— Да ладно вам, — сказал Юрка.

Они снова пошли к воде, но Димка обернулся. Бородатый черт смотрел им вслед. Теоретик! Любви нет. Удовлетворение половой потребности. А сам готов разреваться из-за глаз этой Боярчук.

— Слушай, Алька, скажи ей, что она права,— я дурак. И все мы дураки. Скажи, чтоб не куксилась.

— И развези там киселя побольше,— добавил Юрка.

— ХОРОШО, ВЫ ДУРАКИ,— сказала Галя,— я это давно знала, но я не знала, что вы такие.

— Понимаешь,— Алик заглянул ей в глаза,— Димка стал какой-то странный. По-моему, он что-то затаил.

— Ты уверен? — воскликнула Галя.— По-твоему, он что-то затаил?

Она посмотрела в море. Там, довольно далеко от берега, стояло судно Янсонса. По мелководью к нему бежали Юрка и Димка. Устроили вокруг себя настоящее безобразие, тучи брызг поднимают. Вот стало трудно бежать. Идут. Поплыли. Неужели Димка что-то затаил? Неужели это возможно?

— Я подозреваю,— сказал Алик,— я не хочу тебе говорить, это не по-товарищески, но мне кажется...

— Алька, можно тебя дернуть за бородку? Можно, а? Ну, миленький Алинька, можно разочек? Всего один разик?

— ХОРОШЕЕ СУДНО У ЯНСОНСА,— сказал Димка,— и сам он дядька хороший.

— А что такое анималист? — спросил Юрка.

— По-моему, это что-то из зоотехники.

Янсонс сидел на корме своей голубой моторки. Издали, в курточке и восьмиугольной фуражке, он был похож на юношу. Моторка покачивалась на волнах. Голубые тени скользили по ее корпусу. Солнце отсвечивало вокруг в воде, вращалось маленькими волчками. Янсонс, загадочный анималист, сидел на корме и улыбался подплывающим ребятам из-за своей трубки.

«СТУЧИТ И СТУЧИТ. Какой смешной этот Алик!» — подумала Галя.

Она уже два раза выкупалась. Поиграла в волейбол с

теми ребятами. Ребята оказались рабочими с таллиннского завода «Вольта». Они говорили по-русски с удивительно милым акцентом.

А Алик все стучал на своей машинке.

«Все-таки он молодец!» — подумала Галя.

Сценарист, беллетрист и поэт Александр Крамер за эти два часа написал уже один рассказ и три стихотворения: о трактористе, ко Дню Военно-Морского Флота и ко Дню физкультурника.

Бронзой мускулов,
День, звени!
Будут ли тусклыми
Наши дни?

Мускулы — тусклыми! Железная рифма. Отхватят с руками. 48 строчек по 5 рублей — 240! Неплохо за два часа! Конечно, это халтура, но кто не халтурил? И Маяковский себя смирял, становясь на горло собственной песне.

Десять окурков валялись с ним на песке. Закуривая новую сигарету, он поднял вверх свою бородку (паршивенькая, надо сказать, бороденка!) и поправил синий платок на шее.

«Ну а теперь начну что-нибудь настоящее, для души.

Каюта. Пахнет табаком. Шкипер спит. Волосы из ноздрей, как два маленьких взрыва. Заскрежетало.

Закручу психологический узел. Жена, любовница, 17-летний сын, драка в портовом кабачке. Напишу в манере сюрреализма и пошлю Феликсу Анохину на рецензию. Ему понравится. Главное — психический автоматизм, всегда говорит он. Телеграфный язык современной прозы. Сделаю настоящую модернягу».

Алик сунул окурочек в песок и увидел великолепные остроносые туфли, медленно передвигающиеся по песку. Штаны тоже были стопроцентные, без манжет. Алик поднял голову выше и ахнул. Мимо него шел знаменитый сценарист и кинодеятель Иванов-Петров.

«На ловца и зверь бежит!» — сразу же подумал Алик.

Знаменитость отошла метров на десять и со слабым стоном повалилась на песок.

— Галка, видишь того человека? — горячо зашептал Алик.

— Шикарный дядечка, — равнодушно сказала Галя.

Она лежала на животе, болтала ногами в воздухе и читала что-то по театру.

— Это же Иванов-Петров!

— Иванов да еще и Петров? Не может этого быть.

— Темная ты женщина! А еще актрисой собираешься стать!

Алик вскочил, подтянул шейный платок, пригладил волосы.

Темная женщина Галка! Не знает Иванова-Петрова! Это же авангард нашего искусства! Пойду пожму руку старику. Мы ведь с ним немного знакомы. Болтали тогда о «Сладкой жизни». Он рассказывал о фестивале в Каннах, а я тогда сказал...

Алик сказал тогда, что, по его мнению, Феллини — экзистенциалист. Правда, Иванов-Петров этого не услышал, потому что одновременно с Аликом заговорил режиссер Галанских. Иванова-Петрова окружала целая толпа маститых, и Алик бегал вокруг и вставал на цыпочки. Потом Алик снова сказал, что, по его мнению, Феллини — экзистенциалист, но тут заговорили один редактор и знаменитый оператор Пушечный. В третий раз до всех дошло. Все посмотрели на Алика и засмеялись, дубы, а Иванов-Петров, проходя к выходу, хлопнул его по плечу. Знакомство, конечно, шапочное, но почему не поприветствовать старика Иванова-Петрова? Ему, наверное, будет приятно здесь, в Эстонии, увидеть своих с «Мосфильма».

Алик пошел на сближение.

«Главное, не терять независимости!» — думал он. Прошел мимо. Иванов-Петров лежал на спине. Алик влез по пояс в воду, окунулся, пошел обратно, небрежно хлопая ладонью по воде.

«Полная независимость», — думал он. Остановился над распростертым на песке телом и сказал громко:

— Ба, да это кажется Иванов-Петров!

Сценарист вздрогнул, но глаза не открыл. Алик растерялся.

— Ба, да это кажется Иванов-Петров! — сказал потише.

Сценарист открыл глаза.

— Привет! — сказал Алик и плюхнулся на песок рядом.

Иванов-Петров протянул ему руку.

— Давно здесь? — спросил Алик независимо, может быть, даже несколько покровительственно.

— Первый день.

— Творческая командировка? Или конференция?

— Да нет, брат, — виновато сказал Иванов-Петров, — жиры сгонять приехал. Засиделся. Думаю тут погулять, в теннис поиграть.

— Дело! — одобрительно сказал Алик.

— Ты меня прости, брат, — замялся кинодеятель, — память у меня что-то стала слабеть. Сорока еще нет, понимаешь ли, а вот... Ты в каком жанре трудишься?

— Почти во всех, — ответил Алик и с ужасом взглянул на Иванова-Петрова. — В основном сценарии. Думаю стать киносценаристом.

— Тяжело, — вздохнула знаменитость.

— Можно вам показать? — Алик независимо усмехнулся. — В порядке шефства посмотрите мои работы?

— Давай, брат, — снова вздохнул Иванов-Петров.

ЮРКА ПЛЫЛ ПОД ВОДОЙ. Он дышал через трубку и смотрел вниз на песчаное и словно гофрированное дно. По дну скользила его тень, похожая на самолет. Перед самым носом, блестя, точно металлическая пыль, прошла стайка мелюзги. Внизу шмыгнула стайка мелочи покрупнее.

«Тюлька, — подумал Юрка. — Четыре рубля килограмм».

Дно было совершенно чистое: ни кустика, ни камушка. Черта с два подстрелишь на таком дне! Все равно что охотиться в парке культуры. Тоже мне, Янсонс, знаток природы, куда привез! Ага, кажется, начинается! Внизу появились валуны и лужайки темно-зеленого мха, потом пошли какие-то кустики. Юрка посмотрел наверх. Там все сияло ярко и вызывающе. Здесь был другой, мягкий и вкрадчивый, мир. Юрка чувствовал все свое тело, легко проникшее в этот чужой мир. Он чувствовал себя гордым и мощным, как никогда, представителем воздуха и земли в этой иной стихии. Честно говоря, он ни разу в жизни не охотился под водой и, если уж совсем начистоту, впервые плавал с ластами и в маске. Но с детства он был страшно уверен в себе, считал, что любое дело ему по плечу. В пятом классе на уроке физкультуры он забрался на большой трамплин, как будто

это было для него самое привычное дело. На баскетбольной площадке он чаще всех бросал по кольцу из любого положения. Он был самым высоким в классе, самым сильным, и он был кандидатом в сборную молодежную.

«Покупайте свежемороженую камбалу. Вкусно, питательно»,— вспомнил Юрка плакат в магазине на их улице, когда увидел внизу несколько круглых и плоских рыб. Он нырнул, поднял ружье и выстрелил в самую крупную. Рыбы трепыхнулись и исчезли. Гарпун тоже пропал. А тут еще ахнул с моторки Димка. Он нырнул до самого дна, толкнул Юрку в плечо и, выпуская пузырьки, вознесся вверх. Наловишь с ними рыбы, с этими типами, Янсонсом и Димкой! Но где же гарпун?

ДИМКА ЛЕЖАЛ НА СПИНЕ. Волны поднимали его, и тогда слева он видел желто-зеленую полоску берега, а справа — силуэт танкера, волны опускали его, и тогда он оставался наедине с небом. Вдруг он вспомнил стихи. Виктор на юге часто повторял это:

С этих пор я бродил
В полуночном пространстве,
В первозданной поэме,
Сложенной почти наобум,
Пожирал эту прорву,
Проглатывал прозелень странствий,
Где ныряет утопленник,
Полный таинственных дум.

Вот жизнь у этих утопленников! Наверное, это здорово — качаться все время на волнах и быть полным таинственных дум! Но еще лучше быть живым и вспоминать разные стихи про море. Алик знает целую прорву стихов и много о море. Виктор знает стихи, а Галка — наизусть «Ромео и Джульетту». Галка, Галка, какой ты молодец, что дала мне по щеке! Как это хорошо получилось! Как здорово все — я в море, а она на берегу.

Волна подбросила Димку. Танкер лез в гору, а две яхты ползли вниз. Пикировала здоровенная, похожая на гидроплан чайка. Совсем рядом подпрыгнула корма моторки. Две чаечки косо перерезали всю эту вихляющуюся картину и сели на воду.

— «И летит кувыркком и касается чайками дна»,—

снова вспомнил Дямка стихи и даже испугался: «Что это сегодня со мной?»

Он перевернулся и поплыл. Вот жизнь!

ЧАЙКА, ПОХОЖАЯ НА ГИДРОПЛАН, прилетела с моря, изящно сделала вираж и ушла обратно. Галя отбросила книжку и перевернулась на спину. Над головой прошли ботинки Иванова-Петрова и голые ступни Алика.

«Мальчики ловят рыбу, — улыгнулась Галя. — Посмотрим, что вы поймаете. А я? Поймаю ли я золотую рыбку? И где она плавает, моя? Море такое громадное. А может быть, она сама приплывет ко мне и скажет: «Чего тебе надобно, Галя?» — «Я хочу, чтоб было душно, и пахло цветами, и чтобы я стояла на балконе и смотрела на слабые огоньки Вероны». А потом послышится шорох, и появится Ромео. Он подойдет ко мне и скажет: «Кончай, детка, свои закидоны глазками и прочие шуры-муры». Он скажет это так же, как сказал сегодня, но на этот раз мы будем одни. А дальше уже все пойдет по Шекспиру. Но конец будет ненастоящий, так будет только на сцене. Вспыхнут все лампы, и мы встанем как ни в чем не бывало. Аплодисменты! Букеты! А в первом ряду аплодирует седой человек из кяно. На самом деле это будет только начало».

К КОНЦУ ДНЯ друзья подстрелили одну тощую камбалу. Они стыдливо завернули ее в газету и отнесли в палатку. Почистившись, пошли на автобусную остановку.

Галя и Алик долго и противно смеялись. Юрка и Дямка не ответили ни на один вопрос. Не станешь ведь рассказывать, как они без конца ныряли и, посинев от напряжения, пытались вытащить застрявший гарпун. И про улыбочки Янсонса тоже не расскажешь. Ведь не рассказывать же, ей-богу, про эту несчастную рыбешку, которую с грозным ревом и омерзительным сопением пожрал один из котов Янсонса. Абсолютно ни о чем нельзя было рассказать. Ведь если Галка начнет хихикать, ее не уймешь.

За спинами ребят гигантским веером колыхался закат. А прямо перед ними стояли красные сосны. А вот

показался огромный венгерский «Икарус». Краски заката раскрасили его лобовое стекло. Замолчали Галка и Алик. Все четверо смотрели, как приближается автобус, и чувствовали себя счастливыми. Вот это жизнь! Горячий песок. Сосны. Чайки. Море. Автобус идет. Куда хочу, туда еду. Могу на автобусе, а могу и в такси. И пешком можно. И никто тебе не кричит: иди, учи язык! И никто, понимаете ли, не давит на твою психику. И унижаться, выпрашивать пятерку на кино не надо. А впереди вечерний Таллинн. Город, полный старых башен и кафе.

Они вошли в кафе. В зале были свободные столики, но они подождали, пока освободятся места у стойки. Места освободились, и они сели на высокие табуреты к стойке. Положили руки на стойку. Вынули сигареты и положили их рядом с собой. На стойку. Поверхность стойки была полированной и отражала потолок. Потолок весь в звездах. Асимметричные такие звезды.

Буфетчица занималась с кем-то в конце стойки, а ребята пока оглядывались, сидя у стойки. Кафе было замечательное.

— А вон наши красавцы с пляжа,— сказал Алик.

В дверях появились трое парней.

— Ишь ты, напыжились! — засмеялся Юрка.

— А как же! — усмехнулся Димка.— Смотрите, смотрите, мы идем в элегантных вечерних костюмах. Все трое в черных костюмах.

— Дешевые пижоны,— сказал Алик.

— Они не пижоны, а рабочие,— возразила Галя.

— Рабочие! Знаем мы таких рабочих!

Пижоны-рабочие вежливо поклонились Гале. Брижит Бардо сделала салют ручкой и сказала первое эстонское слово, которое выучила:

— Тере — здрасте!..

Димка только покосился на нее. Те трое уселись на высокие табуреты, как будто им в зале мало места. Везде им места не хватает. Тот пижончик, в которого Димка сегодня бил, оказался рядом. Ладно, лишь бы сидел тихо. Только бы перестал возиться и напевать. И пусть только попробует пялить глаза на Галку!

— Палун? — обратилась буфетчица к Димке.

— Коньяк,— сквозь зубы, резко так сказал он.— Налейте коньяку. Четыре по сто.

Вот как надо заказывать коньяк. Только так.

— Смотри, что она наливает,— зашевелился Юрка.— «Ереванский»! 17.50 сто граммов! Эй, девушка, нам не..

Димка толкнул его локтем.

— Заткнись!

Юрка и Димка выпили свои рюмки. Алик не выносил спиртного. Он лизнул и что-то записал в блокнот. Юрка разлил его рюмку пополам с Димкой. Галя не допила, и Димка хлопнул и ее рюмку.

Пижоны рядом пили кофе и какое-то кисленькое вино.

В кафе громко играла музыка, какая-то запись. Это был рояль. Но играли на нем так, словно рояль — барабан. Вокруг курили и болтали. И симпатичная буфетчица, которую Димка уже называл «деткой», поставила перед ними дымящиеся чашки кофе. Стояли рюмки и чашки, валялись сигареты, ломтики лимона были присыпаны сахарной пудрой. Сверкал итальянский кофейный автомат. Сверкало нарисованное небо с асимметричными звездами.

Нарисованный мир красивее, чем настоящий. И в нем человек себя лучше чувствует. Спокойней. Как только освоишься в нарисованном мире, так тебе становится хорошо-хорошо. И совершенно зря «детка» Хелля говорит, что Димке уже хватит. Она ведь не понимает, как человеку бывает хорошо под нарисованными звездами. Она ведь ходит под ними каждый вечер.

— Пошли в клуб, ребята,— сказал Густав, этот милый парень с завода «Вольта»,— пойдете на танцы.

— А что у вас тут танцуют? — спросил Димка.

— Чарлстон и липси.

Вот это жизнь! Чарлстон и липси! Вот это да!

НОЧЬЮ В ПАЛАТКЕ казначей Юрка долго возился, шуршал купюрами, светил себе фонариком.

— Не надо было пить «Ереванский»,— прорычал он.

Но Димка в это время на древней ладье плыл по фиолетовому морю. Качало страшно. Налетели гидропланы противника. Стрелял в них из автоматического подводного ружья. Как у Жюля Верна, из-под воды. Небо очистилось, и проглянули великолепные асимметричные звезды. Все было нарисовано наспех, и в этом была своя прелесть. «Если уж пить, то только «Ереванский»,— сказала деточка Хелля. А Галя погладила по затылку снизу вверх.

«Асимметрия — символ современности», — говорил в это время Алик Иванову-Петрову. «Тяжело мне, — стонал кинодеятель, — темный я, брат!»

«А что вы можете сказать о глазах? Глаза Боярчук — это вам что?»

«Они у нее симметричные? Старо, брат! Симметричные глаза не выражают нашу современность. В Каннах этот вопрос решен».

В СТА МЕТРАХ ОТ ПАЛАТКИ на мансарде янсоновского дома Галя жмурилась от вспышек блицев и кланялась, кланялась.

«Удивительная пластичность, — сказал седой человек из кино, — я еще не видел ни одной Джульетты, которая бы так великолепно танцевала липси». Он выхватил шпагу и отсалютовал. И вокруг началось побоище. Шпаги стучали, как хоккейные клюшки, когда в Лужниках играют с канадцами. Конечно, всех победил Димка. «Наш лучший нападающий, — сказал седой человек из кино репортерам. — Семнадцать лет, фамилия — Монтекки, имя — Ромео».

— НЕ НАДО БЫЛО ПИТЬ «ЕРЕВАНСКИЙ», — пробормотал Юрка, вытянулся на тюфяке и сразу же ринулся в бой с несметными полчищами камбалы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Димка сидел на пляже и смотрел в море. Он внимательно следил за одной точкой, еле видной в расплавленном блеске воды. Она двигалась в хаосе других точек, но он ни разу не потерял ее из виду, пока она не исчезла совсем. Он подумал: нырнула Галка, интересно, сколько продержится, где это она так хорошо научилась плавать? Он увидел: в бледно-зеленом, переливающимся свете скользит гибкое тело. Он почувствовал: Галя! Галя! Галя! Он почувствовал страх, когда Галя вышла из воды и направилась к нему с солнечной короной на голубой голове, со сверкающими плечами и темным лицом. На пляже вдруг всех точно ветром сдуло. Исчезли все семьи и отдыхающие одиночки, и кружки волейбо-

листов, и мелкое жулье, и солидная шпана, и читающие, и курящие, подозрительные кабинки и спасательная станция, слоны и жирафы с детской площадки, и сами дети, касса, дирекция, буфет и пикет милиции, все окурки, яичная скорлупа и бумажные стаканчики, лежаки, мачта, скульптурная группа, велосипеды и кучки одежды. Все. Идет Галя. С короной на голубой голове. С темным лицом.

Афродита родилась из пены морской у острова Крит.
А Галя?

Неужто в роддоме Грауэрмана вблизи Арбата?

В сущности, Афродита — довольно толстая женщина, я видел ее в музее.

А Галя?

Галя стройна, как картинка Общесоюзного Дома моделей.

Что бы я сделал сейчас, если бы был я греком?

Древним, конечно, но юным и мощным, точно Геракл?

О Галя!

Я бы схватил ее здесь, на пустующем пляже.

На мотоцикле промчался бы с ней через Таллинн и Тарту.

Снял бы глушитель, чтоб было похоже на гром колесницы.

Я бы унес ее в горы, в храм Афродиты.

Книгу любви мы прочли бы там от корки до корки.

Димка не был греком, он боялся Гали. Что он знал о любви? Он бросил Гале полотенце. Она растелила его на песке и села, обхватив руками колени.

— Ой, как здорово искупалась!

Она подняла руку и отстегнула пуговку под подбородком. Стащила с головы голубую шапочку.

— Не смотри на меня.

— Это еще почему?

— Не видишь, я растрепанная! Дай зеркало и гребенку!

Димка засвистел, перекатился на другой бок и бросил ей через плечо зеркальце и гребенку. Он стал смотреть на свои сандалии, засыпанные песком, а видел, как Галя причесывается. В левой руке она держит зеркальце, в правой — гребенку, заколки — во рту.

— Теперь можешь смотреть.

— Неужели? О нет, нет, я боюсь ослепнуть!

— Смотри! — крикнула она с вызовом. Димка стал смотреть.

«Смотри, смотри, смотри! — отчаянно думала Галя. — Смотри, сколько хочешь, смотри без конца! Можешь смотреть и прямо в лицо, а можешь и искоса. Смотри равнодушно, насмешливо, страстно, нежно, но только смотри без конца! Ночью и вечером и в любое время!»

— Что с тобой? — спросил Димка, холодея.

— А ничего. Не хочешь смотреть, и не надо, — проговорила она, чуть не плача.

Сегодня, в четыре часа утра, Юрка и Алик ушли на рыбную ловлю. Кто-то им сказал, что в озере Юлемисте бездна рыбы. А в девять часов Димка закрутился под солнечным лучом, проникшим в палатку через откинутый полог. Луч был тоньше вязальной спицы. Он блуждал по Димкиному лицу. Димке казалось, что он стал маленьким, как червяк, и что он лежит у подножия травяного леса. Забавно, что трава кажется нам, червякам, настоящим лесом. Вокруг оглушительно, точно сорок сороков, гремели и заливались синие колокольцы. Солнечный луч полез Димке прямо в нос. Димка чихнул и проснулся. Рядом с его ложем сидела на корточках Галка. Она была в белой блузке с закатанными рукавами и в брюках. Она смеялась, как тысяча тысяч синих колокольчиков. Она щекотала Димкин нос травинкой. Димка знал, что такое жажда расправы. Она появлялась у него всегда, когда его будили.

— Ах ты, подлая чувиха! — заорал он и бросился на Галку. Хрипло ворча: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» — он сломил ее сопротивление. И вдруг он заметил, что Галка во время борьбы не проронила ни звука. Вдруг он увидел ее странно увеличившиеся глаза. Вдруг он почувствовал под своими руками ее плечи и грудь. Он вылез из палатки и бросился бежать. Мчался меж сосен, прыгал через ручьи, выскочил на шоссе и снова — в лес. Он задыхался и думал: «Надо отработать дыхание».

Через несколько минут, когда он снова сунулся к палатке, он увидел, что Галя лежит на спине и курит.

— Эй, пошли рубать! — крикнул он.

За завтраком было странно. Булка не лезла в рот, и все хотелось курить. Галя крошила булку в кефир и все смотрела в окно.

Ребята на озере Юлемисте ловят рыбу. Димка им

завидовал. Они там просто ловят рыбу, а у него что-то случилось с Галей. Что же случилось? А стоит ли завидовать Юрке и Алику! Они там со своей идиотской рыбой, а он здесь с Галей.

И дальше все шло очень странно. Ни разу не появилась Брижит Бардо. Возле киоска Галя даже не обратила внимания на новые фотографии — Лоуренс Оливье и Софи Лорен. Она шла рядом с Димкой и покорно слушала его прогнозы Олимпийских игр. Димка же трепался без конца. Молол языком что-то о травяном хоккее. Напрасно эта игра не культивируется в Союзе. Он бы, безусловно, вошел в сборную страны. Болтал и думал: «Что же произошло?»

«Любовь!» — грянуло из небес, когда Галя выходила из воды. Начинается любовь, Димка. Эта девочка, которую ты десять лет назад нещадно избил за разглашение военной тайны. Эта девочка, которая была леди Винтер и Констанцией Бонасье одновременно и которой хотелось быть д'Артаньяном. Но д'Артаньяном был ты. Помнишь погоню за каретой возле Звенигорода? Эта девочка, которая передавала твои записки своей однокласснице, когда все у вас стали вдруг дружить с девочками и тебе тоже надо было с кем-то дружить. Не мог же ты дружить с этой девочкой, ведь ты ее видел каждый день во дворе. Эта девочка вдруг на сцене. Помнишь школьный смотр? Эта девочка вдруг в юбке колоколом, и туфельки-гвоздики. Ты помнишь, как пожилой пьяный пажон сказал в метро: «Полжизни бы отдал за ночь с такой крошкой». Еще бы тебе не помнить: ты дал ему прямым в челюсть. Эта девочка... Ты полюбил ее. Ты и не мог полюбить никакую другую девочку. Только ее.

Галя чуть не плакала и смотрела на Димку.

— Пошли рубать, — сказал он, — время обеда.

— Не пойду.

— Почему?

— Дай лучше мне закурить.

— Ты сегодня уже пятую.

— Ну и что же?

— А то, что охрипнешь и тебя не примут в театральный институт. Вот будет смешно.

— Тебе уже смешно?

— Ага.

— Что же ты не смеешься?

— Ха-ха-ха!

— Тебе действительно смешно?

— Конечно, смешно.

— А я хочу плакать,— сказала она, как маленькая девочка.

— Пошли рубать.

Он встал и стал одеваться. Галя смотрела в море.

— Я хочу быть на яхте,— сказала она,— а ты?

— Не откажусь.

— Со мной?

— Можно и с тобой.— Димка больно закусил губу.

— Иди ты к черту! Я с тобой не поеду!— крикнула Галя и уткнулась лицом в колени. Димка помялся с ноги на ногу. Он уже не мог теперь грубо хлопнуть ее по плечу или потащить за руку.

— Ладно, Галя, я тебя жду,— промямлил он и поплелся наверх к лесу.

Ему было тошно и смутно. Галя его тоже любит — это ясно. И это у нее не игра. И она смелее его. Почему это так? Цинично треплешься с ребятами на эту тему, а любовь налетает, как поезд в кино. Почему ему страшно? Ведь он прекрасно знает, что это не страшно. Любовь — это... Любовь — это... Что он знает о любви?

Любовь! Что знает о тебе семнадцатилетний юноша из «приличной» семьи? О, он знает вполне достаточно. Соответствующие беседы и даже диспуты он посещал. Кроме того, ему вот уже больше года разрешается посещать кое-какие фильмы. Впрочем, он и до шестнадцати их посещал.

Он знает, как это бывает. Люди строят гидростанцию, и вдруг Он говорит: «Я люблю», а Она кричит: «Не надо!», или: «А ты хорошо все обдумал?» А потом они бегают по набережной и все пытаются поцеловаться. Или сидят на берегу, над гидростанцией, а сводный хор и оркестр Главного управления по производству фильмов (дирижер — Гамбург) паяривают в заоблачных далях. И вот зал цепенеет: Он снимает с себя пиджак и накидывает его на плечи любимой. Наплыв.

О, семнадцатилетний юноша, особенно если он начитанный юноша, очень много знает о любви! Он знает, что раньше из-за любви принимали яд и взрывали замки, сидели в темницах, проигрывались в карты, шли через горы, моря и льды и погибали, погибали... Сейчас, конечно, все не так. Сейчас хор и гидростанция внизу.

Что он знает о любви? Массу, множество разных све-

дений. Любовь — это... Любовь — это... Любовь — это фонтан, думает он.

Галя оделась и идет, медленно вытаскивая ноги из песка. Димка смотрит на нее. Ему тошно и смутно. Он счастлив. Пусть эти дети ловят свою дурацкую рыбу. К нему идет любовь.

В ЛЕСУ БЫЛО ДУШНО. Сосны истекали смолой. Галя и Димка медленно брели, раздвигая кусты и заросли многоэтажного папоротника. Июль навалился душным пузом на этот маленький лес. Трудно было идти, трудно разговаривать и просто невозможно молчать.

— Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают котлетки.

Одно неосторожное движение, и весь этот лес может зазвенеть. Курить нельзя: вспыхнет смола.

— Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают котлетки.

Божья коровка приподняла пластмассовые крылышки и стартовала с Галиной ладони вверх. Голубым тоннелем она полетела к солнцу.

— Что?! — закричала Галя. — Что, что, что?!

Она подняла лицо и руки вверх и закружилась. Она кружилась, а папоротники закручивались вокруг ее ног, пока она не упала.

— Ой!

Димка ринулся в папоротники, поднял Галю и стал ее целовать.

— Дурак! — сказала она и обняла его за шею.

Кто-то совсем близко закричал по-эстонски, и женский голос ответил по-эстонски, и с пляжа донесся целый аккорд эстонской речи. Эстония шумела вокруг Гали и Димки, и им было хорошо в ее кругу, они стояли и целовались.

Но вот появились велосипеды. Это уже совсем лишнее.

— Бежим!

Лес гремел, словно увешанный консервными банками, и слепил глаза огненными каплями смолы. Галя и Димка бежали все быстрее и быстрее. Они выскочили из леса и помчались к ресторану. Им страшно хотелось есть.

- ЭТИ БОЖЬИ КОРОВКИ похожи на маленькие автомобили.
- Автомобиль будущего, ползает и летает.
- Давай полетим куда-нибудь?
- В нашем автомобиле?
- Ну да.
- Шикарно!
- Ты меня любишь? Да. А ты меня? Да. Ну, так иди ко мне. Подожди, кто-то идет. Проклятие!
- А тебе нравится Таллинн?
- Я его люблю.
- Хорошо, что мы здесь, правда?
- Очень хорошо.
- Завтра пойдем в «Весну»?
- Вдвоем?
- Ага.
- Блеск!
- Ты меня любишь? Да. А ты меня? Да. Ну, так иди ко мне. Подожди, кто-то идет. Проклятие!
- Мы ведь все-таки пойдем дальше?
- Конечно, через пару недель.
- Товарищ командир!
- Ладно тебе.
- В Ленинград. Здорово как!
- Сначала поработаем в колхозе.
- Ты меня любишь? Да. А ты меня? Да. Ну, так иди ко мне. Подожди, кто-то идет. Проклятие!
- Ты бы хотел играть со мной в одном спектакле?
- Ну еще бы!
- Кого бы ты хотел играть?
- Разве ты не знаешь кого!
- И я бы хотела играть с тобой.
- Ты меня любишь? Да. А ты меня? Подожди...
- Теря!
- Теря!
-? — спросил встречный.
- Не понимаю.
- Не скажете ли, который время?
- 9 часов 30 минут.

НАКОНЕЦ ОНИ ОТОРВАЛИСЬ ДРУГ ОТ ДРУГА. Внешняя среда ходила вокруг тяжелыми волнами. Димка с силой провел ладонью по лицу и уставился на Галю. Она сидела, прислонившись к сосне.

— Знаешь, Галка, любовь должна быть свободной! — выпалил Димка.

— То есть? — Она смотрела на него круглыми невидящими глазами.

— Современная любовь должна быть свободной. Если мне понравится другая девчонка...

— Я тебе дам! — крикнула Галя и замахнулась на него.

— И если тебе другой...

— Этого не будет, — прошептала она.

«МОНАСТЫРЬ СВ. БРИГИТТЫ — памятник архитектуры XVI века. Находится под охраной государства».

Пятьсот лет назад здесь сгорела крыша и все внутри. Оконные рамы и двери были разбиты каменными ядрами. Остались только стены, четырехугольник огромных стен, сложенных из плохо обтесанных валунов.

Галя и Димка шли по тропинке, проложенной туристами внутри четырехугольника. Готические окна снизу доверху рассекали стены. Полосы лунного света — и крошечная тьма. Звезды над головой — и тишина. Только камешки откатываются из-под ног. Гале стало страшно-вато, она взяла Димку за руку.

— Ты довольна, что мы здесь? — спросил Димка.

— Да, — шепнула она.

— Почему ты говоришь шепотом?

— Я боюсь, что они нас услышат.

— Кто?

— Монахини, и монахи, и сам настоятель, и рыцари, погибшие у стен, и пушкари...

— И звонари, и алебардисты, — продолжал Димка, — и старая Агата.

— Кто-о? — Галины глаза стали круглыми.

— Да старая черная Агата, — скороговоркой пояснил Димка и дальше таинственно: — Видишь, ходит она со связкой ключей? Рыжебородый Мартин, конюх магистра, говорил мне, что она помнит всех людей, замурованных в этих стенах.

— Ой, ой! — застонала Галя.

— Агата! — крикнул Димка.

— Ага! — рывкнула из угла старая Агата и гостеприимно обнажила желтую пасть.

— Ой! — закричала Галка и прижалась к Димкиному плечу.

— Пойдем.— Димка обнял ее за плечи и повел к выходу, под низкую арку. Там внизу сквозь ветви деревьев отсвечивала под луной, словно полированная, речушка Пирита.

— Не бойся ты этих призраков! Пока ты мечтала о шекспировских спектаклях в этих стенах, я договорился со всей кодлой. Они нам не будут мешать. Нам никто не посмеет помешать.

— А туристы? Тут все окрестности кишат ими.

— Даже они.

Зарево Таллинна на юго-западе и черно-лиловая туча над ним. И все это рассекает силуэт мачт полузатопленного барка в устье реки. Галя и Димка, прижавшись друг к другу, лежат на песке. Димка давно забыл о страхе, томившем его в начале этого дня. Он пропал после первого же поцелуя. Он чувствует Галино тепло и видит ее всю. Она уже стала частью его самого. Вот она закрыла глаза. Спит. Димка встал, закурил и посмотрел на спящую Галю. Она лежала на боку, чуть согнув колени и вытянув вперед руки, словно и во сне искала его. Губы ее шевелились, словно и во сне шептали ему...

С сигаретой во рту Димка бешено полетел к морю. Вбежал по колени и, вытянув руки, упал вперед. Пошел на четвереньках по дну, потом поплыл, а когда снова встал на ноги, было по грудь. Повернулся к берегу. Галино тело темнело на песке. Димка поплыл обратно, потом побежал по мелководью, выскочил на берег.

Галя спокойно спала и уже не шевелила губами. Он достал из сумки новую сигарету. Мокрые штаны и рубашка прилипли к телу. Он стал мерзнуть. Это было прекрасно. Это было то, что нужно. Словно вытащил свою радость со дна моря.

Я ХОТЕЛ БЫ здесь насовсем остаться, у берега этого моря. С Галей, конечно.

Здесь есть все, что нам нужно на ближайшее тысячелетие. Что нам нужно еще?

Каждый вечер мы будем вместе купаться и заплывать за боны. А после лежать, обнявшись, и слушать море.

И видеть зарево Таллинна.

И нюхать полоску гадости, что остается на берегу после отлива. И целоваться.

Без конца, без конца, без конца целоваться.

Кто помешать нам посмеет?

Некому нам мешать.

Может быть, призраки старые, ключницы и монахи?

С ними в контакт я вошел и мирно договорился.

Автобусы, что ли, нам помешают? Не помешают.

С ревом проносятся где-то вдали за лесом.

Война, что ли, нам помешает?

Войны не будет.

Море нам помешает?

Нет, оно помогает всем, кто тонуть не хочет.

Лишнее счастье нам помешает?

Мы никогда не будем сыты.

Голод нам помешать не может.

И деньги к чертовой матери!

Не помешают нам ни годы, ни войны, ни история и ни фантастика.

Агрессорам с дальних планет до нас не добраться.

Мы сами скоро там будем и наладим дружбу народов.

Межпланетную дружбу народов.

Надеюсь, что там найдется кусочек приличного моря, немного песка и сосны, а девушку я захвачу отсюда.

И сигареты «Лайка», что по два сорок пачка, пачек сто сигарет.

19 ЛЕТ НАЗАД, ЗА ДВА ГОДА ДО ИХ РОЖДЕНИЯ, В НЕСКОЛЬКИХ МИЛЯХ ОТСЮДА, В МОРЕ, САМОЛЕТАМИ Ю-88 БЫЛ АТАКОВАН И ПОТОПЛЕН МАЛЕНЬКИЙ ПАРОХОД, НЕСУЩИЙ ФЛАГ КРАСНОГО КРЕСТА. ШЛЮПКИ БЫЛИ РАССТРЕЛЯНЫ ИЗ ПУЛЕМЕТОВ.

Димка, голый по пояс, выкручивает свою рубаху, стучит зубами и думает: «Что помешать нам может?»

А что им действительно может помешать? Что и кто? Никто и ничто, потому что они пришли на этот берег из глубины веков и уйдут дальше в бездонную даль.

«Разве вот только туристы», — думает Димка.

Да, разве что туристы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СТАРЫЙ ТАЛЛИНН сверху вниз — дым, черепица, камни, ликеры, глинт, оружие и керамика. По улице Виру мимо двух сторожевых башен, мимо ресторанов, кафе и магазинов, через Ратушную площадь на улицу Пикк. Или под воротами «Суур Раннавярв» мимо чудовищной башни «Пакс Маргарета» на ту же улицу Пикк. Словно ущелье, она рассекает старый город, и нет на ней ни одного дома моложе 400 лет. Золоченые калачи над тротуарами, голуби на плитах мостовой. Вывески редакций, проектных организаций. Где же эти бургеры, хозяева домов, и булочки, и жестянщики, где «братья-черноголовые», и стражники, и иноземные гости в доспехах? Все это в глинте, а часть — в музее. Хотите пойти в музей? Ну его к черту! Пошли на Тоомпеа!

Теперь их было пятеро. К ним присоединилась высокая девушка по имени Линда. Вернее, ее присоединил к ним Юрка после одного танцевального вечера.

Есть в баскетболе прием, который называется «заслон». Нахальные мальчики применяют этот прием на танцах. Если с девушкой, которая вам понравилась, кто-то стоит, ваш товарищ подходит к этому типу и спрашивает спичек или где здесь туалет, короче говоря, делает «заслон». А вы тем временем приглашаете девушку. Конечно, все это не помогло бы, если бы Линда не узнала Юрку. Оказывается, она была на всеобщих школьных соревнованиях по баскетболу, где на Юрку чуть ли не молились. В этом году Линда тоже окончила школу и собиралась поступать в политехнический институт. Она родилась и выросла в Таллинне и взяла на себя обязанности гида.

— Вана Таллинн! — иногда восклицала или шептала она, стоя на какой-нибудь возвышенности. Рассеянно приглаживала темные волосы. Была у нее особенность: она не щурилась на солнце. И когда она смотрела на него, не щурилась, у нее был неистовый вид. А вообще-то она была смиренная и немного печальная.

«Удивительная», — думал Алик, завидуя Юрке, что он такой высокий.

— Правда, забавная? — спрашивал Юрка.

Он приходил теперь в палатку в два часа ночи. Алик читал при свете ручного фонарика или слушал шум со-сен и дальний голос моря. Иногда там вскрикивали бук-

сиры. Алик поглаживал бородку и убеждал себя, что думает о проблемах современного стиля, и все в нем бурлило. Являлся Юрка, валился на свое ложе и начинал шумно вздыхать, напрашиваясь на разговор.

— Ну, как? — спрашивал Алик.

— Порядок! — кричал Юрка и начинал хохотать. — Полный порядочек! Девочка что надо!

— Да брось ты!

— А что?

Алик злился на Юрку за его хохот и эти словечки. Но он знал, что, если бы у него появилась девочка, он так же бы хохотал и говорил бы примерно то же. Честно говоря, это противно. Это надоело уже. Влюбился, так и не притворяйся. Можешь петь хоть всю ночь или поплачь. Делай что-нибудь человеческое. Все равно ведь не спишь до утра.

Димка приходил на час позже Юрки. Он не притворялся. Не говорил ни слова по ночам. Сидел возле палатки до зари. Курил. Может быть, это оттого, что у него началось что-то настоящее, мужское? И с Галей, с подругой их детских лет.

А с утра они были все вместе — на пляже, в столовой, в городе. Линда объясняла:

— На Вышгороде жили рыцари, а в нижнем городе — купцы. Рыцари были не прочь пожить за счет богатых купцов. Тогда купцы построили свою крепость. Вы видите часть этой стены, которой когда-то был обнесен весь Таллинн. Вот это орудийная башня «Кин-инде-Кэк». Над нижним городом доминирует башня Ратуши, на которой имеется флюгер в виде стражника городских ворот. Это символ Таллинна — «старый Тоомас». Он не только показывает направление ветра, но также следит за порядком в городе и за тем, чтобы женщины не сплетничали. В былые времена сплетниц приковывали к стене Ратуши.

— Неплохо! — кричал Димка.

— А мужчин приковывали за измену женам.

— Вот тебе! — шептала Галя.

УБЕЖДЕННЫЙ МОДЕРНИСТ, Александр Крамер уже целый час сидел в Домской церкви и слушал орган. Он, поклонник джаза, слушал баховские фуги. На каждом шагу старый Таллинн изумлял его. Вот из-под арки

жилого дома таращат жерла две чугунные пушки. Рядом вход в детскую консультацию.

— Простите, вы здесь живете? — спросил Алик женщину в зеленой шляпке. — Вы не можете сказать, что это за пушки?

— Не знаю.

— Но все-таки, откуда они? Кто их здесь поставил?

— Никто их здесь не ставил. Они давно здесь стоят.

— Давно? Да уж, наверное, лет триста, а?

— Я не знаю. Что вам надо, гражданин?

В самом деле, что нужно этому гражданину? Вот он идет, загадочный гражданин Алик Крамер. На щеках у него редкая бороденка, а на худой шее синий платочек. Прохожие оборачиваются на задумчивого семнадцатилетнего гражданина. Он останавливается у витрины магазина художественных изделий. Его внимание привлекает высокая керамическая ваза. В кармане у него сорок рублей. Их выдал ему Юрка для пополнения запасов сахара, чая и хлеба. Орел или решка? Искусство или жратва?

— КОКНУ Я ЕЕ СЕЙЧАС О ТВОЮ ЧЕРЕПУШКУ, — задумчиво сказал Юрка, глядя на произведение искусства.

— Неужели ты не понимаешь? — воскликнул Алик. — Посмотри, какое удивительное сочетание современного стиля и национальных традиций!

— Мне пища нужна! — заорал Юрка. — Я не собираюсь терять форму из-за какого-то психопата!

Алик, презрительно улыбаясь, забрал вазу и пошел на почту. Он написал записку: «Люся, обрати внимание на удивительное сочетание современного стиля и национальных традиций. Упаковал вазу и написал адрес: «Москва... Л. Боярчук».

ЛИНДА — КАМЕННАЯ ЖЕНЩИНА. Она сидит, печально поникшая, окруженная искривленными черными, фантастическими деревьями. Нужен закат, чтобы все было, как на самом деле несколько тысячелетий назад. Погиб Калев, белокурый гигант. Могучий Калев, любимый муж. Плачет Линда.

— И вот она плакала-плакала и наплакала целое

озеро. До сих пор это озеро — единственный источник водоснабжения нашего города.

Живая Линда повернулась к Юрке, мощному парню в красной рубашке с закатанными рукавами.

— Нравится тебе Линда?

— Которая?

— Вот эта.

— Каменная она.

— А другая?

— Вот эта?

— Ты с ума сошел!

— ТЕБЕ НРАВИТСЯ ЮРКА? Ты им увлечена? — спросила Галя Линду.

— Да.— Линда, не отрываясь, смотрела на песчаную отмель, где Юрка, Димка и Алик ходили на руках.— Но я его иногда не понимаю.

— Не понимаешь? Разве он такой сложный?

— Он часто говорит непонятно. Я русский язык знаю хорошо, но его я не понимаю. Недавно он назвал меня молотком. «Ты молоток, Линда»,— так он сказал. Что ты смеешься? Разве я похожа на молоток? А вчера на стадионе, когда «Калев» стал проигрывать, он сказал: «Повели кота на мыло». При чем тут кот и при чем мыло?

— ПОРА ОБЕДАТЬ,— сказала Галя. Ребята не шелохнулись. Алик лежал с карандашом в зубах, Димка читал Хемингуэя, Юрка старательно насвистывал знакомую песенку.

— Ну, что же вы? Димка, Алик!

— Идите, девочки, мы потом,— буркнул Димка. Юрка протянул Гале десятку.

— Опять потом? Что с вами случилось?

— Я же тебе объяснял, детка. Я привык есть позже. У нас дома обед всегда в пять. Мама накрывает, только когда вся гоп-компания в сборе. Я привык позже обедать. Я человек режима.

— Ну и я тогда пойду позже.

— Нет, ты пойдешь сейчас. Тебе тоже надо соблюдать режим, иначе в театральный институт не примут.

— А ну тебя! Алик, пошли обедать!

— Повыше, повыше забрало! — промычал Алик.

— Оставь его в покое. Не видишь, человек в прострации.

— Юра, ты не хочешь обедать? — спросила Линда. Юрка приподнялся и посмотрел на нее.

— Понимаешь, Линдочка, я за завтраком железно нарубался...

Линда в ужасе зажала уши и побежала к выходу с пляжа.

— Пусть вам будет хуже, — сказала Галка и побежала за Линдой.

Она догнала ее и обернулась. Ребята лежали в прежних позах. Костлявая рука Алика моталась в воздухе. Он всегда махал рукой, когда сочинял стихи. Галя посмотрела на десятку в своей руке.

— Линда, иди одна обедать. Мне надо, видишь ли... До вечера!

— ДВУХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ УКРЕПЛЯЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ. Нужно только привыкнуть, — сказал Димка.

— Это ты у Хемингуэя прочел? — спросил Юрка.

Алик встал, поднял руки к небу и завыл:

— Каждый молод, молод, молод, в животе чертовский голод... Лично я очень доволен, что мы отказались от обедов. Когда сыт, чувствуешь себя свиньей. Сейчас меня терзает вдохновение. Стихи можно писать только на голодный желудок.

— А музыку? — спросил Димка.

— Тоже.

— Юрка, давай сочинять музыку. Я буду труба, а ты саксофон. Начали!

Димка сложил ладони у рта и вступил трубой. Юрка загудел саксофоном. Алик стал хлопать в ладоши и приплясывать.

Они уже давно не пытались больше ловить рыбу. Четвертый день они не пообедали, под благовидным предлогом отсылая Галку в ресторан. Зато каждый вечер они сидели в кафе. Правда, пили уже не «Ереванский». Черт побери, нужно уметь приносить жертвы! Орел или решка? Обеды или кафе? И вот мы такие счастливые, голодные, трубим, как целый оркестр. Стоит вспомнить тусклые лампочки в коридорах «Барселоны», когда сидишь

за полированной стойкой под нарисованными звездами. Стоит вспомнить затертые учебники, когда, лежа на песке, изображаешь джаз.

— Ребята, есть предложение! — воскликнул Алик. — Давайте погрузимся в состояние «зена» — полное слияние с природой!

— Это вместо обеда? — мрачно спросил саксофон.

— Пошли, погрузимся в сон, — устало предложила труба.

Возле палатки они увидели костер. Над костром висел котел. Трещали пузыри. Пахло едой. Рядом стояла, руки в боки, Лолита Торрес.

— Хорошие вы собаки! — с нескрываемым презрением сказала она.

— УЗНАЕШЬ КРЕТИНА, ДИМКА? — спросил Юрка и показал ногой в сторону моря. По твердому песку у самой воды шел поджарый, точно борзая, парень в голубых плавках. У него был огромный, «сократовский» лоб и срезанный подбородок.

— Да это же тот лабух из Малаховки! — воскликнул Алик. — Помнишь?

— Не помню, — буркнул Димка.

— Ты же с ним потом что-то такое... Он к тебе даже заходил.

Проклятый Фрам вместо того, чтобы пройти мимо, остановился и мечтательно уставился на горизонт. Потом обернулся лицом к пляжу и стал разглядывать загорающих. Только здесь его и не хватало!

— Ребята, я пошел за лимонадом, — сказал Димка, но в это время Фрам увидел их и радостно заорал:

— Земляки! — Помчался огромными прыжками. — Хелло, дружище! — завопил он и схватил Димку за руку с таким видом, словно предлагал ему пуститься дальше вместе, как два брата Знаменские на картинке. Димка вырвал руку и отрезвляюще похлопал его по плечу. Фрам повернулся к девушкам.

— Разрешите представиться. Петя. Извините, мы с Димой отойдем на несколько минут.

Он взял Димку под руку, отвел в сторону и протянул ему сигарету.

— Чистая? — спросил Димка.

— Не волнуйся. Я больше этого не употребляю. Здоровье дороже.

— Ты поумнел. Ты поумнел и польсесл, Фрам. Сколько тебе лет?

— Четвертак ровно.

— Рано лысеешь.

— Некоторые излишества бурной молодости. Но теперь все: буду вести жизнь, близкую к природе.

Потянулся блаженно и, протянув руки к горизонту, воскликнул:

— Парадиз, как говорил Петр Первый! Ва-ва-сы-са! А ты здесь надолго?

— Нет, скоро уходим дальше по побережью.

— В Москву когда?

— Не скоро.

— Молодец! Самое главное в профессии пулеметчика — это вовремя смыться.

— О чем это ты?

— Будто святой. Димочка еще маленький, он ничего не знает. Ай, ловкий ты парень!

— Я действительно ничего не знаю. Что ты вылупился?

Фрам ухмыльнулся.

— В Москве разгон. наших берут пачками, прямо теплых.

— Кого наших?

— Таких, как мы с тобой, фарцовых.

Димка посмотрел на Фрама и сразу вспомнил их всех и все: «...летом в центре ужасно весело. Косяки туристов. Катят «форды», «понтаки», «мерседесы». Посмотри, какая девочка. Не теряйся. Что там они шепчутся в подъезде гостиницы? Вот они все стоят, а лица мертвые от неоновых ламп. Пошли, что же вы? Иди, мы тебя догоним. Иди, малыш. Так вот в чем дело».

Димка сжал кулаки. «Дать пинка Фраму и погнать его отсюда, с пляжа? И в лесу ему нет места, в сосновом чистом лесу. В болоте тебе место, подлюга! Беги туда, а я закидаю тебя торфом. Ишь ты, мерзавец: «Таких, как мы с тобой». Я не хочу и рядом с тобой стоять! Дать ему, что ли, пинка?»

— Ты что, меня тоже фарцовщиком считаешь?

— А то нет? Ходил же ты с кодлой. И джинсы купил у Барханова.

— Да я понятия не имел о ваших делишках!

— Раз ходил с нами, значит, все. Достаточно для общественного суда и для фельетона. Может быть, уже

прославился. Про меня-то в «Вечерке» писали в связи с делом Булгакова. «Появлялся там также некий Фрам». Хорошо, что никто не знал, где я живу. Что это, Дима, ты так побледнел? Сэ ля ви, как говорит Шарль де Голль. Пусть земля горит под ногами тунеядцев! Кто не работает, тот не ест. Как будто это не работа? За вечер семь потов с тебя прольется. Ходишь, как мышь.

— Ты и есть мышь.

— А ты?

— В зубы дам!

— Не обижаюсь, учитывая твою хрупкую душевную архитектуру. Ладно, Дима, что было, то прошло. Нет к прошлому возврата...

— Это уж точно,— пробормотал Димка.

— ...и в сердце нет огня. Давай о других материях. Что за кадришки с вами?

— Блондинка — моя невеста,— сказал Димка.

— А-га! — Фрам улыбнулся.— Поздравляю.

— Я тебе дам совет,— тихо сказал Димка,— как увидишь этих девочек, беги от них подальше. Сразу, как увидишь, так и беги. Понял меня?

— Слово друга! — Фрам протянул руку, и Димка пожал ее.— Ты меня мало знаешь; но ты узнаешь лучше. Законы дружбы для меня святы, чего не могу сказать о других законах.— Он встал.— Я пошел. Туда. Там у нас компания. Жрецы искусства, отличные люди. Играем в покер каждодневно. Пока. Увидимся.

Он спустился к твердой полосе песка и оттуда сдержанно поклонился девушкам. Пошел, поджарый, как борзая.

ДИМКА ИГРАЛ В ПОКЕР. У него была хорошая карта. Все уже спасовали. Остался только один противник, научного вида мужчина. Он все хихикал, как будто знал о тебе какую-то гадость. Остальные «жрецы искусства» в римских позах лежали вокруг. Перед игрой Фрам шепнул Димке: «Блефуй, как можешь. У них нервы слабые». А зачем блефовать, если у тебя такая отличная карта? Просто смешно слышать хихиканье этого очкастого. Хихикает, словно у него флешь-рояль. Посмотрим, у кого нервы крепче. Отличная игра — покер, мужская игра. В банке уже куча фишек. То-то обрадуются ребята. Можно будет снова обедать. Чертовы ны-

тики! Дима, не надо. Брось, Димка! В конце концов, Димка, это противно! Азартные игры — пережиток капитализма, сказала Линда. А ей-то вообще какое дело? Сейчас обрадуютесь, нытики!

Димка выложил пять фишек.

— Олег, можно тебя на минуточку? — сказал известный драматический актер Григорий Долгов.

Очкастый встал и отошел с ним.

— Брось, Олег, — сказал Долгов, — отдай ему игру.

— Не отдам.

— Ты же видишь, что с мальчишкой делается.

— Не отдам я ему игру.

— Обеднеешь ты от этого?

— Нахалов надо учить.

— Ну, смотри.

Долгов снова лег на песок и подумал об очкастом:

«Ограниченный человек! Как-нибудь вверну про него мимоходом Теплицкому — ограниченный, мол, человек».

Димка выложил все свои фишки и посмотрел на очкастого. Не может быть, что у него флешь-рояль. Не может этого быть.

Очкастый хихикнул и выложил свои фишки.

— Посмотрим?

— Посмотрим.

У очкастого была флешь-рояль.

Галя и Димка брели по аллее в лесу. Аллея в лесу! Дикость какая-то. Да что это за лес? Цивилизация, черт бы ее побрал! А велосипеды? Собрать в кучу все велосипеды и поджечь. Вот было бы весело!

— Сколько же ты все-таки проиграл?

— Не спрашивай.

— А сколько у нас осталось?

— Не спрашивай.

— Димка, что же нам теперь делать?

— Побежишь на телеграф?

— Дурак!

НАВСТРЕЧУ ИМ ШЕЛ ШИКАРНЫЙ И БОДРЫЙ АРТИСТ ДОЛГОВ.

— Не огорчайтесь, Дима, — сказал он мимоходом, — деньги — это зола.

— Кто это? — спросила Галя и оглянулась. — Знакомое лицо!

— А ну их всех!! — махнул рукой Димка. Он брел, опустив голову.

Брижит Бардо снова оглянулась. Долгов догнал их.

— Слушайте, Дима, — тихо сказал он, — у вас вообще как с финансами? В крайнем случае не смущайтесь. Если хотите на месяц в долг...

— Пока терпимо. Спасибо.

— Я сам был в таких переделках и поэтому вам сочувствую.

«Ужасно ему сочувствую», — проговорил он в уме.

— Очень тронут, — сказал Димка.

— Да! — воскликнул артист. — Сегодня я отмечаю большое событие. Приходите вечером в ресторан «Пирита». Вы и ваша подруга. Простите, я не представился. — Он кивнул Гале. — Григорий.

— С какой стати мы придем?

— Приходите запросто. Все вам будут рады. Молодые лица оживляют компанию.

«Молодые лица оживляют компанию», — сказал он себе. Дружески хлопнул Димку по плечу, пожал руку Гале и зашагал, шикарный и бодрый. На повороте он оглянулся и несколько минут смотрел, как удаляются по асфальтированной аллее золотоволосая девушка (почти девочка, черт возьми!) и понурый парнишка в черной рубашке и джинсах.

«Ужасно жалко этого мальчика. Я ему страшно сочувствую. Сам ведь бывал в таких переделках», — убедительно сказал себе известный артист.

— Я не хочу, чтобы ты был таким! — почти кричала Галя. — Как ты стоял рядом с этим! Не могу этого видеть! Ты не должен быть таким! Ты не должен так стоять! Никогда и ни перед кем!

— Уймись, Галка, что ты понимаешь в мужских делах?

Некоторое время они шли молча, а потом Галя спросила:

— Кто он такой?

— Какой-то артист. Долгов его фамилия.

— Григорий Долгов! — только и воскликнула Галя. Галя вспомнила его фотокарточку, которая осталась дома в ее альбоме. Карточка была с автографом; сколько они ждали тогда: полчаса, час? А он вышел из другого подъезда. Все девочки побежали как сумасшедшие, а Нинка стала толкаться локтями. Это было после спек-

такля «Гамлет», потрясшего весь город. Страшный, страшный Гамлет был тогда на сцене, и это был Долгов. Как она могла не узнать его сейчас?

— ПО ЧЕТВЕРГАМ У НАС ВСЕГДА СВЕЧИ,— объяснил официант.

— Как это мило! — воскликнула красивая женщина, которая сидела рядом с Долговым и которую называли то Анни, то Анной Андреевной.

— Все-таки умеют они, эстонцы, знаете ли, вот это,— сказал очкастый.

«У, гад!» — подумал Димка.

Стол был великолепен. «Ереванского» тут было несколько бутылок.

— Ну,— сказала Анна Андреевна, когда все рюмки были налиты.— В этот знаменательный день я могу только выразить сожаление, что деятельность нашего друга не носит ныне такого прогрессивного характера, как двадцать лет назад.

Все засмеялись. Сегодня Долгов отмечал двадцатую годовщину своего выхода на сцену. Начал он с того, что изображал ноги верблюда в «Демоне».

— Дима, веселей! — крикнул Долгов и потянулся с рюмкой.— Галочка, вам шампанского?

Он посмотрел на Галю и подумал:

«Почему именно она?»

Чокнулся с Димкой и сказал себе настойчиво:

«Сочувствую ему, пусть поест. Сочувствую молодежи».

В зале на столах стояли свечи. Электричество было погашено, и поэтому за окнами довольно четко был виден треугольный силуэт развалин. Но туда никто не смотрел.

— Марина, Марина, Марина! — кричала певица и делала жесты.

Димка танцевал с Галей. Долгов смотрел на нее, длинноногую, золотокудрую, и думал:

«Прямо с обложки. И почему именно она? — Поймал ее испуганный взгляд и решил: — Ну, все».

Встал и пошел в туалет. Посмотрел в зеркало на свое лицо. Резко очерченная челюсть, мешки под глазами. Хорошее лицо. Лицо героя.

«Мало ли их вокруг на киностудии и в театре! Есть и не хуже. Почему вдруг именно этот ребенок?»

Хорошее лицо. Мужественное лицо. Волевое. Может быть угрожающим. Вот так. Всегда романтическое лицо. «Сложный человек»,— сказал он себе о себе.

Электричество светилось только в другом зале над стойкой буфета. Димка пошел туда. Ему захотелось постоять у стойки и поболтать с буфетчицей. Буфетчица сказала сердито и с сильным акцентом:

— Учиться надо, молодой человек, а не по ресторанам ходить!

— У вас, наверное, сын такой, как я, да? — спросил Димка.

— Он не такой, как вы,— ответила буфетчица.

Димка вернулся в полутемный зал и еще из дверей увидел Галю. Она разговаривала с Анной Андреевной. Глаза ее блеснули.

«Галочка моя! — подумал Димка.— Ты самая красивая здесь. Ты красивее даже Анны Андреевны».

Чинная атмосфера в зале уже разрядилась. Где-то пели, то тут, то там начинали кричать. Меж столов бродили мужчины с рюмками. Все в вечерних костюмах и белых рубашках.

«Сплошные корифеи,— думал Димка.— А у меня вот нет костюма. Кто сейчас носит мой костюм? Зато на мне куртка что надо. У кого из вас есть такая куртка? И вообще — вы, корифеи! — я тут моложе вас всех. У меня вся жизнь впереди. Сидят, как будто у каждого из них флешь-рояль! Эй, корифеи, кто из вас сможет сделать такую штуку?»

И Димка, к своему ужасу, вдруг посреди зала сделал колесо.

— Почему вы хотите стать актрисой, Галочка? — спросила Анна Андреевна.

— Потому, что это — самое прекрасное из всего, что я знаю,— воскликнула Галя.— Театр — это самое прекрасное!

— А вы бы смогли играть Джульетту на платформе из-под угля и под непрерывным морозящим дождем?

— Да! Смогла бы! Уверена, что смогла бы!

Анна Андреевна смотрела в окно на силуэт развалин.

— А потом пошел снег,— проговорила она.— Тракторы зажгли фары, и мы доиграли сцену до конца. Как они кричали тогда, как аплодировали! Я простудилась и вышла из строя на месяц.

— Анна Андреевна! — прошептала Галя.

— Вы будете актрисой,— громко сказал Долгов.

— Почему вы так думаете? — встрепенулась Галя.

— Мне показалось. Мне показалось, вы понимаете, что такое искусство. Как оно сжигает человека. Сжигает до конца.

— До конца,— как эхо, повторила Галя, не спуская с него глаз.

— Жоржик! — игриво сказала Анна Андреевна. Долгов сердито покосился на нее.

— Пойдемте танцевать, Галя.

— Посмотрите на меня,— говорил он, церемонно кружа девушку,— во мне ничего не осталось. Все человеческое во мне сгорело. Я только артист.

— Что вы говорите? — в ужасе расширила глаза Галя.— Разве артист не человек? Вы знаменитый артист...

— Да, я знаменитый. Я и не мог быть не знаменитым, потому что я весь сгорел. Все знаменитые артисты сгорели дотла. Вы понимаете меня?

— Нет,— прошептала Галя и на мгновение закрыла глаза.

«Сложный я человек,— сказал себе Долгов и подумал: — Все. Все в порядке».

«Жоржик,— думала Анна Андреевна.— Фу, какой отвратительный Жоржик! И что с ним происходит на сцене? Я никогда не могла этого понять». Она встала и ушла.

— Ты на меня не сердись? — допытывался очкастый у Димки.— Я же не виноват, что у меня была флешь-рояль. Давай будем друзьями, ладно? Если у тебя туго с деньгами, я могу помочь.

Он долго возился в карманах и протянул Димке сторублевую бумажку. Димка взял ее и посмотрел на свет.

— Будем друзьями,— сказал он,— если ты не фальшивомонетчик. У тебя отличная лысина, мой друг. Ее хочется оклеить этими бумажками. А хочешь, я сошью тебе тюбетейку из сторублевок? Тебе очень пойдет такая тюбетейка. Хочешь, сошью? Возьму недорого — тыщонки две. Зато все будут видеть, что стоит твоя голова.

— Ты остроумный мальчик,— проямлил очкастый. В руке у него дрожала измусоленная сигарета.

— Нет ли у кого-нибудь кнопки? — громко спросил Димка.— Ну, если нет, придется без кнопки.

Он плюнул на бумажку и прилепнул ее к голове очкастого.

— Галка, пойдем отсюда!

Гали за столом не было. Димка стал бродить среди танцующих, разыскивая Галю. Фрам сказал ему, оскандившись:

— Поволокли твою кадришку! Твою невесту ненаглядную!

Лицо Фрама перекосила какая-то дикость. На эстраде, словно курильщик опиума, покачивался саксофонист.

Перед тем как сесть в такси, Галя вдруг увидела в ночи огромный треугольный силуэт развалин.

— Я не поеду. Извините,— торопливо сказала она.

— Я вам прочту всего Гамлета,— проговорил Долгов.

Димка выскочил из ресторана и увидел в заднем стекле отъезжающей «Волги» Галину голову. Он бешено рванулся, схватился за бампер. Машина прибавила скорость, и Димка упал. Ободрал себе руки и лицо о щебенку.

Два красных огонька быстро уносились по шоссе вдоль берега моря туда, к городскому сиянию.

Если бы был пулемет! Ах, если бы у меня был сейчас пулемет! Я стрелял бы до тех пор, пока машина не загорится! А потом подошел бы поближе и стрелял бы в костер!

ДИМКА ПИЛ ЛИМОНАД. Уже четвертый стакан подряд. Пить не хотелось, глотать было мучительно.

— Еще стаканчик,— сказал он.

В окошке появился стакан с пузырящейся желтой влагой.

«Она и сотый стаканчик подаст, не моргнув»,— подумал Димка и посмотрел на буфетчицу. Дурацкая наколка на голове, выщипанные брови. Он вспомнил буфетчицу, с которой беседовал вчера. Та была другой. Нагнулся к окошечку и спросил в упор у этой:

— У вас, наверное, сын такой, как я, да?

— У меня дочь,— отрезала буфетчица.

— Благодарю. Еще стаканчик.

Голубой киоск стоял в начале совершенно незнакомой Димке и пустынной утренней улицы. То есть он просто не знал, как отсюда выбраться. Улица-то была знакомой. В принципе это была самая обычная улица. Два ряда домов с окнами и дверьми. Дома эти не говорили

ни о чем и ничего не вызывали в душе. Это были просто дома с лестницами и комнатами внутри. И киоск не говорил ни о чем. Это была торговая точка, где кто-то пил лимонад, покупал бутерброды и спички. Тошнотворно знакомой была эта пустынная улица, но как отсюда выбраться, Димка не знал. И не у кого спросить. Буфетчица ведь не скажет. Да она, наверное, и сама не знает. Наверное, давно потеряла надежду выбраться отсюда.

Димка украдкой вылил лимонад под ноги, на песок. Образовалась неприятная лужица. Подошел человек с черными усами и в новой серой шляпе. Взял спички и пошел по улице. Он шел очень прямой, и новенькая шляпа, без единой вмятины, стояла на его голове, как на распорке в универмаге.

«Вот так он и ходит тут уже четыреста лет,— с тоской подумал Димка.— Так вот и ходит в своей новой шляпе».

«Как я попал сюда? — попытался он вспомнить.— В Пирита я вскочил в попутный грузовик. Мы гнались за такси. Мы здорово мчались. Водитель все допытывался, что у меня украли. Что у меня украли! Я рассказал бы ему обо всей своей жизни, но только не о том, что у меня украли. Мы догнали «Волгу», но в ней оказались два моряка. Потом в центре я ломился в гостиницу. Почему-то мне казалось, что Галя там. Это было невыносимо — думать, что она там. Потом меня отправили в милицию. В милиции рядом со мной сидел какой-то тип, который все икал. От рубашки у него остался один воротник, а он все пытался заправить ее в штаны. В четыре часа утра меня отпустили, а тип остался там.

Воображаю, как он удивится, когда перестанет икать. Потрогает воротник и скажет: а где же все остальное? Потом я все время шел по городу, пока не попал сюда. И тут уж я, видно, и останусь. Куплю себе новую шляпу. Буду тут ходить пяток-другой столетий. Сначала тот, с усами, будет появляться, а потом я».

Где-то за стеной домов что-то загрохотало. Там было что-то массивное и подвижное. Мало ли что там есть.

— С вас четыре пятьдесят,— сказала буфетчица.

Вдруг улица заполнилась людьми. Они шли все в одном направлении.

— Димка! — воскликнули за спиной. Рядом стоял Густав. Он был в синем комбинезоне и таком же берете. Димка страшно обрадовался.

— Сигареты есть? — спросил он.

— Что с тобой случилось? — спросил Густав, доставая сигареты.

— Ничего со мной не случилось.

— Как ты здесь оказался?

— Гуляю.

Они пошли в толпе. Все шли очень быстро, поэтому и им приходилось спешить.

«Ух ты, как здорово!» — подумал Димка и спросил Густава:

— А ты куда?

— На завод.

— Тут, рядом, ваш завод?

— Ага.

— Ну, как вообще-то? — спросил Густав.

— Да так.

— Ничего.— Густав хлопнул Димку по плечу.— Невешай носа. Все будет тип-топ.

— Как ты говоришь?

— Тип-топ.

«Сегодня скажу Юрке, что все будет тип-топ. То-то обрадуется».

— Слушай, Густав,— осторожно спросил Димка,— ты случайно не знаешь, где тут трамвай?

— Направо за угол. Там остановка.

— Спасибо тебе, Густав. Тип-топ, говоришь?

— Тип-топ.

— Пока!

— Увидимся!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ТОТ ДЕНЬ БЫЛ ДУШНЫМ и пасмурным. Под соснами было сухо, а асфальт шоссе лоснился, влажный. Ребята сидели возле палатки и питались абрикосами. Это был обед. Ели молча.

— А где ты шлялся всю ночь, Димочка? — вдруг игриво спросила Галя.

Юрка и Алик быстро переглянулись. Но на Димку они не посмотрели. Не было сил на него смотреть. А Галя смотрела на Димку. Он сидел, уткнувшись в кулек с абрикосами. Лицо его стало квадратным — под скулами вздулись желваки. На лбу и шее запеклись ссадины.

— Ай-я-яй! — Брижит Бардо погрозила пальцем.

Это было так фальшиво, что Юрка сморщился, а Алик закрыл глаза. Галя потянулась.

— А я так выспалась сегодня!

Юрка встал и подтянул штаны.

— Пойду к Янсонсу газеты посмотреть.

— Я тоже, — сказал Алик.

Галя и Димка остались одни. Они сидели по-турецки. Их разделяла ямка, полная пепла и углей, остатки костра, на котором Галя несколько раз варила обед. Гале тяжело было смотреть на Димку («не сиди так, пожалуйста, вскочи, кричи, ударь, но не сиди так»), но она смотрела. Это была ее первая серьезная роль: «Гореть до конца, дотла...»

— Что с тобой было этой ночью? — спросил Димка, не поднимая головы.

Словно хлыстом по горлу. Галя вскинула голову, закусил губы и закрыла глаза. Что с ней было этой ночью? Ведь если отбросить все, чего на самом деле не было, и просто, совсем просто вспомнить о том, что с ней было этой ночью, тогда нужно покатиться по земле и завывать. Но ведь было же, было и другое — стихи, музыка, слова... Она засмеялась. Колокольчики. Похоже на смех Офелии.

— Что ты вообразил, Димка? Мы катались на такси, в полвторого я была уже дома и заснула. Какое у тебя воображение нехоршее. Противно!

«Неужели это так? — подумал Димка. — Врет, конечно». Он поднял голову и посмотрел на Галю. «Веселая. Врет. Не верю ей. А если поверить?..»

— Врешь! — заорал он и вскочил на ноги.

— Нет! — отчаянно закричала Галя.

«Врет».

— Что с тобой случилось? Ты обалдел!

«Нет, не врет».

— Ты мне не веришь?

— Не верю.

— Как мне тебе доказать?

— Доказать? Ты собираешься доказывать?

— Если ты мне не веришь, я отравлюсь.

— Великолепно! Вы в новой роли, мадемуазель. В клипсах у вас, конечно, цианистый калий?

— Вот! — Галя схватила и показала ему горсточку абрикосовых косточек. — Синильная кислота, понял? От ста штук можно умереть. Понял?

— Дура! — закричал Димка и отвернулся. «Фу ты, дурища. Не врет, конечно». Другое слово он ей готовил, а крикнул ласковое «дура». Да разве можно сказать то слово такой? Подняла свою мордочку и горсть слюнявых косточек показывает. Димка сел спиной к Гале.

«А может быть, все-таки врет? Она ведь актриса. Так сыграет, что и не разберешься. Ну, что ж, играть так играть».

Он встал и сказал:

— Собирай свои вещи.

— Что-о?

— Собирай свои шмотки. Через два часа выходим.

— Куда?

— Как куда? Уходим из Таллинна дальше. В рыболовецкий колхоз и в Ленинград.

— А-а.

— Торопись. Через час выходим. Ребята в курсе.

— Сейчас.

Димка вытащил из палатки свой рюкзак и посмотрел на Гаю. Она лежала на спине, положив руки под голову.

— Дима, — сказала она, — подбрось монетку.

— А ну тебя.

— Я прошу, подбрось монетку.

Димка вынул из кармана пятак и подбросил его.

— Что? — спросила Галя.

Монетка лежала орлом. Димка поднял ее, сунул в карман и сказал:

— Решка.

Галя села. Они посмотрели друг на друга.

— Дима, я не пойду с вами. Я остаюсь здесь.

ВСЮ ЖИЗНЬ он будет помнить то, что произошло дальше. Всю жизнь ему будет противна жизнь при воспоминании об этом. Как он буйствовал, и как умолял ее, и как крикнул ей в лицо то слово, и как потом просил прощения, обещал все забыть, и как он заплакал.

Последний раз он плакал четыре года назад в пионерском лагере, когда его на глазах всего отряда в честном поединке отлупил Игнатьев. Кто мог знать, что Игнатьев целый год занимался в боксерской секции? Дней через десять после этой истории он снова плакал. Но вовсе не из-за Игнатьева. Он лежал в траве и смот-

рел в голубое небо, куда взлетали стрелы малышей из 4-го отряда. О чем-то он думал, он сам не понимал о чем. Может быть, все-таки об Игнатьеве, о том, что через год он ему покажет, а может быть, о Зое, вожатой 4-го отряда. Было забавно смотреть, как стрелы летели ввысь, исчезали в солнечном блеске и появлялись вновь, стремительно падая. Малыши для утяжеления вбивали в наколочки гвозди. Шляпкой вперед, конечно. Он на мгновение закрыл глаза, и одна такая стрела попала ему прямо в лоб. Бывает же такое! Малыши испугались и убежали, а он перевернулся на живот, уткнулся носом в землю и заплакал. Не от боли, конечно. Было не больно. Но все-таки страшно обидно — попала прямо в лоб. Как будто мало места на земле. Потом четыре года он не плакал. И когда его била шпана в Малаховке, молчал. А вот теперь снова.

Плакал из-за потрясающей обиды и из-за того, что рисовало ему его нехорошее воображение. Плакал неудержимо, истерика тащила его вниз, как горная река. Он презирал себя изо всех сил. Разве заплачут ремарковские парни из-за обманутой любви? Пойдут в бар, надерутся как следует и будут рассуждать о подлой природе женщин. Почему же он не может послать ее подальше и уйти, насвистывая рок-н-ролл? Он презирал себя и в то же время чувствовал, что словно освобождается от чего-то.

Когда он оглянулся, Гали вблизи не было. Он увидел, что она у янсонсовского крыльца разговаривает с ребятами. Он увидел, что Юрка замахнулся на нее, а Алик схватил его за руку. Галя взбежала на крыльцо и скрылась в доме, а ребята вышли со двора и сели на траву возле забора.

ТОЛЬКО МУЖСКАЯ ДРУЖБА и стоит чего-нибудь на этом свете. Ни слова об этой... Как будто ее и не было.

— Томас мировой рекорд поставил. Прыгнул на 2.22.

— Жуть!

— Пошли, ребята, выкупаемся в этом цивилизованном море?

Море в этот день было похоже на парное молоко. Далеко от берега кто-то брел по колено в воде. Купаться в общем-то не хотелось. Хотелось есть. Ох как хотелось есть!

— В конце концов, я могу позвонить деду. Он у меня в общем-то прогрессивный,— неуверенно сказал Алик.

Димка глянул на него волком.

— Но жрать-то все-таки мы что-то должны в дороге,— пробормотал Юрка.

Димка и на него посмотрел. Они замолчали. Они вдруг почувствовали себя маленькими и беззащитными перед лицом равнодушной, вялой природы. Ведь что бы с тобой ни случилось, дождишко этот мерзкий будет сыпать и сыпать, и море не шелохнется, и солнце не выглянет, и не увидишь ты горизонта.

Помог Фрам. Он вылез из воды и крикнул:

— Чуваки! Вы-то как раз мне и нужны.

Еще вчера Фрам сам сидел на мели и не знал, что делать. Он проигрался в пух и прах. С очкастым Олегом просто невозможно было играть. Найти музыкальную халтуру не удалось — в Таллинне хороших-то лабухов было пруд пруди. Фрам загнал свой кларнет и так расстроился, что пропил все деньги в первый же вечер. Как раз в то время, когда Димка баловался лимонадом, Фрам сидел в каком-то скверике и мучительно пытался вспомнить имена тех типчиков, что подвалились к нему в ресторане и которых он всех угощал. Даже девчонку и ту он не запомнил. В общем, началась бы самая настоящая «желтая жизнь», если бы в скверике вдруг не появился знакомый парнишка по имени Матти. Фрам с ним слегка контактировал в прошлом году на Московском ипподроме. Матти приезжал в Москву в отпуск на собственном «Москвиче» и интересовался многими вещами. Ведь надо же, как повезло Фраму: в такой случайный момент встретить Матти. Матти раньше был официантом, а теперь работал продавцом в мебельном магазине. Он совершенно небрежно подкинул Фраму целую бумагу и сказал:

— Можно немножко подработать. Нам нужны грузчики.

Этим он очень больно ударил Фрама по самолюбию.

— Киндер,— сказал Фрам,— неужели ты думаешь, что эти руки... эти руки...— Он помахал руками.

Матти усмехнулся:

— Дам тебе два-три мальчик. Будешь бригадир. Побегал, покричал, вот и вся работа. Бизнес тип-топ.

— Мальчиков я сам себе найду,— задумчиво сказал Фрам.

РЕБЯТА РАБОТАЛИ ГРУЗЧИКАМИ вот уже целую неделю. Таскали на разные этажи столы и стулья, серванты, шкафы. Эти проклятые польские шкафы такие огромные! У Алика на плече появился кровавый рубец. Юрка ушиб ногу. Димка вывихнул палец. Они скрывали друг от друга свои увечья и говорили, что работенка в общем-то терпимая, сносная, и интересно, сколько они получают в день зарплаты. Фрам тоже работал изо всех сил. Он отчаянно матерился и кричал:

— Заноси!.. Поддай назад!.. Взяли!..

Он суетился, забегал вперед или орал снизу. Хватался за угол шкафа и багровел, натужно стонал, отбегал и кричал:

— Стоп, стоп, чуваки! Вправо, влево!

Потом ребята ждали бригадира внизу. Фрам всегда задерживался в квартирах. Он сбегал по лестнице, оживленный и неутомимый, орал:

— Бригада-ух! Вперед!

Впрыгивал в кабину грузовика, а ребята влезали в кузов.

Все эти дни они питались консервированной кукурузой. Царица полей восстанавливала их силы. Болели руки, плечи, ноги. Утром невозможно было пошевелиться, а после работы дьявольски хотелось пива. Как это быть грузчиком и не пить пива! Дунуть на пену и залпом выпить всю кружку, так, как пьют настоящие грузчики в киоске напротив. Настоящие грузчики, толстоногие, багровые, ели в обеденный перерыв огромные куски мяса.

И что-то все-таки в этом было. Плестись после работы на автобус, дремать на заднем сиденье и чувствовать все свое тело, совершенно сухое, усталое и сильное. И думать только о банке с кукурузой. Только о кукурузе и ни о чем другом. Проходить мимо ресторана (заладили они там эту «Марину», как будто нет других песен), а ночью лежать возле палатки и вместе с Аликом ждать возвращения Юрки. И слушать, как Алик читает стихи:

Сколько ни петушишь,
В парках пожара
Не потушить.
Не трудись задаром,
Только не злись.
В парках пожары,
И листьев холодных слизь
Осень приносит тебе в подарок,
Только не злись.

— Алька, отчего ты летом пишешь об осени, а зимой о весне?

И слушать, как Алик объясняет, почему он так делает. И слушать сосны. И музыку из дома Янсонса. И думать: кто же он все-таки такой, этот Янсонс? И если зоотехник, то почему болтается весь день без дела, балуется с красками и смотрит, смотрит на все? (Вот бы научиться этому — полчаса смотреть на элементарную собаку и улыбаться.) Хорошо лежать так и слушать голос Алика (этого не забыть, бородатый черт), и сдерживать ярость, и не смотреть на окно, в котором теперь всегда темно, и вспоминать ремарковских ребят (разве станут они?..). А потом увидеть, как мелькает за соснами последний автобус, и ждать Юрку. И вместе с Аликом притвориться спящими и слушать, как Юрка раздевается, сдерживая дыхание, так как знает, что они притворяются спящими. А потом слушать Юркин храп и посапывание Алика. Хорошо, если птица какая-нибудь начинает свистеть над тобой, но иногда это раздражает. Только под утро становится холодно, и сигарет не осталось совсем. Пожалуй, лучше все-таки завернуться в одеяло, но разве уснешь, когда вокруг такой шум? Вся «Барселона» собралась и смотрит из окон на ринг. Надо выйти из угла, и надо его избить. Бить и бить по его мощной челюсти и по тяжелому телу. Хорошо, что бой решили провести в «Барселоне». Дома и стены помогают. Это известно каждому, кто читает «Советский спорт». Вон они смотрят из окна, родители и старший брат Витька. В крайнем случае он за меня заступится. Да я и сам легко изобью этого паршивого актеришку. А потом перемахну через канат — и домой! По черной лестнице, через три ступеньки. Но там что-то происходит. Заноси! Возьми левее! И польский шкаф, эта проклятая машина, падает прямо на тебя. И ты начинаешь стонать и убеждаешь себя, успокаиваешь: спокойно, спокойно, в кино еще и не так бывает. Все это кто-то выдумал — чтоб ему! — а ты каким был, таким и остался. Такой ты и есть, каким был, когда вы разнесли вдребезги команду 444-й школы...

— ШАБАШЬТЕ, РЕБЯТА! — сказал степенный грузчик Николаев. — Все равно всех денег не заработаете. Ребята пошли за ним в магазин.

Покупателей в магазине уже не было, в зале бродил один Матти. Он был в синем костюме и нейлоновой рубашке.

— Суббота, суббота, хороший вечерок! — напевал он. Он был бывалым пареньком, этот Матти.

Из конторы вышел Фрам.

— Получайте башли, чуваки! — императорским тоном сказал он и, видимо поняв, что немного переборщил, ласково подтолкнул Юрку, а Алика похлопал по спине. — Бригада-ух!

Ребята расписались в ведомости и получили деньги. Димка — 354 руб. 40 коп., Юрка — 302 руб., Алик — 296 руб. 90 коп.

— Почему нам по-разному начислили? — спросили у кассира.

— Спросите у бригадира. Он калькулировал.

Они вышли в зал, загроможденный мебелью. В конце зала Матти лежал на кровати и курил, а Фрам причесывался у зеркала.

— Сейчас я с ним потолкую на «новой фене», — сказал Юрка.

— Ребята! — крикнул Фрам. — Помчались на ипподром? Там сегодня отличный дерби.

Хлопнула дверь — ушел кассир.

— Слушай, Фрам, — прогнусавил Юрка (он всегда гнусавил, когда хотел кого-нибудь напугать), — слушай, у тебя сколько классов образования?..

— Семь, — ответил Фрам, — и год в ремеслуху ходил. Фатер не понял моего призвания.

— А где ты так здорово научился мускульную силу калькулировать? — спросил Димка.

— Да, это как-то странно, — пробормотал Алик.

— Вы о зарплате, мальчики? — весело спросил Фрам. — Да это я так, для понта.

— Для смеха? — спросил Матти, не меняя позы.

— Вот как, — сказал Юрка и сделал шаг к Фраму.

— Кончай психовать, — сказал Фрам, — какие-то вы странные, чуваки! Зарплату всегда так выписывают, что ни черта не поймешь. Зато вот премиальные, тут всем поровну, по сотне на нос. Держите! — Он вынул из кармана и развернул веером три сотенных бумажки.

— То-то, — Юрка забрал деньги.

— За что же нас премировали? — удивился Алик.

— За энтузиазм, — захохотал Матти.

— Приказом министра мебельной промышленности комсомольско-молодежная бригада-ух премирована за энтузиазм,— подхватил Фрам.— По этому поводу бригада отправилась играть на тотализаторе. Вы никогда не играли, мальчишки? Тогда пойдите обязательно. Новичкам везет, это закон.

— Я не пойду,— сказал Димка,— хватит с меня родимых пятен капитализма.

— Видишь, Матти,— закричал Фрам,— физический труд облагораживает человека!

Ребята засмеялись. Матти, посмеиваясь, ходил вдоль длинного ряда блестящих кухонных шкафов, только что полученных из ГДР. Он доставал из шкафов какие-то баночки с наклейкой и складывал их в портфель.

— Политура,— пояснил он.— Дефицит. Бизнес.

— Во работает,— восхищенно шепнул Фрам,— нигде своего не отдаст!

— Сейчас отдаст,— сказал Димка и подошел к Матти.— Клади все обратно. Слышишь?

Матти повернулся к Димке:

— Еще хочешь премия?

— Положи все обратно и закрой на ключ.

— Ты крепкий мальчик.

— Если хоть одна банка пропадет, узнаешь тогда.

— О, курат! Что ты хочешь?

— По морде тебе дать хочу, мелкий жулик!

Матти быстро свистнул Димке по уху, а Димка мгновенно ответил хуком в челюсть. Они отскочили друг от друга. Портфель упал, и банки покатались. Алик спокойно стал поднимать их и ставить обратно в шкафчики. Юрка сказал, усмехаясь:

— Матти, сними костюм, ты сейчас будешь много-много падать. У Димки разряд по боксу.

Матти поднял портфель:

— В магазин можете больше не приходите. Найдем умный мальчик.

Ребята засмеялись:

— Ты, что ли, нас нанимал? Тоже мне, частный владелец!

Матти и Фрам пошли к выходу.

— А ты подожди, шестерка,— сказал Димка Фраму. Он схватил Фрама за руку и повернулся к ребятам:— Ребята, ведь этот тип везде деньги вымогал за наш труд.

И эти премиальные, которыми он нас наградил, тоже из этих денег.

— Что тебе от меня надо, психопат? — заскулил Фрам. — Вы свою долю получили.

— Паук-мирод, — восхитился Юрка.

— Что нам от тебя надо? — сказал Димка. — Как ты думаешь, Юрка?

— Пусть пятый угол понцет, — сказал Юрка.

— А ты, Алька?

— Убить, — сказал Алик, — убить морально.

— Фрам, мы тебя увольняем с работы, — заявил Димка. — Попробуй только появиться здесь еще раз.

Они вытащили своего бригадира на улицу. Фрам пытался впасть в истерику. Юрка стукнул его коленом ниже спины и отпустил. Фрам перебежал на другую сторону улицы, взял такси и крикнул:

— Эй, вы! — Достал из кармана и показал ребятам пачку денег. — Привет от Бени! — крикнул он и юркнул в машину.

Ребята присели на обочину тротуара и долго тряслись в немом смехе.

— Мальчики, пошли наконец рубать! — заорал Юрка.

— На первое возьмем шашлык! — крикнул Алик.

— И на второе шашлык, — сказал Димка.

— И на третье, опять же шашлычок, — простонал Юрка.

И ТУТ ОНИ УВИДЕЛИ ГАЛЮ. Она была шикарна, и все оборачивались на нее. Она была очень загорелой. Сверкали волосы, блестели глаза. Она улыбалась.

— Привет! — сказала она.

Димка прошел вперед, словно ее и не было. Он перешел улицу, купил газету и сел на скамейку.

— Почему вы не бываете на пляже? — светским тоном спросила Галя.

— Мы теперь проводим время на ипподроме, — хмуро сказал Алик.

Галя захохотала:

— Когда же вы исправитесь, мальчишки? А Дима по-прежнему в меланхолии?

Юрка и Алик молча смотрели на нее, а она, сияя, смотрела на Димку.

— Он читает газету «Онтулент». Уже овладел эстонским языком? Дима такой способный...

— Заткнись, — тихо сказал Юрка.

— Я не понимаю, чего вы от меня хотите, — забормотала Галка, и лицо ее задергалось и стало некрасивым. — Я полюбила человека, и он меня. Неужели мы не можем остаться друзьями?

— А Димка?

— Что Димка? Я любила его. Он моя первая любовь, а сейчас... другое... я и он... Григорий... и я...

— Ты на содержании у него! Ты содержанка! — выпалил Алик и испугался, что Галка даст ему по щеке. Но она уже овладела собой.

— Начитался ты, Алик, западной литературы, — криво улыбнулась она и пошла прочь.

— Шалава, — сказал вслед Юрка.

Галя пересекла улицу, подошла к Димке, выхватила у него из рук газету «Онтулент» и что-то сказала. Димка тоже ей что-то сказал и встал. Галя схватила его за руку и что-то быстро-быстро сказала. Димка двумя пальцами, словно это была жаба, снял со своей руки ее руку и отряхнул рукав. (Молодец, так ей и надо!) Димка сказал что-то ме-е-дленное, а потом долго говорил что-то быстрое-быстрое. Галя топнула ногой (тоже мне!) и отвернулась. Димка заговорил. Галя заговорила. Заговорили вместе. Галя подняла руку, подзывает такси. Садятся вместе в машину. Уехали.

— Он с голоду умрет, — пробормотал Юрка.

— Мы вместе с ним, — сказал Алик и поднял руку.

— Ты что? — спросил Юрка уже в машине.

— Следуйте за голубой «Волгой», — сказал Алик шоферу, а потом Юрке: — Он черт знает что натворить может. Целую неделю не спит. Понял?

— ДА, Я БЫЛА ВЛЮБЛЕНА В ТЕБЯ. Все было прекрасно. Я была счастлива, как никогда в жизни, когда мы с тобой... Думала только о тебе, мечтала о тебе, видела тебя, целовала тебя и ничего другого не хотела. Ведь я мечтала о тебе еще с седьмого класса. Почему-то ты казался мне каким-то романтичным. А ты? Ты какой-то необузданный, азартный... По-моему, ты влюбился в меня на смотре самодеятельности. Верно? Но что делать? Есть, видно, что-то такое, что сильнее нас. А может быть, я такая слабая, что не могу управлять своими чувствами? Все остальные могут управлять, а я такая

слабая. Я и сейчас тебя люблю, но все-таки не так, как тогда. Так я люблю сейчас его. Да, его! Что ты молчишь? Посмотри на меня. Ну вот, ты видишь, что я не вру. Видишь или нет? Отвечай! Что, у тебя язык отсох? Он человек, близкий к гениальности, он красивый человек. Ты не думай, что он хочет просто... Он влюблен в меня. Мы поженимся, как только... как только мне исполнится 18 лет. Ты не знаешь, как я счастлива! Он читает мне стихи, он научил меня слушать музыку, он помогает мне готовиться в институт. Скоро мы поедem в Ленинград, и там я поступлю в театральный. И не думай, что по благу. Никакого блага не будет, хотя у него там... Он уверен, что я пройду. Он думает, что у меня талант. Дима, ты понимаешь, ведь, кроме всего прочего, мужчину и женщину должна связывать духовная общность. Должно быть созвучие душ. У тебя ведь нет тяги к театру. А я готова сгореть ради театра. А он играл в горящем театре, под бомбами. Не ушел со сцены, пока не кончил монолог.

— Эффектно,— сказал Димка.

— Ты думаешь, он выдумал? Я видела вырезку из газеты. Он мужественный, сложный и красивый человек. А ты... Дима, ты ведь еще мальчик. У тебя нет никаких стремлений. Ну, скажи, к чему ты стремишься? Кем ты хочешь стать? Скажи! Ну, скажи что-нибудь! Да не молчи ты! Скажи! Скажи! Бога ради, не молчи! Хоть тем словом назови меня, но не молчи!

Они сидели под обрывом. Между валунами прыгали маленькие коричневые лягушки. Наверху был поселок Меривялья, где теперь жила Галя. Внизу было море. Когда Галя кончила говорить, Димка подумал: «Как это у меня хватило силы выслушать все это?»

Море лежало без движения и отливало ртутью. Здесь было полно камней возле берега. Это было похоже на погибший десант.

«Как это меня хватает на все это?»

Когда Галя заплакала, он полез вверх. На шоссе он оглянулся. Галя стояла и смотрела ему вслед. Она была вся туго обтянута платьем. Димка вспомнил, как они лежали с ней на пляже и в лесу. Однажды ящерица скользнула по ее голой ноге. Он терпеть не мог всего быстро ползающего и вскрикнул, а Галя засмеялась. Причитали над божьими коровками. Черт, он не учил ее слушать музыку и не читал ей стихи! Целовались и бегали как су-

масшедшие. А сейчас она стоит внизу. Броситься вниз и схватить ее здесь, на пустующем пляже.

На мотоцикле промчатъ через Таллинн и Тарту...

Наверное, тот ее не только музыке учит.

Димка ринулся прочь по шоссе. Только бег и может помочь. Чтоб все мелькало в глазах и ничего нельзя было разобрать.

Серая сталь и стекло пронеслись мимо. Жаль, что мимо. Вдруг его осенила догадка, и он оглянулся. Такси шмыгнуло за поворот. Димка не разглядел пассажира, но был уверен, что это он.

— Я ЕГО УБЬЮ,— шептал Димка, спокойно шагая по шоссе.

Он залег в лесу в двадцати метрах от дома, где теперь жила Галя. Рядом с ним лежало ружье для подводной охоты. Он уже все рассчитал. Скоро они выйдут. Наверное, поедут в театр или в ресторан. Надо подойти метров на пять, чтобы было наверняка. На этом расстоянии гарпун пробьет его насквозь.

Мансардное окно в домике жарко отсвечивало закат. Оно было похоже на раскаленный лист меди. А стены были освещены нежным розовым светом. А над головой качались сосны. Шишки падали с них и глухо стучались о землю. Ни одна не упала прямо на голову. На земле для них места было достаточно. Димка наклонял голову и смотрел на хвойный наст, где суетились одинокие муравьи. Прополз черный рогатый жук. Словно танк, он подминал под себя и раздвигал травинки. Под сосной копошилось целое семейство красных, с черными точками «солдатиков». Эти солдатики очень похожи на божьих коровок, только они плоские и не могут летать.

Димке было стыдно. Его даже передергивало всего, когда он понимал, как это глупо — лежать тут с ружьем для подводной охоты. И самое смешное то, что ведь он не убьет Долгова. Этого не случится. Не может этого случиться. Галка права, он просто глупый, смешной мальчишка.

Но когда он поднимал голову и видел это раскаленное окно, он понимал, что все-таки его убьет. Подойдет на пять метров, чтобы было наверняка. Гарпун пробьет его насквозь.

Когда над соснами появились звезды, а где-то далеко

заиграла радиола и окна в домике стали желтыми и прозрачными, Димка услышал голос:

— Галочка, я тебя жду внизу.

Человек в светлом пиджаке и темном галстуке стоял на крыльце и курил.

«Очень удобно,— подумал Димка и встал.— Вообще-то подло убивать в темноте. Мерзавца не подло. Я пойду к нему и крикну: «Эй, Долгов, вот тебе за все!»

Он подошел к домику и прицелился. Расстояние было метров десять. Все-таки не насквозь.

— Эй, Долгов! — заорал он, но кто-то выбил у него из рук ружье, кто-то зажал рот ладонью, кто-то потащил в лес.

Долгов вздрогнул от этого крика. Он узнал голос. Потом он увидел в лесу какие-то тени. Он спустился с крыльца и вышел за калитку. Он был готов ко всему. Но тени в лесу удалялись.

«Я опять опоздал,— с горечью подумал Долгов,— опоздал на каких-нибудь двадцать лет с небольшим».

ИГОРЬ БАУЛИН РЕШИЛ КУПИТЬ ТОРШЕР. Он уже купил массу мебели, разыскал потрясающие гардины и уникальную керамику (у его молодой жены был современный вкус), и теперь нужен был только торшер.

Шурик Морозов и Эндель Хейс на днях отбывали в Бельгию. Они получают там на верфи новенький красавец сейнер и выйдут в море. Пройдут через Ла-Манш и через «гремящие сороковые широты», через Гибралтарский пролив и через Суэц, будут задыхаться в Красном море и одичают в океане, а дальше смешной город Сингапур, и то-то нагазуются, когда придут во Владик. А Игорь будет жить в маленьком поселке, вставить ровно в шесть и отсыпаться на своем крошечном «СТБ» (когда идешь в тихую погоду с тралом и нечего делать), он будет ловить кильку и салаку в четырнадцати милях от берега и каждый вечер будет возвращаться в свой домик, к своей жене, будет дергать торшер за веревочку и удивляться: «Вот жизнь, а?» — пока не забудет об океане. Если можно о нем забыть.

Возле мебельного магазина друзья увидели трех своих спутников, трех «туристов — пожирателей километров». Они были обросшие, мрачные и худые, как черти. Они разгружали контейнер.

— Смотри, Игорь,— сказал Шурик,— как видно, они все-таки не побежали на телеграф.

— Да, это так,— констатировал Эндель.

— Неплохие они, по-моему, ребята,— задумчиво сказал Шурик.

— В общем, «герои семилетки»,— процедил Игорь.— Мне ясно, почему они именно здесь — решили подкалывать. Знаешь, какой калым у грузчиков?

Подошли, поздоровались.

— Рыцари дорог, почему вы не пожираете километры?

— Потому, что нам жрать нечего,— мрачно сказал Юрка, а Димка и Алик промолчали.

Было ясно, что пикировки на этот раз не получится.

— Видите ли,— пояснил Алик,— мы хотим подработать денег на дорогу.

— Куда, если не секрет?

— В какой-нибудь рыболовецкий колхоз.

Шурик улыбнулся и подтолкнул локтем Игоря.

— Почему именно в рыболовецкий колхоз?

— Просто так, понюхать море,— сказал Алик.

— И поесть рыбы,— добавил Юрка.

— И подработать денег на дорогу,— буркнул Димка.

— А там куда?

— В тартарары.

— Что-то ты, брат, очень мрачный,— сказал Шурик.— А где Брижит Бардо?

— В кино.

— Что смотрит?

— Снимается.

— Слушайте, ребята,— вдруг сказал Игорь,— если вы серьезно задумали подработать, езжайте в рыболовецкий колхоз «Прожектор». Три часа езды на автобусе отсюда. Там сейчас комплектуют экипажи к осенней путине. Сведения абсолютно точные.

— «Прожектор»? Это звучит,— сказал Алик.

— «Прожектор» — это хорошо,— сказал Юрка.

— «Прожектор» так прожектор,— сказал Димка.

В магазине Шурик хлопнул Игоря по плечу.

— Ты читаешь мои мысли. Надо помочь ребятам.

— Какого черта,— рассердился Игорь,— не маленькие! Просто нам действительно нужны люди.

— КОГДА ЖЕ МЫ УВИДИМСЯ СНОВА? — спросила Линда.

— Откуда я знаю, — ответил Юрка и отвернулся.

Они сидели на «горке Линды». Сейчас здесь все было так, как было на самом деле несколько тысячелетий назад. Небо на западе было красное, а чудовищно искривленные стволы — черные, словно мокрые. Каменная Линда, по обыкновению, молчала. Живая Линда вздыхала.

— Неужели обязательно нужно уезжать?

— В том-то и дело.

Линда наклонила голову. Юрка совсем перепугался. Еще плакать начнет. Так и есть. Ревет.

— Эй, — сказал он и тронул ее за плечо, — что это ты, брат? Что ты засмурела, Линда? Хочешь помочь городскому водопроводу? Второе озеро накапать? Я ведь еще не загнул. Фу, какая ты странная... В конце концов — всего три часа езды. Подними голову. Вот так. Сейчас мы с тобой возьмем мотор, покатаемся, пойдем в ресторан, потом в клуб побацаем на прощание... Схвачено?

Линда вынула из сумки платок и вытерла лицо.

— Знаешь, Юрка, когда мы снова с тобой встретимся, я начну учить тебя правильному русскому языку. Схвачено?

— Закон! — радостно завопил Юрка и полез целоваться.

— НУ, КАК ТАМ У ВАС, ВИТЯ?

— Все в порядке, старик. Родители на даче. Здоровы.

— А ты как? Защитил?

— Нет, не защитил.

— Неужели зарубили, скоты?

— Да нет. Отложена защита. Как ты там, старик?

— Отлично.

— Может, тебе денег подкинуть, а?

— У меня куча денег.

— Брось.

— Серьезно. Мы тут подработали на киностудии.

— Понятно. Значит, все хорошо?

— Осталась одна минута, — сказала телефонистка.

— Слушай, Витя, сегодня мы уезжаем из Таллинна. Будем работать в колхозе «Прожектор». Я тебе напишу. Передай маме...

— Старик, перестань играть в молчанку. Пиши хоть

мне. У нас все хорошо. Я маме наврал, что получаю от тебя письма. Она не понимает...

— ...что я здоров, весел и бодр. И дедушке Алика скажи, и Юркиному папану, и... Зинаиде Петровне тоже. Как там наша «Барселона»? Не развалилась еще? Денег у нас целая куча. Все у нас...

— ...почему ты ей не напишешь? Старики очень обижены на тебя из-за этого. Только из-за этого. Слушай, я через месяц, может быть, приеду к тебе в отпуск. Старик...

— ...в полном порядке. Тебе ни пуха ни пера. Защищай скорее.

— Что?

— Защищай скорее.

— Крепись, старик. Все будет в порядке,— сказал Виктор.

— Да все и так в полном порядке,— пробормотал Димка, но их уже разъединили.

— ХОЧЕШЬ ЧЕСТНО, КРАМЕР? — спросил Иванов-Петров.

— Только так,— сказал Алик и сломал сигарету.

Они бродили вдвоем по Вышгороду.

— Понимаешь, в общем-то все это просто смешно. Так же, как твоя борода и все прочее. Смешно и очень любопытно. В общем-то это здорово, что ходите вы сейчас везде, смешные мальчики. Очень я рад, что вы ходите повсюду и выдумываете разные штуки.

— Очень любезно с вашей стороны. Спасибо от имени смешных мальчиков.

— Ты не сердись. Я уверен, что ты будешь писателем.

— Без дураков?

— Точно.

— А что для этого нужно? Посоветуйте, что читать.

— Черт! Что читать? Вот этого я не знаю. По-моему, нужно просто жить на всю катушку. И ничего не бойся.

— Я и не боюсь.

Они остановились на краю бастиона над Паткулевской лестницей. Иванов-Петров обнял Алика за плечи.

Внизу, в улицах сгущались сумерки, а черепичные крыши домов и башен все еще отсвечивали закат. Церковь Нигулисте, разрушенная во время войны, стояла в строительных лесах.

— Камни,— прошептал Иванов-Петров,— завидую камням. Их можно уничтожить только бомбами.

— В наше время это нетрудно сделать,— откликнулся Алик.

— Очень трудно. Невозможно.

Погасли розовые отсветы. В узких улочках зажглись лампы. Это было похоже на подводный город из какой-то старой немецкой сказки.

— ОСТАНОВИТЕСЬ ЗДЕСЬ. Я дальше хочу пешком.

— Галочка, дождь ведь может пойти.

— Ну и пусть.

Галя побежала по дороге. В темноте мелькала ее белая кофточка. Долгов, улыбаясь, пошел за ней.

«Как это мило все, это очень мило!» — сказал он себе, думая с тревогой и тоской, что отпуск кончается.

Галя, пританцовывая и напевая, бежала обратно. Она была чуть-чуть пьяна. Она теперь каждый вечер была чуть-чуть пьяна. И каждый вечер танцы и разговоры об искусстве, о современной сцене, и тонкие намеки, тонкие шутки, и все такое вкусное на столе, а почему не выпить «несколько капель солнца»?

Долгов протянул руки, и она оказалась в его объятиях.

ОГРОМНЫЙ «ИКАРУС» С РЕВОМ ПРОНЕССЯ МИМО НИХ. Казалось, земля задрожала. Автобус, неистовый, грузный, неуправляемый, с воем летел в кромешную тьму. Шум затих, а он уходил, освещенный, все дальше и представлялся космическим кораблем.

— По-моему, он свалится в кювет,— сказал Долгов.

— А по-моему, врежется в луну,— сказала Галя.

Вот бы быть там! Мчатся в темноте! Там играет радио. Шофер включает, чтобы не заснуть за рулем. Играет тихо, но на передних сиденьях слышно. И все дрожит, и все гудит, и никто не знает, доедет ли до конца.

— Григорий, буду я когда-нибудь играть Джульетту?

— Уверен, Галчонок.

— А ты будешь Ромео.

— Нет. Это сейчас не мое амплуа.

Часть третья
СИСТЕМА «ДУБЛЬ-ВЕ»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Я НЕ МОГ НА НЕЕ НАЛЮБОВАТЬСЯ. Она была роскошна. Вероятно, очень приятно было бы держать ее в руках, но я не беру ее в руки. Каждый раз я гляжу на нее, когда сажусь к своему столу. Она лежит на нем, темно-коричневая, толстая, тяжелая,— это диссертация. А рядом с ней синенькая тетрадка. Это то самое «просто так». Я сажусь по-американски — ноги на стол,— закуриваю и смотрю на эти две вещи. Я словно взвешиваю их на ладони. Что означает каждая из них для меня и что они значат вообще?

ДИССЕРТАЦИЯ — это кандидатская диссертация, тему которой мне подсказал наш гениальный шеф. Это мой голос, усиленный микрофоном: «Уважаемые члены ученого совета». Это рукопожатия, цветы и дьявольская выпивка. Все как полагается. Звонки друзей, а ночью шепот Шурочки: «Милый, я так счастлива!» Это моя подпись, черт побери, под всем, что ни напишу: «Кандидат наук В. Денисов». Это лишних пятьсот рублей в месяц. Это бессонные ночи и молоток в голове. Если все книги, что я прочел для того, чтобы написать ее, свалить в этой комнате, мне придется ночевать на крыше. Это мой труд, это моя надежда. Это мой путь, трудный, но верный. Путь, уготованный мне с самого детства. «Будешь разумным мальчиком, станешь профессором». Меня воспитывали на разных положительных примерах, а потом я сам стал положительным примером для Димки. А Димка взял и плюнул на мой пример. В общем-то он просто смешной романтик. Он думает, что он какое-то исключение, необычайно сложное явление в природе. Все мы так думали. Меня тоже тянуло тогда куда-то уйти. Меня тянуло, а он ушел.

А я 28 лет сижу в своей комнате и смотрю на билет, пробитый звездным компостером. Что там сегодня? Кажется, хвост Лебеда. Надо бы мне при моей профессии лучше знать астрономию. Романтика! Вот она снова пришла ко мне. Я смотрю в окно, и бывают минуты, когда я уверен, что этот билет все-таки предназначен для меня.

СИНЕНЬКАЯ ТЕТРАДОЧКА — это моя собственная мысль. Это мой доклад, который я сделаю через неделю или через две. В кулуарах уже идут разговоры. Простите, а кто он такой? Имеет ли степень? Вам не кажется, что это несколько... э-э... невежливо по отношению к Виталию Витальевичу? Хе-хе, молодежь! Почему бы ей и не задрать хвост?

Это мой голос, усиленный микрофоном: «Вот все, что я хотел сообщить уважаемому собранию». Это тоже рукопожатия, но это и кивки издалека, а некоторые, должно быть, перестанут со мной здороваться. Это мой труд, мой. Мой! Это моя фантазия. Это, если хотите, орел или решка. Это скачок вверх или вниз (я еще не знаю куда), но это ползком через камни в сторону от дороги, уготованной мне для того, чтобы вернуться, но уже через год. Это мотылек летит на свечу или Икар... О! О! Разошелся.

Борька говорит:

- Это смешно. Ты осел.
- В институте ходят разговоры. Нехорошие.
- Все-таки, Виктор, нам нужно знать свое место.
- Ну кто ты такой, подумай! Ведь даже степени у тебя нет.
- Мне передавали, что В. В. сказал...
- Может быть, ты надеешься на поддержку шефа? Должен тебе сказать, что В. В. ...
- Это несолидно.
- Опрометчиво.
- Авантюра,
- Опасно.

ПРОШЕЛ МЕСЯЦ с того дня, когда я поставил свой опыт. Тогда я думал, что на этом все и кончится. Нет, это был снежный ком, пущенный с горы. Последовала целая серия опытов и много бессонных ночей. Я стал курить по две пачки в день. Очень помогли мне ребята-химики. Без них ничего бы не вышло. Вообще очень многие мне помогали, хотя работа шла вне плана. Например, Рустам Валеев, узкий специалист в области энцефалографии (исследований мозга), проторчал у меня в лаборатории целые сутки. Только люди из отдела В. В. смотрели косо. Дело в том, что моя работа опровергала не только мою собственную диссертацию, но и целую серию работ от-

дела, руководимого «Дубль-ве», основное направление этого отдела. Диссертация сотрудника этого отдела, моего друга Бори, в результате моей работы тоже могла быть подвергнута сомнению. Борис заходил почти ежедневно и все бубнил:

— Это просто смешно. Дубль-ве сотрет тебя в порошок.

— Ты вроде той унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла.

— Вчера я слышал, как В. В. сказал кому-то по телефону: «Нужно оградить нашу науку от выскочек».

— Напрасно думаешь, что шеф тебя поддержит.

— Тоже мне, Дон-Кихот.

— Шефа это тоже не погладит по самолюбию.

— Хорошо, раз ты решил чудить — чуди, но почему ты лезешь с докладом на эту сессию? Неужели нельзя подождать?

— Это не по-товарищески.

— ЗНАЕШЬ, БОРЯ,— сказал я ему однажды,— закрой дверь с той стороны.

Я не знаю, как относится к моей работе шеф. Во всяком случае, с планом он на меня не давит. Но он молчит. Он не заходит ко мне, как прежде, и не читает мои записи. Ну и хорошо, что он ко мне не заходит, очень хорошо, что не заходит. Но все-таки это меня волнует. Честно говоря, меня это волнует больше всего. И не только потому, что шеф может присоединиться к Дубль-ве и совместными усилиями стереть меня в порошок. Не только поэтому. Я просто не уверен в себе. Иногда все из рук валится, когда подумаю: а вдруг все это вздор? Был страшный момент, когда погибла Красавица. Она погибла из-за того, что я разнервничался, вот как сейчас. Я не знал, куда деваться. Утром написал докладную шефу и подал через секретаря. На следующий день мне принесли двух других обезьян.

Теперь все позади. Я начал переписывать на машинке свой доклад. Подал заявление в ученый совет. Сессия начнется через неделю. Теперь мне, пожалуй, лучше всего не думать обо всем этом. Почему бы мне сегодня не отдохнуть? Почему бы не позвонить Шурочке? И не пойти в парк?

ЭТОТ УЧЕНЫЙ ЛЮБИТ ПРИМИТИВНЫЕ РАЗ-
ВЛЕЧЕНИЯ. Он любит качели и «блоху», любит стучать
молотком по силомеру и покатываться в комнате смеха.
Хлебом его не корми, а угости мороженым в парке. Он
даже в очереди любит стоять, в очереди стилияг перед ре-
стораном «Плзеньский». Эта сложная личность любит
черное пиво «Сенатор» и обожает «Чертовое колесо». Он
трепещет от звуков военного духового оркестра и мчит-
ся на массовое поле танцевать.

Примерно в таком духе издевается надо мной Шуроч-
ка. Мы стоим в толпе на площадке аттракциона «Гонки
по вертикальной стене». Шурочка подтрунивает надо
мной и смеется, но мне кажется, что ей хочется плакать.
Мне кажется, что ей хочется крикнуть: «Виктор, что с то-
бой?»

Внизу, под нами, двое мужчин и девушка садятся на
мотоциклы. Мужчина постарше с каменным лицом взле-
тает на стену. Он кружит по ней то выше, то ниже, то с
ревом несется прямо на нас (сейчас проломит барьер —
и всем нам конец), то вниз (сейчас взорвется внизу); он
крутит вензеля на полном ходу и мчится, сняв с руля ру-
ки. Потом на стенку взлетает девушка. Два мотоцикла
кружат по стене, и не поймешь, гонятся ли они друг за
другом или летят навстречу. Мужчина с каменным лицом
и девушка с застывшей улыбкой. Девушка вроде Шуроч-
ки. Ей бы медсестрой работать, а она кружит по стенке.
В мире много странного. Один человек варит сталь, дру-
гой лечит людей, а третий всю жизнь дрессирует малень-
ких собачек, а девушка работает на вертикальной стене.
Это ее профессия. Когда на стенку с ревом вылетает
третий, я сжимаю барьер, а Шурочка мою руку. Потом
мы выходим, она говорит:

— У тебя был невменяемый вид. Ты совсем маль-
чишка. Может быть, ты им завидовал?

— А?

— Ты бы хотел мчаться по вертикальной стене?

— Смотря куда. Если так, как они, по кругу, то не хо-
тел бы. А если...

— Куда?

— Куда угодно, но только не по кругу.

— Так. Сейчас мы пойдем кормить лебедей?

— Шурочка!

— Не смей называть меня Шурочкой!

— Что с тобой?

— Я не хочу, чтобы ты называл меня Шурочкой. Называй Сашей, Сашкой, Александрой, Шуркой, но только не Шурочкой.

— Почему? Боже мой, почему?

— Потому, что мы с тобой уже два года ходим в парк, и ты катаешься на «блохе», и пьешь черное пиво, и бьешь молотком по силомеру, и называешь меня Шурочкой.

— Ведь ты любила ходить в парк?

— А теперь не люблю.

В этот момент я вижу все как-то по-новому, словно мне рассказали чужую историю и я могу составить о ней свое мнение.

Над парком пыльное небо, и звезды еле видны, а в реке отражаются все огни Фрунзенской набережной. Кажется, выход один — пуститься в путешествие по реке в неизведанные края, к Киевскому вокзалу.

— Хочешь, прокатимся по реке?

— Хочу, — тихо говорит она.

Мы сидим на верхней палубе на самом носу. Проплывают темные чащобы Нескучного сада. Фермы моста окружной дороги надвигаются на нас, чтобы мы почувствовали себя детьми. Чтобы все осталось позади, а когда над головой простучат колеса, чтобы мы поцеловались.

— Шурочка, — говорю я, и она уже не сердится, — Саша, Сашка, Александра, защита диссертации отменяется!

Она вздрагивает.

— Точнее, отодвигается. На год.

Она отодвигается от меня.

— Но у нас ничего не отменяется, — говорю я, и она не отодвигается.

Я ПРИВОЖУ К СЕБЕ СВОЮ ЖЕНУ. Папа и мама живут на даче. Они приедут и найдут в доме мою жену. В моей маленькой комнате. Вот здесь я прожил 28 лет. Приносил со двора гильзы, а из школы дневники с хорошими и отличными отметками (правда, иногда учителя писали: «Был невнимателен на уроке»). Потом я принес сюда серебряную медаль. Потом студенческий билет. Приносил ватерпольные мячи и хоккейные клюшки, буги-вуги на рентгеновских пленках и башмаки на каучуке. Приводил товарищей (дым стоял коромыслом). Приносил повышенную и простую стипендии. Несколько раз приводил девушек, когда родители жили на даче. При-

нес диплом. Очень хотелось мне принести сюда диссертацию, а потом хотелось принести синенькую тетрадку, но сделать этого я не мог. Нам не разрешается этого делать. Но все-таки и то и другое побывало здесь. Я приносил их сюда в своей голове. И вот теперь я привел в «Барселону» свою жену. Новый повод Димке для рассуждений о моей мещанской судьбе.

— Милый, я так счастлива,— шепчет Шурочка.— Я тебя люблю. Я тебе буду помогать. Ведь теперь тебе легче будет справиться с тем, что ты задумал?

— Конечно, легче. В тысячу раз.

Шурочка стоит у окна. В окно из уличных теснильется свет газовых ламп.

Я курю на своей тахте и смотрю на силуэт девушки, стоящей в моей комнате у окна, и я понимаю, что никогда в жизни не буду больше разглядывать ее со стороны и сравнивать с другими. Мне теперь будет достаточно того, что это она и что она рядом.

УТРОМ мы выходим из дома вместе с женой. Во дворе я говорю тете Эльве для того, чтобы вечером знал уже весь дом:

— Тетя Эльва, это моя жена.

— Очень приятно, если законная,— любезно говорит тетя Эльва.

Мы выбегаем на улицу. Солнце! Привет тебе, солнце, если ты законное! Машина поливает улицу. Привет тебе, вода, если ты законная! Эй, прохожие, всем вам привет! Документы в порядке?

Привет тебе, и поцелуй, и все мое сердце, моя еще незаконная жена! Ты уезжаешь в автобусе, а я иду упругим шагом к метро. У меня упругая походка, я чертовски молодой ученый, мне еще нет тридцати лет. Кто меня назовет неудачником? Я самостоятельный, подающий большие надежды молодой ученый. Я сделаю свое дело, потому что люблю все вокруг себя, Москву и всю свою страну. Масса солнца вокруг и воздуха. Я очень силен. Я еду в институт. Я сделаю свое дело для себя, и для своего института, и для своей семьи, и для своей страны. Моя страна, когда-нибудь ты назовешь наши имена и твои поэты сложат о нас стихи. Я сделаю свое дело, чего бы это мне ни стоило.

В метро люди читают газеты. Заголовки утренних газет:

КУБЕ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ!
АГРЕССИЯ В КОНГО РАСШИРЯЕТСЯ.
В ЛАОСЕ ТРЕВОЖНО.
МЫ С ТОБОЙ, ФИДЕЛЬ!
ПИРАТСКИЕ НАЛЕТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ.
ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ
ПУТЬ.

В темном окне трясущегося вагона отражаемся мы, пассажиры. Мы стоим плечом к плечу и читаем газеты. Жирные, сухие и такие мускулистые, как я, смешные, неряшливые, уважаемые, пижонистые, мы молчим. Мы немного не выспались. Нам жарко и неловко. Этот, справа, весь вспотел. Фидель, мы с тобой! Пираты, мы против вас. Мы несем Олимпийский огонь.

Я сделаю свое дело. У меня есть голова, мускулы, сердце. У меня есть билет со звездным компостером.

В проходной я сталкиваюсь с Борисом.

— Боб, я женился,— выпаливаю ему в лицо.

— Поздравляю,— кисло мямлит он.

Мы молча идем через двор. Впереди тащится Илюшка. Читает на ходу какой-то ядовитого цвета детектив. Мимо нас проезжает «Волга». За рулем Дубль-ве. Он в темных очках. Я кланяюсь ему очень вежливо.

— Доброе утро, Виталий Витальевич. Царапнули вас немного?

Дубль-ве вылезает из машины.

— Здравствуйте. Черт бы побрал это Рязанское шоссе! Это меня «Молоко» сегодня царапнуло.

Борис приветствует своего начальника коротким кивком. Боря такой, он не станет рассыпаться перед начальниками. В. В. берет Бориса под руку, и они задерживают шаги. Я догоняю Илюшку.

— Илья, знаешь, я женился.

— Поздравляю. Свадьба когда?

Хороший парень Илья, только вот беда: не знает, как меня называть, на «ты» или на «вы». Видно, потому, что он монтер, а я как-никак научный сотрудник. Позову его на свадьбу, выпьем на брудершафт.

Борис и Дубль-ве под руку проходят мимо нас. Улавливаю конец фразы Бориса:

— ...чрезвычайно.

Вот черт, сразу же включается в трудовой процесс!

Посидев немного у себя и полистав свежий номер «Экспресс-информации», я иду в рентгеновскую лабораторию узнать насчет диапозитивов.

— Лидочка, можно?

В красноватой мгле появляется лаборантка Лида. Светлые волосы, белый халат и темное лицо. Она сейчас сама похожа на негатив.

— Как там мои картинки?

У нас с Лидой дружба. После меня она лучшая пинг-понгистка института. Она включает проектор и показывает мне мои диапозитивы.

— Высший класс,— хвалю я ее.

— Это что такое, Витя? — спрашивает она.

— Это печень. Печеночные клетки.

— Это Красавица?

— Да.

У Красавицы были печальные глазки, а что она выделяла своими лапками! Она узнавала меня, как человек. Я играл с ней, когда она была не в камере. И когда она была в камере, мне стоило большого труда встретиться с ней взглядом. Смотреть ее печеночные клетки тоже нелегко.

Я выхожу в коридор и неожиданно для себя заворачиваю к кабинету шефа. Секретарша говорит, что я могу войти. Открываю дверь и вижу, что шеф сидит на краешке стола. Он редко сидит в кресле, только когда что-нибудь пишет. А когда разговаривает, он сидит на краешке стола, или на подоконнике, или уж в крайнем случае на ручке кресла. В общем-то он чудаковат, как почти все руководящие деятели нашего института. Пожалуй, один только Дубль-ве не чужак, но на общем фоне подтянутость и корректность кажутся чудачеством.

— Садитесь, Витя.— Шеф показывает на кресло. Я сажусь и замечаю на подоконнике моего друга Боря. Шеф смотрит на меня, потом на него.— Будем продолжать, Боря, или?..— спрашивает он.

— Если позволите, я к вам зайду в конце дня.

Борис идет к выходу, даже не взглянув на меня. У меня мелькает мысль, что где-нибудь в другом месте я бы сейчас его не узнал.

— Ну, Витя? — И шеф вдруг садится в кресло.

— Андрей Иванович, я решил к вам зайти...

— Это очень мило с вашей стороны.

— Чтобы поблагодарить за обезьян.

— Пожалуйста,— говорит шеф и молчит.

И я молчу, как дурак. Шеф усмехается. Он иногда так усмехается, что хочется ему заехать по физиономии. Я говорю твердо и даже вызывающе:

— И еще я хотел узнать, включен ли мой доклад в повестку сессии.

Я посмотрел на себя в зеркало и спокойно ожесточился. Зеркало мне всегда помогает, когда я растерян, потому что у меня жесткое и грубоватое лицо.

Шеф роется в каких-то бумагах и наконец говорит:

— Да, ваш доклад включен. Выступаете в первый день, после Буркалло и перед Табидзе.

— Благодарю вас.

Я встаю и иду к выходу. Не хочешь говорить, ну и не надо.

— Виктор!

Оборачиваюсь. Шеф сидит на краешке стола.

— Хотите попробовать французскую сигарету.

Он позавчера вернулся из Парижа, куда летал на сессию ЮНЕСКО. Я подхожу к столу. От французской сигареты я не откажусь. Кто откажется от французской сигареты! На пачке нарисован петух и написано «Голуаз блё». Страшно крепкие сигареты.

— Ну как там, в Париже? — спрашиваю так, как спросил бы Борьку.

— Да в общем все то же. Развлекаются.

Некоторое время мы молчим. Надо же прочувствовать французскую сигарету.

— Послушайте, Витя,— наконец говорит шеф,— у вас полная уверенность?

Я смотрю на себя в зеркало.

— Полная уверенность. Иначе бы я..

— Я к вам не зайду и не буду ничего смотреть. Вы это, надеюсь, понимаете?

— Конечно.

— Да вы ведь и не хотите, чтобы я смотрел, правда?

— Не хочу, Андрей Иванович.

Шеф усмехается:

— Как это все мне знакомо. У меня тоже когда-то наступил момент, когда я стал избегать покойного Кранца.

Он начинает ходить по комнате. Портрет Кранца висит над его столом. Я смотрю на портрет.

— Но ведь вы все-таки остались друзьями с Кранцем. Не так ли?

Опять я делаю ошибку, как и в прошлый разговор с ним. Шеф терпеть не может ничего сладенького. Его прямо всего передергивает.

— Вот что, Виктор Денисов,— резко говорит он.— Вы решили стать настоящим ученым? Как ваш руководитель и как коммунист, я приветствую ваш порыв. Ваш доклад поставлен на первый день сессии. Насколько я понимаю, вы будете говорить об очень важной проблеме. Я приветствую вашу смелость и самостоятельность. Но я вас предупреждаю: ученый совет будет слушать во все уши и смотреть во все глаза, и, если ваша работа окажется ловким трюком, эффектной вспышкой (а так, к сожалению, бывает нередко; в молодости очень хочется сокрушить пару статуй), тогда мы вас не поощрим. Добросовестных компиляторов еще можно терпеть, но демагогии нет места в науке. Вам все понятно? Идите работать.

Кивнув, я пошел к выходу.

— Хотите еще сигарету? — крикнул шеф вдогонку.

Хотел бы я посмотреть на того, кто откажется от сигареты «Голуаз блё».

В коридоре меня встречает Борис.

— Весь наш отдел будет выступать против тебя,— говорит он,— потому что твоя работа — это дешевый трюк.

— Ага, понятно.

— Ты извини, старик, но я тоже буду выступать против тебя.

— А как же иначе? — говорю я, а сам в полном смятении — «Борька, черт побери! Борька, Борька, неужели он все забыл?»

— Ты думаешь, что я боюсь за свою диссертацию, но это не так. Я — за научную честность.

— А я только за нее.

— Сомневаюсь!

— А ты знаешь содержание моей работы?

— В общих чертах.

— Пойдем!

Я хватаю его за руку и тащу в виварий. Красавица-бис висит на хвосте, а Маргарита прыгает из угла в угол как заведенная.

— Видишь? — кричу я Борису.— Видишь, они живы! Они побывали в камере, и они живы.

Я смотрю на Бориса, а он смотрит на обезьян. У него стеклянный взгляд. Он смотрит и ничего не видит. Мне

становится не по себе, и я ухожу из вивария. Борис идет за мной.

— Витька, в последний раз тебя предупреждаю: сниму доклад. Не по зубам тебе это, даже если ты и прав. Дубль-ве — огромный эрудит, сильный боец и в общем страшный человек. Он уже все о тебе знает.

— То есть? — Я поражен. — А кто обо мне чего-нибудь не знает? Что ты имеешь в виду?

— Твои настроения в определенный момент. И странные вопросы на семинарах. А помнишь, как ты привел к нам на вечер какую-то крашеную девку? Вы танцевали рок-н-ролл. Дубль-ве уже все это знает и мобилизует общественное мнение. Он всем говорит, что ты морально неустойчив и политически не воспитан...

— А ты с ним согласен?

— В какой-то мере, понимаешь ли, он прав.

— Ах ты...

Резким движением я заворачиваю Борьке руку за спину. Мне хочется выбросить его в окно. Я выпускаю его.

— Слушай, сопля, если бы не эти священные стены... Убирайся!

ВЕЧЕРОМ я рассказал обо всем Шурочке. Как странно: человек взрослеет, развивается, а ты все еще убеждаешь себя, что он твой друг. И про девку рассказал, с которой танцевал на вечере. Было дело, приводил... И про свои «настроения в определенный момент». И про свои нынешние настроения. Сволочь Борька, сушеный крокодил, у тебя никогда не было настроений! Хорошо крокодилам, особенно сушеным, — могут жить без настроений. Рассказал про весь отдел Дубль-ве, эту фабрику диссертаций. Рассказал про свой доклад и как Дубль-ве подкапывается под меня. И еще рассказал ей о своем настроении — драться! И о своем опасении: вдруг они и шефу закапали мозги? Но ведь он же разберется, он же сможет разобраться. И показал ей звездный билет в окне. И объяснил, что сейчас там хвост Лебеда, хотя был уверен, что там что-то другое. И сказал ей, что это мой билет. И она меня поняла.

У меня горло сжималось, когда я ее целовал. Глаза у нее стали огромными, и я в них пропал.

МНЕ СНЯТСЯ ЛЮДИ В ГРЕЧЕСКИХ ТУНИКАХ. Они спустились с потолка и со стен и рассаживаются за столом ученого совета. У них величавые, сугубо древнегреческие жесты. Кто-то разворачивает пергамент. Что-то объявляют обо мне. Гулкий голос в огромном зале. А я сплю. Скандал! Объявили обо мне, а я не могу проснуться.

— Вопиющий факт,— говорит один из них и трясет меня за плечи.— За такие штуки надо морально убивать. Сбрасывать с какой-нибудь скалы в какую-нибудь пропасть.

Не могу проснуться. Устал. Отстаньте от меня вы, греки. Рабовладельцы проклятые! Так трясти усталого человека.

— Нахал ты все-таки, Витька! — говорит мне грек с грузинским акцентом.

Надо мной стоит Табидзе. Шикарно одет. Щеки сирые от жестокого бритья.

— Царствие небесное ты так проспишь, душа любезный,— говорит он.

Я смотрю на него и некоторое время ничего не могу понять. Табидзе общедоступно поясняет мне, что через полчаса начинается сессия, на которой будет слушаться мой доклад, что он пришел оказать мне моральную поддержку (по поручению комитета ВЛКСМ), но он не думал, что ему придется выводить меня из ступорозного состояния.

НАУЧНАЯ СЕССИЯ для любого института — это праздник. Перед началом все в черных костюмах гуляют в вестибюле. Функционирует великолепный буфет. Коридор радиофицирован, так как мест в зале не хватает. Кроме наших сотрудников здесь полно гостей.

Неожиданно носом к носу сталкиваюсь с Дюлой Шимоди, своим однокурсником. Он приехал из Будапешта вместе с женой, Верой Стрельцовой. Было очень забавно встретить их здесь в качестве иностранных гостей.

И вот, когда звонит звонок, меня начинает мутить от страха, и, вместо того чтобы идти в зал, я бегу в буфет. Один за другим съедаю пять бутербродов с красной икрой и выпиваю три стакана кофе. Слушаю по радио, как

шеф открывает сессию, и торжественные речи разных уважаемых особ. Есть уже не могу. Выхожу из буфета, медленно поднимаюсь по лестнице. Сегодня ее покрыли красным ковром. Читаю стенгазету «В космос!». Она висит еще с майских праздников, и в ней карикатура на меня. По поводу моего увлечения пинг-понгом. Очень похоже, но надоело.

В коридоре сидят и стоят люди в черных пиджаках. Я иду по коридору, тоже весь в черном. Белый платочек в нагрудном кармане. Меня можно снимать в кино. Захожу в туалет. И здесь слышны речи. Почему-то шипит озонатор. По-моему, он не должен шипеть. А может, так ему и полагается шипеть? Надо выкурить сигарету. Теперь долго не покуришь. Можно и две. У меня оказывается только одна. Вынимаю монетку. Может быть, подбросить? Поздно. Я сделал это два месяца назад. Но та монета так и лежит под холодильником, и я не знаю, как она упала: орлом или решкой? Я выхожу из туалета и протикиваюсь в зал.

На трибуне Дубль-ве. Почему-то я сразу успокаиваюсь, глядя на него. Я вспоминаю третий курс. Он тогда был доцентом и читал нам лекции по патофизиологии. Очень хорошие лекции, по ним было легко готовиться к экзаменам. Я вспоминаю, как один парень его спросил относительно кибернетики в медицине. Дубль-ве не растерялся и сказал, что кибернетика — это лженаука и мы должны ее презреть. Рассказал пару анекдотов из «Крокодила» насчет кибернетики. Мы были рады и смеялись. А сейчас Дубль-ве у нас главный дока по кибернетике.

Дубль-ве в очень строгих академических тонах рассказывает великие деяния своего отдела. Называет имена особо выдающихся сотрудников. Разумеется, и Бориса. Он действительно очень толковый, мой бывший друг Боря. Дубль-ве рассказывает о диссертациях своих птенцов. Это его любимый конек. Потом он очень академично начинает превозносить нашего шефа. Говорит, что под его личным руководством отдел идет к стоящей перед всеми нами цели. И наконец, он говорит кое-что обо мне:

— Товарищи, все сотрудники нашего отдела ясно представляют себе эту цель и уверены в правильности пути, по которому мы к ней идем. В этой связи мне хотелось бы сказать о некоторых молодых и очень, подчеркиваю, очень талантливых ученых, которые, попав в плен модных концепций, вообразили себя новаторами. Вольно

или невольно, но эти лица расшатывают основы нашей программы и сами сбивают себя с единственного истинно научного пути.

Он сходит с трибуны и занимает свое место в президиуме. Пожимает руку какому-то вновь прибывшему начальнику, закидывает ногу на ногу. Я смотрю на публику в зале. Кое-кто из посвященных тонко улыбается.

Дальше все идет чинно, благородно и на высоком научном уровне. Выступают разные люди. Временами в зале гаснет свет — показывают диапозитивы и маленькие фильмы. Временами зал начинает гудеть. Я не понимаю, из-за чего поднимается гудение и не улавливаю смысла докладов и фильмов. Я стою в толпе черных пиджаков и слушаю стук своего сердца. Иногда заглядываю в программу. Выступает Осипова, потом Штрекель, Павлов, Иваненко, Буркалло... Встает шеф:

— Сейчас выступит с докладом младший научный сотрудник института Виктор Яковлевич Денисов. Регламент — 30 минут.

Я на трибуне. Прикован к трибуне всем на обозрение. Всегда боялся трибун. Даже в студенческой группе, когда подходила моя очередь делать политинформации, я заикался и ощущал провал в памяти. А сейчас я на трибуне в большом зале. На меня смотрят греки со стен и с потолка. В президиуме переговариваются. Непроницаемое лицо бывшего друга Бори. Нервная улыбка Табидзе. В середине зала возле проектора кивает головой Лида. Дюла Шимоди и Вера Стрельцова, уважаемые иностранные гости, весело глядят на меня. Илюшка в дверях поднимает над головой сжатые ладони. В Голицыне волнуются родители. Шурочка все-таки опоздала. В Эстонии ничего не знает Димка. И все они глядят на меня. Я на трибуне. Я читаю свой доклад, не понимая его смысла. Я мог бы произнести его наизусть, как стихотворение «Поздняя осень. Грачи улетели». Я знаю, в каких местах надо повысить голос и где секунду помолчать, я делаю все это автоматически. Гаснет свет. Световой указкой я комментирую диапозитивы и схемы. Приносят обезьян. Я показываю Красавицу-бис и Маргариту, рассказываю, как они вели себя в камере, читаю сравнительные результаты анализов и т. д. Вдруг я страшно оживляюсь и начинаю крутиться на трибуне. Бессмысленно улыбаюсь. Вижу стол президиума и лицо шефа. Он подмигивает мне и прячет улыбку, наклоня голову. Дубль-

ве что-то пишет. Все. Я кончаю доклад, а в запасе еще пять минут. Мне нужно поклониться и уйти. Зал уже загудел. Илюшка показывает мне большой палец и накрывает его ладонью. Табидзе кивает, Лида кивает, Дюла и Вера тоже кивают. Греки вроде тоже кивают. Очертя голову, я наклоняюсь к микрофону:

— Товарищи! Я знаю, что моя работа противоречит многим солидным трудам и, может быть, даже ранит чье-то самолюбие. Но я считаю, и думаю, что со мной согласятся все, что во имя нового мы должны научиться приносить жертвы. Новое — это риск. Ну и что? Если мы не будем рисковать, что будет с делом, которым мы занимаемся? Наше дело не терпит топтания на месте, и наш институт — это не фабрика диссертаций. (Это уже слишком.) Новое все равно пробьет себе дорогу. Так во всем. Возьмите футбол. (С ума я сошел.) Когда-то система «дубль-ве» считалась прогрессивной, но сейчас она устала.

В зале хохот. Смеются аспиранты на балконе. Илюшка держится за живот. Лида уткнулась в колени. Табидзе закатывается.

Шеф разъяренно гремит звонком.

— Новое победит! — говорю я, чувствуя, что погиб, и схожу в зал. Идиот, последний идиот, ради дешевой остроты погубил свою работу!

После меня выступает Табидзе, и объявляется перерыв. В перерыве я не обедаю, а брожу по коридору и без конца стреляю сигаретки. Аспиранты хлопают меня по спине.

— Молодец! Здорово ты его! Будет помнить. Не те сейчас времена, чтобы так давить.

— Не те, это точно,— вяло говорю я и опять куда-то иду. Передо мной вырастает шеф.

— Идите-ка со мной,— говорит он и идет в свой кабинет.— Что это за мальчишество? Что это за пижонство? Тоже мне трибун! Что вы берете на себя? Виталий Витальевич — ученый с мировым именем...

— Подождите, Андрей Иванович,— говорю я нагло (мне уже нечего терять).— Я вас спрашиваю как коммуниста: прав я или нет? Разве можно допустить, чтобы наша наука превратилась в тихую заводь, где будут размножаться дипломированные караси?

И шеф вдруг смеется и кладет руку мне на плечо:

— Чудак ты, Витя. Вообразил себя Аникой-воином.

Ту-ру-ру — трубы трубят. Против меня целое войско, а я один, зато храбрый. Погибаю, но не сдаюсь. Ладно. Ты сделал свой доклад — и все. Зачем этот жалкий пафос в конце? Ты как будто принял вызов на участие в грязной анонимной дуэли. Зачем? Твой доклад сказал сам за себя.

Шеф ходит по кабинету.

— А в общем, я рад. Четыре года назад я смотрел на тебя и тебе подобных со смутным чувством. Я не понимал вас. Чего они хотят? Только гаерничать и во всем сомневаться? Теперь я, кажется, вижу, чего вы хотите. В общем-то того же, чего хочу и я.

В коридоре слышен звонок. Начинаются прения по докладам. Шеф говорит:

— А я сначала не понял, отчего такой хохот. Потом мне объяснили. Дубль-ве. Все-таки это возмутительно. Интересно, как меня называют в институте.

— Вас так и называют — «шеф», — говорю я, — а иногда «батя», а иногда «слон». По-разному...

— Ладно, пошли, — усмехается он, — я первый выступаю в прениях.

Часть четвертая КОЛХОЗНИКИ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Я КОЛХОЗНИК. Нет, вы подумайте только: я стал колхозником, самым настоящим! В конторе мне начисляют трудодни. Алик и Юрка тоже колхозники. Если бы год назад нам сказали, что мы станем колхозниками, мы бы, наверное, тронулись. В «центре» ребята ругаются: «Эй ты, деревня!», «Серяк», «Красный лапоть» и так далее. Я был «мальчиком из центра», а теперь я колхозник.

Я вспоминаю то время, когда наша компания стала распадаться. Юрка бурно прогрессировал в баскетболе. Алька каждый вечер торчал у Феликса Анохина, где читали стишки. Галка кривлялась в драмкружке, а я остался один и стал «мальчиком из центра». Потом мы снова сплотились во время экзаменов. А теперь я колхозник, «серяк», «красный лапоть», как говорят эти подонки. Много они понимают!

Честно говоря, я вовсе не ликую, что я сейчас колхозник-рыбак. Не могу сказать, что сбылась моя голубая

мечта. Моя мечта. Что это такое? Я сам не знаю. Мама мечтала, чтобы я стал врачом. Папа почему-то твердил, что с нас хватит врачей, пусть Дима будет адвокатом. Традиционные интеллигентские мечты. Чтоб я да стал адвокатом?! И разве мечта — это выбор профессии?

Надо попробовать по порядку. Первую ночь после приезда в этот колхоз мы ночевали в палатке, а утром явились в правление. Председатель был толстый и добродушный дядька, эстонец. Мы подметили в нем одну особенность. По-русски он говорил прилично, но какими-то газетными фразами. Видно, учил язык в основном по газетам. Я подумал, что, если все эстонцы говорят здесь на таком языке, мне придется туго. Прямо скажу, я не особенно понимаю этот язык. Русских в колхозе не меньше, чем эстонцев. Колхоз огромный. Он простирается километров на двадцать по побережью и объединяет в себе три или четыре поселка. Промышляют в основном рыбой, овощами и молоком.

Нам дали койки в общежитии для рыбаков. Зачислили нас матросами на сейнеры, но оказалось, что наши сейнеры еще не пришли в колхоз. Их арендовали совсем недавно. Кроме этих новых сейнеров в колхозе было еще два старых и штук пятнадцать мотоботов, но там экипажи были уже укомплектованы. Два дня мы болтались просто так, а потом нас стали использовать.

МЕНЯ НАПРАВИЛИ НА СТРОЙКУ. Не правда ли, громко звучит? Меня направили на строительство здания для фермы черно-бурых лисиц. Колхоз решил поднажиться на лисицах, и я должен был строить ферму.

В бригаде были русские и эстонцы. Бригадир, типичный эстонец в типично эстонской шапке, показал мне, что делать, и я стал это делать. Я подавал кирпичи на ленту транспортера. Сложнейший трудовой процесс! Берешь два кирпича, кладешь их на ленту, снова берешь два кирпича и опять кладешь их на ленту. Кирпичи торжественно плывут вверх и там превращаются в стену. Мы строим ферму для лисиц. Берешь два кирпича, кладешь на ленту. Берешь два кирпича, кладешь на ленту. Придумали же люди эту дьявольскую штуку — ленточный транспортер. Он не ждет. Берешь два кирпича, кладешь их на ленту. Берешь два кирпича, кладешь их на ленту. Внизу кирпичей становится все меньше, а стена чуть повыше. Для

вас, лисички. Для вас, дамочки. Берешь два кирпича, кладешь на ленту. Берешь два кирпича, кладешь на ленту.

Неподалеку какой-то детина вяло ковыряет ломом старую стену. Ее надо снести, чтобы очистить место. Детина осторожен, боится падающих обломков.

После перекура я попросил бригадира поменять нас местами с тем детиной. Он предупредил, что это очень трудно — ломать такие стены, но я сказал:

— Ничего, это по мне.

Детина, видимо, очень доволен. Он берет два кирпича и кладет их на ленту, берет еще пару и кладет на ленту. И я доволен. Я бью ломом в старую стену, чертовски крепкую стену. Молочу по кирпичам и между ними. Раз, раз, два и три! Р-раз! Я бью в стену, стоя на месте и с разбега, как в своего векового врага. Я остервенел и бью, бью, бью. С грохотом падает и рассыпается огромный кусок стены. Подходит бригадир. Он не понимает, что со мной.

А я бью ломом в старую стену, которая никому не нужна.

Бью ломом в старую стену!

Бью ломом!

Бью!

Может быть, вот оно — бить ломом в старые стены? В те стены, в которых нет никакого смысла? Бить, бить и вставать над их прахом? Лом на плечо и дальше, искать по всему миру старые стены, могучие и трухлявые и никому не нужные. Лупить по ним изо всех сил? Это не то, что класть кирпичи на бесконечную ленту.

Весело в прахе и пыли с ломом шагать на плече.

Расчищать те места на земле, где стоят забытые старые стены.

К концу рабочего дня я сломал всю стену до основания. Я стоял на груде битого кирпича и курил. Рядом в сумерках белела новая стена. Я подумал, что завтра будет веселее класть кирпичи на ленту. Сам не понимаю почему, но я так подумал.

НАКОНЕЦ ПРИШЛИ СЕЙНЕРЫ. Нас освободили от подсобных работ, и мы помчались на третий причал. На причале уже околачивалось много народу. Здесь был председатель колхоза, его заместитель и старший капи-

тан колхозной флотилии старикашка Кууль. Незнакомые нам здоровенные ребята уже бродили по палубам сейнеров. На причале вертелись девчонки в комбинезонах. Две-три из них определенно заслуживали внимания. Я сказал об этом Юрке и Алику. Они согласились, но посмотрели на меня как-то странно. Чудаки, неужели они думают, что я всю жизнь буду сохнуть по Галке? Я ведь не Пьеро какой-нибудь, я человек вполне современный.

Галдеж на причале стоял страшный. Мы присели на ящике немного в стороне от публики, закурили и стали посматривать. Море было веселое. Бугристое, холмистое, местами черное, местами зеленое. Все было в движении: тучи двигались в Финляндию, сейнеры покачивались в маслянистой воде, на мачтах текли флаги, недалеко от берега шкодничала орда чаек, старикашка Кууль бегал от сейнера к сейнеру и махал руками, девчонки то сбивались в кучу, то разбегались в разные стороны. В общем, было весело.

Мне стало так весело, как не было весело уже давно. Я очень обрадовался, потому что, когда мне весело, я обо всем забываю и не думаю о том, что еще будет когда-то.

Алик прочитал стихи Маяковского:

Идут, посвистывая,
отчаянные из отчаянных.
Сзади тюрьма,
Впереди — ни рубля..
Арабы, французы, испанцы и датчане
Лезли по трапам
Коломбава корабля.

Все-таки это очень здорово — к месту и не к месту вспоминать стихи. Я обязательно буду теперь запоминать как можно больше стихов.

Юрка сказал:

— Хорошо бы нам попасть на одну коробочку.

Так он и сказал: «коробочку». Старый морской волк Ю. Попов.

Мне стало совсем весело, когда я вдруг увидел железного товарища Баулина. Он был в синем заграничном плаще, в фуражке с крабом. Не знаю, почему мне стало еще веселее, когда я его увидел. Вообще-то я не очень люблю таких, как он, железных товарищей. Я сказал ребятам:

— Смотрите, сам адмирал Баулин.

Юрка закричал:

— Эй, Баулин! Игорь!

Баулин довольно равнодушно помахал нам рукой. Потом мы увидели, что весь генералитет смотрит на нас. Старикашка Кууль ласково поманил нас к себе. У него был такой вид, словно он хочет рассказать нам сказку. Мы подошли. Юрка шел враскачку, засунув руки в карманы. Заместитель председателя сказал:

— Значит, это наши молодые рыбаки.

Председатель сказал:

— Товарищи молодые рыбаки, на вас возлагается задача...

Вот излагает! Не говорит, а пишет. Все как в газетах: «Председатель колхоза, кряжистый, сильный, строго, но со скрытой смешинкой посмотрел на молодых рыбаков и просто сказал: товарищи молодые рыбаки, на вас возлагается задача...»

Оказалось, что на нас возлагается задача заново покрасить борта и рубку СТБ-1788. Два других сейнера выглядели как новенькие, а СТБ-1788 был весь обшарпан и ободран, как будто участвовал в абордажных боях. И на нас, стало быть, возлагалась задача его покрасить.

— А плавать-то мы будем? — спросил я.

Старикашка Кууль ласково покивал. Дескать, будет вам и белка, будет и свисток. Заместитель председателя крикнул:

— Баулин!

Подошел Игорь.

— Денисов, это ваш капитан. Будете плавать с ним на СТБ-1788.

— Мне повезло, — сказал Игорь и усмехнулся.

Сколько сарказма! Боже, сколько сарказма! Он думает, что мне улыбается плавать на судне с роботом вместо капитана. У людей капитаны как капитаны — белобрысые, огромные, добродушные. Переминаются с ноги на ногу. А мне опять не повезло, на этот раз с капитаном.

Потом все командование ушло с причала. Ушли и ребята с сейнеров. Остались только мы трое да еще двое эстонских парнишек. Остались также и девчонки. Они сели на доски и стали привязывать к сетям какие-то стеклянные шары. Я подошел к девчонкам и сказал тем двум, заслуживающим внимания:

— Как тут у вас в клубе? Что танцуете?

Девчонки захихикали и что-то залопотали, а одна из тех двух-трех потупилась. Я ее спросил:

— Вас как зовут?

Нечего с ними церемониться. С некоторых пор я понял, что с девчонками нечего церемониться.

Она ответила:

— Ульви.

Это мне понравилось. Ульви — это звучит. Ульви Воог — есть такая чемпионка по плаванию.

— Ульви — это звучит, — сказал я, — а меня зовут просто Дима.

Я вернулся к своим ребятам и небрежно бросил:

— Подклеил одну кадришку.

Ребята сидели на ящиках и смотрели на меня, как волки-новички в зоопарке.

— Правда, ничего себе кадришка? — спросил я. — Ее зовут Ульви.

— Иди ты, Димка, знаешь куда! — пробормотал Алика и отвернулся.

— Видал? — сказал я Юрке и насмешливо кивнул на Алику.

— Да брось! — буркнул Юрка и отвернулся.

— Пошли красить! — гаркнул я.

Нет, черти, вы мне настроения не испортите. С каждой минутой мне становилось все веселее и веселее.

Мой ободранный корвет СТБ-1788 некогда был покрашен в черный и желтый цвета, как и все эти маленькие сейнеры. Борта черные, а рубка желтая — довольно мрачный колорит. Не мог я красить борта черной краской, когда такое веселье в душе. Эстонские парнишки мазали в это время ведра яркой, как губная помада, красной краской.

Алик и Юрка сразу подхватили мою идею покрасить борта сейнера в красный цвет. Антс и Петер долго не понимали, а потом захохотали, сбегали куда-то и принесли несколько ведер красной краски. Мы стали красить сейнер. Петер трудился на причале. Юрка сидел под настилом и красил внизу до ватерлинии, а мы втроем, Антс, Алик и я, стояли в лодке с наветренной стороны и яростно малевали другой борт.

В общем, жутко весело было, и я представлял, что случится с моим железным капитаном Игорем Баулиным, когда он увидит свой красный корабль. Его хватит удар. Его переведут на инвалидность, и он будет сидеть дома и

без конца писать письма в газету. А нам дадут другого капитана.

Было очень ветрено. Чайки кричали, как детский сад на прогулке. Здорово пахло йодом, какой-то гнилью и краской. СТБ-1788 будет красным, как помидор, как пла-точек на голове Ульви, как губная помада у всех этих.

Может быть, вот это красить все красным? Все черное перекрашивать в красное? Ходить повсюду с ведерком и кистью и, не давая никому опомниться, все черное перекрашивать в красное?

Утром с пригорка я увидел, как покачивает мачтами мой красный сейнер, и сразу же его полюбил.

Старикашка Кууль разошелся. Он махал руками перед моим носом и кричал:

— Курат! Что ты наделал, Денисов! Что ты наделал! Что скажет морской регистр? Он не пустит судно в море. О, курат!

— Успокойтесь, капитан Кууль,— успокоил я его.— Не все ли равно морскому регистру — красный сейнер или черный? Все остальное ведь в порядке. Рыбу он ловить будет и красный. И может быть, даже лучше, чем все черные.

— Ты ничего не понимаешь! Мальчишка! Глупый!

Я отошел от разъяренного Кууля. «Ты-то что понимаешь? — хотелось мне сказать ему.— Тебе лучше сказки детям рассказывать, чем командовать флотилией».

Пришел Баулин и стал дико хохотать. С ним действительно чуть удар не случился. Он стал красным, как сейнер.

— Автобус,— шептал он.— Типичный автобус.

Сейнер все-таки пришлось перекрашивать заново. Потом нас послали в парники чинить рамы, так как еще в школе мы получили квалификацию плотников 3-го разряда.

С НАМИ СТАЛИ ЗДОРОВАТЬСЯ каменщики, рыбаки и овощеводы. Это было приятно. Мне почему-то было приятно работать в колхозе где попало: и красить, и ломать стены, и чинить парниковые рамы, и даже, черт побери, класть кирпичи на ленту транспортера. Гораздо приятней было работать в колхозе, чем в школе на уроках труда. Может быть, это потому, что здесь тебе не вкручивают день-деньской, что ты должен развивать в себе трудовые навыки.

НЕСТЕРПИМЫМИ БЫЛИ ВЕЧЕРА. Алик все стучал на машинке. Юрка каждый вечер писал письма Линде. Иногда мы болтали. Так, на разные темы, как всегда. Попозже шли в клуб, смотрели старые фильмы с субтитрами на эстонском языке. После кино в клубе немного танцевали. Я тоже танцевал с Ульви. Мне скучно было танцевать, и я все уговаривал ее: пойдём погуляем. Но она не шла, и я уходил один.

Я попадал в ночь и оставался наедине сам с собой. Я мог бы остаться там, где светло, или пойти в кофик или на берег, где все-таки видны огоньки проходящих судов, но я сознательно уходил в самые темные улицы, а из них в лес. Садился на мокрые листья в крошечной тьме. Надо мной все шумело, а вокруг слабо шуршала тишина. Я думал, что здесь меня может кто-нибудь довольно легко сожрать. Я сознательно вызывал страх, чтобы не сидеть тут в одиночестве. Страх появлялся и уходил, и меня охватывала тоска, а потом злоба, презрение и еще что-то такое, от чего приходилось отмахиваться.

Я ни о чем не вспоминал, но все равно возникала Галя. Она шла, светлая, легкая, золотистая, — мой мрак. Я думал о том, что она сейчас в Ленинграде и с ним и, наверное, останется с ним навсегда, что он, должно быть, действительно такой, как она говорила, а я ничтожество. Я думал о себе. Что же я значу? Чего я хочу? Неужели ничего не значу, неужели ничего не хочу? Неужели предел моих мечтаний — стойка бара и блеск вокруг? Игрушечный мир под нарисованными звездами? Вся моя смелость здесь? Рок-н-ролл? Чарльстон? Липси? Запах коньяка и кофе? Лимон? Сахарная пудра? Вся моя смелость... Орел или решка? Жизнь — это партия покера? А флеш-рояль у других?

Нет, черт вас возьми, корифеи, я знаю, чего я хочу. Вернее, я чувствую, что где-то во мне сидит это знание. Я до него доберусь! Когда-нибудь я до него доберусь, но когда? Может быть, в старости, годам к сорока? Я уже что-то нащупываю. Красить все красным? Бить ломом в старые кирпичи? Что-то чинить? Класть кирпичи на ленту в конце концов? Это, но это не все. Главное прячется где-то во мне. Галя, с тобой мне было легко. С тобой я ничего не боялся и ни о чем не думал. Где ты, мой мрак, тоска моя? Легкая и золотистая... Дрянь проклятая, не попадайся мне на глаза!

Мокрые листья прилипали к штанам и рукам. Все

было мокрым в этом осеннем лесу. Я был весь мокрый. Лицо мое было мокрым. Спички, к счастью, не мокрые. Я закуривал и курил десять штук, не вставая с места, одну за другой.

А с ребятами мы болтали. Так, на разные темы, как всегда. Они вроде презирали меня за то, что я приставал к Ульви. Они, оказывается, моралисты... Дорогие мои друзья! Вы спасли меня не так давно от чего-то самого страшного, то ли от трусости, то ли от ночного убийства. В общем-то и я, наверное, моралист, иначе я не принимал бы всей этой любовной истории всерьез. Суперменом зовут меня Витька. Я супермен-моралист.

По субботам Юрка уезжал в Таллинн. Он сидел из-за этих поездок без денег, и мы кормили его.

ПУТИНА НАЧАЛАСЬ в середине сентября. Мы вышли в море. За несколько дней до этого капитан Баулин впервые собрал свой экипаж на борту сейнера. Тогда я со всеми познакомился. Вот он, наш экипаж:

1. Капитан Баулин — железный человек со стальными челюстями и железобетонной логикой. 27 лет. Женат. Ко мне относится враждебно.

2. Помощник капитана Ильвар Валлман. Толстый, большой и курчавый. Постоянно трясется в немом смехе. Лет тридцать. Кажется, зашибает. Мы с ним поладим.

3. Механик Володя Стебельков, рыжий, румяный, веселый. Гармонь бы ему, а он все травит анекдоты. Любимое словечко — «сплошная мультипликация». Это когда что-нибудь не нравится. 26 лет. Будем дружить.

4. Моторист Петер Лооминг. Красивый малый. 20 лет. Мы с ним красили сейнер.

5. Тралмейстер Антс Вайльде. Совсем красивый малый. 23 года. Мы с ним красили сейнер.

6. Матрос Дмитрий Денисов. Это я. Правой рукой выжимаю 60.

Сейнер наш имеет 16 метров в длину, 4 в ширину. Скорость — 7 узлов. Кубрик на 6 коек, трюм, машина, рубка, галльюн.

Собрав нас на палубе, капитан Баулин сказал:

— Ребята...

Это он хорошо сказал: «Ребята». Не ожидал я, что он скажет «ребята».

— ...через три дня мы выходим, Метеосводка на сен-

тябрь хорошая. Пойдем к Западной банке, посмотрим там. Если там не густо, на следующий день пойдем к Длинному уху. Эхолота нам так и не поставили. На 93-м поставили эхолот, но мы их все-таки постараемся обставить и без эхолота.

В общем, он говорил по существу. Потом мы спустились в кубрик и распили на шестерых две поллитровки. Кто их там припас, не знаю. Наверное, Ильвар. Я разошелся, без конца травил анекдоты. Довел Володю до того, что он стал икать. Потом мы сошли с сейнера и решили добавить. Пошли в колхозный кофик и там добавили. В кофике были Алик и Юрка. Они сидели каждый со своей командой и, по-видимому, тоже добавляли. На Алике лица не было. Не знаю, как он будет плавать: ведь он не переносит алкоголя. А рыбаки пьют «тип-топ», как сказал мне Ильвар. Вообще было как-то забавно, что мы сидели в разных концах зала каждый со своим экипажем. Почему-то мне стало грустно из-за этого. А потом мы сдвинули столики и посидели немного все вместе, восемнадцать рыбаков с сейнеров СТБ. Потом мы пошли в клуб и ввалились туда всей толпой — восемнадцать здоровенных рыбаков. Несколько минут мы стояли у двери, и все смотрели на нас, словно никто не узнавал. Как будто мы чем-то отличались от всех других парней, мы, восемнадцать рыбаков с сейнеров СТБ.

В зале было светло, и играла какая-то музыка. Потом какая-то музыка кончилась, поменяли пластинку и несколько мужских голосов тихо запели: «Комсомольцы-добровольцы...» Я люблю эту песню. То есть я люблю, что ее начинают тихие мужские голоса. Если бы ее исполняли иначе, я бы, наверное, ее не любил. Терпеть не могу, когда орут, словно их распирает:

...Солнцу и ветру навстречу,
На битву и радостный труд...

Так и видишь этих холеных бодрячков в концертных костюмах. Энтузиазм их распирает, солнцу и ветру навстречу они шагают, тряся сочными телесами. Расправляют упрямые жирные плечи. Я не верю таким песням. А вот таким, как эта, верю. Чувствуется, что поют настоящие ребята. Не надо литавр, хватит с нас и гитары.

В ТОТ ВЕЧЕР УЛЬВИ наконец согласилась пойти со мной погулять. Я повел ее на берег. Тучи покрывали все небо, но на горизонте была протянута широкая желтая полоса. Она освещала море. Волны перекатывались гладкие, словно какие-то юркие туши под целлофаном. Было похоже на картину Рокуэлла Кента.

Мы с Ульви сели на перевернутую лодку. Ульви попросила у меня сигарету. Ишь ты, она курит. Колени у Ульви были круглые, очень красивые. Когда она докурила, я полез к ней.

— Ты меня любишь? — спросила она чрезвычайно строго.

О, еще бы! Конечно, я ее люблю. Я ведь человек современный, люблю всех красивых девушек. В Эстонии я люблю Ульви, а попаду на Украину, полюблю Оксану, а в Грузии какую-нибудь Сулико, в Париже найду себе Жанну, в Нью-Йорке влопаюсь в Мэри, в Буэнос-Айресе приударю за Лолитой. Вкусы у меня разносторонние, я человек современный.

Сейчас я люблю Ульви, но почему-то молчу, как дурак.

Она вскочила с лодки и отбежала на несколько шагов.

— А я тебя люблю! — с отчаянием крикнула она. — Почему? Не знаю. Увидела тебя и люблю. — И что-то еще по-эстонски. И побежала прочь. Я ее не догонял.

В общем, в таких вот делишках мы и проводили время в колхозе «Прожектор», когда наконец началась пухля и мы вышли в море.

МЫ ВЫХОДИЛИ РАННИМ УТРОМ, в сущности, еще ночью. В чернильном небе болтался желтый фонарь. Наши ребята ходили по палубе и разговаривали почему-то шепотом. И капитан отдавал приказания очень тихо.

— Петер, запускай машинку.

— Дима, прими швартовы.

Я принял швартовы и обмотал их вокруг кнехтов. Дальше я не знал, что делать, и стоял как истукан. А ребята тихо топали по палубе и натыкались на меня. Но не ругались.

Мимо нас прошел черный контур Юркиного СТБ-1793. Алькин СТБ-1780 отвалил позже нас. Капитан ушел в рубку, а я все не знал, что мне делать. Вдруг я заметил,

что стою на палубе один. Я спустился в кубрик и увидел, что ребята укладываются на койки.

— Занимай, Дима, горизонтальное положение, — сказал Стебельков. Он был уже в одних кальсонах. Мне это показалось диким — спать, когда судно выходит в море, но, чтобы не выделяться, я тоже лег.

Конечно, я не спал. Я слушал стук мотора, и мне хотелось наверх. Через полтора часа надо мной закачались грязные ноги с обломанными ногтями. Качались они долго. Меня чуть не вывернуло от этого зрелища. Потом вниз сполз помощник капитана Ильвар Валлман. Он покочырялся в банке с мясными консервами, достал из-под стола бутылку, хлебнул, натянул штаны, сапоги и гаркнул:

— Подъем!

Я сразу же вскочил и полез наверх.

Было совершенно светло. Наш сейнер шел к какому-то длинному острову, на конце которого белел одинокий домик. За стеклом рубки я увидел задумчивое лицо Баулина. Он что-то насвистывал. Сейнер шел ровно. Море было спокойное, чуть-чуть рябое. Оно было серое и словно снежное. Далеко-далеко, пробивая тучи, в море упиралась тренога солнечных лучей. Я прошел на самый нос и задохнулся от ветра. Вот это воздух! Чем мы дышим там, в Москве? Я взялся за какую-то железяку (я еще не знал толком, как тут все называется) и широко расставил ноги. В лицо и на одежду попадали брызги. Слизнул одну со щеки — соленая! Я поразился, как все сбывается! Душным вечером в «Барселоне» я представил себе этот день, и вот он настал. Если бы в жизни все сбывалось, если бы все шло без неожиданностей! Впрочем, нет, скучно будет.

Быть мне просоленным. Некоторые, те, что меня за человека не считали, в один прекрасный момент посмотрят, а я просоленный.

— Эй, Дима! — заорал сзади Ильвар. — Давай!

Он сам, Антс и Володя опускали подвешенный к стреле трал. На маленьких сейнерах все, кто свободен от своих основных обязанностей, возятся с тралом. Я подключился. Это была моя основная обязанность. Мы сбросили за борт сеть и осторожно опустили стеклянные шары-кухтыли. Потом сняли и опустили в воду траловые доски. Я суетился, потому что хотел сделать больше всех. Антс и Ильвар что-то быстро-быстро говорили по-

эстонски и смеялись. Надо будет взяться за эстонский, а то наговорят тут про тебя, а ты и знать не будешь.

Кухтыли удалялись от судна, как команда дружных пловцов. Стебельков включил механическую лебедку. Готово, трал опущен. Ребята опять поперлись спать. Баулин тоже спустился в кубрик. За штурвал встал Валлман. Я опять не знал, что мне делать.

Остров с белым домиком остался за кормой. Он лежал теперь сзади темным силуэтом, похожий на всплывшую подводную лодку. Слева по борту приближался другой островок. Там стоял красный осенний лес. А трава под деревьями зеленая, какая-то очень свежая. Кажется, на этом острове не было ни души. Хорошо бы здесь немного пожить! Пожить здесь немного с кем-нибудь вдвоем.

Я вытащил на палубу ведро картошки и стал ее чистить. Это тоже было моей прямой обязанностью — готовить для всей кофлы обед. Сейнер шел очень медленно, с тралом он давал всего два узла. Это мне объяснил Валлман. Он вылез из рубки и разгуливал по палубе. Никогда не думал, что именно так ловят рыбу: капитан и команда спят, а рулевой разгуливает по палубе.

Наконец мы обогнули лесистый островок. Впереди было открытое море. И тут я почувствовал качку. Ничего себе, качает немного, и все. Даже приятно.

Ильвар крикнул в кубрик:

— Подъем!

Стали вылезать заспанные ребята. Появился капитан. Володя пустил лебедку. Она издавала дикие звуки. Все встали у правого борта. Я тоже встал. Я был благодарен ребятам за то, что меня никто не учит. Я очень боялся, что меня все начнут учить, особенно Игорь. Хватит уж, меня учили. Игорь влез в рубку. Судно стало делать поворот. Все смотрели в воду, я тоже смотрел. Немного кружилась голова. В бутылочного цвета глубине появились траловые доски.

— Аут! — гаркнул Антс.

— Аут! — гаркнул я.

Никто не засмеялся.

Лебедка — стоп. Дальше пошло вручную. Мы подтянули и закрепили траловые доски. Всплыли кухтыли. Мы осторожно подняли их и стали тянуть сеть.

Я очень напрягался. Я не знал, надо ли напрягаться, но на всякий случай напрягался.

Появился траловый мешок. Его прицепили к стрелке и подняли в воздух. Это был сверкающий шар. Там трепетала килька. Взбесившаяся шайка чаек пикировала на трал и взмывала вверх. Пираты, романтическая банда. Как мы их идеализируем! Одна чайка пролетела совсем рядом. Она верещала и сгибала голову. Это был «мессершмитт», объединенный в одно с летчиком.

Рыбу высыпали, и она усеяла всю палубу. Мы стояли по щиколотку в кильке, а она билась вокруг. Словно серебряная трава под сильным ветром в степи. Потом мы стали укладывать кильку в открытые ящики. Надо было брать каждую рыбку в отдельности для того, чтобы удостовериться, что это именно килька, а не салака, и не минога, и не кит в конце концов.

Детки там, в Москве, когда вы на Октябрьские праздники полезете с вилками за килечкой, кто из вас вспомнит о рыбаках?! И не надо, не вспоминайте.

Я сварил ребятам обед — щи из консервов и гуляш с картошкой. Впятером мы сели за стол. Я очень волновался. Валлман опять вытащил бутылку, а Стебельков сказал, потирая руки:

— Дух, Дима, от твоего варева чрезвычайный.

Он проглотил первую ложку, вылупил глаза и даже посинел.

— Что такое, Володя? — спросил я. — Обжегся?

— Зараза ты, — ласково сказал он и стал есть.

Ребята-эстонцы после первых глотков засмеялись, а Антс хлопнул меня по спине и сказал:

— Силен.

— Что такое, ребята? — спросил я. — Соли, что ли, мало?

— Кто она? В кого ты влюбился?

Я попробовал щи и тоже поперхнулся. Пересолил. Ребята все-таки подчистили свои тарелки. Они пили водку, и вскоре им стало все равно, много соли или мало. Может быть, поэтому они сказали, что гуляш вполне сносный. Но я не стал есть щи, не притронулся к гуляшу и даже боялся взглянуть на водку. Случилось то, чего я больше всего боялся, — меня мутило. Снизу что-то напирало, а потом проваливалось. Рот у меня был полон слюны. Вонючий пар от щей, запах водки, красные лица ребят... Потом они еще закурили.

— Отнеси гуляша капитану, — сказал Стебельков.

Я схватил тарелку и бросился вверх по трапу. Уви-

дел над собой небо, перечеркнутое антенной. Мачта падала вбок, потом остановилась и полезла обратно. Мелькнула бесстрастная физиономия Баулина. Он смотрел на меня. Я сделал шаг по палубе и понял, что это произойдет сейчас. Бросился бегом, сунул тарелку в рубку и сразу же к борту. Меня вырвало.

Я травил за борт, и меня всего трясло. Меня выворачивало, черт знает как. Потом стало холодно и очень легко, как после болезни. Я лежал животом на борту и представлял себе, как усмехнется Баулин, когда я обернусь. А черт с ним в конце концов. Я выпрямился и обернулся. Дверь рубки была открыта и моталась из стороны в сторону. Баулин ел гуляш, придерживая штурвал локтем.

— Готово, Дима? — спросил он. — Иди сюда, поддержи колесо.

Я влез в рубку и взял штурвал.

— Гуляш вполне сносный, — сказал Баулин.

Целый час до подъема трала мы стояли вместе в рубке. Он мне объяснил, что тут к чему, познакомил с компасом, кренометром, показателем давления масла, барометром, туманным горном. Потом он развернул карту и указал, где мы находимся. Это оказалось так близко от берега, что я даже заскучал. Что со мной будет в открытом море?

МЫ ШЛИ ВДОЛЬ ЗАПАДНОЙ БАНКИ.

— Тут везде мель, — сказал Игорь, — нужен глаз да глаз. Видишь, вежа в воде? Рюмка книзу — обходим к зюйду, рюмка кверху — обходим к норду.

Так мы с ним стояли и трепались целый час на разные морские темы. Я понимал, что он оказывает мне моральную поддержку. Ведь это его обязанность, как капитана, оказывать членам своего экипажа моральную поддержку. Но надо сказать, он здорово умел это делать.

Так мы и ловили рыбку весь день. Поднимали трал и снова опускали. Перебирали кильку и складывали ее в ящики. Я поливал из шланга и драил палубу. Устал, как черт. К вечеру меня опять стошнило.

В сумерках мы повернули назад. Игорь включил рацию, поговорил по-эстонски с колхозом, потом вызвал 80-й. Редер сказал, что улов у них хреновый — кило-

граммов 400. У нас было от силы 350. Игорь помрачнел и шепнул мне:

— Завтра пойдем к Длинному уху.

И вдруг я услышал голос Алика.

— Димка! — орал он. — Как ты там? Прием.

— Тип-топ, — сказал я в микрофон.

— Я просто в восторге! — кричал Алька. — У нас отличные парни. А у вас?

— Поговорим дома, — сказал я.

ЗАБАВНО, АЛЬКА ПРОКРИЧАЛ МНЕ ПРИВЕТ через несколько километров темного моря. Мне стало очень хорошо. Я люблю Альку. И Юрку люблю. Ведь мы друзья с тех пор, как себя помним. Но Альке я еще благодарен за многое. Например, за то, что он вечно бубнит стихи. Или вот он научил меня понимать абстрактную живопись.

— Понимаешь, — сказал он, — поймет тот, кто откажется понимать. Понимаешь?

— Отказываюсь понимать, — буркнул я, разглядывая черный круг, заляпанный синими и красными каплями.

— Прекрасно! Ты все понял, — весело крикнул Алька и побежал к Феликсу Анохину, который в это время наседал на какого-то солидного дядьку. Они оба взяли дядьку под руки и куда-то увели, а потом пришли сияющие.

— Еще одного лишили невинности.

Это было прошлой зимой на выставке в Манеже.

Я люблю Альку за то, что он взъелся тогда на меня из-за глаз этой Боярчук, а сейчас презирает за приставание к Ульви, за то, что он бородат и очкаст, за то, что он тогда ночью молчал и сейчас ни слова не говорит о Гале, за то, что мы вместе голодали и таскали шкафы. И Юрку я люблю за то же и еще за то, что мы с ним играли в первой школьной команде.

— ДАВАЙ 93-й ВЫЗОВЕМ? — предложил я Игорю.

— Ну их к черту с их эхолотом, — мрачно ответил Игорь.

Тесемочка слабых огней обозначила берег,

ВОТ ТАК МЫ КАЖДОЕ УТРО выходили в море и каждый вечер возвращались в колхоз. Берег мы видели только в темноте.

Я ПРИВЫК. Меня больше не мучило, и я не пересаливал шей. Я привык к грязным лапам Ильвара. У меня установился превосходный аппетит.

МОИ ШИКАРНЫЕ ДЖИНСЫ превратились черт знает во что. Утром мне было холодно даже в обоих свитерах и куртке. Однажды Игорь принес мне робу, резиновые сапоги, телогрейку и берет. Проявил заботу. Это его обязанность — проявлять заботу о подчиненных. Теперь я настоящий эстонский рыбак.

В КЛУБЕ каждый вечер поет хор. У каждого народа свои причуды. у эстонцев — хоровое пение. Мы записались в хор, чтобы не выделяться.

В КОНЦЕ КОНЦОВ МЫ ОБОГНАЛИ 93-й. У Игоря, наверное, где-то в печенке свой эхолот. Так я стал передовиком производства. Передовой колхозник.

ЮРКУ БЬЕТ МОРЕ. Он стал бледный и тощий. Каждую субботу уезжает в Таллинн. Каждый понедельник я снова вижу его на причале. Привозит нам сигареты с фильтром.

АЛИК СТАЛ ПОЛУЧАТЬ ПИСЬМА из Москвы. Однажды я увидел обратный адрес: Л. Боярчук. Ясно. О прекрасная Боярчук, твои глаза, твои глаза!.. Я оценил их прелесть. Забавно, что ребята не рассказывают мне про свои амурные дела. Как будто боятся, что мне станет горько оттого, что их девочки не изменяют им с актерами. А я им все рассказываю об Ульви. Даже немного больше, чем есть на самом деле

Я ПО-ПРЕЖНЕМУ ХОЖУ В ЛЕС ОДИН. Все меньше листьев, все лучше видно небо. Когда я закрываю

глаза, я вижу только кильку, кильку, кильку. Я очень рад, что вижу по ночам только кильку.

ПАПА, ТЫ ВЕДЬ ЛЮБИШЬ КИЛЬКУ. Таллиннскую кильку пряного посола. Вот тебе на здоровье 600 килограммов. Детки, скоро праздник. Покупайте кильку. Лучший спутник обеда — килька.

Я ВЫУЧИЛ КОЕ-ЧТО ПО-ЭСТОНСКИ. Кое-какие выкрики и несколько слов для Ульви.

— **СКАЖИ, КАПИТАН,**— спросил я однажды Игоря,— зачем ты нам тогда назвал свой колхоз? Хочешь посмотреть, как мы станем перековываться?

Игорь захохотал смущенно.

— Хочешь посмотреть, как мы станем честными трудьягами?

— Чудак ты, Димка,— сказал Игорь.

БЫЛО СОБРАНИЕ, председатель делал доклад. Тошно было слушать, как он бубнил: «на основе внедрения», «взяв на себя обязательства» и т. д. Не знаю почему, но все эти выражения отскакивают от меня, как от стенки. Я даже смысла не улавливаю, когда так говорят. Но потом он заговорил, как обычный человек. Он сказал, что надо ловить больше рыбы. От этого зависит доход колхоза. Если доход увеличится в достаточной степени, колхоз сможет на следующий год арендовать большой сейнер для выхода в Атлантику.

— Товарищи, наш колхоз выйдет в Атлантику! — сказал он, как мне показалось, с волнением.

Вот это я понимаю.

НА ШОССЕ В ЛУЖАХ плывут облака. Я вспомнил тот день, когда влюбился в Галку. Она думает, что я влюбился в нее на школьном смотре, когда она кривлялась в какой-то дурацкой роли. Пусть она так думает, черт с ней. Мне теперь все равно, что она думает. А влюбился я в нее весной. Я был один. На бульваре в лужах

плыли облака. Я увидел это, словно первый раз в жизни, и понял, что влюбился.

СНОВА БЫЛО СОБРАНИЕ. За столом сидел какой-то деятель. Председатель предложил соревноваться за звание бригад коммунистического труда, то есть экипажей коммунистического труда. Мы все проголосовали «за».

ИГОРЬ ПОЙМАЛ НЕМЕЦКИЙ ДЖАЗ. Нас дико болтало, и дождь хлестал по стеклу, а где-то в чистой и теплой студии какой-то кот слащаво гнусавил «Майне либе ауген». Я ненавижу эти мещанские подделки под джаз. Игорь сплюнул и поймал трансляцию из Ленинградской филармонии. Мы шли в темноте, и волны нас подбрасывали под звуки симфонии Прокофьева.

Из кубрика доносилась песня «Тишина». А потом другая песня, «Ландыши». Это Стебельков учил Ильвара.

КАК-ТО ЗА ОБЕДОМ, когда Володя вытащил бутылку и стал всем разливать, я сказал:

— Люди будущего!.. Ребята, мы с вами люди коммунизма. Неужели вы думаете, что сквозь призму этой бутылочки перед нами открывается сияющее будущее?

— А что ты думаешь, в коммунизме херувимчики будут жить? — спросил Игорь. — Рыбаки и в коммунизме выпивать будут.

— Ребята, — сказал я, — вы мне все очень нравятся, но неужели вы думаете, что мы с вами приспособлены для коммунизма?

В кубрике стало тихо-тихо.

— Оригинальный ты уникам, — сердито сказал Стебельков.

— Подожди, Володя, — сказал Игорь. — Ты про наше соревнование, что ли? — спросил он меня.

— Да.

— Разве мы плохо работаем? — проговорил Антс.

— Оригинальный ты уникам, Димка! — закричал Володя. — Ты что думаешь, если мы пьем и матюкаемся?.. Рыбаки всегда... Это традиция... Ты на нас смотри с точки зрения труда.

— Да разве только труд? — закричал я в ответ. — Трудились люди во все века, и, по-моему, неплохо. Лошадь тоже трудится, трактор тоже работает. Надо думать о том, что у тебя внутри, а что у нас внутри? Полно всякой дряни. Взять хотя бы нашу инертность. Это черт знает что. Предложили нам соревноваться за звание экипажей комтруда, мы голоснули, и все. Составили план совместных экскурсий. И материмся по-прежнему, кубрик весь захаркали, водку хлещем. Меня страшно возмущает, когда люди голосуют, ни о чем не думая.

В кубрике опять стало тихо-тихо. Не знаю, зачем я затеял этот разговор, но меня страшно возмущает, когда люди на собраниях поднимают руки, а сами думают совсем о другом в этот момент. Что мы, роботы какие-нибудь, что ли? Игорь взял бутылку и вылез на палубу. Вернулся он без бутылки.

— Еще один шаг к коммунизму, — бодро сказал я.

— А иди ты! — вдруг заорал Игорь. — Надоел ты мне по зеленые лампочки со своими сомнениями.

— Зря ты бутылку выбросил, я бы сейчас хлебнул, — сказал я нарочно, чтобы он еще больше взбесился.

ВСЕ ЭТО Я ВСПОМИНАЮ сейчас, лежа на своей койке в кубрике. Качается лампочка в проволочной сетке, храпят ребята. Мы все лежим в нижнем белье. Мокрая роба навалена на палубе. Мы возвращаемся из экспедиционного лова. Пять дней мы тралили в открытом море за Синим островом. Мы страшно измотались. Синоптики наврали. Все пять дней хлестал дождь, и волнение было не меньше пяти баллов. Я понял теперь, почему фунт кильки. Я так устал, что даже не могу спать. Я лежу на своей койке, и мысли у меня скачут как сумасшедшие. Я член рыболовецкой артели «Прожектор».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

НАС ВСТРЕЧАЮТ, мы видим толпу на причале. Нас встречает почти весь колхоз, как будто мы эскадра Колумба, возвращающаяся из Нового Света. На причале весь генералитет и те, кому делать нечего, и жены наших ребят, а для меня там есть Ульви. Мы стоим в мокрой одежде вдоль правого борта и смотрим на берег.

За эти пять дней на берегу облетели почти все листья.

Ребята целуют своих жен. Хорошо бы и мне сейчас кого-нибудь поцеловать, но Ульви кивает мне издалека. Чудачка, влюбилась в меня. Что она нашла во мне такого? Не буду я к ней больше приставать. Пусть найдет себе стоящего парня, который будет думать только о ней.

Мы разгружаем сейнер, поглядывая, как разгружаются 93-й и 80-й. Кажется, мы опять их обставили. Нам просто везет.

У Игоря красивая жена. Они так счастливы, что больно на них смотреть. Впрочем, ему двадцать семь лет, а мне семнадцать!

— Заходите вечером, ребята,— говорит Игорь.

Это, значит, у него такая программа, чтобы мы были всегда вместе, как экипаж коммунистического труда.

— Заходите, пожалуйста,— крайне любезно приглашает нас его жена.

— Угу, зайдем,— отвечаем мы.

Если мы когда-нибудь к нему и зайдем, то только не сегодня вечером. Скорее всего, зайдем к нему завтра утром, перед отъездом на экскурсию. Завтра мы едем на экскурсию в Таллинн.

Мы идем втроем с причала — Алик, Юрка и я. Хорошо бы нам сфотографироваться вот так втроем в резиновых сапогах и беретах. У меня бородка уже почти такая же, как у Альки. У Юрки слабоватая бородка. Юрка еле переставляет ноги.

— Не могу, пацаны,— говорит он.— Море бьет. Вот уж никогда не думал, что так будет.

— Может, еще привыкнешь,— успокаиваю я его, но он только машет рукой. А Альке все нипочем, он обнимает нас за плечи.

— Мальчишки, я стихи сочинил про Синий остров.

Синий остров —
Это остов
Корабля.
Очень просто —
Ребра, кости,
Нет угля.
На норд-осте
Виден остов
Корабля.
Мы к вам в гости.
Эй, подбросьте
Нам угля.

— Деградируешь, Алька,— говорю я сердито. Мне его стихи когда-то помогли, но Юрке сейчас вряд ли это нравится.

— Правда, бред? — весело спрашивает Алька.— Но тут главное — ритм.

— А какие к черту кости? И зачем уголь на дизеле?

Мы идем в гору, к нашему общежитию. С горы кто-то бежит. Какой-то «цивильный» человек в коротком пальто, в белой рубашке с галстуком. И вдруг я узнаю его. Это мой старший брат Виктор.

ИМЕТЬ СТАРШЕГО БРАТА — это в общем очень здорово. Если тебе десять лет и на тебя оттягивает шпана из дома № 8, ты смело вступаешь в бой, зная, что у тебя есть старший брат. Старший брат учит тебя плавать. Вечером ты смотришь, как он куда-то собирается, как он завязывает галстук и разговаривает по телефону, и мотаешь себе на ус. Вдруг он начинает делать успехи в спорте, играет в команде мастеров, и на улице пацаны говорят про тебя: «Это братан того самого». Он почти не замечает тебя и не знает, что твоя жизнь — это наполовину отсвет его жизни. Но иногда он спрашивает тебя: «Как дела, парень?» И ты выкладываешь ему то, что тебя волнует, вроде как просишь совета.

«Понимаешь, есть у нас в классе такой Гогочка, любимчик Ольги. Капает он на всех. Вчера перед контрольной по русскому Юрка натер ему тетрадку свечой. Мы все со смеху умирали, когда он сел за парту. Пишет, а перо скользит по бумаге и ничего не получается. Реветь начал. Смеху было! Вместо контрольной устроили классное собрание. Завуч пришел, спрашивает, кто сделал. Молчим. А завуч говорит, что мы трусы, напрасно думаем, что выручаем своего друга, настоящий друг тот, кто смело расскажет все преподавателю и этим окажет разрушителю дружескую услугу. Дали нам день на размышление. Мама говорит, что завуч прав, а ты как считаешь?»

И старший брат говорит тебе, что это будет не дружба, а предательство, а потом начинает хохотать и рассказывает аналогичный случай из своей практики. Нет, иметь старшего брата — это просто здорово! Я всегда жалел ребят, у которых нет старших братьев. Одно только неприятно, что тебе перешивают его старые вещи. Ни-

когда тебе не сошьют ничего нового. Вечно приходится таскать обноски старшего брата. С этим еще можно мириться, но вот когда за столом тебе начинают гудеть про его успехи, так сказать, воспитывают тебя на его положительном примере, это уж противно. И так из года в год. Ты уже стал взрослым человеком, а тебе все еще гудят про твоего старшего брата. А он себе сидит с научным журналом, посмеивается. Ему-то все это до лампочки. А потом, когда ты становишься ростом с брата и тебе еще расти и расти, ты уже начинаешь на него по-другому смотреть, наступает, так сказать, переоценка ценностей. И ты видишь, что это, конечно, не твой идеал. Плевать тебе хочется на все и вся положительные примеры. Тебя уже многое не устраивает в твоём старшем брате. Это же надо — отказался от поездки на соревнования в Прагу из-за своей диссертации! Совсем бросил спорт из-за той же дурацкой диссертации! И вообще, что это за жизнь? Двадцать восемь лет человек слушается родителей. Иронически улыбается, а сам делает только то, что им хочется. И однажды ты выкладываешь брату все, что о нем думаешь. И брат поражен. Он ведь привык к твоему обожанию. А ты идешь, и все в тебе бурлит. И начинаешь откалывать одну за другой разные штучки, чтобы что-то кому-то доказать. А когда через несколько месяцев ты снова видишь своего старшего брата, понимаешь, что нет у тебя человека ближе. И снова начинаешь жалеть ребят, у которых нет старших братьев.

— «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, ио-хо-хо, и бутылка рома», — поет Виктор, поглядывая на меня. — Между прочим, я люблю, когда он меня заводит. Делаю вид, что злюсь, но на самом деле мне это приятно.

Мы идем по шоссе к автобусу. Я подровнял свою бородку и зачесал волосы на лоб. Настоящий пират. Рыбак. Дурак. Ну и что?

А Виктор выглядит сейчас, как четыре года назад, когда он только что окончил институт. Он очень элегантный и веселый, даже какой-то легкомысленный. Оказалось, что он три дня жил в нашем колхозе и ждал моего возвращения из экспедиции.

— Ну, как тебе наш колхоз? — спрашиваю я. А он все поет.

— Ты теперь в основном поешь? — спрашиваю я.

— Конечно, в отпуске я только пою. «А-а-а, — голосит он, — поехал на свиданье парень на осле...»

— «Прелестное создание ждал он на селе», — подхватываю я.

И так мы доходим до остановки автобуса. Мне дали отгул на два дня, и мы едем со старшим братом в Таллинн. В автобусе я его спрашиваю:

— Ты, видно, диссертацию защитил? Что-то очень веселый.

Он хохочет:

— Лопнула моя диссертация. Бум! И готово!

— Это, видно, страшно весело, когда лопаются диссертация?

— Безумно смешно. До колик.

В автобусе я засыпаю и просыпаюсь через два часа, как будто специально для того, чтобы снова взглянуть на те курортные места, где мы отдыхали после экзаменов. Справа мелькают сосны, за ними стоит серое море. Слева проносятся поселки под красными черепичными крышами и лес за поселками темной стеной. Справа внизу стояла Галя, вся обтянутая платьем, а слева я брел в Меривялья с ружьем в руках. Справа мелькает аллея, ведущая к пляжу, потом кинотеатр и ресторан, а слева развалины монастыря и лес, а там, в лесу, домик Янсона. Справа я лежал с Галей ночью на пляже и танцевал с ней в ресторане, а слева мы беседовали с призраками и жрали кукурузу. Вот яхт-клуб и полузатопленный барк в устье реки. И дальше вперед. По этой дороге мы догоняли «Волгу». Я был тогда несколько взвинчен. А теперь я спокоен, в кармане куртки у меня две тысячи, я знаю цену любви и никогда больше не попадусь на ее удочку. Я настоящий мужчина, современный человек. Я еду в автобусе со старшим братом. Качу вместе с ним на равных началах.

В городе я купил себе пальто и сразу же отдал его в мастерскую укоротить и сузить, где полагается. Потом я купил для папы типично эстонский свитер, а для мамы типично эстонский платок и брошку. Потом я повел Виктора в кафе и угостил его «Ереванским». Девочка Хелля мне очень обрадовалась, и я потрогал ее за подбородок и получил по рукам. Она кокетничала с Виктором, и ему, кажется, не хотелось отсюда уходить, но я должен был показать ему этот город, полный башен. Я протянул Хелле сотню, а сдачу, не считая, сунул в карман. Швейцару я дал «на чай» пятерку. На улице я взял такси.

— Я вижу, денег у тебя целая куча,— говорит Виктор.

— Пока не жалуясь,— отвечаю я.

— Рыбка ловится,— говорю.— Деньжат, хе-хе, хватает,— усмехаюсь.

— Так что же вы тогда торчите в этом колхозе? — спрашивает Виктор.— Вы же хотели там только денег подзаработать и двинуться дальше.

— Видишь ли, нам там пока нравится. Как надоест, так и уйдем. Ну и... путина сейчас в самом разгаре, и мы должны окончательно обставить 93-й. Мы, понимаешь ли, соревнуемся...

— Что-о? Вы, значит, соревнуетесь?

— Ну да. Кто кого, понимаешь? Довольно увлекательно.

Я не рассказываю ему, за какое звание мы соревнуемся. Как-нибудь потом, когда получим это звание, я ему расскажу.

— И долго ты собираешься тут пробыть? — спрашивает Виктор.

— Не знаю,— говорю,— понимаешь, может быть, колхозу удастся арендовать на следующий год большой сейнер. Для выхода в Атлантику, понимаешь?

Потом мы смотрели с Вышгорода на город. Таллинн был весь рыжий. Над рвами среди черных мокрых ветвей висели рыжие листья. Мы спускались в темные улочки. Я водил Виктора по городу так, как когда-то нас водила по нему Линда. Потом мы спустились в кафе «Старый Тоомас». Двадцать три ступеньки под землю. Виктор сказал, что это не что иное, как великолепное бомбоубежище, и что здесь он готов пересидеть все бури эпохи, а когда летающие тарелочки все-таки опустятся на землю, он встретит марсиан на пороге кафе «Старый Тоомас». Только пусть они поторопятся, иначе здесь не хватит напитков, потому что у него чудесное в этом отношении настроение.

Как все эстонцы вокруг, мы заказали кофе и ликер «Валга».

— Вот так вот и живем,— говорю я.

— Красиво живете,— вздыхает Виктор.

— А ты как там?

— Все то же. Серые будни.

— Творческие будни, полные пафоса созидания?

— Они самые.

С потолка свисали модернистские абажурчики с круглыми дырочками. Потолок был весь в круглых пятнышках света. Вокруг тихо разговаривали. Пахло крепким кофе и табаком. Я чувствовал, что Виктор ко мне присматривается. «Ну ладно», — подумал я.

— Ну ладно, — говорит Виктор, — пойдем, что ли?

— Пойдем.

Мы зашли в мастерскую. Пальто было уже готово. Я надел его и так же, как Виктор, поднял воротник.

— Извини меня, старик, — говорит Виктор, — мне хочется поговорить с тобой на серьезные темы. Ты ведь знаешь, какой я, как выпью, сразу тянет к серьезным темам.

— Валяй, — ободряю я его.

— Чего ты хочешь? — спрашивает Виктор. — Погоди, погоди. Я не спрашиваю тебя, кем ты хочешь стать. Этого ты можешь еще не знать. Но чего ты хочешь? Это ты все-таки уже должен знать. Я вот смотрю на всех вас и думаю: вы больны — это ясно. Вы больны болезнями, типичными для юношей всех эпох. Но что-то в вас есть особенное, такое, чего не было даже у нас, хотя разница — какой-нибудь десяток лет. Я чувствую это «особенное», но не могу сформулировать. Не думай, старик, что я тебе собираюсь мораль читать. Мне просто самому хочется разобраться.

Виктор бросает сигарету, берет другую. Щелкает пальцами. Смотрит в небо и под ноги.

— Это хорошая особенность, она есть и во мне, но я должен за нее бороться сам с собой, не щадя шкуры, а у тебя это совершенно естественно. Ты и не мыслишь иначе.

— Да о чем ты?

— Не знаю.

— Вечно ты темнишь, Виктор!

Вечно он темнит, и все становится таким сложным, что голова начинает болеть. Что же это во мне такого особенного? И чего я хочу? А под этим кроется: и для чего я живу? И дальше: смотришь на город, на суету и разные фокусы цивилизации — а для чего все это? Так бывает, когда втемяшится тебе в голову какое-нибудь слово. Любое, ну, скажем, «живот». И ты все думаешь: а почему именно живот? Ну, почему, почему, почему? Обычно ты его произносишь, как тысячи других, ничего

не замечая, но вдруг — стоп! — застрянет в мозгах и стучит: почему, почему?

Чего я хочу? Если бы я сам знал. Узнаю когда-нибудь. А сейчас дайте мне спокойно ловить рыбку. Дайте мне почувствовать себя сильным и грубым. Дайте мне стоять в рубке над темным морем и слушать симфонию. И пусть брызги летят в лицо. Дайте мне все это перевернуть. Поругаться с капитаном, поржать с ребятами. Не задавайте мне таких вопросов. Я хочу, чтобы кожа на моих руках стала от троса такой, как подошва ваших ботинок. Я хочу, засыпая, видеть только кильку, кильку, кильку. Я хочу, я хочу... Хочу окончательно обставить 93-й. По всем статьям. И хочу на следующий год выйти в Атлантику.

Виктор что-то бубнит о смелости, о риске, про «орла и решку», что он в конечном счете за это, но только во имя чего? А Борька, мол, все-таки в чем-то прав относительно нас.

Я начинаю злиться.

— Знаешь, чего я хочу? — говорю я. — Хочу жениться на одной нашей девчонке, на Ульви. Колхоз нам построит дом, такой симпатичный, типично эстонский дом. Купим корову, телевизор и мотоцикл. Я поступлю на заочный в рыбный институт. Напишу диссертацию о кильке. Или роман из жизни кильки. Я буду научно смелым, как ты.

Виктор смеется и хлопает меня по спине. Кажется, он обиделся. Серьезного разговора у нас не получается.

— Ну а ты-то знаешь, чего ты хочешь? — спрашиваю я.

Он останавливается как вкопанный и смотрит на меня. Говорит тихо:

— Да. Кажется, знаю.

Мы идем теперь по улице Виру. Ее запирает огромный черный силуэт устремленной в зеленое небо ратуши. «Старый Тоомас» повернут лицом к нам. Он держит свой флаг по ветру. Виктор смотрит куда-то туда и говорит уже совершенно непонятно что-то насчет звезд. Удивительно, как его развезло...

Неожиданно мы заходим в драматический театр. Там идет какая-то пьеса из жизни актеров. В антракте в фойе мы вдруг видим Юрку с Линдой. Они прогуливаются под руку и никого не замечают. Я толкаю Юрку.

— Лажовый спектакль,— говорит он. Линда наступает ему на ногу, и он поправляется: — Не производит впечатления этот спектакль.

Вот так и гибнут лучшие люди.

После театра мы идем в ресторан. Весь вечер танцуем по очереди с Линдой. Юрка танцует подчеркнуто равнодушно, словно это не его девочка. Еще недавно все танцевали по очереди с Галей, а я танцевал с ней подчеркнуто равнодушно.

После ресторана мы идем с Виктором в гостиницу. На улицах гогочут матросы-«загранщики» и наш брат рыбак. Шмыгают такси.

— Ты знаешь,— говорит Виктор,— я ведь женился.

Вот тебе раз, он женился. И молчал. Наверное, он женился на той блондиночке. Она мне всегда нравилась.

— Да, на ней,— говорит Виктор.— Так что у тебя теперь есть сестра.

Я согласен на сестру.

— Больше того, у тебя есть шанс стать дядей.

Я согласен и на это. Я обнимаю старшего брата.

Мы приходим в гостиницу. Я еще никогда не жил в гостиницах. Мне здесь все очень нравится. В номере я захватываю Виктора на двойной нельсон, но он уходит. Черта с два его положишь, такую массу.

— Так Галя, говоришь, сейчас в Ленинграде?

— Да.

— Поступила она в институт?

— Наверное.

— Где же она там живет?

— Черт ее знает.

— Может быть, ей дали общежитие?

— Откуда я знаю? — злюсь я, ложусь в постель и из-под одеяла: — У нее там вроде есть тетка.

Может быть, она действительно живет у тетки?

Виктор гасит свет. Улица отпечатывается на стенах.

— У тебя ведь, кажется, что-то с ней было? — осторожно спрашивает он.

— Это тебе только кажется.

— А я уверен, что ты был в нее влюблен.

— Хватит об этом,— резко говорю я и сажусь в постели. И Виктор тоже садится. Он берет с тумбочки пачку сигарет, предлагает мне и сам закуривает. И вдруг я начинаю рассказывать ему обо всем. Выкладываю все. Голос у меня иногда начинает дрожать, и я боюсь, что

он начнет сейчас сочувствовать и давать советы. Но он только слушает и курит. А когда я кончаю, говорит:

— Ладно, давай спать, братишка.

Я долго еще лежу в темноте, смотрю в окно на башню кирпичи, на стены и на Виктора, который притворяется спящим.

Хорошо иметь брата, и занять сестру, и получить шанс стать дядей.

Утром, слегка побокси́ровав, мы принимаем душ и спускаемся вниз, в кафе. Берем омлет с ветчиной. Утром в кафе тишь да благодать. Все читают газеты. Виктор тоже читает.

— Ну, что там нового? — спрашиваю с полным ртом.— Фидель толкнул речугу в ООН?

— М-м-м,— отвечает Виктор.

— Как ты думаешь, полезут янки на Кубу? — спрашиваю я.

— А что, ты хочешь добровольцем записаться?

— Не прочь,— я поглаживаю свою бородку.— Помоему, я уже готов.

Виктор предлагает поехать на стадион, там сегодня матч по мотоболу. Я согласен целиком и полностью. Мы выходим в вестибюль, я покупаю польский журнал, а Виктор отдает администраторше ключи от номера.

— Вам телеграмма, товарищ Денисов.

Виктор распечатывает телеграмму.

— От кого это? — спрашиваю я, разглядывая красоток в польском журнале.

Виктор не отвечает. Он стоит спиной ко мне и читает плакат Аэрофлота.

— Что такое? — Я подхожу к нему.

— Отменяется стадион.

— Что случилось? — тихо спрашиваю я, у меня сжимается сердце.— С мамой что-нибудь?

— Да нет. Это с работы. Вызывают меня.

— Куда?

— Оказывается, у нас изменили график. Я должен лететь. У нас начинаются полевые испытания.

— Испытания чего? — глупо спрашиваю я.

Виктор вынимает деньги и расплачивается за номер.

— Как чего? — бормочет он.— Автомобилей, мотоциклов, пароходов, самолетов...

— Так куда ты сейчас летишь?

— Сейчас в Москву, а потом дальше.

— Далеко дальше-то?

— Далеко! — восклицает Виктор. — В Крым, на Кавказ, в Сочи, Сухуми...

— Ах, да, — говорю я едко, — ведь ты же у нас за-секреченный товарищ.

Я ужасно расстроен. Мне очень хотелось пойти с Виктором на стадион, а потом в филармонию, где будут на концерте все наши ребята.

Виктор бежит к лифту. Вместо стадиона мы едем на аэродром. В такси я немного подтруниваю над ним, но он молчит и как-то отчужденно улыбается. Сейчас мы едем с ним в такси на каких-то неравных началах.

— Вот черт, вот я и отдохнул! — говорит Виктор на аэродроме.

— Обязательно сегодня лететь? — спрашиваю я. — Может быть, можно завтра?

Виктор молчит и смотрит вдаль. Аэродром ревет, как зверинец во время кормежки. Над ним висит желтое облако. Иногда оттуда, словно какие-то болотные черти, возникают и, растопырившись, идут на посадку пузатые самолеты. Один такой Ил-14 стоит недалеко от здания аэропорта. Под крылом у него бензовоз.

— Подожди до завтра. Сходим на стадион. Хочешь, я сдам билет?

Виктор молчит. Над головой у нас гудит динамик. Металлический голос произносит:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Проверка.

— Ну, давай решай. Сегодня или завтра? Хочешь, монетку подброшу?

Бензовоз отъезжает из-под крыла самолета. Винты самолета начинают медленно вращаться. К самолету подъезжает лесенка. Я вынимаю монетку, но Виктор берет меня за руку.

— Нет, старик, эти штуки тут не пройдут. Давай прощаться и лобызаться.

Мы обнимаемся.

— Скажи там папе, маме... — говорю я.

— Скажу, — говорит он.

— Пиши им, старик, — говорит он.

— Обязательно, — говорю я.

— Вот я и отдохнул, — говорит он.

— Жаль, что так получилось, — говорит он.

— Ладно, старик, — говорит он.

— Держи хвост пистолетом,— говорит он.

— Пока,— говорит он.

Он проходит через турникет и присоединяется к группе пассажиров. Оборачивается и машет рукой. Блондин в сером коротком пальто, в белой рубашке с галстуком, с венгерским чемоданом в правой руке — это мой брат. Они все идут к самолету. Впереди, точно заведенная, вышагивает девчонка в синем костюмчике и пилотке. Скрываются один за другим в брюхе самолета. И Виктор там скрывается. Отвозят лесенку. Винты — все быстрее и быстрее и сливаются в белые круги. Страшный рев. Самолет поехал. Он едет по лужам и отражается в них своим холодным желтым телом. Поворачивается хвостом и удаляется, покачиваясь. Где-то очень далеко останавливается. Сюда доносится рев. Самолет стартует и уходит, растворяясь, в небо. Он летит куда-то не туда, куда, как мне казалось, надо лететь для того, чтобы попасть в Москву. А может быть, у меня все перепуталось?

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Проверка.

Хоть бы песенку какую-нибудь пустили вместо этой проверки, какую-нибудь самбу.

Я иду через здание аэропорта к автобусу.

Нужна какая-то музыка. Пустили бы тихо «Комсомольцы-добровольцы...». Ревет за спиной аэродром. Безумное гнездо металла.

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Проверка.

ПО ГОРОДУ ИДЕТ ЭКСКУРСИЯ и прямо светится, такая чистенькая. Ребята идут вместе с женами. Жена Игоря — модница. Увидев меня, все на меня набрасываются. И мне становится чертовски приятно, как будто бы Виктор не совсем улетел, как будто бы он частично остался в лице всей нашей коды.

Оказывается, они уже посетили выставку графики и сейчас направляются обедать. В столовой очень культурно. Обслуживание прекрасное. Ильвар и Володя с тоской смотрят на капитана. Игорь как ни в чем не бывало заказывает несколько бутылочек. Правильно, мы ведь вам не херувимчики какие-нибудь.

Потом мы идем в концерт. Слушаем там скрипки, виолончель, пение. Ильвар засыпает, Володя в антракте

спрятался за колонной в буфете. В общем, экскурсия в Таллинн проходит на должном уровне. Возвращаемся в колхоз поздно ночью.

Утром выходим в обычный рейс к Западной банке.

ВСЕ КАК ОБЫЧНО. Килька, салака. Свора чаек за кормой. Я сижу на корме, на бухте троса, привалившись к кожуху. Здесь тепло. Мне как-то очень тихо сегодня, и очень обычно, и немного тошно. Не хочется ни о чем думать, а думаю я о том, что Витька, наверное, уже вылетел из Москвы в неизвестном направлении. (А что они там испытывают? Может быть, скоро будет об этом в газетах?) И о том, что «Барселона» живет обычной осенней жизнью, кто-то приходит из школы и вольтит до темноты во дворе. (А нас там как будто бы и не было!) Что Юрке, как видно, все-таки придется уехать из колхоза (море его бьет), что Алька, к моему удивлению, чувствует себя в море прекрасно, что мне надо наконец начать думать о себе (о своей жизни).

Сегодня мы возвращаемся очень рано. Еще светло. На причале пусто. Обычные шуточки Стебелькова. Тихо распоряжается Игорь. Мы грузим дневной улов на платформу и идем вдоль рельсов, толкая платформу перед собой. Обычная усталость. Все те же сигареты «Прима». Так себе топаем потихоньку к складу.

В складе Ульви с подружками катают новые бочки. Ульви не смотрит на меня. Ну и пусть. Ребята все уже ушли, а я все еще торчу в дверях и смотрю, как ползет к причалу 93-й. Надо подождать Юрку.

И вдруг все исчезает. Сизые тучи на горизонте, причал, танцующий недалеко от берега мотобот, 93-й, пропадает даже запах соленой кильки и все звуки вокруг, кроме одного. Я слышу за своей спиной голос:

— А ГДЕ МНЕ ВЗЯТЬ ЭТУ ТРЯПКУ?

Ломкий высокий голос, в нем словно слезы. А что ей отвечают, я не слышу. Медленно поворачиваюсь и вижу Галю. Она идет по проходу между бочками. Она в комбинезоне и ватнике. Она в косынке. Губы у нее намазаны, а в руках швабра. Она идет прямо ко мне и не узнает меня. Ведь я теперь бородат, и в берете, и в резиновых сапогах. Она останавливается в пяти метрах от

меня и растирает шваброй лужу на цементном полу. Склонилась и орудует шваброй, и вдруг бросает на меня взгляд. Свой, особенный взгляд, который бесил меня (когда она так смотрела на других) и обезоруживал (когда она так смотрела на меня). Опускает глаза и снова трет шваброй пол — и вдруг выпрямляется и смотрит прямо на меня. Узнала. Она подходит медленно ко мне. Шаг за шагом приближается. Вплотную, со шваброй в руках.

— Здравствуйте,— говорит она.

— Дима,— говорит она.

— Вот это да,— говорит она.

— Какой ты стал,— говорит она и смеется.

«Актриса, притвора, обманщица... ..» — все, что проносится у меня в голове.

— Не ожидал? — спрашивает она.

— Я провалилась,— говорит она.

Как это мило! Девчонка провалилась на экзаменах и приехала к друзьям. Все очень просто и естественно. Стоит поболтать. Ты изменился. И ты изменилась. Ах, как это мило, что мы оба изменились! И я вдруг со страхом чувствую, что мне действительно все это кажется вполне естественным и хочется расспросить Галку о конкурсе, словно передо мной не она, а Юрка или Алик.

Я выхватываю из ее рук швабру и швыряю на пол. Поворачиваюсь и иду к причалу.

— Дима! — восклицает она. И вот она уже бежит рядом со мной, цепляется за рукав.

— Мне нужно с тобой поговорить,— лепечет она.

Я сую в рот сигарету и достаю спички.

— Ты можешь поговорить со мной?

«Берегите пчел», — призывает спичечный коробок. О черт, как это я раньше об этом не думал?

— ...поговорить обо всем,— лепечет Галка.

«Пчелы дают мед». А ведь, наверное, так оно и есть.

— Я жду тебя вечером в общежитии. Придешь?

Я закуриваю.

— Придешь?

Я иду к причалу, полный любви и нежности к пчелам. Навстречу поднимается Юрка. Она, наверное, и Юрку не узнает. А может быть, она сейчас не видит ничего вокруг?

— Придешь? — отчаянно спрашивает она, отставая.

Молчи, дура! Я ведь могу тебе пощечину влепить.

— Придешь? — совсем уже, как в театре, кричит эта дурища.

Я бегу к Юрке. У него равнодушное лицо.

— Видал? — спрашиваю я его. — Заметил ты, кто это?

— Я знал, что она здесь, — говорит он. — Она была у Линды. Спрашивала о тебе.

И тут у меня руки пускаются в пляс и ноги начинают дрожать.

— Юрка, — говорю я, — дружище, что делать? Скажи, что мне делать?

— Плюнь, — говорит Юрка, — что же тут еще делать? Плюнь и разотри. Ишь ты, прикатила, шалава.

Мы садимся на доски, свесив ноги вниз, и смотрим на подходящий 80-й. Алька в своем зеленом колпаке стоит там, поставив ногу на планшир, весело нам помахивает, бросает швартовы.

— Галка тут появилась, — говорю я ему.

Втроем мы поднимаемся в гору. Идем мимо склада. Видно, как Галка катит по проходу огромную бочку. Джульетта! Звезда экрана! Допрыгалась.

— БУДЬ МУЖЧИНОЙ, — говорит мне Алька.

А кто же я еще? Я не сказал ей ни одного слова. И не скажу. Приду я к ней, как же! Пусть ждет. Вечером я пойду гулять с Ульви.

— Тебе сколько лет? — спрашиваю я.

— Девятнадцать.

— А мне скоро будет восемнадцать. Давай поженимся?

— Что ты говоришь? — восклицает эта славная девушка Ульви.

Отличная будет у меня жена. Колхоз нам построит дом. Накупим разных вещей. Будем прекрасно жить, если, конечно, она не начнет вдруг мечтать о театре или еще о чем-нибудь таком.

— Согласна? — спрашиваю я.

Ульви поворачивает ко мне свое круглое лицо:

— Эта девушка... Галя Бодрова... ты ее знаешь?

— Нет.

— Ты с ней говорил.

— Я не говорил. Она меня о чем-то спрашивала. Как, мол, тут у вас? А я с ней не говорил.

— А она потом плакала.

- Ну и на здоровье.
- Она все время спрашивала о тебе.
- Значит, я неотразим.
- Она тебя знает.
- Мало ли кто меня знает.

АЛИК ОПЯТЬ НАЧАЛ ЧИТАТЬ СТИХИ, читает каждый вечер вслух. На этот раз зря. Юрка все лезет ко мне с кроссвордами.

— Животное из пяти букв на «п». Ну-ка, Димка, прояви эрудицию.

— Попов.

Юрка хохочет, как будто я сказал что-то ужасно остроумное.

ПИНГ-ПОНГ— ПРЕКРАСНАЯ ИГРА для неврастеников. Каждый вечер в коридоре мы играем в пинг-понг. Я научился крутить. Бью и справа и слева. Скоро буду непобедим. Неотразим и непобедим.

ОФИЦИАНТКА РОЗА СПРАШИВАЕТ:

— Что с вами, Дима?

Все плывет у меня в глазах: темные окна с мешанскими шторками, морские картинки на стене, буфет и красные лица вокруг, колышется официантка Роза.

— Вам сколько лет, Роза?

— Двадцать шесть.

— А мне скоро двадцать. Давайте поженимся?

— Хорошо-хорошо. Идите домой.

ГОЛЫЕ СУЧЬЯ в лесу штрихуют небо. Это как рисунок сумасшедшего. Абстрактная живопись. Поймет все тот, кто откажется понимать. Я отказываюсь что-нибудь понимать, но я не понимаю.

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР вижу ее. Она смотрит на меня из дверей склада. Иногда сталкиваемся в столовой. Однажды ночью я увидел, как она прошла по опушке леса. Однажды в клубе были танцы. Я знал, что она там будет.

Заглянул в окно. Она сидела у стены, сложив руки на коленях. Смирная девочка. Она была в синем платье. Подошел какой-то бравый парнишка, взял ее за плечо. Она покачала головой, потом вырвалась от него и убежала. Я бросился в кусты. Скорей бы снова уйти в экспедицию.

РАБОТАЮ КАК БЕШЕНЫЙ. На сейнере у меня все блестит. Мало работы для меня на сейнере. Хоть бы случился какой-нибудь приличный штормик, что ли!

КИЛЬКА БОЛЬШЕ НЕ СНИТСЯ. Снится девочка в синем платье. Печальная золотистая голова. Милая, я тебя люблю. Несмотря ни на что. Больше всего боюсь высказаться во сне. Как бы не услышали ребята.

СНОВА ВОЗЛЕ КЛУБА. Я вижу, как идет Галя. Она в дешевом прорезиненном пальто. Ей, наверное, холодно, но телогрейку по вечерам она не надевает. Из клуба выходят Алик и Юрка. Галя взбегает на крыльцо и сталкивается с ними.

— Мальчишки!

— Девочки! — орет Юрка, как солдафон.

— О мисс, — юродствует Алька, — вы у нас проездом в Голливуд?

Они проходят вперед.

— Мальчишки, — тихо с крыльца говорит Галя.

— Девочки, — передразнивает Алька.

— Были когда-то девочками, — басит Юрка.

Мерзавцы, что вы с ней, поговорить не можете по-человечески?! Вам-то что она сделала? Солидарность проявляют, черти бородатые!

УЛЬВИ подзывает меня:

— Дима, возьми, — и протягивает записку. Галка смотрит на нас из-за бочек круглыми глазами. Я пытаюсь обнять Ульви. Она убегает. Разворачиваю записку.

«Дима, если ты сегодня не придешь ко мне в общежитие, мне будет очень-очень плохо. Г. Б.».

Я ПРИХОЖУ в общежитие. Стучусь.

— Войдите!

Высокий ломкий голос, в нем словно слезы.

Галя стоит у окна. Она в брюках и в белой накрахмаленной блузке. Такая блузка вроде мужской рубашки. Галя причесана (волосы соответствующим образом спутаны), и губы намазаны. Пальцы сцеплены так, что побелели кончики.

По комнате ходит толстая, похожая на борца женщина. Больше никого нет. Я стою у дверей. Галя у окна. Женщина хватает угог, груды белья и уходит. Галя отрывается от окна.

— Садись, Дима.

Сажусь.

— Хочешь чаю?

— Ужасно хочу чаю.

Она сервирует мне стол. Блюдечки, вареньице, сахарочек, тьфу ты, черт побери!

— Дима, я понимаю, что ты не можешь меня простить. Я втоптала в грязь то, что у нас было. Я не могу сейчас вспомнить обо всем этом без ужаса. Ты прав, что презираешь меня, и ребята правы, но скажи: могу ли я надеяться, что когда-то ты меня простишь?

Тьфу ты! Хоть бы помолчала. Хоть бы села рядом и помолчала часа два. Тараторит, как заученное: «Втоптала в грязь», «Могу ли надеяться?».

Я встаю и делаю трагический жест.

— Нет! — сурово ору я. — Нет, ты не можешь надеяться. Ты втоптала в грязь! О несчастная! Все разбито! Разбитого не склеишь! Ха! Ха! Ха! — И иду к двери.

Она обгоняет меня и встает в дверях.

— Не уходи. Останься, пожалуйста. Издевайся надо мной, ругайся, делай что хочешь, но только не уходи.

— Ну-ка, пусти, — говорю я.

— Нет, мы должны поговорить.

— О чем нам говорить?

— Разве не о чем? Разве мы с тобой чужие?

Смотрит на меня совершенно кинематографически. Глазками работает, дурища. Я усмехаюсь и басом произношу так страстно:

— Бери меня, срывай нейлоны, в груди моей страстей миллионы.

Смотрит на меня и плачет. Дурацкое положение. Я не могу уйти, она стоит в дверях. И не знаю, что мне де-

лать. Обнять ее хочется. А в следующий момент хочется дать ей по шее.

— Если ты уйдешь...

— Что тогда?

— Мне будет очень плохо.

И вдруг бросается мне на шею. Целует. Бормочет:

— Люблю, люблю. Только тебя. Прости меня, Димка.

Ничего не соображая, я обнимаю ее и целую со всей своей злостью, со всей ненавистью и презрением. Она оборачивается в моих руках и щелкает замком. Я ничего не соображаю.....

НА СТЕНЕ покачивается тень елочки. Галина голова лежит на моей руке. Другой рукой я глажу ее волосы. Она плачет и бормочет:

— Но ты понимаешь, что это не просто так? Да не молчи ты. Ты понимаешь, что сейчас это не просто так? Если ты будешь молчать, значит, ты подлец.

— Понимаю,—говорю я и снова молчу. Как она не понимает, что нужно именно молчать? Ведь все эти слова — блеф. Нет, она этого не понимает.

— Тебе нужно уходить,—говорит она,—скоро придут девочки из кино.

На крыльце она целует меня и говорит:

— Только ты мне нужен и больше никто. И ничто. Ты не знаешь, как мне трудно было сюда приехать! И сейчас эти бочки, килька... Но я привыкну, вот увидишь. Я не могла иначе поступить, когда поняла, что только ты мой любимый.

Она стоит растрепанная, теплая, красавица, любимая...

Девочка, предназначенная мне с самого детства.

Я УХОЖУ по дорожке, не оборачиваясь, а когда сворачиваю, пускаюсь бегом. Бегу в кромешной темноте по дорожке и по лужам, спотыкаюсь и снова бегу мимо изгородей и слабых огоньков туда, где слышен грохот моря. Ветер на берегу страшный. Наверное, мы завтра не сможем выйти. Ветер пронизывает меня. Я хожу по песку и спотыкаюсь о камни. С грохотом идут в кромешной тьме белые волны, бесконечные, белые, грохочущие цепи. Словно лед плывет из какой-то черной смертельной безд-

ны. Эх, если бы к утру стало немного потише! Эх, если бы завтра уйти к Синему острову! Я снова попался. Я снова попал в плен. И неожиданно я начинаю сочинять стихи:

Вот так настигнет тебя врасплох
Случайный взгляд, нечаянный вздох.
Они преграды городят,
Они, как целый полк, палят
В тебя, и нет спасенья.
Попробуй снова в мир ребят,
В просторный мир простых ребят
Уйти из окруженья.
Хоть разорвись на части,
Ты окружен и...

Окружен и... И что же? «Счастлив» — просится рифма. Окружен и счастлив. Счастлив? Черт с ним, пускай это будет для рифмы. Счастлив я? Кажется, да. И так все дальше и пойдет, как было совсем недавно: встречи в темноте и Галкин лепет, птичий разговор. Так все это и будет, а нам еще нет восемнадцати. Поцелуйи и эти мгновения, когда исчезаешь. Счастье такое, что даже страшно. Где мы будем — здесь или в Москве? Или где-нибудь еще? А потом снова появится какая-нибудь сложная личность, и снова все прахом. Сейчас она драит пол и катает бочки. Засольщица — вот ее должность. Димка с 88-го крутит любовь с Галкой-засольщицей. Меня это устраивает, а ее? Она привыкнет. Ой ли? Нет уж, простите, я теперь стреляный воробей, я больше не попадусь. Хватит с меня. Я человек современный.

Ночью я написал записку:

«Дорогая мисс! Благодарю вас за волшебный вечер, проведенный в вашем обществе. Я согласен к вам иногда захаживать, если девочки будут вовремя уходить в кино. Далеко в море под рокот волн и ветра свист, как сказал поэт, я буду иногда наряду с другими вспоминать и вас. Примите заверения в совершеннейшем к вам почтении. Д. Д.».

К утру стало немного потише. Волнение было пять баллов. Прогноз на неделю хороший. Мы вышли на пять дней в экспедиционный лов к Синему острову. За час до ухода я опустил записку в почтовый ящик на дверях Галиного общежития.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Я ХОТЕЛ ШТОРМИКА — вот он! Мы попали к черту в зубы. Это случилось на третий день. Два дня мы болтались в десяти милях к северо-западу от Синего острова. Секла ледяная крупа, мы были мокрыми до последней нитки, но лов шел хорошо — трал распирало от рыбы. И вот на третий день мы попали к черту в зубы.

Чудовищный грохот. Нас поднимает в небо. Море тянет нас вверх, видно, для того, чтобы вытряхнуть из сейнера наш улов и нас вместе с ним. А может, для того, чтобы вышвырнуть вон с этой планеты? Я не могу больше быть в кубрике. Здесь чувствуешь себя, как в чемодане, который без конца швыряют пьяные грузчики. Лезу вверх и высовываюсь по грудь. Мы где-то очень высоко. Серое небо близко, а растрепанные, как ведьмы, тучи несутся совсем рядом. Куда они мчатся? Не знаю, как старых моряков, но меня шторм поражает своей бессмысленностью. По палубе бегают два пустых ящика. Мелькают за стеклом рубки лица Игоря и Ильвара. Игорь грозит мне кулаком и показывает вниз. Ох! Мы падаем вниз. Падаем-падаем-падаем... Что с нами хотят сделать? Шмякнуть о дно? Я вижу, как серо-зеленая стена вырастает над нами, качаясь. Скорее закрыть люк! Вниз! Не успеваю. Нас накрывает. Вода мощным штопором ввинчивается в люк, и я оказываюсь внутри этого штопора. Считаю ступеньки, бьюсь головой о переборки. Неужели все? Нет, надо мной снова безумные тучи. В кубрике матерится по моему адресу Стебельков. Напустил воды, уникам. Я лезу вверх. Ящиков на палубе как не было. Выскакиваю на палубу, захлопываю люк и бегу в рубку. Дело двух секунд. На секунду больше, и я бы уже был там, в этих пенных водоворотах. Нас снова накрыло. Потом потащило вверх.

— Ты что, чокнулся? — орет Игорь. — Зачем сюда пришел?

— Так просто.

— Идиот!

Игорь держит штурвал. Глаза у него блестят, фуражка съехала на затылок. Мы снова ухаем вниз, нас накрывает, и мы взлетаем на новый бугор. На палубе кипит вода. Игорь улыбается, показывая все зубы. У него сейчас совершенно необычный, какой-то разбойничий вид. По-моему, он счастлив. А Ильвар спокойно потягивает

замусленную сигаретку. Вынимает из кармана флягу, протягивает ее мне. Спирт сразу согревает.

Мы идем под защиту острова. Иначе нам конец. Иначе конец нам всем, и мне в том числе. И у Виктора не будет брата, а у его сына дяди, а у мамы и папы не будет беспутного сына Димки. Проблема «выбора жизненного пути» уже не будет для меня существовать. У Джульетты не будет Ромео, а у Гали останется от меня только подлая пижонская записка. Черти морские, высеките меня и выверните наизнанку, но только оставьте в живых! Нельзя, чтобы у Гали осталась от меня только эта чудовищная записка.

— Ильвар, дай-ка еще раз хлебнуть.

И вот наш сейнер пляшет под защитой лесистого мыса. Видно, как гнутся на краю мыса низкие сосны. Толстым валом белеет сзади грань грохочущего моря. Мы пляшем на месте два часа, четыре, десять, сутки. Наступает четвертая ночь нашей экспедиции. Недалеко от нас прыгают огоньки 80-го — там Алик. А подальше огоньки 93-го — там Юрка. Я иду спать. Качается над головой лампочка в железной решетке. Слабое наше солнышко в хлябком и неустойчивом мире! Жизнь проходит под светом разных светил: жирное и благодушное солнце пляжа; яростное солнце молодости, когда просто куда-нибудь бежишь, задыхаясь (часто мы забываем про естественные источники света, какой-нибудь светоч ума озаряет наш путь или асимметричные звезды на потолке в баре). А есть и вот это — наше слабое солнышко. Ворочаются, пытаюсь уснуть, ребята. Злятся, что лова не получилось. Съели ужин, который я им сварил, и пытаются уснуть. И я засыпаю под нашим слабым солнышком на утлой коробке, пляшущей в ночи. Шторм утихнет. На берегу меня ждут. Все еще можно исправить.

— МАЛЬЧИКИ, ПОДЪЕМ!

В кубрике стоит капитан.

— Получен сигнал бедствия. Норвежец-лесовоз потерял управление. Его отнесло к нашим берегам. Напоролся на каменную банку. Говорят, что дело плохо. Собираются покинуть судно.

Мы все садимся на койках и смотрим на капитана.

— Надо идти к ним. Это в десяти милях отсюда.

— Недалеко, — улыбается Антс.

— Недалеко! — взвизгивает Стебельков.— Больше одного раза не перевернемся кверху донышком.

Он слезает с койки.

— Пошли, Петька, запустим машинку. Эх, не жизнь, ребята, а сплошная мультипликация.

— Аврал! — орет этот бешеный пират, наш капитан Игорь Баулин.

Мы все выскакиваем наверх.

И вот в крошечной темноте мы идем к горловине бухты, за которой снова начнется адская пляска. С каждой минутой грохот нарастает. Слева по борту движутся огоньки 80-го и 93-го. Они тоже идут на спасение норвежцев. Здесь недалеко, каких-нибудь десять миль. Больше одного раза не перевернемся. Больше одного раза этого не бывает. Соседи в «Барселоне» будут шептаться за спиной у мамы: «Непутевый был мальчишка, этот Димка. Плохо кончил. Убег из дома и плохо кончил. Ох, дети — изверги! Бедная Валентина Петровна!» Он плохо кончил — странно, когда так говорят. Как будто можно кончить хорошо, если речь действительно идет о конце.

Грохот все ближе. Минут через десять нас самих может бросить на камни.

Я впервые об этом подумал сегодня. О том, что случается только один раз. И больше потом уже ничего никогда не случается. Это невысказано...

Минут через десять...

Раньше я боялся только боли. Боялся, но все-таки шел драться, когда нужно было. Сейчас я не боюсь самой страшной боли. Ведь после этого уже не будет никогда никакой боли. Невысказано.

Минут через девять...

Хана — есть такое слово. И все. Разговоров в коридоре хватит не надолго. А что ты оставил после себя? Ты только харкал, сморкался и блевал в этом мире. И писал записки, которые хуже любой блевотины. И ничего земного, по-настоящему земного от тебя не останется.

Минут через восемь...

— 80-й! Редер! — Это Игорь вызывает по радио нашего соседа.— Мы первыми проходим горловину. Понял? Прием.

...Нет, останется. Мы идем на спасение. Мы заняты сейчас самым земным занятием: мы идем на спасение. Спасем мы кого-нибудь из норвежцев или нет, останемся

мы живы или нет — все равно произойдет еще один рейс спасения.

Минут через семь...

— Игорь, разреши мне радировать в колхоз.

— Там уже знают.

— Нет, мне надо самому радировать.

— Не глупи.

— Мне надо.

Игорь поворачивает ко мне жесткое заострившееся лицо, смотрит секунду и подмигивает весело, ох как весело:

— Валяй!

Минут через шесть...

— «Прожектор», запишите радиogramму, — хрипло говорю я. — «Галине Бодровой. Галя, я тебя люблю. Дима». Прошу передать как можно скорей.

В свисте, в шипении, в страшном шорохе и шуме мы проходим горловину.

Через полтора часа мы увидели на фоне разорванных туч черный несущийся силуэт эсминца. Он выразил нам благодарность и посоветовал немедленно топать назад, к Синему острову. Оказалось, что он только что снял людей с норвежского лесовоза.

— ДОСТАЛОСЬ НАМ, ПРАВДА?

— Немного досталось.

— Ну и рейс был, а?

— Бывает и хуже.

— В самом деле бывает?

— Ага.

— А улов-то за столько дней — курам на смех, а?

— Не говори.

— Половим еще, правда?

— Что за вопрос!

— В Атлантике на следующий год половим, да?

— Возможно.

— Как ты думаешь, возьмут меня матросом в Атлантику?

— Почему бы нет? Ты парень крепкий.

— Вот ты железный парень, Игорь. Я это понял раз и навсегда в этом рейсе.

— Кукушка хвалит петуха...

— Ты уж прости, я в каком-то возбуждении.

— А это зря.

Я действительно в каком-то странном возбуждении. Бесперывно задаю Игорю дурацкие вопросы. Зубы у меня постукивают, а фляжка у Ильвара пуста. Мне холодно и есть хочется, но самое главное — это то, что уже виден колхозный причал и кучка людей на нем.

ГАЛИ ЗДЕСЬ НЕТ. Передо мной уже мелькают лица, женские и мужские, а Гали здесь нет. Неужели она не получила мою радиограмму? Неужели она уехала? Вот Ульви здесь, и все здесь; и Алька уже появился, и Юрка ковыляет, а Гали здесь нет. Гали нет. Может, ее вообще нет?

Подходит Ульви.

— Дима, Галя в больнице. Не бойся. Ей уже лучше.

— Что с ней случилось?

— Она простудилась. Когда вы ушли в экспедицию, вечером она выбежала из общежития в одном платье. Бежала долго-долго. Ее нашли на берегу. Она лежала в одном платье.

Ульви когда-нибудь простит меня за этот толчок. Может быть, она и не сердится. Она же видела, как я побежал.

Не замечаю, как взлетаю в гору. Собаки сходят с ума за заборами. Почему они безумствуют, когда видят бегущего человека? Ведь я бегу спасать свою любовь. Вот этот пес, в сущности добрый, готов меня разорвать. Вот волкодав вздымается на дыбы. Жарко в ватнике. Сбрасываю ватник. Волкодав на задних лапах прыгает за штакетником. Тыфу ты, мразь! Плюю ему в зверскую морду. По лужам и по битому кирпичу вперед, а гнусные шавки под ноги. За забором оттопыренный зад «Икаруса». Эй! Он уходит. Подождите, черти! Моя любовь лежит в больнице. Что у вас, сердца нет? Одни моторы? Уходит, а я бегу за ним, как будто можно догнать. Наверное, сейчас развалюсь на куски. Не могу больше. Остываю. За ухом у меня колотится сердце. Не замечаю, что сзади налетает вонючий и грозный МАЗ. Обгоняет меня. Подожди, черт!

— Можешь побыстрей? — спрашиваю водителя. — Дай, друг, газу!

МАЗ довозит меня до нужной остановки. Еще полкилометра надо бежать вдоль берега речушки туда, где за

шеренгой елок белеет здание участковой больницы. Как быстро я лечу в своих резиновых ботфортах! Может быть, это семимильные сапоги?

— СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ. Свидания разрешить не могу. Сейчас тихий час.

Носик у доктора пуговкой, а лоб крутой. Такого не уговоришь. И все-таки я его уговариваю.

— Сначала умойтесь,— говорит доктор и подносит к моему лицу зеркало. Такой простой карикатурный черт с типичной для чертей дикостью глядит на меня.

Я умываюсь и снимаю сапоги. Мне дают шлепанцы и халат. Когда я вхожу в палату, Галя спит. Ладонка под щекой, волосы по подушке. Так весь день я бы и сидел, смотрел бы, как она спит. Когда она спит, мне кажется, что никаких этих ужасов у нас не было. Но она открывает глаза. Вскрикивает, и садится, и снова ныряет под одеяло. Смотрит, как на черта, хотя я уже умыт. Потом начинает смотреть по-другому.

— Ты получила мою радиограмму?

Она кивает. И молчит. Теперь она молчит. Правильно. А мне надо поговорить. Я рассказываю ей, какой был плохой улов, и какой страшный штормяга, и как мы шли спасать норвежцев, и какой замечательный моряк Игорь Баулин, и все наши ребята просто золото... Она молчит. Оглянувшись, я целую ее. Она закрывается с головой и трясется под одеялом. Не пойму, плачет или смеется. Осторожно тяну к себе одеяло. Смеется.

— Актриса ты моя,— говорю я.

— Я не актриса,— шепчет Галка, и теперь она готова заплакать. Я это вижу, очень хочу этого и боюсь. Я вижу, что она готова на любое унижение. Зря я назвал ее актрисой, но все-таки я что-то хотел этим сказать.

— Не расстраивайся,— говорю я,— поступишь на следующий год. Масса людей сначала проваливается, а потом поступает. И ты поступишь.

Этим я хочу сказать очень многое. Не знаю только, понимает ли она?

— А я не проваливалась, если хочешь знать,— шепчет Галка.— Я и не поступала, так и знай.

— Как не поступала? — восклицаю я.

— Так вот. Забрала документы перед самыми экзаменами.

О, как много она сказала этим!

— Не может быть!

— Можешь не верить.

Снова она готова заплакать.

— Все равно,— говорю я,— ты поступишь на следующий год.

— Нет, не буду.

— Нет, будешь.

Оглянувшись, я снова целую ее. И тут меня выгоняет санитарка. Как много мы с Галкой сказали друг другу за эти несколько минут!

Я выхожу на крыльцо, смотрю на серые холмы и ельник, на всю долину, уходящую к морю, на голубенькие жилочки в небе и на красные черепичные крыши, и сердце мое распирает жалость. За окнами мелькает доктор. Нос пуговкой, а лоб крутой. Мне жалко доктора. Мне жалко мою Галку и жалко санитарку. Я с детства знаю, что жалость унижает человека, но сейчас я с этим не согласен. Однажды в Москве я увидел на бульваре старенькую пару. Старичок и старушка, обоим лет по сто, шли под руку. Я чуть не заплакал тогда, глядя на них. Я отогнал тогда это чувство, потому что шел на танцы. А сейчас я весь растворяюсь в жалости. Музыка жалости гремит во мне, как шторм.

По берегу реки вразвалочку жмут мои друзья, Алик и Юрка. Алик тащит мой ватник.

— Не торопитесь, мужики,— говорю я им.— Все равно вас не пустят. Там сейчас тихий час.

— А ты там был? — спрашивает Алька.

— Что ты, не видишь? — говорит Юрка.— Посмотри на его рожу.

Мы садимся на крыльцо и закуриваем. Так и сидим некоторое время, два карикатурных черта и я, успевший умыться.

— Ну как? — спрашиваю я.— Штормик понравился?

— Штормик был славный! — бодро восклицает Алька. Ему все нипочем.

— А я думал, ребята, всем нам кранты,— говорит Юрка.

— Да я тоже так думал,— признается Алька.

— Нет, ребята,— говорит Юрка,— море не моя стихия. Уеду я отсюда.

— Куда?

Юрка молчит, сидит такой большущий и сгорбленный. Потом, решившись, поворачивается к нам:

— Уезжаю в Таллинн. Поступаю на завод «Вольта». Учеником токаря, к Густаву в подмастерья. Общежитие дают, в перспективе комната. Команда там вполне приятная...

— И Линда рядом,— говорю я..

— А что? Да нет, ничего. Все правильно.

Мы сидим, курим. Странно, мы с ребятами совсем не говорили о будущем, ловили кильку, а вечерами резались в пинг-понг, но сейчас я понимаю, что они оба пришли к какому-то рубежу.

— А ты, Алька, что собираешься делать? — спрашиваю:

— Я, ребята, на следующий год все-таки буду куда-нибудь поступать,— говорит Алька.— Надо учиться, я это понял. Недавно, помните, я ночью засмеялся? Ты в меня подушкой тогда бросил. Это я над собой смеялся. «Ах ты, гад,— думаю,— знаешь, что такое супрематизм, ташизм, экзистенциализм, а не сможешь отличить Рубенса от Рембрандта». И в литературе также, только современность. Хемингуэй, Бёлль назубок, слышал кое-что про Ионеско, а Тургенева читал только «Певцы» в хрестоматии. Для сочинений в школе ведь вовсе не обязательно было читать. Детки, хотите, я вам сознаюсь? — Алька снял очки и вылупился на нас страшными глазами.— «Анну Каренину» я не читал! — Он снял колпак и наклонил голову.— Готов принять казнь.

— Думаешь, стоит ее почитать, «Анну Каренину»? — спросил Юрка.

— Стоит, ребята,— говорю я.

— Неужели ты читал ее?

— В детстве,— говорю я. И правда, в детстве я читал «Анну Каренину». В детстве я вообще читал то, что мне не полагалось.

Ну вот, ребятам уже все ясно. Теперь они сами все решили для себя. И не нужно подбрасывать монетки, это тоже ясно. А я? Прискорбный факт. Прискорбнейший случай затянувшегося развития. Я до сих пор не выработал себе жизненной программы. Есть несколько вещей, которыми я бы хотел заниматься: бить ломом старые стены, которые никому не нужны, перекрашивать то, что красили скучные люди, идти на спасение, варить обеды

ребятам (сейчас все жрут с удовольствием), танцевать, шататься из ресторана в ресторан, любить Галку и никому не давать ее в обиду (никогда больше не дам ее в обиду!), много еще разных вещей я хотел бы делать, но все ведь это не жизненная программа. Стихийность какая-то, самотек... Дмитрий Денисов пустил свою жизнь на самотек. Хорошая повестка дня для комсомольского собрания.

— Может быть, тебе в мореходку поступить? — говорит Юрка. — На штурмана учиться, а?

— На кой мне черт мореходка? В Атлантику я на следующий год и так выйду. Игорь обещал.

— Я думаю, если уж быть моряком...

— Почему ты решил, что я хочу быть моряком?

— А кем же?

— Клоуном, — говорю я. — Знаешь, как в детстве, сначала хочешь стать моряком, потом летчиком, потом дворником, ну а потом уже клоуном. Так вот, я на высшей фазе развития.

После тихого часа Галка появляется в окне. Ребята корчат ей разные рожи и приплясывают, а она им улыбается. Стоит бледная и под глазами круги, а все-таки можно ее хоть сейчас поместить на обложку какого-нибудь польского журнала.

Потом мы едем в ближайший городок, в магазин, и возвращаемся в больницу, нагруженные разными кондитерскими пряностями. Эстонцы — отличные кондитеры. Любят полакомиться.

А Галка за окном уже какая-то другая, уже прежняя. Надувает щеки и показывает мне язык. Сзади подходит санитарка, а она ее не видит. Санитарка тоже смеется и шлепает Галку по одному месту.

Вечером мы сидим все в кофике, 18 рыбаков с сейнеров СТБ. Все свои ребята, ребята — золото. И все-таки мы обставим экипаж 93-го.

НОЧЬЮ Я СЛЫШУ ШАГИ за окном. Почему-то мне становится страшно. За окном шумят деревья, свистит ветер, в комнате темно, похрапывает Юрка — и вдруг шаги. Кто-то взбегаёт на крыльцо, барабанит в дверь общежития. Бегут по коридору, потом обратно. Останавливаются у нашей двери. Стучат.

— Денисову срочная телеграмма.

Ошибка, наверное. Конечно, ошибка. Почему вдруг мне срочная телеграмма? Почему вдруг именно мне? Почему ни с того ни с сего стрела, пушенная малышом, попадает прямо в лоб? Что ей, мало места на земле?

ЭСТОНСКАЯ ССР
КОЛХОЗ «ПРОЖЕКТОР»
ДЕНИСОВУ ДМИТРИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ
МОСКВЫ (какне-то цифры)

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОГИБ ВАШ БРАТ ВИКТОР ДЕНИСОВ ТЧК ПО ВОЗМОЖНОСТИ НЕМЕДЛЕННО ВЫЕЗЖАЙТЕ В МОСКВУ ТЧК ГОЛУБЕВ

Какой еще Голубев? Боже мой, что это за Голубев? При чем тут какой-то Голубев?

Я ИДУ ОДИН ПО МОСКВЕ. Все, в общем, здесь по-старому. Иду по Пироговке, дохожу до Садового. Из-за угла высыпает на полном ходу волчья стая машин. Перекрыли: красный сигнал. Не в моих привычках ждать, и я жму через Садовое. А куда? На Кропоткинской беру такси и еду в центр. И тут все, в общем, по-старому, только не видно тех рыл, с которыми я некогда контактировал. Спускаюсь в метро. Пью воду из автомата. Еду на эскалаторе вниз. О, навстречу поднимается парень из нашего класса, Володька Дедык. Книжку какую-то читает. Не замечает меня. И я его поздно заметил. Ищи его теперь, свищи. Все-таки я поднимаюсь по эскалатору вверх. Нет там Дедыка. Опять беру билет и снова еду вниз.

Прошло два дня после похорон Виктора.

Как это дико звучит! Все равно, что сказать: прошло два дня после пожара Москвы-реки. И тем не менее это так: прошло два дня после похорон моего старшего брата, Виктора.

— Витька! — орал тот волосатый грузин (у него на груди была такая шерсть, что в бассейне все шутили: «бюстгальтеры на меху»). — Витька! — орал он и, как торпеда, плыл к воротам. А Виктор высовывался по пояс из воды и давал ему пас на выход.

Прошло два дня после похорон.

Шура, жена Виктора, стояла совершенно каменная и с желтыми пятнами на лице. Говорят, что будет маленький Витька. Кажется, в старину женились на вдовах бра-

тьев. Я бы тоже женился на Шуре, если бы жил в те времена. В те времена ведь не могло быть Гали. А сейчас я буду считать себя отцом маленького Витьки, даже если Шура снова выйдет замуж.

Прошло два дня.

— Простите, как доехать до «Ботанического сада»?

— До «Комсомольской», там пересадка.

Я не знаю, при исполнении каких служебных обязанностей погиб Виктор. Об этом не говорили даже на похоронах. Андрей Иванович, огромный профессор, сказал, что Виктор — герой, что он слава нашей научной молодежи, что когда-нибудь его имя... Дальше он не смог говорить, этот огромный профессор. Кто-то сказал, что через месяц у Виктора должен был кончиться комсомольский возраст, ему должно было исполниться 28 лет. Давайте будем считать, что Виктор погиб уже коммунистом.

Виктор, слышишь ты меня? Я тобой горжусь. Я буду счастлив, когда время придет, и твое имя... Запишут куда-то золотом, наверное, это хотел сказать профессор. Но знаешь, старик, я любил, когда ты меня «под заводил», любил стрелять у тебя деньги и боксировать с тобой после душа. Помнишь, в Таллинне в номере гостиницы? А как мы ехали с тобой в такси? И шлялись из одного кафе в другое, а ты все плел что-то возвышенное? И мы как раз собирались поехать на стадион?..

Прошло два дня после...

Борька, друг Виктора, а потом его недруг, стоял, подняв голову, и кадык у него ходил вверх-вниз. Потом он отошел в сторону, отвернулся и весь задержался-задержался.

Два дня.

Не могу вспомнить о том, что было с папой и мамой. Они сразу стали старенькие. Будут гулять теперь под руку на бульваре, и у какого-нибудь парня вроде меня сожмется при их виде сердце.

Прошло два дня после похорон Виктора.

Я уже второй раз бесцельно езжу по городу. Мои старики теперь живут на Юго-Западе. За две недели до этой истории они переехали в новую квартиру. А «Барселону», говорят, уже начали ломать.

Вот мне куда надо — в «Барселону»! Да-да, именно туда я и еду уже второй день.

Выхожу на нашей станции. Все здесь по-старому. Торчат, как всегда, какие-то знакомые типы. Суета у кио-

сков. Суета сует и всяческая суета, говорила одна старушка на даче. И вот они, руины нашей «Барселоны». Она уже наполовину сломана. За заборчиком на грудке битого кирпича стоит бульдозер. Луна освечивает от его лопаты. Плакат на заборчике: «Работы ведет СМУ № 40».

Я перелезаю через забор и проникаю в уцелевшую половину дома. На этой лестнице Виктор целовался с одной девчонкой, а я их застучал и немного шантажировал. Я лезу вверх по лестнице и иду по коридору третьего этажа к нашей квартире. То тут, то там в распахнутой двери, выбитые стекла и в проломы стен проглядывает ночное небо. Дверь нашей квартиры висит на одной петле. Мне нужно туда, нужно просто постоять там пару минут. Я захожу в столовую, потом в комнату родителей, потом иду к Виктору. Не знаю, сколько минут я стою здесь. Виктор провел здесь 28 лет и погиб «при исполнении служебных обязанностей». 28 лет спал, читал, делал зарядку, выпивал с друзьями в этой комнате.

Иногда ходит, ходит.

МАМА. Витя, что ты все ходишь?

А он ни гу-гу. Иногда он ложился на подоконник, вот так, и смотрел в небо. Долго-долго. Где же он тут видел небо? Кругом стены. А, вот оно.

Я лежу на спине и смотрю на маленький кусочек неба, на который все время смотрел Виктор. И вдруг я замечаю, что эта продолговатая полоска неба похожа по своим пропорциям на железнодорожный билет, пробитый звездами.

Интересно. Интересно, Виктор замечал это или нет?

Я смотрю туда, смотрю, и голова начинает кружиться, и все-все, все, что было в жизни и что еще будет,— все начинает кружиться, и я уже не понимаю, я это лежу на подоконнике или не я. И кружатся, кружатся надо мной настоящие звезды, исполненные высочайшего смысла.

Так ли иначе.

ЭТО ТЕПЕРЬ МОЙ ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ!

Знал Виктор про него или нет, но он оставил его мне. Билет, но куда?

БОЛЬШАЯ РУДА

ПОВЕСТЬ

Он стоял на поверхности земли, над гигантской овальной чашей карьера. На нем была рыжая вельветовая куртка на «молниях» и штаны из белесой парусины, с застиранными пятнами извести и мазута. Рукой он придерживал кепку, низко надвинув ее на лоб, чтобы не сорвал ветер.

Тень облака скользнула вниз, упала на пестрое, движущееся скопище машин и людей, погасив блеск металла и сверкание стекол. Тень проползла по холмистому дну карьера, подернутому дымкой,— через россыпи желтого песка, голубовато-свинцовой глины и обломки расколотых глыб цвета запекшейся крови — и стала выбираться наверх, обгоняя взлет деревянных лестниц. И умчалась в зеленую степь, к перелескам и хуторам, затерявшимся на горизонте.

Тени шли косяком, и ни одна не могла накрыть сразу весь карьер, но парень, стоявший наверху, видел не это. Он видел пыльную дорогу, петляющую по дну и по склонам, и бесконечную вереницу грузовиков, проделывающих в дыму и реве этот замысловатый путь, чтобы вывезти наверх щепотку глины или песка. Грузовики двигались медленно, с одинаковыми интервалами: казалось, дорога сама, извиваясь, тащит их вверх на себе, и хвост ее все отрастает в темных глубинах.

— Тут работы — мама родная! — громко сказал парень. И, выругавшись витиевато, просто так, от избытка чувств, пришел к выводу: — Не может быть, чтоб я здесь не окопался.

Он пошел краем пропасти, топча траву, сошвыривая вниз комья сухой глины. Карьер медленно поворачивался под ним, открывая свои закоулки, затянутые дымом

и пылью. Затем парень оглянулся на него из зарослей молодого дубняка, увидел тонкую ребристую стрелу экскаватора, чиркнувшую по облакам, и пошел напролом, раздвигая ветви локтями. Листья хлестали его по лицу. Он вышел на просеку и перепрыгнул глинистый ров. И снова увидел карьер, от которого никак не мог уйти, но не весь, а лишь другой его берег, с белыми и желтыми пластами, едва различавшимися вдали,— так широка была чаша и так густо она курилась.

В ров из длинной ржавой трубы, висящей на деревянных подпорках, падала вода. Он наклонился и захватил ртом струю, от которой сразу заломило зубы. Вода была чистая и прозрачная, она вовсе не пахла никакой «химией», как думал он раньше, хотя ее откачивали из железистых недр. Ее называли здесь врагом номер один, но парень, напившись, застонал от удовольствия и, сдернув кепку, смочил и пригладил пятерней свои прямые, светлые, мягко распадавшиеся пряди.

Он шел, посвистывая, помахивая кепкой, не отряхнув с куртки тяжелых брызг, и все, что он видел и слышал, правилось ему: и эта широкая просека с отпечатками рустованных шин на песчаной дороге и шелестом листвы, который мягко глушил звяканье и скрежет карьера; и разбросанные в редком лесу, выкрашенные в желтое и синее дощатые строения парикмахерской, столовой, ларьков, и самое большое из них, с вывеской, написанной малиновыми буквами по темно-зеленому полю: «Контора Лозненского карьера»; и кусты смородины под окнами, распахнутыми настежь, откуда неслись звонки телефонов, треск машинок, голоса и выстилался табачный дым.

Когда-то на месте рудника был сад, потом молодые деревья перенесли, а старые просто вырубили, только две молоденькие яблони возле конторы никому не мешали, их оставили расти. Но никто не ухаживал за ними, и за три года, что здесь велись вскрышные работы, яблони успели одичать. Он подобрал в траве несколько мелких опадшей, но есть не стал, на них и смотреть было кисло, только подержал на ладони.

Отсюда он видел всю выездную траншею, наклонно убегающую между крутыми глинистыми склонами, ослепительно блещущую под солнцем. В конце ее появлялись нагруженные самосвалы — сначала будто картонные, плоско темневшие в дымно-солнечной синеве, а по-

том постепенно обретавшие плоть, и мощь, и грозную величину, когда они, взреывая, набирали ход и проплывали мимо, попирая землю упругой тяжестью могучего колеса.

«Не может быть, чтоб я здесь не окопался! — опять подумал парень. — Врешь, никто меня отсюда не повернет».

Начальник карьера был молод, очкаст, долговяз и давно не брит. Под столом было тесно его ногам, обутым в баскетбольные кеды, и он сидел, откинувшись, в застегнутом парусиновом пиджаке и мятом соломенном брыле. На столе перед ним был телефон с рукояткой зуммера и ничего больше. Из одного угла рта в другой ходила огромная самокрутка.

— Тоже на работу? — сурово спросил начальник.

Парень, который только что вошел к нему, молча выложил перед ним старое удостоверение шофера, выданное в саперной автороте. Он имел и другие права, но армейские действовали вернее.

Начальник придвинулся и кивнул.

— Дальше.

Но парень не склонен был спешить. Он подождал, чтобы начальник мог увидеть талон, ни разу еще не проколотый. Затем появилась трудовая книжка, раскрытая там, где можно было понять, что предьявитель сего возил кирпич на Урале и взрывчатку на строительстве Иркутской ГЭС. Ту страничку, где говорилось о его работе в таксомоторном парке города Орла и на санаторном автобусе в Ялте, он решил не показывать, покуда не спросят.

— Послушайте, Пронякин, почему вы со мной хитрите? Я же вас помню. Вы же были у меня вчера. На что вы надеетесь? Что я близорукий? Но фамилии-то я все-таки запоминаю. Или думаете, я у вас что-нибудь другое спрошу? Представьте себе, тот же вопрос, какая у вас специальность?

— Шофер, — убежденно сказал Пронякин.

— Вижу, что не парикмахер. Но кто? Карбюраторщик? На дизельных самосвалах ведь не работали?

Пронякин решил сесть. Это значило, что разговор будет по душам. Но начальник не склонен был говорить по душам. Он хмурился и ждал ответа.

— Не приходилось,— сказал Пронякин. Это было все-таки лучше, чем сказать «нет».— Просто не представилось случая.

— Разговора у нас не будет,— твердо сказал начальник и отодвинул документы. Он говорил рыкающим баском, срывающимся, однако, на дискант, хотя, конечно, давно прошли времена, когда голос у него ломался. Вероятно, он ломал его снова.— Я знаю, вы приехали по объявлению, какой-то кретин из совнархоза развонил на весь Союз: «Приезжайте! КМА-КМА! Милости просим!» А нам вот расхлебывать, поворачивать народ от ворот. Что делать? Мы уже раз шесть объявления давали в газету: «Требуются дизелисты», да кто там фитюльки наши заметит?..

«Я-то заметил,— подумал Пронякин, понимая его кивая ему,— только от ворот ты меня не повернешь».

— Вот так, Пронякин,— сказал начальник, вздыхая.— Бортовых машин у меня нет, а на самосвалах ты не работал.

— Это верно...

— Ну вот, я рад, что ты наконец понял.

— ...однако же и девять лет за баранкой — тоже не псу под хвост.

— А я ничего и не говорю. И вообще, это же не от меня зависит. Отдел кадров все равно не оформит.

— Ну, это не скажите! Начкарьера тоже фигура не последняя.

— В данном случае, к сожалению, последняя,— просто сказал начальник. Он прикрыл глаза красными веками.— Пока нет руды, дорогой мой Пронякин, последняя... Последняя, кого можно драить с песком и трепать за хохол, потому что крыть-то ей, собственно говоря, нечем. Будет руда — будет власть. А покамест мы только просим. Можешь поверить, я с тобой по-человечески говорю. Вот — два месяца назад по нашей заявке оформили несколько шоферов из колхозов, бравые ребята, но в дизелях — ни бельмеса, напортачили бог знает как. Так что теперь вопрос поставлен просто: знаешь самосвал — садись. Не знаешь — будь добр, поучись где-нибудь, тогда и приезжай.

— Да уж видал я, как тут ездют,— вставил Пронякин.

— Вот так,— сказал начальник.— Понял теперь?

— Когда же она будет, руда? Может, ее и ждать недолго. А я уеду...

— Сказать по секрету, Пронякин, я тоже очень, очень хотел бы знать, когда же будет руда. Но я не знаю. И, как видишь, говорю об этом прямо. Этим я, наверное, и отличаюсь от других знатоков. Ошибки, конечно, быть не может, даже думать нельзя об этом. Ожидаем со дня на день, и этот день уже тянется второй месяц. Ждали на семьдесят пятом метре. Черта с два! Ждали на восьмидесятом. Потом обещали нам на восемьдесят третьем, божились — это-то уж наверняка. Ну, выбрали несколько глыб — для рапорта, конечно, хватило, — но ведь большой руды нет! Это же, как мы говорим, не промышленный уровень. Понимаешь ли ты все это? Доходит оно до тебя?

— Дошло уже.

— Ну и чудесно. Я ведь чего хочу? Чтоб ты на меня не обижался.

Он помолчал, побарабанил по столу длинными обкуренными пальцами. Потом улыбнулся неожиданно мягкой улыбкой, сразу сказавшей о его возрасте и о том, каково ему сейчас на его месте.

— Что, невеселые вещи я тебе говорю, Пронякин? А мне, ты думаешь, весело? Иной раз сидишь вот так, и какая только чертовщина не полезет в голову. Думаешь — а есть ли она там, большая руда? А может, ее и нету?..

— Как это нету? — тоже улыбаясь, спросил Пронякин. — Раз божились — значит, должна быть. Куда же ей деться?

— Конечно, — сказал начальник. — Куда же она денется? Куда же она уйдет? Ножки-то у нее не выросли...

Улыбка уже ушла из его глаз. Он сильно затянулся самокруткой, поплевал на нее и, бросив на пол, придавил резиновым каблуком. Потом он задумался, глядя куда-то вверх и мимо Пронякина и рассеянно похрустывая суставами пальцев.

— А знаете, что я скажу вам, начальник? — сказал Пронякин. — Никуда я от вас не уйду.

— Ну что ты, Пронякин. Это ты лучше брось.

— Брошу, так сами же и подберете. Я завтра опять приду. И послезавтра приду. И послепослезавтра приду. Выгоните — вернусь. А не вернусь — сами же меня позовете.

— Очень может быть. Когда будет руда. А покамест пойми, нет базы для разговора. И учти — за дверью другие ждут.

Они в самом деле ждали своей очереди, парни в пиджаках и куртках, съехавшиеся по объявлению и слегка обалдевшие от всего, что они увидели здесь. Они подпирали из коридора фанерную стенку и разговаривали нарочито весело и небрежно.

— Слыхали? Такие же бедолаги, как я,— сказал Пронякин.— Нас, шоферов, что нерезанных собак развелось. Ну кто теперь не шофер! И разве же вы им что-нибудь другое скажете? То же самое, что и мне!

— К сожалению, так.

— Только не знаю, как они, а я от вас никуда не уйду. Некуда мне уходить. Намотался, намыкался поверх головы, хватит. Да и понстратился я на дорогу, обратно — веришь ли? — не на что ехать. Вот как хочешь...

— Ты что, в заключении был? — спросил начальник.

— Покамест бог миловал. Я к делу, к месту хочу навсегда определиться. Я работать могу, как мало кто. Я как услышал по радио про ваши дела, так и сказал: «Стоп, Витька! Это как раз, значит, для тебя. Никуда ты не денешься, кроме Курской аномалии. Тебе руду эту самую добывать».

— Что вы все, как один, заладили мне про добычу? Ведь руды-то нет!

— Не говори таких слов, товарищ начальник! — сказал Пронякин торжественно.— Не нынче, так завтра, а будет руда. Такое, понимаешь, вот у меня лично впечатление.

Начальник поглядел на него с любопытством и полез в карман за табаком, но вытащил только пыльную крошку и расстроено заморгал.

Пронякин молча положил на стол пачку «Беломора».

— Ты знаешь, Пронякин,— сказал начальник, беря машинально папиросу,— у меня тоже такое впечатление, что вот-вот должна быть большая руда...

«Так,— подумал Пронякин.— Ты уже спекся».

— А как же! — сказал он непререкаемо.— Куда ж ей, заразе, деться?

— Вот что, Пронякин,— сказал начальник. Он чуть-чуть повеселел и ерзал на своем скрипучем стуле.— Отдел кадров тебя действительно так не оформит. Но я тебе советую: сходи в автоколонну, разыщи там Мацуева,

бригадира. Смена у них сегодня ночная, но он-то наверняка в гараже. Не знаю, может, какой-нибудь завальщенький «мазик» он для тебя подберет. А потом будем сочинять ультиматум в рудоуправление. Но если там откажут...

— Понимаю.

— Нет,— начальник покачал головой,— не понимаешь. Ты еще намучаешься с этим МАЗом, заранее тебе говорю. Это у нас, так сказать, отживающая тягловая единица.

— Что же, на них совсем ездить нельзя?

— Почему нельзя? Машина-то прекрасная, добрая, лучше любой десятитонки. Только норма на нее по-уродски составлена. Пока только начинали рыть, еще ничего было, не жаловались «мазисты», а теперь мы уже на восемьдесят пять метров зарылись, километраж вон как увеличился, да и крутизну дорог надо учесть, а нормы оставлены прежние. Вот и ездят у нас пятеро великомучеников. Ты, если оформишься, шестой будешь. Только они с верхних горизонтов возят, а тебе придется с нижнего. Понял теперь? Устраивает?

Пронякин пожал плечами:

— Где наша не пропадала. И долго мне хуже всех будет?

— Не знаю,— сказал начальник.— Одно из двух: либо руду достанем — тогда уж нормы пересмотрят,— либо раньше все МАЗы изведем. Я лично на руду надеюсь. Я уж сказал тебе: будет руда — будет власть.

— Ну что ж, меня это тоже устраивает.

— Заявление у тебя готово? Давай подпишу... Эхехе... Напишу: «Не возражаю». Большого, к сожалению, не могу.

Пронякин опять пожал плечами.

Тут зазвонил телефон, и начальник, подняв трубку, зажал ее щекой и плечом. Должно быть, ему сообщали что-то тревожное, потому что он начал густо темнеть, и рука его все не решалась поставить подпись.

— Так,— говорил начальник.— Так... Так...

Пронякин двумя пальцами подвинул бумажку. Выцветшие глаза взглянули на него коротко и бестолково, но рука быстро и размашисто расписалась. Пронякин осторожно вытянул из-под нее заявление.

— Скажите там, чтоб не ждали! — крикнул начальник вдогонку.— Больше принимать не буду...

Пронякин уже не слышал его. Выйдя на крыльцо конторы, он увидел те же медлительные тяжелые облака, яблони, пригнувшиеся под ветром, и стенды с портретами передовиков и цитатами из их обязательств, прислоненные к низкой ограде. Те же и все-таки уже не те. Он двинулся не спеша к киоску с газированной водой и бросил мятую рублевку¹ на мокрый алюминиевый поднос.

— Два с сиропом.

Облокотившись, он смотрел на продавщицу. Она мыла стаканы с деревенской тщательностью и без той хлесткой ловкости, которая отличает городских продавщиц. И сироп она наливала аккуратно.

«Дура,— спокойно подумал он.— Счастья своего не знаешь. Эх, сюда бы женульку определить, она б тебе показала. Уж у нее бы потекла копеечка».

— Не надоело еще?— спросил он, принимаясь за второй стакан.

Она взглянула быстро, с диковатой застенчивостью, широко взмахивая выгоревшими ресницами.

— Чего?

— Сидеть тут, говорю, не надоело еще? Такая молодая, тебе бы в самый раз на экскаватор пойти или на кран.

— Не берут.

«Все ясно,— подумал он.— Держаться за место не станешь».

— Возьмут,— сказал он убежденно.— Не посмеют не взять.

Она вдруг улыбнулась, так же застенчиво и диковато.

— Ну да!

— Научный фактор. Книжки читай.

— А я читаю. Как никто не подходит, так я и читаю... То так и целый день, бывает, читаю.

— По ночам тоже читай. Возьмут.

Он вышел на дорогу. Был пересменок, и самосвалы на своей слоновьей скорости двигались порожняком по бетонке, огибавшей лес. Он дождался бортовой машины с людьми и, еще не дав ей притормозить, рывком подскочил в кузов. Кто-то потянул его за куртку, и, опираясь привычно на чьи-то плечи и головы, он пробрался к борту и растолкал для себя местечко. Люди в машине

¹ Имеется в виду масштаб денег до 1961 года.

сидели на корточках, и он тоже присел — дорога уже была освоена мотоциклистами ОРУДа.

За лесом возникли гаражи автоколонны, а за ними — наклонные галереи и висячие фермы дробильной фабрики.

— Постучите-кась, кто поближе.

Кто-то забарабанил по крыше кабины, Пронякин прыгнул и тотчас свернул под арку серых кирпичных ворот. Вдоль гаражей двумя длинными шеренгами стояли самосвалы с поднятыми кузовами. Они напоминали готовые к залпу «катюши». Несколько шоферов чистили кузова лопатами. Пронякин спросил у них, как найти Мацуева. Провожаемый их взглядами — они, разумеется, оставили работу и обсуждали его появление, — он шел мимо высоких радиаторов, достигавших его макушки, мимо оловянных медведей, задиравших на него лапу как по команде, и чувствовал себя уже наполовину причастным к этим свирепым машинам.

Мацуев вышел к нему из темной глубины гаража. Он был не выше Пронякина, но очень широк в кости и весьма внушителен со своей тяжелой квадратной головой и лохматыми, насупленными бровями. Пронякин молча протянул ему свое заявление. Мацуев коротко покосился на бумажку и стал неторопливо разглядывать самого Пронякина, обтирая ветошью голые до локтей, волосатые руки. Наконец он спросил хрипло:

— Взял тебя Хомяков?

— Не знаю, — осторожно ответил Пронякин. — К вам послал. Вы, мол, решите, брать или не брать.

— Ишь ты, — сказал Мацуев, не усмехаясь. Он долго занялся своими обмасленными руками. Пронякин тоже внимательно смотрел на эту ветошь, как будто немало зависело и от нее.

— Такое дело, — сказал наконец Мацуев. — «Мазик» — у меня действительно есть незанятый. Только его, понимаешь, чинить надо. Сильно надо чинить. В общем, тут механик требуется.

— Вот он и стоит, — улыбнулся Пронякин. — Перед вами.

— И диплом есть?

— Диплома нету. Руки есть.

— Ага, — сказал Мацуев. — Так, значит? Ну что же. Починишь, мне покажешь, тогда и будем решать. —

И, предупреждая вопрос, добавил: — Ремонт, само собою, оплатим.

— Само собою, — сказал Пронякин. — А где он, «мазик»-то? Хочу на него поглядеть.

— А чего на него глядеть-то? Его чинить надо. Глядели уж многие, не помогает. Ты подумай, а завтра приходи.

Он двинулся было обратно в темную глубину гаража, но Пронякин неуловимым движением загородил ему дорогу.

— А все ж поглядеть-то можно? Не развалится! Я бы сразу и чиниться начал.

— Прямо сразу?

— А чего ж тянуть?

— Ишь ты, — опять сказал Мацуев. Он швырнул весть в ящик с песком и улыбнулся наконец Пронякину. — Ну пошли. Только зажмурь глаза, ежели из робких.

МАЗ-200 — двухосная ширококорылая машина — был и на самом деле устрашающ. Нужна была старательная, воистину ма́стерская работа, чтобы так растрясти рессоры, помять кузов, избить ободья скатов. Нагнувшись и поглядев на карданный вал, Пронякин только присвистнул.

— Кто же это такое допустил, а?

— Ездил на нем один, сукин дьявол, — пояснил Мацуев и сплюнул. — Ну, опять же, дороги здесь, сам знаешь, какие. Да и груз деликатный.

— Тут не в дороге дело. И не в грузе. Бить надо по мордам за такую езду.

— Кто ж говорит. Конечно, надо. Только за всеми дураками не уследишь. В общем, гляди сам. Не понравится — обижаться не стану.

— Возьмусь, — сказал Пронякин. — Такая моя планна.

— Подумай, — предупредил Мацуев, уходя. — Я не тороплю.

И как только он ушел, Пронякин быстро открыл кабину и влез на широкое раздавленное сиденье. Это было просто необходимо ему — подержать в руках огромную баранку, ощутить ее шершавость и теплоту и чувство уверенности в себе, точно это и есть те самые рога, за которые берешь судьбу. Он сразу увидел и непомерный люфт руля, и что оборвана тяга педали и не работает спидометр, закончивший счет километров задолго до то-

го дня, как машина испустила последний вздох. «Э, да не в том суть,— сказал он себе,— зато уж никакая собака не скажет: приполз на готовенькое. Оно, конечно, против ЯАЗа трехосного я бы ничего не имел... Да кто же тебе его даст, Пронякин?»

Оставив в кабине куртку и кепку, он обошел машину со всех сторон, попинал носком увядшие баллоны, затем подошел к радиатору и поднял капот.

— Мама рódная! — сказал он почти весело.

Эта состарившаяся телега начинала ему нравиться. Он вытащил из кабины сиденье и, положив его под машину, полез за ним на четвереньках.

Заглянув сюда через полчаса, Мацуев услышал веселое посвистывание.

— Ну как? — спросил Мацуев, присаживаясь на корточки.

— Страх и ужас. Катафалк моей бабушки.

— Откажешься, стало быть?

— Даже наоборот. Беру.

— Думаешь, пойдет машина?

— У меня пойдет. Зверь будет, а не машина.

Пронякин выбрался из-под машины ногами вперед и сел, прислонившись спиной к высокому колесу. Он улыбался, на щеках и на лбу блестели иссиня-желтые пятна смазки. Старенькую майку он тоже успел запачкать.

— Понимаешь, чем она больна? — спросил Мацуев.

— Двигатель, честно говорю, не смотрел, не дизелист; вижу только, что грязи много. Но рулевые тяги гляди-кась, как покорежены — обухом, что ли, он их подправлял? Теперь — у карданвала, у заднего, шлицы поистерлись, а погнутость — в полпальца, не меньше; биение, видать, страшное. В коробке передач трещина внизу, это и сам видишь, масло течет. Ну а про задний мост и говорить нечего, вал так просто рукой проворачивается. Уж куда хуже! Сателлиты, что ли, повыкрошились.

— Понимаешь ли... — Мацуев смущенно почесал в затылке. — Может, их там и нету, сателлитов.

— Куда ж они делись?

— Понимаешь, его одно время списать хотели. Ну, каждый и тащил, чего хотел. В общем... недоглядел я. Это уж я маленечко обратно его подсобрал, чтоб хоть божеский вид имел. Теперь-то мы его и на день запираем...

Пронякин усмехнулся и махнул рукой.

— Ты чему улыбаешься? — спросил Мацуев. — Тут плакать нужно.

— Привычки нету. В армии и не такое приходилось чинить. Дефектная ведомость на него составлена?

— В армии был или на фронте?

— В армии. На фронте-то, наверно, не чинили?

— Приходилось. — Мацуев опять почесал в затылке. — Дефектная ведомость, понимаешь, есть. А запчастей нету. Вот такая история. В армии-то, наверно, были?

— Это верно.

— Вот то-то и оно. Так что не зря я тебе говорил — подумай.

— А на свалках? — спросил Пронякин.

— Как везде. Что ты, на новых стройках не бывал? Поищешь — найдешь. Чего не найдешь — наменяешь, «мазисты» и в других бригадах есть. Ну и мы, конечно, от своих ЯАЗов кой-чем поделимся. Ну, что еще? Мастерская у нас хоть и слабенькая, а своя. Ты возьмишь только.

— Взятся уже, — сказал Пронякин. — Я от своего не отступаю.

Они помолчали. Мацуев смотрел на него, почему-то виновато помаргивая. Пронякин выволок сиденье и положил его в кабину.

— Ты где устроился? — спросил Мацуев. — В гостинице?

— В коттедже, едят его клопы.

— Тебе в общежитие надо переходить.

— Да ведь не примут, пока на работу не поступлю.

— Поступишь. Будь уверен.

Пронякин вежливо промолчал. Он надел куртку и, сощелкивая ногтем приставшие ворсинки ветоши, ожидал, что еще скажет Мацуев.

— Не знаю еще, какой ты механик, — сказал Мацуев. — А машину, видать, любишь. Уважаешь ее.

— Как не уважать, ежели кормит. Для меня машина — тот же человек, только железный и говорить не умеет.

— А как же! — сказал Мацуев. — Тот же человек... Ну а как с дизелем обращаться, я тебе на своем ЯАЗе покажу. Освоишь. Книжки, какие нужно, у меня возьмишь.

— Книжки есть у меня. С собою вожу.

— Ишь ты. Ну валяй, я тут еще покручусь. Может, какие запчастишки все-таки подберу для тебя. Завтра

приходи к восьми. А коменданту в общежитии скажешь: Мацуев, мол, просил пристроить пока. Не откажет.— Он помолчал, пошевелил мохнатыми толстыми бровями.— Жинка есть у тебя?

— Имеется, в одном экземпляре.

— Это хорошо. Жинку со временем вызовешь, ежели захочет она. Покамест в общегаге поживете, а там, может, и комнатка будет... Ты, часом, не из летунов?

— Был. Надоело.

— Ну, это самое верное. Это я и вижу.

Он протянул толстую растопыренную ладонь, в которой совсем спряталась сухая и жилистая рука Пронякина.

Тем же вечером он забрал свой чемодан и котомку из коттеджа — так называлась бревенчатая двухэтажная изба для приезжих — и перешел в общежитие — так назывался длиннейший дощатый барак с террасой и скамейками у крылечка, стоявший в длинном ряду таких же барачков.

В общежитии он пощупал простыни, покачался на пружинах койки и посыпал трещины в обоях порошком от клопов. Над изголовьем он приколотил полочку для мыла и бритвы, повесил круглое автомобильное зеркальце и по обеим сторонам его, с симметричным наклоном, фото Элины Быстрицкой и Брижит Бардо. За фотографии он тоже насыпал порошка от клопов.

Комната была на шестерых, но он застал лишь одного из соседей, который лежал поверх одеяла в комбинезоне, положив ноги в сапогах на табурет. Так спят обычно перед сменой. Сапоги распространяли жирный сырой запах тавота и глины, и Пронякин распахнул окно. Ему не нравилось, когда в комнате пахло работой.

Он решил написать жене, пока не вернулись соседи. Он вырвал листок из школьной тетради и, присев к столу, освещенному тусклой, засиженной мухами лампочкой, отодвинул обрывок газеты с огрызками кукурузы и мятой картофельной шелухой.

«Дорогая моя женулька! — вывел он с сильным наклоном влево и аккуратными закорючками. — Можешь считать, что уже устроился. Дали пока что старый МАЗ, двухосный, но я же с головой и руками, так что будет как новый, и прилично заработаю. Есть такая надежда, что и комнатешку дадут, хотя и здесь многие есть нуждающие. А я бы лично, если помнишь наш разговор на эту

тему, своей бы хаты начал добиваться. Хватит, намыкались мы у твоих родичей, и они над нами поизгилялись, хотя их тоже понять можно, так что хочется свое иметь, чтобы никакая собака не гавкала...»

Сосед зашевелился на койке и замычал. Должно быть, ему снилось плохое. Пронякин взглянул на часы и принялся его тормозить. Сосед открыл один глаз и уставился на Пронякина младенческим взором.

— Ты кто?

— Я-то? Ангел божий. Сосед твой. Гляди-кась, смену проспал.

Сосед посопел немного и меланхолично заметил:

— Ну и брешешь.

Он открыл второй глаз и, почмокав пухлыми со сна губами, приподнял наконец лохматую голову.

— Пошарь-ка в тумбочке, опохмелиться ребятишки не оставили?

— Сами выпили да ушли.

— Такого не может быть,— объявил сосед после некоторого раздумья.

— Значит, может, ежели так оно и было. А ты и без опохмела хорош будешь. Ветер нынче свежий, мигом развеет.

Сосед встал наконец на подкашивающиеся ноги и покачался из стороны в сторону, разгоняя сон.

— Тебя как звать-то? — спросил Пронякин.

— А тебя?

— Виктором.

— А меня Антоном. Будишь, а не знаешь, кто я и что я.

— Ты на чем работаешь? — спросил Пронякин. Он твердо знал, что тот не шофер, хотя и не мог бы объяснить, почему он это знает.

— На ЭКГе,— сказал Антон.— Машинистом,— ЭКГ-4 был экскаватор.— А ты у Мацуева?

— У него как будто. Ежели не прогонят.

— Ну, вместе будем,— сказал Антон.— Тебе сегодня не идти?

— Сегодня нет.

— Ну и гуляй. А чего тебе делать?

— Я и гуляю.

Антон засунул в карман полотенце и пошел в кухню, шаркая коваными сапогами. Пронякин подождал, пока заплескалась вода в кухне, и быстро открыл тумбочку.

Рядом со скатанным грязным свитером стояла початая четвертинка. Он стиснул зубы. Вот чего он боялся и что ненавидел, как может бояться и ненавидеть человек, уже однажды опускавшийся до последней степени и сумевший подняться невероятным усилием и который по-прежнему себе не доверяет. «Нет уж,— сказал он себе,— старое не случится, последний мужик будешь, ежели случится». Но он знал, что это может случиться, если кто-нибудь рядом, в одной с ним комнате, пьет. Он вынес четвертинку к окну и, перевернув ее горлышком вниз, злорадно слушал, как булькает внизу, в темноте.

Он поставил бутылку на место и принялся вновь за свое письмо: «...А перспективы, как я узнавал, здесь большие, со временем даже завод металлургический построят, поскольку руды, говорят, тут на тысячу лет хватит, а может, и больше, она тут до самого центра земли все тянется. И места хорошие. Конечно, с уральскими или сибирскими не сравнишь, но жить можно, и речка есть, рыбку помаленьку ловят...»

Антон вернулся посвежевший и причесанный по-модному. Он выглядел очень юно со своими сахарными зубами, волнистыми прядями и мальчишеской нетронутостью лица. Он подошел к тумбочке и, подумав, открыл ее.

— Гляди-ка, и в самом деле ни хрена не оставили. А?

Он посмотрел на Пронякина вдумчиво и подозрительно.

— Могу дыхнуть,— сказал Пронякин.

— Дыши на здоровье,— сказал Антон.— Комендант у нас любитель водку забирать. Только он с бутылкой забирает. Придется за печку прятать, что ли.

— Придется за печку.

— А не сгорит?

— Думаю, не сгорит,— сказал Пронякин.— Ну, может, так, немножко испаряться будет.

— А ты в шахматы играешь? — спросил Антон. Он обладал счастливой способностью быстро забывать свои огорчения.

— Нет, не играю.

— Давай сыграем,— сказал Антон. Он уже вытряхивал фигуры на стол.

— Опоздаешь ведь.

— Давай работай, больше проговоришь.

— Сказал же — не умею.

— А я, думаешь, умею?

Пронякин накрыл письмо тетрадью. Он уже понял, что так ему не отделаться. Фигуры были огромные, точно играли не люди, а самосвалы. Одной пешки не хватало, и Антон заменил ее куском бурого камня, синеватого на изломе.

— Это что? — спросил Пронякин.

— Руда, — ответил Антон. И первый пошел конем, хотя у него были черные.

Почему он начинал конем, трудно было понять. Должно быть, он ему нравился реальным сходством с лошадью.

Через минуту Пронякин взял у него этого коня и кусок руды, а еще через пятнадцать ходов, очень хитрых и достаточно примитивных, загнал короля в угол и принялся за свое письмо.

«...Ты шифоньер продай, чего за него держаться, а кровать никелированную мы и в Белгороде купим, себе же дороже везти. Но денег особенно не жалея, до Рудногорска лучше таксишника найми, а если компания подберется, то будет совсем недорого. И приезжай, не медли, а то я уже по тебе, честно, соскучился...»

Антон мучительно думал. Он еще не догадался, что уже получил мат.

— А вот так? — спросил он, с торжеством двигая ладью.

— Иди к богу в рай, — сказал Пронякин. — Припух ты давным-давно.

— Брешешь.

— Ну сиди, думай.

Но Антон не стал думать. Он поверил Пронякину на слово.

— А говорил — не умеешь. Чудак! Но ты мне все-таки нравишься.

— Ты мне тоже.

— А по новой? — спросил Антон.

— Иди к богу в рай.

Пронякин терпеливо ждал, когда он уйдет. Но он вернулся и просунул голову в дверь.

— На танцы пойдешь?

— Пойду, — нехотя отозвался Пронякин.

— В тумбочке у меня галстучек — девки прямо стонут. Только гляди, чтоб они его помадой не заляпали.

И ушел наконец, грохая сапожищами в коридоре.

«...Может, здесь-то и заживем, как мы с тобой мечта-

ли,— выводил Пронякин.— И все у нас будет, как у людей. Но и прошлую нашу жизнь забывать не будем. Жду тебя скоро и остаюсь уверенный в твоей любви любящий муж твой Пронякин Виктор».

Он заклеил письмо и, выйдя, опустил в ящик на фонарном столбе. Потом распаковал чемодан и оделся в темно-синий костюм, купленный проездом в Москве. Костюм сидел на нем неважно, но была сильная надежда на Антонов галстук, который и впрямь оказался выше всех ожиданий. Он зачесал назад свои длинные пряди, побрызгался «Шипром» и положил в кармашек, уголком вверх, надушенный платок. В зеркальце он увидел свой глаз, разрезанный несколько косо, смуглую твердую скулу и трудную складку возле широкого коричневого рта. Он никогда не задумывался, красив ли он, он хотел знать, выглядит ли он прилично.

Таким появился Пронякин на танцплощадке Рудногорска — на пятачке асфальта, шагов двадцати в диаметре, посреди огромного холмистого пустыря. Пустырь имел большое будущее, он находился в центре поселка и мог рассчитывать на звание главной площади города. Но покамест он был завален грудями щебня и дранки, заставлен штабелями кирпича и фанерными симметричными строениями известкового цвета, с необходимыми индексами «Ж» и «М». Проходя этим пустырем в полдень, когда по асфальту расхаживали гуси и козы и девочки играли в классы, Пронякин мог бы подумать, что здесь едва хватило бы места для двадцати пяти или тридцати танцующих пар. Но вечером, к его приходу, их было восемьдесят или сто, а парни и девчата все подходили из темноты с непреклонным намерением взять свое.

Он побродил вокруг да около и выбрал себе девушку, которую никто не приглашал. Это, впрочем, вполне сходилось с его правилами. Самых ярких следовало остерегаться, если ты вызвал к себе жену. В отъездах он позволял себе кое-что и помимо танцев, но там он и не боялся чужих языков.

— Протиснемся или с краешку? — спросил он ее.

— Мне все равно.

Но ей было не все равно. Ей хотелось протиснуться. Ей хотелось быть поближе к свету, чтоб ее видели с ним.

— Тогда протиснемся.— Он взял ее за руку, и они протискались и заняли случайно освободившийся вершок.— Так хорошо?

— Так хорошо.

Радиола сыграла бразильскую самбу и начала несравненную «Тишину». Пары пошли медленно и по кругу, и он тоже повел свою даму по кругу, крепко держа ее руку у запястья. Он не был уверен, что это нравится ей, но так, он видел, танцевали в Белгороде.

— Давно вы здесь? — спросил он, чтобы что-нибудь спросить. — Имею в виду: в Рудногорске.

— Не знаю. Мне кажется, очень давно. А на самом деле всего лишь третий месяц. Как видите, не с первого гвоздя, как любят здесь говорить.

— Понятно, — сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— И еще здесь любят говорить: «практически неисчерпаемо». Это — о руде. У вас еще будут какие-нибудь вопросы?

Ему не нравилось, что она все время щурится, улыбаясь. Как будто бы тусклый свет фонаря мог резать ей глаза. И лоб у нее был слишком высокий и выпуклый.

— Пока что не имею, — сказал он.

«Тишина» кончилась. Но пары не расходились. На «пяточке» становилось все теснее.

— Ничего не поделаешь, — сказала она, — вам придется весь вечер танцевать со мною. Нам уже не выбраться отсюда.

— Тогда уж познакомимся, Виктор.

— Маргарита. Но лучше зовите меня просто Ритой... Если вам это интересно, я немножко стесняюсь своего имени. Мне хотелось бы какое-нибудь простое-простое имя... Ну, не обязательно Глафира или Прасковья, но хотя бы Маша или Ольга.

— И так сойдет, — сказал он слегка насмешливо.

Радиола завела какой-то мексиканский фокстрот. Ребята — в клетчатых пиджаках, ковбойках и просто в майках — танцевали, энергично оттопыривая зад и при топывая одной ногой; лица у них были страдальчески-вдохновенные. Девчата посмеивались и переговаривались друг с другом. Они не принимали танец так близко к сердцу.

— Нравится вам здесь? — спросила она.

— Есть, пожалуй, где и повеселее.

— Не знаю. Я жила в Москве. Ну, еще в Ленинграде. Несколько раз в Артеке. Но это — в детстве, когда еще мама называла меня Марго.

Со всех сторон на них напирали, толкали, и невольно

она прижималась к нему низкой и мягкой грудью. Это было не очень приятно, потому что он совсем ничего к ней не чувствовал. И потом ему как-то трудно было представить себе ее в детстве.

— Девчонки наши воют: нет того, нет другого, безумно скучают по Москве. Но в конце концов для чего мы сюда приехали? Разве не для того, чтобы чувствовать себя участниками большого, настоящего дела? Разве это не радостно? Я им это каждый день говорю.

— А они что?

— А они? «Чувствуем, радостно, только в театр хочется». Или «на каток». Но это у них, конечно, пройдет. У меня это давно прошло. И мне здесь живется как-то окрыленно. Приятно ведь написать маме: «Мы уже прошли пласты сеноман-альба, апт-неокома, пробились к самому келловею».

— Что вы говорите! — вежливо изумился он. — Неужели к самому келловею?

— Что значит «к самому»? Уже давно штурмуем. А вы разве здесь недавно?

— Второй день.

— Вы, наверное, экскаваторщик? Или взрывник?

— Водитель. На самосвале.

— Ну, все равно. Вам тоже предстоит штурмовать келловейский пласт, пробивать окно в руду. Если б вы знали, как я вам завидую.

— А у вас, простите, какая специальность?

— Горнячка. Этой весной окончила институт. Но я работаю не на карьере. В рудоуправлении. Готовлю документацию к чертежам, всевозможные исходящие, если запрашивают Москва или Белгород. А они запрашивают чуть не каждый день. Не знаю, может быть, вам это покажется скучным. Но, наверное, моя работа нужна, если меня сюда поставили?

— Наверно, нужна... Даром же не поставят.

Радиола опять завела «Тишину».

— Нужно уметь во всем находить хорошее,— сказала она.— Вот посмотрите, кто-то повесил радио выше фонаря, и его в темноте не видно. Можно подумать, что музыка льется откуда-то с неба, правда?

Он посмотрел вверх. В конусе фонарного света бились ночные мотылки. Ночь была темна, ни одна звезда не пробивалась сквозь толстые облака, и едва достигал сюда свет дальних домов и барачков. Больше он ничего не

увидел и посмотрел на нее. Она была вся захвачена танцем и раскачивалась, задумчиво сощурясь и напевая. В нем шевельнулось что-то вроде восхищения, он хотел бы так уметь говорить, как она.

— Ничего пластиночка,— сказал он, кивая вверх.— Берет. Держит.

— К сожалению, это последняя. Уже одиннадцать, а наш радист очень пунктуален.

«Тишина» кончилась, и в громкоговорителе послышался щелчок. Но шарканье ног по асфальту еще продолжалось. Пары не расходились. Они танцевали без всякой музыки.

— Собака он, ваш радист, больше никто,— сказал Пронякин.— Меня б туда посадили, так я б до утра заводил. А почему нет, ежели народу хочется?

Она мягко улыбнулась, округляя губы.

— Мало ли чего нам хочется. Может быть, его ждет жена или еще кто-нибудь. Или он думает о тех, кому рано вставать на работу. Все ведь можно объяснить по-хорошему, правда?

— Что же он, лучше их знает, чего им надо? Инструкция у него, вот и закрывает лавочку.

Она опять улыбнулась ему.

— Боже, как вы мне напоминаете наших девчонок. Даже слова те же: «инструкция», «лавочка». И «вот я бы!», «вот мы бы!». Но разве можно скулить, жаловаться, если живешь среди таких людей?

— Каких же это?

— Ну, которые живут настоящим делом, делают его своими руками. Они иногда бывают грубыми; я видела, как они пьют, участвуют в драках, сквернословят. Но это потому, что им не приходит в голову взглянуть на себя. Сколько в них настоящего, рабочего благородства! И в вас оно есть.

— Черт его знает,— сказал он,— не замечал.

Но ему было приятно думать, что в нем есть благородство. Ему это как-то не приходило в голову.

— Есть,— сказала она убежденно.— И давайте потанцуем, как все. Без музыки. Ведь и в этом есть своя прелесть, правда?

Шарканье ног по асфальту все продолжалось. Шарканье и дробный разноголосый говор, в котором каждый не слышал соседа. Потом где-то близко, в темноте, пиликнула и заскрежетала гармошка.

Кто-то из парней неподалеку от них закричал:

— Миша пришел!.. Давай, Миша, наявивай!

И все закричали тоже:

— Сыпь, Миша, не жалеЙ!

— Миша, лучший друг, поработай. Чего тебе стоит!

— Мишенька, иди сюда, милый, мы тебе конфетку дадим...

Пронякин увидел Мишу. Он продвигался между парами ходом шахматного коня, раздвигая их костлявым плечом,— в черной бархатной курточке и необъятных брезентовых галифе, вправленных в кирзовые сапожищи. На голове у него блином сидела замасленная артиллерийская фуражка. Он растягивал и сжимал маленькую писклявую гармошку, как машина, заведенная на тысячу оборотов, и ухмылялся блаженно. Из-под Мишиных пальцев, корявых и заскорузлых, выходило что-то среднее между танцем лебедей и саратовской «матаней».

— Что это за тип? — спросил Пронякин.

— Это Миша,— сказала она.— Володя Хомяков за что-то прогнал его с карьера, и он теперь работает при бане. А мне жалко его. Он просто не нашел своего места в жизни.

Пронякин пожал плечами.

— Ну, положим, Володя Хомяков знает, кого выгнать, а кого принять.

Миша остановился как раз против них и смотрел в упор, улыбаясь слюнявой улыбкой. Двух передних зубов у него не было. Он раздирал гармошку, не останавливаясь ни на секунду.

— Эй ты, хмырь! — крикнул Пронякин.— Ты играй по-человечески! Понял?

— Гы! — сказал Миша.

— Ты еще что-нибудь умеешь играть?

— А как же! — сказал Миша. И заиграл то же самое, только громче.

Вдруг он заорал:

— Кралечку нашу затралили! Увести хотят!

Вокруг засмеялись. Должно быть, кому-то здесь Миша казался острословом. Но Пронякину вдруг очень захотелось украсить Мишин рот еще двумя щербинами. Он двинулся к Мише, мгновенно рассвирепев, но Рита удержала его, с неожиданной силой вцепившись в рукав.

— Не надо, не злитесь на него, мы лучше уйдем. Уже ведь поздно.

— И то правда,— сказал Пронякин, так же мгновенно остывая. Он почувствовал благодарность к ней. Хорошо бы он был, если бы связался с дурачком.

Не переставая наяривать, Миша кричал им вслед:

— Кралечку увели, я ж говорил! Держи вора-босы-ка-а-а!..

Впрочем, на него недолго обращали внимание. Танцующие пары двигались, шаркая, плотной массой по кругу. Пыль поднималась над ними и таяла в конусе фарного света.

— Провожу, что ли,— сказал Пронякин.

— Не нужно меня провожать,— сказала она быстро и как бы испуганно.— Я не хочу, чтоб вы думали, что мне это нужно. Ведь вы из приличия, правда?

Он не нашелся, что ответить. Он смотрел ей вслед и, когда она заслоняла тускло-оранжевый свет подъезда, видел, как она странно изгибается всем телом и как высоко держит голову. «И не споткнется,— подумал он, усмехаясь. Но в усмешке его было что-то вроде восхищения.— Наверно, и правда, бог таких бережет».

.. Она прошла весь грязный неровный пустырь, заваленный битым кирпичом и железным ломом, и, не оглянувшись, быстро исчезла в подъезде.

Соседи Пронякина уже спали мертвецким сном. Он встал на пороге, морщась от их разноголосого храпа и запахов — нефти, глины, сыромятной кожи и пота,— бивших в нос наповал. Натыкаясь на табуреты, путаясь в голенищах сапог, разбросанных по всей комнате, он пробрался к окну и распахнул форточку. Затем он разделся, аккуратно уложил костюм в бумажный чехол и вывесил на спинку кровати брезентовую робу.

Где-то близко по улице прошли гурьбой, хрустя по щепню, и голосами, оловянными и старательными — парней, звонкими и смеющимися — девчат, завели песню:

Забота у нас простая-а-а...
Забота наша такая...
Пошла бы руда большая —
И нету других забо-о-от!..
И снег и вете-е-ер...

Но «ветра» не вытянули и рассмеялись и пошли дальше.

Пронякин лежал и курил, медленно передумывая все события этих последних дней, с тех пор как он попрощался с женой на вокзале в Горьком, где она работала

буфетчицей, и уехал, оставив ее у родственников, чтобы оказаться здесь, в этой комнате, среди чужих. Папироса его выжигала зигзаги в темноте, петляла и возвращалась к его губам.

«Это все уже ненадолго,— думал Пронякин. «Это все» была комната с разохшимися обоями, запахами и храпами и его собственная неустроенность, которую он всегда чувствовал сильнее в разлуке с женой.— Это все уже ненадолго. Домик здесь займем; может, ссудой какой помогут. И чтоб все было в доме — холодильник, телевизор, мебель всякая. А со временем-то, может, и машинку свою заведем. Но это, впрочем, уже идиллия.— Этим словом он называл все несбыточное.— Это уже идиллия, известно же: сапожник всегда без сапог. А вот пацанов своих пора бы действительно заводить: ведь уж тридцать скоро, а женулке и того больше. Ей-то ребенка надо, аж кричит... Ничего, все будет. Только бы не споткнуться где. Не споткнуться бы. А там уж я сам себе свой. Лиха беда начало. А споткнуться можно очень даже просто, и тогда снова — ездай, ищи, жди...»

Он лежал, опустив руку с папиросой к полу, и слушал, как ветер гремит чем-то железным на крыше. Он заснул, и папироса погасла и выпала из его руки.

Мацуев действительно подобрал для него запчасти и положил их в кабину МАЗа. И каждую из этих прекрасных вещей Пронякин подержал в руках, неторопливо прикидывая, много ли это или мало и не сваял ли он дурака, взявшись за ремонт. Это был бы, конечно, неплохой комплект для всякой годной машины, но не для МАЗа, в котором, наверное, живого места не было. По-настоящему Пронякин еще не видел его, на то нужна была полная разборка, и от нее-то все зависело, потому что в конце концов не стыдно было бы и отказаться и поехать в другое место, где, быть может, повезет и дадут новую машину. Но это он только обманывал себя.

В тот же день МАЗ отбуксировали к смотровому люку, лебедка сняла с него платформу кузова, кабину и двигатель, приподняла раму, из-под которой слесари выкатили передний и задний мосты, и Пронякин, вооружась отвертками и ключами, принялся разбирать. К исходу второго дня он увидел свой МАЗ по-настоящему, когда уже и МАЗа-то не было, а была только груда частей,

узлов и деталей, едва уместившаяся на стендах. Тут он увидел все его раны, болячки и язвы, все сколы, забоины и трещины, все погнутости и вмятины и его святая святых — рабочие поверхности цилиндров, бывшие когда-то зеркальными, а теперь покрытые нагаром и пылью. Тогда он понял, что никуда не уйдет.

Он сел на бетонный пол в мастерской и горестно замотал головой.

— Ах, сука...

Ни черта он не понимал, тот, кто ездил на этой машине, а другие, кто понимал, пришли потом, и, конечно, им было уже не совестно «раздевать», растаскивать по кускам искалеченное существо, которому вряд ли воротись и жизнь, и прежнюю силу. Пронякин не стал распутывать концы, он просто пошел к тем, на кого намекнул Мацуев, и попросил их вернуть детали, снятые с его МАЗа. Одни вернули их, стыдливо и молча. Другие потребовали доказательств и хорошо, с большим чувством, посмеялись над ним. Впрочем, они легко соглашались на обмен.

Но ему покамест нечем было меняться, и он присмотрел и обшарил несколько автомобильных и экскаваторных свалок, где можно было кое-что разыскать, если не брезгать и ковыряться часами, разгребая щепкой мусор и гниль, и если потом отмыть детали в бензине, опилить заусеницы или сделать наплавку и отшлифовать на станке. Он оставлял себе то, что садилось впритирку, остальное шло в оборот и понемногу, по крохам, заполняло белобы в дефектной ведомости.

Понемногу и все эти шесть тонн металла, пластмасс и резины приобретали рабочий облик и благородный рассеянный блеск *деталей* — когда Пронякин и слесари убирали с них черную маслянистую грязь и нагар, когда смывали накипь в рубашке охлаждения едкой каустической содой и прочищали миллион отверстий, каналов и трубочек щетинным ершом или ветошью, намотанной на проволоку, когда заваривали крупные трещины сталью, а мелкие протравливали кислотой, а потом зашлифовывали абразивами и наждачной теркой, когда заливали изношенные втулки баббитом и вулканизировали мясистую резину камер.

И постепенно у него отлегло от сердца. МАЗ, конечно, не был такой машиной, которую под силу доконать самому ледащему портачу, и при всех его ранах и сса-

динах в нем далеко еще не было той глубокой усталости металла, которую и не заметишь снаружи и от которой единственное лекарство — переплавка.

Слесари в мастерской, наверное, чувствовали это. Наверное, это было у них в пальцах — умение видеть металл на ощупь и знать, что ты не работаешь зря и возвратишь ему прежнюю крепость. Они были чуточку склочные и в меру ленивые ребята, эти четверо слесарей, с большой склонностью к философии, которая размагничивает руки, потому что приходится ими махать. Но они все-таки что-то умели и не задавались этим; они очень быстро поняли, что он бы, пожалуй, мог обойтись и без них, а они без него — едва ли. И пожалуй, они не провернули бы всю эту адову работенку за неделю, если б он не торчал у них над душой и не подменял их во время затяжных перекуров.

Он приходил в автоколонну с первой сменой и вертелся до поздней ночи, убегая только на час — пообедать и пройти с Мацуевым очередной урок обращения с дизелем. Но наконец настал день, когда они прикатили оба моста и таль поставила на место кабину и собранный двигатель. Пронякин подвел к нему патрубок топливопровода и подсоединил электропроводку. Он хотел все сделать сам. Но руки у него неприлично дрожали, потому что этот момент был исполнен для него таинственности, и теперь уже слесари торчали у него над душой, рассуждая на тему: «Пойдет или не пойдет?»

Двигатель повернулся с поцелуйными звуками, потом заворчал и чихнул.

— Будь здоров! — сказал Пронякин. — Сейчас я тебя подкормлю.

Тогда он взревел, мгновенно окутавшись синим выхлопом, и Пронякин сел на пол, чтобы немного успокоиться.

— Куда ты торопишься, чудак? — спросил он и рассмеялся счастливым смехом. — Ты же еще не родился.

Но МАЗ уже родился. Он ревел, содрогаясь нетерпеливо, хотя еще был ободран и «не одет» и стоял всеми четырьмя ногами на домкратах и опорах. Ему хотелось на волю, и слесари, наверное, тоже поняли это; они пошли и открыли ворота пошире, и солнечный свет стеною встал на пороге, не в силах двинуться дальше, в темную и сырую глубину гаража. И все-таки МАЗ откликнул-

ся — вспыхнувшим блеском стали, меди и смазки и матовым сиянием белого чугуна.

Они оставили двигатель обкатываться и ушли в мастерскую, но время от времени Пронякин, сорвавшись с места, прибегал сюда и без конца что-нибудь регулировал. Он никак не мог сказать себе «хватит», он не мог наглядеться и наслушаться, хотя слесари уже посмеивались над ним. Теперь в сравнении с тем, что было сделано, оставались сушие пустяки. Оставалось собрать и поставить скаты, починить платформу и заклепать листовую сталью пробоины и ржавлины в кузове. Потом еще раздобыть дерматина и дратвы и цыганской иглой залатать сиденье. А напоследок он решил поставить новый спидометр, со счетчиком на нуле, чтобы он отсчитывал километры с первой его, Пронякина, ездки. И конечно, он должен был сделать его трехцветным, не как у всех, потому что, ей-богу же, «мазик» имел на это право — за все свои страдания.

Он купил несколько банок краски — густо-серой, темно-зеленой и черной — и выкрасил машину с великими трудами, сам заляпавшись с головы до ног. Рама у него была черная, а кузов серый — подумав, он нанес еще зеленую полосу, похожую на ватерлинию, — крылья тоже серые, и такие же ободья колес, только еще с зеленой каймой, а капот и кабина, наоборот, зеленые, с черными и серыми стремительными зигзагами. Высунув язык, он разглядывал свою работу. Теперь он узнал бы свой МАЗ среди тысячи других.

А все-таки чего-то еще недоставало. Он подумал, почесал в затылке и воял, чего недоставало. МАЗу недоставало теперь оловянных буйволов на капоте, великолепных барельефных буйволов, напруживших немислимо могучие загривки. Кто-то безжалостно содрал их, бог весть для чего, и Пронякин, конечно, не в силах был примириться с тем, что буйволов этих не будет. Это было бы чертовски обидно — выезжать на МАЗе без буйволов, когда у всех они есть. Этого никак нельзя было себе представить, и в конце концов его «мазик» тоже имел право носить на себе этих буйволов. Поэтому Пронякин отправился к «мазистам» и перенес контуры буйволов на промасленную бумагу, а потом вырезал их из листового дюрала и прикрепил к боковинам капота.

За этим занятием и застал его Мацуев, когда пришел принимать работу. Молча он обошел машину со всех сто-

рон, осмотрел силовую передачу и механизм кузова и слезил в кабину. Потом запустил двигатель и поднял капот. Он слушал, наклонив голову и помаргивая, как покупатель в магазине прослушивает пластинку. Пронякин смиренно стоял поодаль, чумазый и похудевший, но весь его вид говорил о том, что ездить на этой машине должен только он, и никто другой.

— Н-да,— сказал Мацуев.— В третьем цилиндре вроде как бы шумок у тебя лишний. Подрегулировать бы маленько форсунку, а?

«Шумок, говоришь? — подумал Пронякин.— Вот был бы тебе шумок, и не лишний, если бы не нашел дурака, как я. «Мазик»-то на твоей совести».

Но бригадир был бригадиром, поэтому Пронякин наложил ключ на винт регулятора и повернул его чуть влево, а потом — слегка заслонив рукавом — чуть вправо.

— Теперь хорош?

— Теперь другое дело.

— Может, на ходу попробуем? Хотя и не просох еще...

— Попробуем,— сказал Мацуев, закрывая капот.— Садись за руль.

Пронякин вывел МАЗ за ворота. Он вывел его прекрасно, потому что двери гаража были узковаты, а двор заставлен самосвалами, и он ни разу не ездил на таких тяжелых машинах, где ты сидишь непривычно высоко, точно на троне. Потом они повернули к дробильной фабрике, проехали мимо ее висячих галерей и ферм, мимо кассетного заводика, который делал бетонные панели для строительства поселка, и Пронякин попробовал МАЗ на всех его пяти передачах, покуда не уперся в закрытый шлагбаум железнодорожной ветки. Мацуев следил за ним краем глаза. На обратном пути они поменялись местами, и теперь уже Мацуев попробовал машину на всех пяти передачах, благо бетонка была пуста в этот час. Мацуев был добрый водитель, но не фейерверк, совсем не фейерверк. Он не родился шофером, он просто стал им, а мог бы стать и машинистом на паровозе и слесарем в мастерской.

— Педали у тебя легковаты,— сказал Мацуев, когда они въехали во двор.— Чуть тронешь, и уже слушается. Может, потуже бы сделал? А то как бы он тебя по случайности не послушался.

«Ну, это уж ты блажишь, папаша»,— подумал Пронякин и ответил коротко:

— Я так люблю.

— Ну, гляди сам,— охотно согласился Мацуев.— Тебе же ездить, не мне.

— Значит, ездить все-таки?

— А то как же! Твой МАЗ, чего и говорить. Теперь и отдел кадров препятствовать не посмеет. Да мы уж и так его уломали. Ты вот что, ступай-ка оформляйся до шести. Завтра медосмотр пройдешь и технику безопасности. А с понедельника, в первую смену, можешь и в карьер. Как раз и подсохнет машина. Ну и за ремонт я тебя, конечно, не обидел. Вали, получай.

Но Пронякин еще не сделал последнего жеста.

— Ну что ж, бригадир.— Он усмехнулся и щелкнул себя по шее чуть пониже уха.— Обмыть надо «мазик». Ты меня не обидел, я тебя уважу. А?

— Ни-ни,— сказал Мацуев.— У нас это, понимаешь, не заведено, чтобы подносить бригадиру из получки.

— Какая же это получка? Это ж за ремонт. Можно сказать, с неба вместе с «мазиком» свалились.

— Все равно,— вздохнул Мацуев.— Прознают, понимаешь, а бригада пока что без срывов. Ни на работе, ни в личном быту. Вот какая история.

— Понимаю,— сказал Пронякин.— Третья заповедь. «Не пей сам, пой ближнего».

У Мацуева затряслись плечи и заколыхалась грудь. Толстые лохматые брови поползли вверх, открывая острые слезящиеся глазки. Так Мацуев смеялся.

— А пивка?— спросил Пронякин.— Все же культурно!

Мацуев перестал смеяться.

— Насчет пивка — это культурно. Это можно. Только один я не пойду, ты уж всю бригаду приглашай.

— А я и приглашаю. В лице бригадира. Все чинненько. В воскресный день. Пиво, закусь, то да се. Культурненько. Только где?

— В «зверинце», где же.

— Принято!

«Зверинцем» именовался в Рудногорске стандартный торговый павильон типа «Фрукты — овощи», отделанный дюралевыми панелями и железной кроватной сеткой. Задняя дверь его, куда обычно ходит продавец и вносятся ящики с товаром, была, наоборот, парадной, и вся

полезная площадь принадлежала посетителям — не считая угла, где стояли фанерный ларек и бочки. Здесь пили подолгу и говорили «за жизнь», роняя пивную пену на земляной пол, который в дождливые дни превращался в тягучее, смачно чавкающее месиво. Здесь сводились счета — очень немудреные счета, стоимостью в два-три хороших удара по скуле, которые, однако, выполнялись в замедленном темпе и в несколько приемов, с беззубыми угрозами и маханием кулаками — до и после драки, иногда и вместо нее. Впрочем, особенно резвиться здесь никому не давали и разводили обыкновенно на второй минуте.

В один из солнечных дней поздней осени сюда придет гусеничный кран и, вздев эту клетку на высоту в три человеческих роста, перенесет на рыночную площадь для использования по прямому назначению. Зрелище будет веселым и чуть печальным, как всегда, когда кончается одна эпоха и наступает другая; и сам крановщик пропустит по этому случаю две последние кружки. Но в то холодное воскресенье «зверинец» еще стоял на прежнем месте, между столовой и строящейся трехэтажной гостиницей, и деятельно служил страждущим в роли стоячей забегаловки.

Пронякин пришел сюда королем, помахивая сотенными, в окружении всей бригады. На пустыре подле «зверинца» паслись бульдозеры и самосвалы, в самом павильоне было тесно и полутемно, и у ларька плотно группировались комбинезоны и ватники. Но Федька Маковозов, юноша как раз под потолок «зверинца», немедленно заработал мощными локтями, а Прохор Меняйло, Косичкин и Гена Выхристюк — «Гена Выхристюк из Мелитополя», как отрекомендовался он Пронякину — тут же начали собирать гроздьями порожние кружки. Антон завладел бочкой и вызвался помогать продавщице. Это было куда реальнее, чем занимать очередь.

Завсегдатаи «зверинца» не преминули заметить:

— Мацуевцы гулять собрались! Что-то вас давно не видали.

Мацуев выставил вперед растопыренную ладонь.

— Мы и выпиваем, — сказал Мацуев, — и дело знаем.

— А жинка про то знает? — спросил парень в черном беретике и с полосами тельняшки в отвороте комбинезона.

— А ты поди доложи. Она хоть и женщина, а пони-

мает: раз человек уважение хочет сделать бригаде, тут уж не откажешься.

— Так бы и говорил,— согласился парень в беретике, и остальные посторонились.

По живому коридору Пронякин прошел к ларьку и уперся в широкую спину Федыки. Федька повернулся к нему. На румяном губастом лице было разочарование.

— «Столичной», говорит, нема. И «Особой» тоже нема.

— А что «ма»?

— Пиво и шампанское. Пошли к гастроному? Что же ты, «мазика» шампанским будешь обмывать?

— Шампанское — это культурно,— сказал Пронякин. Он сунул голову в окошко и увидел пухлую зачуханную девицу в нестираной диадеме.— Девушка, нас тут семеро. Сделайте нам на все.

— Чего на все? — Она тупо смотрела на сотенные.— Не понимаю, чего вы хотите.

«Конечно, не понимаешь,— согласился он про себя.— Жenuлька б, та мигом поняла. И всем было б хорошо, и ей было б хорошо, и комар бы носа не подточил. Эх, сколько народу не на своем месте сидит!»

— По бутылке шампанского на персону. Закусь, я думаю, сообразишь сама? Сдачи чтоб не было, ясно?

Она сообщила наконец и выдала им гору соленых баранок и синевато-малиновой колбасы с ломтями черного хлеба. Пивные кружки переходили от одного к другому.

И на том его миссия кончилась, теперь ему самое верное было скромно молчать, и слушать, и смотреть, как они пьют шампанское из пивных кружек. Кажется, они остались довольны. Один только Федька подошел к нему и, разглядывая вино на свет, глубокомысленно заметил:

— Ты знаешь, Витя, мы совершили большую ошибку. Взяли шампанское, а оно теплое. И какой нужно быть необразованной халявой, чтобы торговать теплым шампанским!

Пронякин молча кивнул. Он умел понимать тонкости этикета. Если тебя упрекнули в том, в чем ты не виноват, значит, ты безупречен.

Он стоял, потягивая не спеша из кружки, и думал о том, что его первый шаг удался и притом обошелся ему сравнительно дешево. Покажи себя сразу — это он твер-

до усвоил за свою жизнь, которая казалась ему достаточно долгой,— это легче и проще, чем показывать потом, когда мнение о тебе сложилось и, чтоб изменить его, ты должен будешь прыгнуть выше головы.

На другое утро он шел с ними в автоколонну, как свой, неторопливо и молча, как они. А молчали они потому, что знали друг друга давно и хорошо.

Он сел в кабину и попробовал двигатель на малых оборотах. Двигатель завелся сразу, и стук был ровный и мягкий, одинаковый во всех четырех цилиндрах. Один за другим взреывали ЯАЗы. Они выезжали по одному справа и выстраивались на бетонке в кильватер. Ветер завивал пыль на обочине, и Пронякин поднял стекла кабины.

Подошел Мацуев и приложился лицом к стеклу. Он улыбался слегка заговорщицки.

— Как, жив? — спросил он.

— Порядочек! — ответил Пронякин.

— Ну валяй,— сказал Мацуев.

— Ага,— сказал Пронякин.

Он ехал последним в своей бригаде и на поворотах видел всю колонну. Самосвалы двигались, как танки, в свирепом рычании и в черном дыму, не ходко, но непреклонно. Казалось, ничто не остановит их. Но то один, то другой из них останавливался, если человек на обочине поднимал руку. В это время другие самосвалы обгоняли их, и перестроиться на узкой бетонке уже не удавалось. «Впредь буду сажать у базы,— заметил для себя Пронякин,— чтобы уже ехать с полной кабиной». Он был из тех шоферов, которые и мысли не допускают, чтобы отказать голосующему, но он не хотел, чтобы его из-за этого обгоняли.

Лес остался позади, за ним промелькнула контора, яблони, и, не сбавляя хода, колонна вошла в карьер. Он стремительно раздвигался в прорези выездной траншеи и вдруг хлынул весь в глаза и в уши, чуть затуманенный и плоский, как горы на горизонте, и скрежещущий, лязгающий, ревущий. Колонна распалась на отдельные группы машин, которые поползли, петляя, к своим экскаваторам, стоявшим на разных уровнях. Пронякин спустился шестым к своему, стоявшему в самом низу, в свинцово-голубоватой выемке, и чувствовал странное волнение, хотя он знал и не такие дороги. И все же это не помешало ему заметить, как невыгодно подъезжать

шестым. Он должен был дожидаться своей очереди, не выключая двигателя и не выходя из кабины, чтобы размяться, и время от времени подтягивать машину к экскаватору на один интервал.

Антон в своей остекленной кабине был весь на виду и безостановочно двигал рычагами.

— А, новенький! — приветствовал он Пронякина, сверкая сахарными зубами. Сбившаяся светлая прядь падала ему на лоб, уже вспотевший и розовый.

— Новенький, — сказал Пронякин, вылезая из кабины. — Только машина у меня старенькая. Так что гляди, сосед, сыпь по-божески. Понял? Чтобы и тебе было и мне.

— Сколько надо, столько и насыплю, — сказал Антон. — Не бойся, не обижу. Подставляйся!

Пронякин «подставился» и снова вылез — так полагось по инструкции, на тот случай, если машинист промахнется и заденет ковшом по кабине, — и стал наблюдать, как тяжелый ковш, опускаясь, качается над его машиной, готовой закряхтеть и грузно осесть на рессоры. Ковш покачался и замер на мгновение. Его нижняя челюсть вдруг отвалилась бессильно, и грунт посыпался с тугим грохотом. Машина осела слегка. Но Антон не сразу отвел стрелу, он задрал ее выше, чтобы высыпать еще несколько пудов глины, приставшей к закраинам стенок.

— Есть у тебя совесть, Антон? — закричал Пронякин, впрочем, только так, для порядка.

— А как же, — сказал Антон и дал длинный гудок. — Не вякай под руку, отъезжай.

Пронякин сел и, не закрывая дверцу, чтобы смотреть назад и под колеса, повел машину к выезду из карьера. Так он начал свой первый рейс.

К выезду вели метров семьдесят ухабистой дороги, проложенной по камню, по глине и песку, и затем песчаная разноцветная лента, извивающаяся по крутостям склона. Где-то на верхних горизонтах она переходила в бетонку. Перед глазами Пронякина маячил темно-зеленый ЯАЗ Федьки Маковозова. И потому, что он слышал Федькин двигатель сквозь шум своего, Пронякин понял, что его МАЗ идет несравненно легче и что есть шанс немедленно «ободрать» Федьку. Сантиметр за сантиметром он подбирался к Федьке и наконец поравнялся. Федька что-то напевал с набитым ртом, откусывая от черной

краюхи, и, увидев рядом лицо Пронякина, весело подмигнул. Затем на его лице — всегда полусонном, с вывернутыми губами и помидорным румянцем — отразилось беспокойство. Рука незаметно упала с баранки вниз, машина взревела и окуталась дымом, но это уже не помогло ей догнать уходящего Пронякина.

Пронякин оглянулся и сделал Федыке ручкой. Федыка сердито шевелил губами за ветровым стеклом и сверлил пальцем висок.

— Мне же двадцать две ездки... — так же беззвучно объяснил Пронякин и показал на пальцах.

Федыка хлопнул по лбу ладонью и показал вниз, на обрыв. Тогда Пронякин все понял. Он обгонял на таком участке дороги, где Федыкина машина оказывалась с краю. Он сделал извиняющееся лицо и сбавил обороты, пропуская Федыку вперед. Но тут Федыка и вовсе расшвирипел и, высунувшись чуть не до пояса, заорал:

— Куда ты пятишься, дура?! Куда? Уж ободрал, так не осаживай! Пшел вперед, в бога душу...

Пронякин усмехнулся и легко оставил его позади.

Теперь перед ним покачивался и прыгал номер БЕА 13-48. Но он еще не запомнил всех номеров и, лишь зайдя сбоку, узнал по сварному шву на кузове машину Косичкина. Он был самым опытным в бригаде, этот морщинистый и желтолицый, как старый японец, Косичкин. За глаза его так и называли — «японец». И всегда он был чем-нибудь недоволен. Здесь, на руднике, ему не нравилось. Не нравилось — и все. Собственный ЯАЗ ему не нравился. И шампанское ему тоже не нравилось, хотя он выпил все до капли. А нравилось ему вспоминать, как он служил на пожарной машине в маленьком городишке под Харьковом, и как его знал весь городишко, и что это была за работа. Раз в сутки он мчался как угорелый и показывал свой первый класс, а в остальное время лежал под машиной, приладив руки веревочной петлей к подмоторной раме, и спал. Или предавался размышлениям. Все проходившие мимо думали, что он там что-нибудь починяет, и изумлялись его трудолюбию. И еще, как он похвалился в «зверинце», за всю жизнь он не задавил даже курицы. Но вот нелегкая однажды вытащила его из-под машины и привела на этот карьер. И держит здесь, хотя ему все не нравится.

Пронякин подобрался к нему вплотную и стал обходить, повторяя свой маневр. Он увидел недовольно смор-

щенный лоб Косичкина, точно у того болел живот, и, сделав виноватое лицо, слегка осадил назад.

— Но-но-но! — закричал Косичкин и погрозил согнутым пальцем. — Ишь, закаруселил, циркач! Не на бульваре гарцуешь. С дамочкой. Шагом марш вперед, если тебе нравится.

— Слушаюсь, — сказал Пронякин.

— А будешь гарцевать, молодой человек... — начал Косичкин наставительно, но так Пронякин и не узнал, что станет с ним, если он будет гарцевать.

На втором витке дороги он достал Прохора Меняйло. Тот сидел, откинувшись, возложив на баранку худые ширококостные руки и вперив вдаль озабоченный взгляд. У него были нестерпимо голубые глаза курянина. А за ухом торчала папираса. Неизвестно было, когда он ее выкуривает, но она всегда торчала у него за ухом. И всегда он был молчалив и сумрачен, и вертикальная складка резала его лоб с глубокими залысинами. Впрочем, Пронякин его понимал. Когда у тебя трое ребятишек и беременная жена, это располагает к глубокому размышлению.

Пронякин стал обгонять, оглядываясь, спрашивая глазами, и Меняйло так же молча кивнул.

Чем выше, тем ровней и положе становилась дорога, и Пронякин, уверенно прибавив скорости, стал догонять Гену Выхристюка. Гена из Мелитополя почему-то нервничал. Он вихлял кормой и то и дело высовывался, отчаянно вертя стриженной головой на тонкой шее. Пронякин не знал, с какого боку к нему подступить. Он посигналил Гене, тот рассмеялся в ответ и выпустил из-под кормы шлейф дыма. Иссиня-черные клубы окутали кабину МАЗа. Пронякин тоже рассмеялся и выругался, но осаживать не стал. На его счастье, по деревянной лестнице с третьего горизонта на второй спускалась женщина в синей стеганке, с малиновой папкой под мышкой. Должно быть, она принесла ее из конторы кому-нибудь из инженеров. Она остановилась, пропуская машины, и ее загорелые колени оказались как раз на уровне Выхристюковых глаз. Гена моментально исчез в кабине, и тотчас заскрежетали тормоза. Пронякин чудом на него не налетел.

— Эй, куряночка! — закричал Выхристюк, высовываясь до пояса. Он оставил пиджак в кабине, и на нем поверх свитера зеленели подтяжки. — Садись, подвезу!

Он смотрел на нее с обожанием. Она тоже смотрела на него, кусая губы, чтобы не рассмеяться, и прихлопывавая раздуваемую ветром юбку.

— Садись, а то ножки заболят! — сказал Гена заботливо и хрипло. — Ай-ай-ай, такие ножки и вдруг — заболят!

Остального Пронякин уже не видел. Опомнившись, Гена закричал ему вслед:

— Ты что? Ты куда? Ты почему?!

«И чего шумят, спрашивается? — удивился Пронякин. — Знают же, что мне никак нельзя без обгона, и — шумят. Хотя, конечно, их тоже понять можно. Неприятно, когда обгоняют. Я бы и сам, наверное, пошумел».

Дальше пошла бетонка; Пронякин еще прибавил скорости и наконец его латаный и чиненый МАЗ подкрался к первому самосвалу в бригаде. Первым шел Мацуев, и покуда Пронякин решил его не обгонять. Он шел чуть сзади и сбоку, стараясь все время видеть тяжелый подбородок и скулу водителя, но тут сам Мацуев, обернувшись, заулыбался и сделал приглашающий жест — проходи!

Несколько секунд Пронякин делал вид, что не понимает его, и все так же почтительно шел на треть корпуса позади. Тогда Мацуев высунулся и крикнул:

— Чего топчешься? Проходи, тебе же больше всех надо!

Он ничего такого не имел в виду, он просто хотел сказать, что Пронякин на своей легкой машине, бравшей один ковш грунта, должен сделать на семь ездов больше, чем они на своих тяжелых, бравших по два ковша. Пронякин же понял его по-своему и усмехнулся.

— Не будем спорить, папаша, — пробормотал он громко в своей кабине, — кому больше надо, тебе или мне. А вот как я их сделаю, лишние-то семь ездов? Что бы ты мне насчет этого посоветовал, а?

Он увеличил подачу топлива до предела и на полной скорости прошел выездную траншею и участок перед конторой, обгнав еще три или четыре машины, которые возили грунт с верхних горизонтов. Затем дорога круто поворачивала к отвалу. Это была настоящая бетонка, с частыми температурными швами, которые увеличивали сцепление, и достаточно широкая даже для трех машин в ряд. Люди этой дорогой не ходили, а машины двигались с большими интервалами, и он мог маневрировать, резко

забирая влево, а при случае рискнуть и на двойной обгон.

Его руки и ступни делали свое дело, а мозг работал отдельно от них, спокойно и четко. Здесь, решил он, будет главный его козырь, на этих трех километрах он сможет обгонять по десять, а потом, быть может, и по двадцать машин в рейс. Если он выиграл гонку с трехосными ЯАЗами на дороге вверх, тогда ему и карты в руки на ровной прямой, где два ковша говорят свое веское слово, а лишняя ось уже не имеет значения. Теперь следовало подумать, что можно выиграть на отвале.

Вскрышную породу сбрасывали в глубокий овраг с крутыми склонами, поросшими блеклой травой. На дне оврага росли невырубленные березы и старый орешник; верхушки их едва достигали края помоста, на который задним ходом въезжали машины, и, когда сыпался грунт, слышны были треск ветвей и шорох сминаемой листвы. Он видел, как туго приходится этим деревьям, которым уже не суждено было пробиться сквозь толщу грунта. Но думал он не об этом.

Короткий кузов его машины поднимался ничуть не быстрее, чем у ЯАЗов, и, кроме того, он не имел скоса на заднем борту, поэтому его приходилось поднимать выше. Правда, задний борт у него откидывался, но из-за этого нужно было дважды выходить из кабины — сначала открыть щеколду борта, затем вернуться в кабину, чтобы поднять и опустить кузов, затем снова идти закрывать щеколду и только после этого трогаться в путь. МАЗ был из первых выпусков, когда еще не придумали шарнирный запор с продольной тягой и рукояткой возле самой кабины, и Пронякин терял на этом три минуты — почти столько же, сколько выигрывал в гонке. Он хотел наверстать эти минуты на обратном пути, но порожний он уже не имел преимущества перед порожними ЯАЗами.

И все же в очереди у экскаватора он был уже не шестым, а третьим. Чтобы скоротать время, которое томило его и казалось ему совсем пустым, он занялся расчетами. Итак, он выигрывает по три машины в рейс. Большого он, пожалуй, сегодня не добьется. И это значит, что он едва вытянет норму. А больше обгонять негде — на спуске в карьер это запрещалось строго-настрого. Во всем виновата была дурацкая щеколда.

Делая вторую, третью, четвертую, пятую ездки, он

старался не думать о щеколде. Он хотел добиться покамест самого главного, что необходимо любому водителю, если он делает один и тот же рейс,— приладиться к дороге. Так, чтобы чувствовать по малейшему наклону кабины, не заглядывая под колесо, как изменяется профиль дороги и где выгоднее сбросить скорость, или перейти на другую передачу, или выжать из машины все, на что она способна.

Он мог бы довериться глазомеру и контролировать себя по цвету горизонтов: сначала серо-голубой, испачканный бурой пылью слой келловейских песков и глин, затем слои обычной коричневой глины, белый пласт известняка, желтая толща песков и, наконец, серый слой, понемногу темнеющий ближе к чернозему поверхности.

Можно было, конечно, и так, но на третьей ездке у него зарябило в глазах. Глаза уставали прежде всего, лучше было положиться на память мускулов, и он избрал для себя только один зрительный ориентир — те две яблони, что росли у конторы. Они обозначали конец этой дьявольской дороги вверх над обрывом. Сворачивая в траншею, он видел их острые верхушки, которые понемногу сливались в одну густую крону и наконец вновь раздваивались тонкими стройными стволами.

— А вот и мы,— говорил он этим яблоням, и его глаза отдыхали на них. Затем он переключал скорость.— Ну, теперь пошел главный козырь!

И все же щеколда не давала ему покоя. Только из-за нее он не добрал до нормы трех ездок, хотя он не давал себе ни минуты отдыха и пот катил градом по его лицу. Напряжение, с которым идет машина, всегда передается водителю, и чем лучше он ее знает, тем сильнее передаются ему ее усталость и боль.

Он страдал оттого, что в очереди у экскаватора нельзя выключить двигатель и дать отдохнуть ему и себе. Каждые полторы минуты он должен был подтягивать машину на один интервал. Он никак не мог научиться делать это автоматически. К тому же водители ЯАЗов могли не вылезать из кабин, хотя инструкция и предписывала это. Помимо инструкций у них еще был прочный козырек кузова над головой, который защитил бы их, если бы машинист промахнулся и ударил ковшом по кабине. В конце концов и Пронякин плюнул бы и не стал вылезать, но раза два Антон насыпал ему груз не по центру кузова, ЯАЗы не так боялись перекося, ко-

торый к тому же можно было исправить вторым ковшем,— Пронякину приходилось вываливать груз и становиться опять в хвост очереди. Подниматься же с перекошенным кузовом было и мучительно и опасно. Бешено выругавшись, он погрозил Антону, но тот ухмыльнулся.

Он хотел наверстать недобор за счет перерыва — еда у него была с собой,— но в этот час карьером завладели взрывники, и сирена выгнала всех наверх.

Он возвращался в гараж усталый, разбитый и злой. И, въехав во двор, долго сидел в кабине, закрыв глаза, хотя ему нужно было осмотреть и помыть машину, подкачать баллоны, заправиться маслом и соляжкой и слить в ведро черный вязкий отстой из топливных фильтров.

— Ты что сумной какой? — спросил Мацуев.— Соляжки надышался? Стекла опускай. И вылезь почаше.

Пронякин не слышал его. Он ступил наземь и зашатался. Он думал о проклятой щеколде.

Утром он подобрал на стройке тонкостенную водопроводную трубу и протянул ее на проволочных кольцах вдоль борта, соединив с левой щеколдой. Правой он решил пренебречь, пока еще чего-нибудь не придумает. Штанга была укреплена так, что он мог открывать и закрывать задний борт, вылезая лишь на подножку. Это уже было достижением.

В тот день он попробовал свое изобретение. Подъезжая к отвалу, он лихо разворачивался и ехал накатом к оврагу, одновременно поднимая кузов. Затем он вылезал на подножку. Вся штука была в том, чтобы грунт посыпался как раз в тот момент, когда задние колеса упрутся в ограждающее бревно на краю помоста, и к этому времени уже отстегнуть щеколду, и сидеть в кабине, и не прозевать едва ощутимый толчок, и вовремя выжать тормоз. В первый раз он едва не свалился в овраг, во второй — затормозил слишком рано, и только в четвертый или пятый его нервы и мускулы не проспали толчка и стали понемногу привыкать. Теперь он мог закрывать щеколду и, на ходу опуская кузов, трогаться в путь. На всем этом он уже выигрывал полторы минуты.

Затем ему пришло в голову, что он может отправляться в путь и закрывать щеколду одновременно. Он даже рассмеялся и обозвал себя трижды дураком за то, что эта мысль не пришла к нему сразу. И вот он давал корот-

кую прогазовку и включал полную скорость, а потом вылезал на подножку орудовать штангой. Он висел, держась одной рукой за борт, спиной к движению, а другой рукой яростно дергая и поворачивая штангу, а в это время машина набирала ход. Если бы он свалился случайно, машина пошла бы дальше и, пожалуй, наделала бы делов. Но он об этом не думал. И не слишком обращал внимание, когда встречные шоферы, полным ходом подъезжавшие к отвалу, бледнели и чертыхались, быстренько сворачивая в сторону. В конце концов им же не приходилось вылезать на подножку. Им же не приходилось делать лишних семь ездов. И к тому же он был уверен, что страшного ничего не случится: эти восемьдесят или сто метров машина шла по широкой площадке, укатанной и расчищенной для разворотов. Когда машина выходила на дорогу, он уже сидел за рулем.

Несколько раз это сходило Пронякину даром. Но ближе к концу смены, когда водители уже начали уставать, один из них резко застопорил, став поперек пути, и принялся обкладывать Пронякина последними словами. Он ругался равнодушно и сипло, время от времени устало закрывая глаза, не обращая внимания на пробку, которая понемногу нарастала, и на отчаянные сигналы у него за спиной.

Он сразу кончил ругаться, как только подъехал по обочине Мацуев.

— Это твой, что ли, такой шустрый? — спросил нервный водитель, указывая на Пронякина согнутым заскоружлым пальцем.

— Ну, из моей бригады. А ты чего разошелся?

— Чистый циркач! — сказал нервный водитель с некоторым восхищением. — Что они у тебя, все такие? С глазами на затылке.

— Ты езжай, — нахмурился Мацуев. — Сами разберемся, где у кого глаза.

— Вот я и говорю — сразу и не разберешься. — Он успокоился и отъехал, и за ним проехали остальные.

— Ты поосторожнее все-таки, Виктор, — посоветовал Мацуев. — Это он психанул, конечно, но и ты тоже... Не дразни людей понапрасну.

— Я на него наехал? — спросил Пронякин запальчиво.

— Не наехал, а мог бы.

— Вот когда наеду, тогда пускай и психует.

Мацуев не ответил и спрятал глазки под насу-
пленными бровями. Двигатель у него взревел.

— Хотел бы я знать,— крикнул Пронякин,— как бы я
иначе сделал лишних семь ездов? Виноват я, что у вас
такие дурацкие нормы?

— Нормы не я устанавливаю,— сказал Мацуев и отъ-
ехал.

Пронякин сплюнул на обочину и поехал тоже, круто
набирая скорость. Он не мог и не хотел думать о том,
чтобы смириться и отдать то, чего он уже достиг.

В этот день он все-таки вытянул норму и даже сделал
две ездки сверх нее.

Это было еще не то, о чем он мечтал, но он знал, что
остальное решат другие минуты, которые он непременно
выиграет тоже, если сумеет форсировать двигатель, если
приучит Антона не валять дурака и насыпать ему груз по
центру кузова и если все-таки рискнет раз-другой обо-
гнать кого-нибудь на спуске.

— А ты, как я погляжу, лихой! — сказал ему Мацуев,
когда они почистили и помыли свои машины и поставили
их в гараж. Он сказал это не то осуждающе, не то вос-
хищенно.— Ездишь, как бог, всех обдираешь.

— Тем и живем,— ответил Пронякин, медленно воз-
вращаясь от своих мыслей.— Не возражаешь?

— Ишь ты,— сказал Мацуев, не улыбаясь.

Остальные промолчали, искоса поглядев на Проня-
кина. Они медленно брели в поселок по бетонке, на ко-
торую уже легли оранжевые пятна заката.

Поселок лежал на холме, за мостком, брошенным че-
рез крохотную, заблудившуюся в камышах речушку. Он
был точно кем-то аккуратно впечатан, вместе с разно-
цветной коростой крыш, в обширную бугристую лысину
посреди молодого леса. Над крышами летали голуби,
где-то, ровняя новую улицу, стрекотал бульдозер, и пред-
вечерними голосами перекликались женщины, звавшие
детей.

— Я жить никому не мешаю,— сказал Пронякин по-
лушутя, полусерьезно.— Каждый может, как я. Разве
нет? А не может, кто ж ему, бедному, виноват?

Что-то исчезло из тех, первых, минут знакомства
с ними. Он не любил, когда это исчезает слишком быстро.

— Оно так,— неопределенно ответил Мацуев.—
А все-таки, ежели кой-кто невзлюбит, не опасаясь?

Пронякин вдруг ясно увидел себя, как он круто сво-

рачивает у них перед носом, а вслед ему несутся гудки и ругань. Конечно, он заставлял их нервничать. Особенно когда висел на подножке, повернувшись лицом назад.

— Ничего, прилажусь,— сказал он устало и примирительно.— Никто в обиде не будет.

— Поскорей бы,— усмехнулся Мацуев.— А то ненароком сшибешь кого или сам в кювет угодишь.

— Мне же хуже.

— А отвечать? — спросил Мацуев.— Папа римский? Мацуев будет отвечать.

Они перепрыгнули канаву и пошли лесной тропинкой, срезая поворот. Листья кустов подрагивали от ветра. По этой тропинке, широкой и вытоптанной до твердости асфальта, ходили на рудник и летом и зимой. Она уже забыла, когда на ней росла трава, но ветки кустов были целы, хотя люди постоянно задевали их.

— Вот когда я в пожарной команде служил...— начал вдруг Косичкин.

— Слыхали,— сказал Федька.— Руки привязывал?

— И совсем про другое. Был, значит, начальник у нас... Михаил Денисич... Взял, идиот, и выиграл «Москвича». Про него даже в газете написали: «гр. Эм Де Семенов, обладатель крупного выигрыша, явился в наш магазин». Слава, конечно. Но, между прочим, на следующей неделе я его в больницу отвез. Раз это у него на спидометре сто сорок написано, значит, он тебе должен такую скорость всему городу продемонстрировать. Иначе зачем же ему «Москвич»? И в газете зачем писали? Ну и, понятное дело, на столб налетел. Мне-то, конечно, нетрудно в больницу свезти. Пожалуйста, с дорогой душой! Но почему же обязательно на столб? Разве нельзя так, чтобы, например, столб у тебя справа стоит, а ты его объезжаешь слева? Или наоборот.

— Что ты плетешь? — спросил Федька.

— Я не плету,— обиделся Косичкин. Желтое лицо его потемнело от возмущения.— Ты шкет против меня, понял? Как ты можешь мне грубить?

— Да при чем тут столб?

— Сам ты столб. Я не про столб. Я про жизнь. Столбов много, а жизнь одна. Я в войну генерала возил — очень храбрый такой был у меня генерал, Героя получил за Днепр. И сам я тоже был малый шухерной, не то что теперь, мне тогда и двадцати не было. А все же, как налет или так что-нибудь побрякивает, так мы с ним, пони-

маешь ли, в щельку спрячемся и — дышим. «Петя, говорит, очень я жизнь люблю и тебе советую». Н-да, но под Веной все-таки убило его... Вот, вот, гляди, ящерка побегла. Ать, стервоза, как извивается! Думаешь, она жить не хочет? Хочешь, а? — спросил он ящерицу.

Маленькая зеленая ящерица взлезла ветвистыми лапками на сучок и замерла. Едва заметно пульсировала ее чешуйчатая салатная шейка. Косичкин выпрямился и шагнул к ней. Она тотчас юркнула в сухие листья.

— Нервная, — сказал Косичкин. — Но, между прочим, хвост она тебе спокойненько отдаст. Ей красоты не жалко. Второй-то у нее похуже будет. Н-да, ловко это природа придумала, а? А вот и не очень. Второй хвост она ей придумала, а вторую жизнь — нет... Вот оно как, дорогой мой Витя.

— А он-то при чем? — спросил Выхристюк.

— Он знает, — сказал Косичкин. — Он водитель добрый, а что ни дальше, то все лучше будет. А вот сегодня я его чуть не обругал, даже самому противно стало. Ну ладно бы я еще пешего дуралея ругал, а то ведь своего же брата шофера. Это уже драма. Тут, Витя, есть о чем подумать. Ты хочешь работать физицки напряженно? Я тебя понимаю, сам был молодой. Ну и работай физицки напряженно, только на крыле не виси, когда тебе самое верное в кабинке сидеть да глядеть в оба. Себе же спокойнее будет и другим. Потому — что такое шофер? Целый день — сплошные нервы.

Солнце опускалось все ниже и вдруг сошло за деревья. Лес наполнился длинными тенями и солнечным туманом, за которым не видно стало поселка. Но выше были удивительно ясно видны порозовевшие облака и узкая фиолетовая полоска неба. Лес как-то сразу притих, и стал слышен шорох шагов.

— Красотища какая! — вздохнул Выхристюк. Он искренне страдал и морщил лоб в продолжение всего разговора, который был ему явно в тягость. — И дышится легко-легко. Так бы всю жизнь дышал, аж до самой смерти!

— Нравится? — спросил Косичкин. — А зачем же тогда с ума-то сходить? «Руда! Руда!» Ну, что же руда? Оно, конечно, всякому приятней железо возить, чем пустую породу. Вот и в человеке оно есть, железо, уж не помню, сколько-то процентов. А все-таки зачем же нервничать? Если, скажем, предназначено ей, рудишке-

то, в пятницу появиться, так она же все равно в понедельник тебе не покажется. Ну и ради бога! Неужели же из-за этого жизнь себе портить? Вот врачи говорят: один день нервности целый месяц жизни у человека отнимает.

— Это ты все глупости говоришь,— вдруг сказал Меняйло.— А для чего же мы тут живем? Для чего город строится? Чтобы мы в песочке копались? Вся страна, можно сказать, руду эту ожидает. Вот и Хомяков говорит, мы покамест без отдачи живем. Потому и артисты к нам не ездят. И кино самые вшивые привозят. И правильно. Государство деньги вкладывает, а мы ему покамест шиш даем.

— Это ты к чему, Проша? — унылым голосом спросил Выхристюк.

— А к тому, что всем легче будет, когда руда пойдет. Мне вот дружок из-под Курска, с Михайловского карьера, пишет — сразу легче стало, как пошла руда. И кино, и артисты, и масло в магазине, и мануфактуры всякой навезли. Потому что с отдачей стали жить. А Витьке, понимаешь, на это наплевать. Ему бы ездок побольше сделать, заработать.

— А ты почему знаешь? — спросил Пронякин.

Меняйло угрюмо смотрел себе под ноги. Он уже сказал, вероятно, самую длинную тираду в своей жизни, и теперь ему трудно было что-нибудь из себя выдавить. Но он все-таки выдал:

— Ты бы другим не мешал.

Лес кончился, и тропинка опять вывела их на бетонку.

— Торопишься ты, Виктор,— сказал Мацуев.— Я вот тут с первого гвоздя, в палатке с женой и дочками жил. Да и другие, кого я знаю, не сразу к ним все приходило. А ты хочешь, чтоб сразу все. Нет уж, погоди, присмотрятся к тебе, соли пудика три съедят с тобою, а тогда уж и претендуй.

Дальше они шли молча. Федька, посвистывая толстыми губами, хлопал веткой по перилам мостка. Выхристюк сбегал вниз умыться и вернулся с примоченным чубиком и обрызганной грудью. И опять страдальчески сморщился.

Молча они поднялись на взгорок и пошли широкой, давно обжитой улицей, мимо огородов и палисадников, где росли подсолнухи, помидоры и розовые кусты.

У дома Мацуева они остановились. На улице пахло

пылью, привядшей картофельной ботвой и гусиным пометом. Дом Мацуева стоял за реденьким голубым забором, в глубине палисадника, весь в зарослях граммофончиков и плюща. На красной крыше вертелся флюгер и высилась Т-образная антенна, по которой бродила парочка турманов.

— Эх, хлопцы,— сказал мечтательно Выхристюк,— жить бы нам всем на одной улице. Пришел домой— душа радуется. Часик порадовался,— пошел, например, к Меняйло пешком через забор— козла забить. Или, скажем, к Федыке— магнитофончик послушать. Музыка самая модерн. И чтоб девочки были красивые.

Мацуев молча усмехнулся и стал протягивать всем толстую растопыренную ладонь.

— Так-то вот,— сказал он Пронякину, который засмотрелся на его дом.

— Ладно, бригадир,— нехотя протянул Федыка.— Кончай нотацию. Витька все это учтет. Верно?

— Давно учел,— сдерживаясь, ответил Пронякин.

— Ну а раз так, самое бы время сейчас в «зверинчик» сползать. И чтоб больше ни слова!

— В честь чего бы это? — спросил Мацуев.

— А в честь чего бы и не пойти? — спросил Федыка.

На крыльцо вышла жена Мацуева, очень смуглая и дородная и, как многие здешние женщины, в платочке, низко надвинутом на лоб, хотя солнце уже зашло. Должно быть, она только что спала.

— Подышать, гляжу, вышли, Татьяна Никитишна? — спросил Федыка, галантно приподнимая кепку.— Вечер добрый!

— Добрый,— сказала жена Мацуева.— Ты и сам-то, гляжу, не злой. Куда это уговариваешь идти?

— Заседаньице б надо провести. По обмену опытом.

— А! — сказала жена Мацуева.— А то у меня насточка есть, на смороде. Зашли бы да обменялись в приличном помещении, чем в «зверинце» этом срамиться.

— Вот это женщина! — восхитился Федыка.— Вас бы, Татьяна Никитишна, на руках бы носить.

Федыка первый откинул калитку и двинулся, пританцовывая, по высокой бетонированной дорожке, между кустами черной смородины и крыжовника.

— Торопись, хлопцы, пока Татьяна Никитишна не передумала!

Вышло так, что Пронякина никто не пригласил. А он

был новенький, он ни разу не был в этом доме, где все они побывали, наверное, не раз, и ему полагалось особое приглашение — это он знал твердо. К тому же они видели, как он помедлил за калиткой, и ни один не позвал его, не спросил: «А ты чего?»

С нелепой, приклеившейся к лицу улыбкой он повернулся и пошел дальше, к своему общежитию, по улице, странно опустевшей в этот час.

Он ждал, они спохватятся и позовут его, и приготовился долго отнекиваться. Но они не спохватились и не позвали.

«Так,— подумал он,— наступил, значит, на мозоль. Думали, его тащить надо, растить кадр, а он вон он, уже воспитанный, и всем носы готов поутирать. Перепугались!»

В глубине души он допускал, что это не совсем так, но обида была сильнее его, потому что он не знал толком, кого же, в сущности, винить. Кого винить, если слишком рано обнаруживается твое желание вырваться вперед, и при этом никто почему-то не подозревает за тобой высоких материй. Про других говорят: «Этот работага что надо!», а про тебя: «Этот из кожи лезет за деньгой», хотя и ты и другие делают, в сущности, одно и то же! На лице, что ли, у тебя это написано? Но чем твое лицо хуже, чем у Мацуева? У Меняйло? У Выхристюка? Какой секрет они знают, которого не дано знать тебе?

Весь вечер он слонялся, не зная, куда себя девать. Он поплелся было на «пяточок» но как-то не мог найти себе девицу по вкусу и вернулся в комнату, где проиграл подряд три партии торжествующему Антону, и, спрятав костюм, рано улегся спать.

«Может быть,— медленно думал он и курил,— надо было б собраться вместе да сказать им: «Вот, хлопцы, тут у меня, чувствую, узкое место, да и у вас тоже, а ведь можно кое-что и сделать, баки другим бригадам забить». Да, можно и так, только им от меня почина не хочется. Вон они как взвились из-за двух-то лишних ездов.. Не нравится, сами-то насилу до нормы дотягивают. А я-то при чем?»

Он долго ворочался ночью, не в силах уснуть. Он слушал, как поет ветер и где-то далеко гремит гроза, и думал о том, что, если суждено его жизни измениться, пусть это будет быстрее и больнее, если так нужно.

«Пусть думают, что хотят. Я им не нанялся в подмастерьях ходить, в учениках. Я в армии на вездеходах ездил, на Ай-Петри экскурсантов возил, а там не такие дороги, и то с ветерком, бывало... Мне заработать нужно, жизнь обстроить, обставить, как у людей. Тогда пожалуйста, тогда я тебе и десять норм бесплатно отработаю. А то вот ты понервничал — это относилось и к Мацуеву, и к Федьке, и, вероятно, ко всей бригаде целиком, — а потом домой пришел, жена тебя встречает, не жена, а сдоба калорийная, и дом у тебя — гастроном с универмагом, и мотоцикл, наверное, в сарайчике стоит. А мне почему валяться по чужим углам, слушать чужую храпотню?.. Не-ет, я себе жилы вытяну и на кулак намотаю, а выбьюсь. А потом я тоже добренький буду, не хуже тебя. Понял?»

Последнее слово вырвалось вслух, невольно для него. На соседней койке приподнялась лохматая голова Антона, и хрипый сырой голос спросил:

— Ты что, партию, что ли, переигрываешь? Ферзей ходи, не ошибешься.

— Спи давай.

— Чокнулся человек, — сказала голова замирающим голосом и опустилась на подушку. — Доигрался...

Пронякин, стиснув зубы, повернулся к стене. И решил сразу и бесповоротно: «По-своему жить буду. Так-то лучше. Наряд закроют, тогда посчитаемся, кто кого лучше».

С тем он и заснул, со злорадной усмешкой на жестком, обтянутом смуглой кожей лице.

Небо нависло над гаражами, плоское и беспросветно серое. Задранные кузова машин, казалось, на метр не достают до него. На стенках кабин, на ручках и оловянных медведях, потерявших свой блеск, выпала бисерная роса.

Пронякин, с ватником на одном плече, прошел к своей машине. Он сбросил ватник на сиденье и запустил двигатель. Затем вышел и, открыв капот, протянул ладони над двигателем. Ему было приятно стоять на сыром холоде и греть руки и знать, что в кабине тепло. Рядом, сумрачный и, должно быть, не проспавшийся после вчерашнего, возился Федька.

— Утро доброе, — сказал Пронякин. — Ну как, хмельно было вчера?

Федька ухмыльнулся полусонно и посмотрел на него, точно впервые увидел.

— А ты чего удрал-то?

— А что, заметно было? — спросил Пронякин и пожал плечом. Ему хотелось показать, что он ничуть не обижен и что они все же обидели его.

— Чудак ты, — сказал Федька.

— Честное слово?

Федька помолчал и спросил:

— Фигурную отвертку дашь?

— Чего спрашиваешь? Бери.

— Хотя не надо, — сказал Федька. — Простая возьмет... А ты все-таки чудак.

Гена Выхристюк, почесывая за ухом, прислушивался к двигателю. Цилиндры работали с неравномерным металлическим стуком, и выхлоп был густой и черный, как бывает, когда засоряются отверстия в распылителях форсунок. Гена страдальчески морщил лоб. Косичкин, с блуждающей на лице тревогой, тоже вслушивался в его двигатель. Меняйло суровым и неподвижным взором уставился на медведя, отирая руки промасленными концами. Мацуев искоса поглядел на Пронякина и сунул голову под задранный капот.

От гаража Пронякин ехал последним. Он мог обойти их перед карьером, но не хотел пока что мозолить им глаза. Все равно он возьмет свое с первой же ездки. «И черта с два меня тогда прижмешь, — подумал он спокойно и беззлобно. — Руки будут коротки. Главное-то было прилепиться, а уж не отлепиться я как-нибудь сумею».

Он сделал три ездки и стал делать четвертую, когда вдруг начало моросить. Он увидел дрожащие извилистые потеки на запотевшем стекле, и у него упало сердце. «Теперь все, — сказал он себе. — Теперь они тебя на трехосных обдерут запросто». Но, подъехав к карьере, он с удивлением разглядел всех своих на пустыре у выездной траншеи. Они как будто и не собирались возвращаться в карьер. Самосвалы выстраивались в шеренгу, сминая траву облепленными глиной скалами.

Пронякин остановился и высунулся под мелкий дождь.

— Неужто опять взрывать собрались?

— Дождик, не видишь? — сказал Федька. Он выта-

шил из-под кабины лопату и стал соскребывать рыжую глину с покрышек.

— Ну и что — дождик?

Мацуев, не глядя на него, вытянул руку вперед и пошевелил толстыми пальцами.

— А то, что не потянет машина по мокрому. Вылазь, загорать будем.

— И долго?

— Про это в небесной канцелярии спроси.

— Ну а посыпать чем-нибудь нельзя? Гравием, щебнем. Пес его знает чем, хоть солью.

— Посыпали. Не помогает. Сам же глины с нижних горизонтов навезешь.

— Так,— сказал Пронякин.— Так. Значит, активировать будем день? Как бы вроде по бюллетеню?

— Значит, активировать,— сказал Мацуев.— Пятьдесят процентов гарантированных — твои.

— Выходит, двадцать один рублик.

— Выходит, так.

Пронякин поставил свой МАЗ последним в ряду и надел ватник. Он стоял у дороги и тупо смотрел, как подходят самосвалы других бригад. Молчаливые, угрюмые водители ставили машины во второй, в третий, в четвертый ряд и вылезали, заглушив двигатель. С этой минуты дождь переставал для них существовать. Он был страшен только машинам, грозным, свирепым машинам, этот мелкий, как стая мошки, дождик.

Пронякин медленно побрел к конторе. Последние самосвалы поднимались из карьера, тяжело урча и буксуя, и виляли задом, как гарцующие жеребцы. А на крыльце конторы одни уже забивали козла, а другие молча жевали, расправив газеты с кусками хлеба и колбасы или с крутыми голубоватыми яйцами и помидорами, уставясь в грязь перед собою пустым, неподвижным взглядом.

— Присаживайся,— сказал Мацуев.— Ничего, привыкай.

— Я привыкаю,— ответил Пронякин.

Он сидел, сгорбившись, сунув руки под ватник, на лбу у него пролегла напряженная складка. Мацуев поднялся и отсел к игрокам. Они стучали костяшками по мокрым доскам крыльца и негромко покрикивали:

— Братцы, я мимо.

— Ну и балда. Ты тоже мимо?

Палец звучно скрипел по сырому дереву.

— Наш заход. Дуплюсь с обоих концов.

— Тюря, гляди, с чего идешь. Ты чувствуешь, с чем я остался?

«И что меня сюда занесло? — думал Пронякин. — Сколько ни ездил, по каким дорогам, по глине, и на диффер садился, и в студеной степи с заглохшим мотором сидел. И никогда я не думал, что такой паскудный дождишко может меня остановить. Пропашее место выбрал ты себе, Пронякин. Чувствуешь, с чем ты остался?»

Дверь конторы открылась, и вышел начальник карьера. Соломенный брыль сидел на нем набекрень, и синий заношенный плащ был короток: из рукавов едва не по локоть торчали худые руки с тяжелыми кистями. Щеки и горло начальника с острым кадыком заросли темной щетиной.

«Должно, обещался не бриться, пока руда не пойдет», — решил Пронякин. Начальник смотрел на дождь, помаргивая и зябко ежась.

— Ну что, товарищи козлы, — спросил он, — стучим помаленьку?

Игроки взглянули на него снизу, и кто-то ответил:

— Чего же еще остается?

— Да, конечно, — вздохнул Хомяков. — Больше нечего.

— Последние деньки достукиваем. Как достанем руду, там уж не постучишь.

Хомяков усмехнулся.

— Как же, достанешь с вами. Чуть что, вы уже и размокаете.

— А это уж вы зазря, Владимир Сергенч, — сказал Мацуев, повернув к себе обе ладони с костяшками. Они совсем спрятались в его ладонях, и он разглядывал их, оттопыривая губу. — Разве ж мы одни размокаем? В Лебедях-то, наверно, тоже булькали. Да и на Михайловском.

— Что верно, то верно, — сказал Хомяков. — В Лебедях я сам на часах засекал: пять минут дождик — и размокает.

— Ну так чего ж? — спросил Мацуев. Он говорил с неуловимым превосходством старшего, который, однако, подчиняется мальчишке. — У нас-то все-таки глыбже. И глина не та. И карьер узковат. Еще хорошо, ежели эта история на неделю. А ну как на весь октябрь зарядит?

— Не зарядит,—убежденно сказал Хомяков.— Метеорологи обещают чудесный месяц. А там и до морозов рукой подать.

— Подать, да не очень. А метеорологам верь! Они всегда чудеса обещают. В сентябре вон тоже погоду обещали.

Хомяков помолчал и сошел с крыльца.

— Белгород звонит,—сказал он.— Спрашивают: «У вас хоть одна бригада работает?»

— Рыба!—сказал Мацуев игрокам.— Считайте.

Костяшки торопливо застучали. Хомяков, подняв голову, смотрел в пустынное небо.

— Чудаки!—сказал он, дернув худым плечом.— Что может сделать одна бригада? Для газеты им нужно, что ли?

— А вы бы им, Владимир Сергеич, в окошко посоветовали глянуть. Над ними, видать, не каплет. Не знают, что тут у нас творится. Колеса буксуют. Глина. Дороги крутые. Кто ж может заставить?

— Заставить, конечно, никого нельзя,—вздыхнул Хомяков.— И все это, друг мой Мацуев, очень прескверно. Пойти, что ли, к слесарям на водоотлив, как там у них...

— Сходите,—посоветовал Мацуев.— Только не одни там в Белгороде болельщики. Мы тоже как-нибудь за это дело болеем...

Хомяков нерешительно двинулся по грязи, широко разнося длинные ноги в забрызганных брюках и баскетбольных кедах. Плащ свисал с его лопаток, как с вешалки. Затем он остановился.

— Мацуев, слушай-ка, все-таки как только кончится, не засиживайтесь. Договорились?

— Мы-то не засидимся,—пообещал Мацуев. И добавил, понизив голос:— Заявл парнишка на корню. Нервничает. Да оно и понятно, своей-то руды не было у него еще, только в институте про нее учил. А в институтах чему их там обучают? Не разбери-пойми...

Дождик поморосил еще час и перестал. Проглянуло скупое матовое солнце. Но пришлось ждать еще два часа, пока не высохла глина в карьере, и в этот день ни одна бригада не выполнила и половины нормы.

Так было и назавтра, и день за днем повторялось с унылой точностью расписания. Комариная морось, пленкой покрывавшая глину, не позволяла людям пробить окно в руду. Она оставляла им для этого слишком

редкие часы. Пронякину она позволяла делать две или три, от силы четыре лишние ездки, и когда через неделю выдали зарплату, он получил меньше всех, потому что должен был сделать больше.

Он стиснул деньги побелевшими пальцами, мысленно грозя кулаком хмурому, слезящемуся небу. Если б он верил в бога, он обратился бы к нему с упреком, но так как он не верил в бога, он выругал его на чем свет стоит. И пошел один в поселок мокрой бетонкой и через капаящий лес, спотыкаясь в промозглом тумане.

В этот вечер он нашел на подушке письмо от жены. Он повалился на койку как был — в резиновых сапогах и ватнике, — чего никогда с ним не случалось, и, жуя папиросу, наискось разорвал конверт.

«Витенька, дорогой ты мой, — писала жена крупными детскими буквами, падающими в конце строки. — Уж не знаю, как мне тебя благодарить, что не забыл, прислал известие. А то отец психует, и мамаша с ним теперь заодно, говорят: твой от тебя сбежал, загулял там, поди другую нашел. Ищи и ты, говорят, себе другого, пока не поздно. Уж очень ты им поперек горла. А кого мне искать, я же знаю, ты и погуляешь, а меня все-таки не позабудешь. Потому что вместе многое пережито. Витенька, я так за тебя рада, за твои успехи, не за себя уже. Хоть ты и говоришь, что я еще ничего, но ты ведь еще молодой совсем, тебе пожить хочется, погулять, и кто же тебя за это упрекнуть может? Витенька, я все сделаю, как ты велишь, вот только напарнице все передам, она у меня толковая. И кровать с шифоньером, конечно, продам, чего же за них держаться, и приеду к тебе, конечно, Витенька. Куда же мне еще, как не к тебе?..»

Больше он не стал читать. Он закинул руку с письмом за голову, и курил, и слушал, как шумит гроза.

Сколько ни жил Пронякин на свете и сколько ни колесил, он ни разу не видел таких гроз, какие по ночам бушевали здесь, над магнитными массивами курских аномалий, когда небо, взорванное густыми и сочными, ветвистыми молниями, становилось ослепительно белым на несколько долгих мгновений, так что можно было разыскать в грязи наперсток, а от репродуктора, который забыли выключить, разлетались длинные серебристые искры. И грохот грома был долое, точно под-

жигали с конца пороховой заряд в несколько верст длиною.

Он докурил папиросу и швырнул ее за кровать. Потом сбросил ноги на пол и сел, расстегивая на груди ватник.

— Давай, что ли? — сказал он Антону.

— Чего давай? — спросил Антон. Он лежал на койке и читал «И один в поле воин».

— Выпьем, — сказал Пронякин. — Есть у тебя? Или сползаем?

— Ты что? Ты серьезно?

— Ага...

— Нет, ты на самом деле?

— Ну сказал же тебе...

— Значит, больше выливать не будешь? — спросил Антон.

— Больше не буду, — ответил Пронякин. — Давно заметил?

— В первый день. Чудак ты, комендант нас не обижает. Он тут с нами и сам выпивал.

— Ладно, — сказал Пронякин. — Не прячь теперь.

— Не буду, Витя. Только ты не надейся, особенно мы тебе загулять не дадим. В меру, понял?

— Хорошо, в меру. Наливай...

Водка булькала, и он сморщился, представив себе ее знакомый керосиновый вкус.

— Постой, — сказал Антон. — А ты с чего это вдруг? Что тебя точит? Жинка тебе чего-нибудь написала?

— Написала, что очень любит.

— А... — сказал Антон и внимательно, долго смотрел на Пронякина. — Тогда за твою жинку. Только учти, больше одного стакана за жинку не пьют.

— Ладно, — сказал Пронякин. — Поехали.

Он давно не пил и захмелел быстро. Он и хотел захмелеть, чтобы скорее уснуть. И он не слышал, как Антон стащил с него сапоги и одежду и уложил под одеяло. Но поздней ночью он проснулся от неожиданной тишины и понял, что гроза кончилась. Где-то на краю поселка прокукарекал петух. Пронякин поднес к глазам руку со светящимися часами: было половина второго. «Не иначе как распогодится завтра, — подумал он. — А то с чего бы ему горло драть?»

Он прислушался к часам. Они не остановились, они стучали, хотя он забыл их завести.

Старожилы юного Рудногорска вспоминают, что утро в тот день было солнечное и с редкими облаками.

Пронякин успел сделать четыре ездки и стал делать пятую. Поднимаясь из карьера, он весело балагурил сам с собою и пел что-то невразумительное, когда вдруг увидел крупные капли на ветровом стекле. У него оячь упало сердце. Он прибавил ходу и помчался к отвалу и там опять воевал со щеколдой, вися на подножке и не слыша ругани, которой обкладывали его встречные водители, бледневшие и сворачивавшие в сторону. Он спешил сделать хотя бы еще один рейс.

Но на обратном пути тень большой тучи легла перед ним на дорогу, и, подъезжая к карьеру, он увидел на пустыре несколько машин.

— Шабаш, значит? — спросил он у Федыки.

— Шабаш, — подтвердил Федька. — Впервой, что ли. Вылазь, позагораем.

— А экскаваторы? — спросил Пронякин. — Работают?

Он спросил это просто так, он еще ничего не решил.

— А что машинистам-то? Им не ездить.

Пронякин мгновение помолчал. Он слушал, как ровно шумит двигатель и как тяжелые капли барабанят в пустом кузове. Потом он потянулся к рычагу скоростей и медленно убрал ногу с педали сцепления.

— Куда ты? — заорал Федька.

— Сделаю покамест одну ездку, — ответил Пронякин, не оборачиваясь. — А там поглядим.

— А чего глядеть-то?

Федька шел рядом с машиной.

— Ты едешь со мной, что ли?

— Что ты, я машины своей не губитель. И себе не губитель. И тебе бы тоже не советовал...

Все вдруг осталось позади. Пронякин спускался вниз по бетонке, уже покрывшейся прозрачным лаком. Навстречу ему выезжали последние машины, и карьер быстро пустел. Лишь стрекотал одинокий бульдозер да взрывники колдовали у своих буровых станков, напоминающих треноги зенитных пулеметов. Его МАЗ был единственной машиной, которая в этот час въезжала в карьер.

С колотящимся сердцем он прошел два витка, миновал опасное место у рыжего глиняного пласта, где крупные комья обрушились со склона и завалили пол-

ширины дороги, и стал, плавно заворачивая, спускаться к свинцово-голубым массивам келловей. Экскаватор стоял в знакомом забое, совсем расплывшийся в кисее дождя. Поодаль маячила согбенная фигура Антона. Он тащил, взвалив на плечо, толстые, черные, лоснящиеся провода. Должно быть, он готовился, отключить моторы.

— Насыпай, что ли! — крикнул Пронякин, останавливаясь прямо против ковша.

Антон все тащил свои провода.

— Ты не оглох ли часом?

— А ты часом не сдурел? — спросил Антон.

— Не замечаю.

— А дождик замечаешь?

— И дождик не замечаю.

Антон сбросил провода на землю и молча, внимательно посмотрел на Пронякина. Затем легко вспрыгнул на гусеницу и исчез в будке. Пронякин ждал, когда он выйдет. Но он показался у пульта, за мокрыми стеклами.

— А что тебе Мацуев запоем? — спросил Антон.

— Арию Хозе из оперы Бизе.

— А ты ему что, Витя?

— Не знаю, — сказал Пронякин. — Не придумал. Наверное, «Тишину».

Антон постучал себе пальцем по лбу и уронил руки на рычаги. Экскаватор повернулся, дергаясь, и стрела пошла к груде породы.

— Рекорд ставишь? — спросил Антон, не переставая следить за ковшом. Никогда он так внимательно не следил, чтобы грунт сыпался по центру кузова.

— Ага, — сказал Пронякин. — Индивидуальный.

— Валяй, доказывай. Только гляди: не докажешь — разгружайся где-нибудь подальше. Моторы не отключать?

Пронякин секунду помедлил.

— Не отключай покамест. Я еще вернусь.

Струйки дождя изморщили склон и пересекали дорогу. Но колеса не буксовали — он чувствовал это по шуму двигателя. Они не боялись воды, они боялись размокшей глины. Медленно, ощущая каждый оборот колеса, он прошел второй горизонт, и третий, и оттуда увидел весь карьер, затканый туманной сетью. Антон вышел из будки и, задрвав голову, провожал его глазами. Пронякин помахал ему рукой, но тот не ответил. Взрывники, оставив свои станки, тоже смотрели на Пронякина.

У рыжего пласта двигатель вдруг зачастил, как на холостом ходу, и комья глины, на которые смотрел Пронякин, вдруг замерли и поползли от него вверх, и он понял, что катит вниз юзом.

— Н-но, дура! — сказал он сквозь зубы и, быстро включив задний ход, сам покатил вниз, плавно притормаживая двигателем и постепенно возвращая себе власть над дорогой. — Так-то лучше, — сказал он, когда машина остановилась, и, вытерев лоб рукавом, снова послал машину вперед, вверх, выжимая и выжимая педаль подачи топлива.

Комья рыжей глины снова ползли под колеса, а потом перестали ползти, и двигатель взревел от ярости, которая передалась ему от водителя. Всей своей мощностью он держал машину на месте, не отдавая ни сантиметра дороги, затем понемногу начал отвоевывать сантиметр за сантиметром, пока машина не пошла вперед, наращивая ход.

Пронякин посмотрел вниз. Антон и взрывники по-прежнему стояли неподвижно и смотрели на него. Он помахал им рукой, тогда они задвигались и разошлись. На пятом горизонте дорога стала положе, здесь ничего опасного не было, просто немножко узко, и нужно было держаться поближе к склону и не смотреть вниз. Он отвернулся и стал смотреть на откос, изборожденный ручейками, ожидая, когда он кончится и покажутся верхушки яблонь.

В конце выездной траншеи он увидел нескольких шоферов. Он сделал улыбающееся лицо и выставил руку вперед, на ветер. Но они не ответили на его улыбку. И кто-то из них свистнул.

— Так! — сказал он громко самому себе. — Значит, так теперь? Ну хорошо!

Он провел по лицу ладонью, точно стирая горячую краску, и, поворачивая к отвалу, спросил себя:

— А ты чего хотел? Не любишь?

Дорога стремительно летела под колеса, и по тому, какой узкой она вдруг стала, он догадался, что идет с полной скоростью. «Вот так бы всегда ездить, — подумал он. — Никто не мешает!» Он подумал об этом без горечи, хотя свист еще стоял у него в ушах. Просто он любил ездить, не приноравливаясь к другим. Никто не пылил перед ним, не дымил в глаза, и впервые за эти дни он разглядел зеленое поле травы за обочинами, ли-

ловую пашню далеко за оврагом и крохотную деревушку, лепившуюся на холме, среди густых садов.

Но кто-то шел навстречу, какая-то женщина плелась посередине дороги, прикрывая лицо от косого мокрого ветра брезентовым дождевиком. «Учетчица, верно, сбегает...» — решил Пронякин. Деревенские женщины не осмеливались так ходить по рудничным дорогам.

В нем шевельнулась привычная злость к дуракам пешеходам. Он тихо притормозил и подождал со злорадством, пока она не ткнулась плечом в радиатор. Она вскрикнула и шархнулась, открывая лицо.

— Больно? — спросил он участливо.

— Дурак! — сказала она. Лицо у нее было мокрое.

— Не лайся. Давай в кабину.

— Чего я в твоей кабинке не видела? Я в контору иду.

— А кто на отвале вместо тебя?

— Никто не вместо меня. Чего мне там сидеть, раз никто не ездит.

— Я вот езжу, — сказал Пронякин.

— А ты чего едешь? Тебя дождик не касается?

— Нет, — сказал он и помотал головой. — Меня не касается.

Она тоскливо посмотрела назад, на дорогу.

— Ладно, — усмехнулся он, — ступай в контору. Кто-нибудь мои ездки запишет.

Но она неожиданно вскарабкалась к нему в кабину и взгромоздилась на высокое сиденье, как усаживаются дети.

— Чего уж там, запишу. Может, ты рекорд какой ставишь. Только руками не тово, — предупредила она равнодушно.

— Нужна ты мне очень, — сказал он, косясь на круглое ее колено, и, потянувшись, прихлопнул дверцу.

Лакированная дорога опять бежала под колеса. Он повернул зеркальце и увидел нежную пушистую округлость щеки и печальные, выгоревшие на солнце ресницы.

— Где-то я тебя видел.

— А конечно, видел. Я ж воду на точке продавала около конторы. И я тебя видела. Все чистую пьют, по шесть стаканов, а с сиропом никто почти. А ты сразу два.

— А! — Теперь и он вспомнил ее.— Что же ты, бросила свою точку?

— Я с Манькой Ключкиной поменялась. Надоело ей на отвале сидеть. Все упрашивала, ребенок у нее, ну вот я и согласилась.

— Что же тебе, интересно ездки наши записывать? Она повела плечом и вздохнула.

— Крестики ставишь? — спросил он насмешливо.

— Не-а. Галочки.

— Великое дело! А Манька, значит, воду продает?

— А Манька воду.

— И не жалеешь, что поменялась?

— А что за нее держаться, за воду-то? Теперь уж зима скоро, кто ж ее будет пить?

— Тоже резон. Но ведь Манька-то не дура, не зря перешла, а?

Она опять вздохнула.

— Кто ее знает. Маньке, наверно, лучше будет. Точку на зиму в столовую перенесут, там тепло.

— А все-таки,— спросил он,— что же ты, родилась, что ли, галочки ставить?

— А ты родился баранку крутить?

Он слегка смутился.

— Сравнила! Я дорогу люблю, ветер... Ну и вообще.

— А я здесь тоже не засижусь особенно. Думаешь, я за лишних двадцать рублей поменялась? Просто я из торга никогда бы на экскаватор не попала. А теперь, может, и попаду...

— А чего тебе делать там, на экскаваторе?

Она изумленно вскинула ресницы, и он тут же прикусил язык.

— Так ты ж сам же меня агитировал! Не помнишь? «Такая молодая, тебе бы на экскаватор пойти». Не говорил? Смеялся, да?

— Нет,— сказал он серьезно.— Это я теперь смеюсь.

Он высадил ее перед отвалом, и она, уныло ссутулившись, пошла под фанерный навес. Он вывалил грунт и, проезжая, увидел, как она сидит на ящике, поджимая ноги в парусиновых туфлях и спрятав руки в рукава. Он развернулся и подъехал.

— Ты чего?

— На,— сказал он ей,— возьми укутайся. Мне ни к чему.

Он снял и кинул ей свой большой и нагретый ватник, который ей оказался едва не до колен, и помчался в карьер. Дорога была пустынная и мокрая, и он рад был никого не встретить.

— Все едешь, Витя? — спросил Антон.

— Все ежу.

— И правильно делаешь. Держи хвост пистолетом. Имеешь право!

— Это какое же? — спросил Пронякин.

— Э, Витька, что я, слепой, что ли? Не вижу, какой ты шофер? Нам-то, можешь поверить, снизу виднее, все вы, как на картинке. Мне бы таким машинистом стать, какой ты шофер... Что тебе можно, другим нельзя, понял?

Пронякин поднимался вверх и думал о том, какая странная дорога выпала ему на этот раз. На одном ее конце был Антон, а на другом эта девочка на отвале, и оба они словно чего-то ждали от него, а он только отработывал свои ездки: восемнадцать копеек тонна, одиннадцать копеек километр, и лишь бы не встретить никого у конторы.

Подъезжая к отвалу, он снова увидел маленькую фигурку на середине шоссе, идущую боком, загоразиваясь от мокрого ветра.

— Ты чего? — спросил он, притормаживая.

— А! — испугалась она. — Думала, уж ты не приедешь.

— Садись. Сказал — приеду, значит, верь и жди.

— Хорошо, — сказала она кротко. — Буду верить и ждать.

Он снова высадил ее у фанерного навеса и, вывалив грунт, подъехал.

— Слушай, а ты как, ездки не приписываешь?

Она взглянула на него с тоской.

— Ну вот, и ты спрашиваешь. Я думала, не спросишь. Да что у меня, на лице написано, что я мухлюю?

— Ни в коем случае. Только так спросил.

— На тебе твой ватник! — сказала она решительно. — Это ты просто крючок закидывал. Я знаю, тут уж до тебя некоторые закидывали.

Она протягивала ему в окошко ватник, но он спокойно отвел ее руку и спросил:

— А Манька? Она мухлевала?

— За Маньку говорить не буду, чего не знаю. Может, и приписывала. Ведь ребенок у нее.

— Ну а ежели б у тебя был, ты бы как, а?

— Знаешь, иди ты к черту,— сказала она.— Ну, прощу тебя — езжай.

Он рассмеялся и поехал. И улыбался, глядя сквозь мокрое стекло на мокрую дорогу.

Он спешил сделать еще рейс до обеденного перерыва, но его остановила сирена. В этот час вступали в свои права взрывники. Он подрулил к обочине и выключил двигатель и только тогда почувствовал, как он устал и голоден. «Да и тебе бы отдохнуть не мешало»,— подумал он о машине.

Увязая в грязи, он прошел длинным пустырем, чувствуя на себе насмешливые взгляды, и вошел в столовую. У самых дверей сидели Мацуев, Косичкин, Федька и еще кто-то из другой бригады. Они замолчали при его появлении. Перед ними стояли тарелки и кружки с пивом и простоквашей. Места рядом с ними не было, и Федька, пошарив глазами, виновато развел руками. Пронякин почувствовал облегчение.

Он взял обед и пошел с подносом к одинокому столику в полутемном углу избы. Ему хотелось сесть спиной к ним, но он заставил себя сесть боком. Краем глаза он видел их и знал, что они говорят о нем. Затем Федька с грохотом поднялся и направился к его столу. Он сел рядом на стул и поставил локоть возле тарелки.

— Ну как? — спросил Федька. Он ухмылялся, растягивая губастый рот, и сопел над ухом Пронякина.

— Тридцать три.

— Чего — тридцать три?

— А чего — ну как?

— Как работенка, спрашиваю.

— Ничего, не пыльная. Скаты в порядке, поршня не стучат, нигде не заедает.

Пронякин продолжал есть, неторопливо и старательно, как едят утомившиеся люди. Федька все сопел, не зная, с чего начать. Наконец он спросил его, придвинувшись:

— Пивка не выпьешь?

— Не хочется.

— Что так? Веселей бы у нас разговор пошел.

— А мне и так весело.

— Понятно.— Федька откинулся на стуле и заговорил громко, как будто нарочно, чтобы все слышали: — Героем себя чувствуешь. Приятно небось?

Пронякин не ответил. Федька опять придвинулся.

— Ну чего молчишь?

— Жду: может, ты чего умного скажешь.

— Где уж нам,— вздохнул Федька.— Один ты у нас такой умный. Другие против тебя сплошь дураки.

Федька все ухмылялся, лукаво сощурившись. Но если б он вдруг развернулся и ударил, Пронякин не удивился бы. Он весь напрягся, чувствуя, как застучало в виске от еле сдерживаемой ярости.

Но Федька не ударил. Он спросил лениво:

— А встречали как — не понравилось?

— Понравилось,— сказал Пронякин, глядя на него в упор.— Это не ты ли свистел?

— Нет.— Федька замотал головой.— Не я. Такие штуки не уважаю. И, между прочим, если б знал кто, сам бы, может, ему по физике свистнул.

— Это и я сумел бы.

— Ну понятно. Смелый парень, что и говорить. Одно, понимаешь, непонятно: что ж это ты делаешь, черт с рогами? За что ты нам всем в морду плюешь?

— Это как?

— А так! — сказал Федька.— Думаешь, ты один такой — все можешь? А другие не могут? В коленках слабые? Ошибаешься, Витя. Тут покрепче твоего найдутся. Только наш ЯАЗ не потянет, хоть ты ляжь под него. Может, и рады бы лечь, только он все равно не потянет. Так что, пойми, мы тут не от хорошей жизни груши окочиваем.

— Сочувствую вам,— сказал Пронякин.— Да помочь не могу.

Федька молчал, уставясь на него тяжелым взглядом побелевших глаз. От злости у него дрожали скулы.

— Помощи никто у тебя не просит. А просят, чтоб ты жлобом не был... который за четвертную перед начальством выпендривается. Ей-богу, перед другими бригадами за тебя совестно. Приняли вроде бы тебя неплохо, да и сам ты поначалу ничего показался... Или, может, что не так было? Может, обижаешься?

— Нет. Давно уж не обижаюсь.

— Ну так за каким же чертом в дождь едешь? Кому глаза колешь? Или хочешь, чтоб нас потом Хомяков пивавил — вот, мол, был почин, а не поддержали?..

«Вот оно что! — подумал Пронякин. Тяжелая квадратная голова Мацуева склонилась над кружкой, кото-

рую он сверху накрыл ладонью. Хмурясь, он шевелил бровями.— Значит, сам ты запретить не можешь. А к Хомякову ты не пойдешь».

Было тихо, лишь звякала посуда, и еще Гена Выхристюк, небрежно облокотясь на прилавок, кокетничал с поварихой.

— Приходишь к вам с единым стремлением в мыслях — быка съесть. А похлебаешь кулешику вашего, кашки пшенненькой, то да се, и аллес гут гемахт, как немцы говорят, а по-русски значит — боле не желается!

Повариха расплывалась лоснящимся лицом и утирала тряпкой могучую розовую шею.

— Я за ваши глаза не отвечаю,— громко сказал Пронякин.— А стыдиться вам тоже нечего. У меня «мазик» хотя и старенький, да удаленький. Так что я свои двадцать две ездки сделаю. Смогу — и двадцать третью сделаю.

— Много, думаешь, толку от твоих ездок? — сказал Федыка.— Только экскаватор зря энергию жгет.

— А про то не моей голове думать. Я не геройством занимаюсь... Просто я, понимаешь, на твой гарантированный двадцать один рублик не согласен.

— Что ж ты раньше не сказал, чудак? Мы бы уж трягнули мощной, так и быть, насобирали бы тебе по рублику. Или даже по трешке. А то — давай кепку, пройдушь, хочешь?

Пронякин промолчал, едва сдерживаясь, чтоб не зарорать на Федыку. Это вышло бы и вовсе по-дурацки.

— Значит, так? — спросил Федыка, вставая.— Хорошего не делаешь, гляди, Витя, учти.

— Гляжу,— сказал Пронякин.— Сам гляди.

Он доел, тяжело двигая желваками, выпил прозрачный компот, заедая черным хлебом, и встал. Проходя мимо них, он натягивал кепку так, чтоб локтем прикрыть лицо. Они были заняты едой и пивом.

До конца перерыва оставалось слишком много времени, которое некуда было деть. Он поставил свой МАЗ у въезда в траншею и курил, разогревая двигатель и ожидая сирену. Но ему не курилось, ему хотелось бросить все и уйти пешком в поселок. Он еще успеет на последний автобус, если только автобусы ходят по такой грязи, а не то пройдет пятнадцать километров пешком до шоссе, а там проголосует, а из Белгорода пошлет телеграмму жене, чтоб выслала денег на дорогу.

Но тут же он вспомнил, что жена и сама, наверное, уже в дороге. «Хоть бы скорее ты приехала», — сказал он ей.

Послышалось несколько тугих, упругих ударов. Это была последняя серия. Потом сирена дала отбой.

За час дорогу совсем завалило комьями раскисшей глины, и ему пришлось сбросить скорость на первом же спуске. К тому же вдруг отказал дворник, а стекло залепляло мельчайшей капелью. То и дело приходилось протирать его рукавом. Из-за этого он не сразу обнаружил экскаватор Антона. Забой, в котором они работали, был теперь разворочен взрывом, а экскаватор стоял в полусотне шагов от него, и Антон тащил на плече провода.

— Ты что? — спросил Пронякин. — Никак, сматывать-ся решил? — Втайне он даже надеялся на это.

— Вылазь, — сказал Антон. — Погляди-ка, чего они там наковыряли.

Пронякин подошел к забою. Антон бросил провода и тоже подошел. Он оставил свою куртку в кабине и был в тельняшке с закатанными выше локтей рукавами и в тапочках на босу ногу, а на затылке чудом держалась крохотная кепочка — точно не было мороси и холода, понижающего до костей.

Там, куда они смотрели, среди рваных ломтей серо-голубой глины лежало несколько осколков какого-то камня, присыпанных красной пылью. Пронякин сошел вниз и, подняв один осколок, вытер его о штаны.

Осколок лежал на его ладони. Он был тяжелый и острый, как обломок гранита, и точно склеенный из разных, плохо пригнанных друг к другу пластинок. И цвет у него был странный: издали грязно-бурый, как запекшаяся кровь, а вблизи — с сильными проблесками сиреневого, переходящего в темно-свинцовый. Точно железо в горне, нагретое до малинового каления и слабо мерцающее, остывая под слоем окалины и пепла.

— Это чего? — спросил Пронякин.

— Надо полагать, синька, — сказал Антон.

— Синька?

— Ну да. Самая что ни на есть богатая курская руда.

— Неужто курская руда?

— Ну, скажем, белгородская, — сказал Антон. — Да

ты чего — первый раз видишь? У меня же таких полна тумбочка...

— Не знаю,— сказал Пронякин.— Не видел.

— Вон взрывники идут, они тебе все объяснят.

Меланхолично и не спеша взрывники осматривали развороченные лунки. Их было трое, в одинаковых брезентовых дождевиках с остроконечными капюшонами и в резиновых сапогах,— три фигуры, появившиеся из туманной полутьмы карьера, будто тени, внезапно отделившиеся от стены. Они подошли, шагая по лужам, и у них оказались одинаковые лица с застывшим на них разочарованием. Оно, вероятно, было такой же их принадлежностью, как дождевики с капюшонами, резиновые сапоги и неременное: «Взрывник ошибается только раз в жизни».

— Ну что, ребяташки,— спросил Антон,— набабахались вволю? Не знаю, как у вас, а у меня таки башка колоколом звенит.

Они посмотрели на него с легким презрением.

— Разве ж это взрывы? — сказал один из них.— Да ли бы тонн тридцать динамита, так мы б тебе бабахнули. Враз бы рудишка выскочила.

— А карьер? — спросил Антон.— Тогда б и карьера не стало?

— Вот то-то и оно,— вздохнул второй.

Пронякин молча протянул взрывникам осколок, на который они покосились нехотя, и первый из них равнодушным тоном объявил:

— Синька. То, что ты держишь, синька.

— Стало быть, руда?

Они пожали плечами.

— Не ошибаетесь?

Второй с готовностью отчеканил:

— Взрывник ошибается только раз в жизни.

— Ведь это что же значит,— спросил Пронякин,— ведь это мы, выходит, в руду пробилась?

— Погоди пробиваться,— сказал второй из них,— не пробилась, а извлекли.

— Не один черт?

— Ты, Витя, помалкивай,— сказал Антон, усмехаясь.— Они, понимаешь, корифей, им видней.

— Пробиться,— объяснил третий,— это значит в большую руду.

— А это какая? — спросил Пронякин.— Маленькая?

— Не маленькая, а просто, должно быть, глыба. Тут, верно, и ковша не наберется.

Третий из них, с розовым шрамом, пересекавшим бровь, и с замусоленным блокнотом в руках, был, наверное, старшим. Он сошел в забой и стал разгребать его носком сапога. Там опять была глина.

— На сколько заводишь? — спросил он, не оборачиваясь.

— Метра на два, — ответили двое других.

— А точнее?

Они задрали полы дождевиков и вытащили такие же замусоленные блокнотики.

— На два метра, — сказали они почти одновременно.

— Маловато, — сказал старший и вздохнул. Потом он поднялся к ним. — Это какая отметка? Двести девятнадцать? В воскресенье попробуем массовый выброс. Здесь.

Тень улыбки прошла по их лицам. Они давно мечтали о массовых выбросах. Стоя над забоем, они пометили что-то в своих блокнотиках и спрятали их, все трое, под полы дождевиков.

— Вот так, — сказал старший. И снова вздохнул.

На их лицах оставалось все то же разочарование. Они постояли и ушли, так же не спеша, как и появились, и растаяли в туманной полумгле. Затем Пронякин снова увидел их, поднимающихся друг за другом по деревянной лестнице. Они поднимались к своей палатке, спрятавшейся на краю карьера, в дубняке.

— Пошли, — сказал Антон. — Нечего тут стоять. Вези породу.

— Повезу, что же делать.

Пронякин все стоял внизу, разгребая глину носком сапога. Потом выбрал несколько крупных осколков и набил ими карманы.

— На память берешь? — спросил Антон.

— Что-то не верю я твоим корифеям. Да они и сами себе не верят.

Антон усмехнулся и не ответил. Молча они подвели машину к экскаватору, и Антон спрыгнул с подножки, поднялся в свою кабину и наполнил кузов серой и вязкой глиной, уныло бухающей при ударах о железо бортов. На нее было тошно смотреть. И Пронякин, посмотрев, как она уложена, скривился, как от зубной боли, и молча отъезжал. Проезжая мимо забоя, он снова увидел

синие, сверкающие под дождем осколки и, притормозив, крикнул Антону:

— Слушай, подводи сюда свою машинку!

— А я чего делаю? — ответил Антон.— Мне там положено ковыряться, я и подведу.

— Давай. Они, понимаешь, корифеи, а ты все ж таки подводи...

Пронякин поднялся наверх сравнительно легко, по старой своей колее, и застопорил у конторы. В тесном коридоре на полу, привалясь к стене, сидели шоферы. Они разговаривали и смотрели на дождь в распахнутую настежь дверь. Он прошел мимо них тяжелыми хлюпающими шагами и кулаком распахнул дверь в комнату начальника.

Хомяков сидел на краю стола, заваленного бумагами, и, раскачивая ногой, диктовал осевшим и монотонным голосом:

— ...В текущем третьем квартале текущего тысяча девятьсот шестидесятого года нами было вынуто экскавацией... песков, суглинков и непромышленных, а также скальных пород... Скальных пород... общим объемом... Входи, Пронякин, слушаю тебя.

На фоне окна плоско темнел силуэт женщины. Она повернулась и вышла на свет, и он узнал ее. Он танцевал с нею тогда на «пяточке». Только теперь она была в лыжных мохнатых штанах и грела руку в кармашке перкалевой куртки.

— А, это вы! — сказала она. И спросила, чтобы что-нибудь спросить: — Что, много воды в карьере?

— Хватает... А вы почему знаете, что я из карьера?

— А потому, что здесь уже говорили про вас.

Она смотрела на него с любопытством, щурясь и положив в рот кончик карандаша. Пронякин, поколебавшись, протянул осколок Хомякову.

— Что это? — Она постучала карандашом по куску руды.— Это синька, Володя.

— Вижу,— сказал Хомяков, не меняя позы.— Откуда это у тебя? Где взял?

— Где взял, там не убудет,— ответил Пронякин.— Пожалста.

Он вывалил все, что у него было в карманах, на стол. Хомяков отодвинул бумаги.

— Давно ты оттуда?

— Только что. Да вот в обед взрывали, полчаса не прошло.

— Прошло,— сказал Хомяков.— Полчаса прошло. А взрывники не звонили мне.

Пронякин пожал плечами.

— Не знаю. Наверное, сомневаются они.

— А ты не сомневаешься? — Хомяков взял его за локоть неожиданно сильными, цепкими пальцами и легонько притянул к себе. Он был очень спокоен, он снисходительно улыбался, едва заметно, одними глазами, сквозь очки, а все-таки пальцы у него дрожали, и Пронякин это чувствовал локтем.— Ну что ж, это даже хорошо. Не знаешь, какая отметка?

— Точно не скажу. То ли сто девятнадцатая, то ли двести. В общем, вот так. Это аж в том конце. Как раз где нижний экскаватор стоит.

— Слушай-ка, милый, а ты знаешь, что такое двести девятнадцатая отметка? Это не на том конце и не на этом. Это двести девятнадцатый метр. Если считать от уровня мирового океана. Понимаешь? А нам обещали умные люди, что промышленный уровень начнется не раньше двести шестнадцатого. Отсюда мораль: три метра вскрыши. Копать нам, не перекопать.

— Что-то не верю я вашим корифеям,— упрямо сказал Пронякин.— И умным людям не верю. Я вот чувствую — копни только поглубже...

— Понятно,— улыбнулся Хомяков.— Успокойся, Пронякин. Выпей воды. Это какой, Риточка?

— Не знаю.— Она улыбнулась тоже.— Третий, наверное?

— Нет,— сказал Хомяков.— Это седьмой. Третий был Коля Жемайкин. Он приволок мне на плече вот эту чертову дуру. Из-за нее у меня теперь не открывается ящик.— Он постучал пяткой по тумбе стола.— Ну-ка, Пронякин, у тебя силы много... Нет, нижний не пытайся. Тащи любой повыше.

Пронякин с трудом вытащил ящик. Он весь до краев был полон такими же осколками. Пронякин взял один из них и сравнил его со своим. Должно быть, вид у него был ошарашенный, потому что Рита посмотрела на него участливо и как будто с сожалением.

— А ты знаешь, Пронякин,— спросил Хомяков,— что такое джин в бутылке?

— Ну, допустим...

Он не знал, что такое джин в бутылке. И никогда не пил джина. Он пил обычно водку и пиво.

— Когда ко мне прибежал впервые Боря Горобец и принес вот такой осколочек, я его чуть не расцеловал. И Борю и осколочек. И побежал в карьер. На полусогнутых. Задрал штаны от радости. Но прошло еще три тысячи лет, и если ко мне еще кто-нибудь придет и притащит вот такую глыбу... вот такую, Пронякин... и скажет: «Бегите, там пошла руда»,— я уже не побегу. Я, наверное, запущу в него графином.

Пронякин стоял, тяжело наклонив голову, сминая и разминая в руках кепку. Он чувствовал себя так, точно его уличили во лжи. Он хотел предложить Хомякову поехать с ним сейчас в карьер и боялся, что тот поднимет его на смех.

— Так что я не побегу,— повторил Хомяков.— Если бы ты мне еще машину привез, ну, тут уж не захочешь, а побежишь... Ох, черт, а сердчишко-то все-таки екает. Напугал ты меня. Ну, ладно, Пронякин, я тебя приветствую. Извини, ради бога, зашились мы тут совсем с этой бюрократией.

— А все ж таки...— сказал Пронякин.

Он не знал, что такое «все ж таки» и почему ему так захотелось, чтобы руда появилась сегодня. Может быть, потому, что ему так мало везло.

Может быть, все повернулось бы опять к тем солнечным дням, когда еще не было дождей, когда все как будто хорошо начиналось и никто не говорил ему, что он кому-то колет глаза.

— Ступай, ради бога,— сказал Хомяков, досадливо морщась.— Не срамись. Ты же умный парень... Дождь идет. Ну какая сейчас может быть руда!..

Пронякин медленно повернулся и пошел к двери.

— Да, постой-ка,— сказал Хомяков. Он снял очки и протирал их мятым серым платком.— Мне говорили, что ты едешь под дождем в карьер. Это опасно, Пронякин. Я должен тебя предупредить. Понимаешь, это ненужные фокусы. Почина здесь не получится. Подумают, что ты просто гонишься за заработком.

— Может, так оно и есть,— сказал Пронякин.

Он ждал, что они еще что-нибудь скажут ему. А они ждали, когда он уйдет. Он надел кепку и вышел.

В коридоре уже никого не было. И возле конторы тоже никого не было: одни, верно, набились в столовую,

а другие дремали в кабинах, прислонясь виском к стеклу. Он стоял посреди пустыря, под морозящим дождем, в грязи, жирно расползавшейся под его сапогами, решительно не зная, куда себя деть. Потом увидел свой МАЗ, стоящий с полным грузом и невыключенным двигателем. Вот это, пожалуй, единственное, что можно было сделать, не слишком ломая голову,— поехать и высыпать породу в отвал. И он побрел к машине, сел в нее и поехал.

Маленькая фигурка все еще горбилась под навесом и слабо зашевелилась при виде его.

— Совсем забыл про тебя,— сказал Пронякин.— Полежай в кабинку, хватит тебе мокнуть. Да и покушать пора.

— А ты больше не будешь ездить?

— Наверное, не буду.

— Что же ты! — сказала она, усаживаясь.— Ты же только восемь сделал.

— А пес с ними, с ездками. Я, может, сейчас руду повезу. А может, не повезу.

— Руду-у?

— Ага-а...

— Большую?

— Ничего, порядочную.

— Пробились, значит? Ты пробился?

— Да не я. И не пробились, а извлекли. Корифеи говорят, поняла?

— Ой, слушай... Я с тобой поеду в карьер! — сказала она решительно.

— Дуреха ты,— ответил он удивленно и, мгновение поколебавшись, вспомнив заваленную глиной дорогу, покачал головой.— Никуда ты со мной не поедешь. Обедать будешь. У конторы ссажу.

— Ну возьми, пожалуйста. Я очень прошу. Очень.

Он помолчал — ему все-таки хотелось взять ее — и ответил:

— Нет.

Он высадил ее у конторы, и она возвратила ему ватник. Она все не уходила и смотрела на него, зябко поживаясь.

— Ну, не обижайся,— сказал он.— Иди. В другой раз покатаю.

— А может, подождать тебя?

— Зачем?

Он включил сцепление и поехал. Лужи блестели в карьере, они расползлись и уже соединились проливами, а пробившаяся подземная вода стекала в них с рыжих ржавых утесов. И на дороге тоже блестели лужи. На повороте, когда его стало заносить, он догадался сбросить скорость и вытер рукавом мгновенно вспотевший лоб.

Экскаватор уже стоял в забое, наклонившись вперед, как судно, уткнувшееся носом в крутую волну, и стрела ходила снизу вверх. Он подбехал вплотную, хотя это было строжайше запрещено: повернувшись, экскаватор мог повалить и раздавить машину.

Антон показался в разбитом окне и закричал сквозь гудение моторов:

— Витька, кажись, и в самом деле большая пошла. Я вот ее разгребаю, дуру, разгребаю, а она не кончается!..

— Она не кончится, Антоша! — заорал Пронякин, чувствуя неожиданный и сильный прилив нежности и к Антону, и к стреле с умной и хитрой мордой ковша, и к руде, которая не кончается. Он объехал весь забой, полный синих осколков, и опять подкатил к экскаватору. — Она теперь, видишь ли, до самого центра земли. Тут тебе на тысячу лет разгребать, Антон!..

— Чего ты разошелся? — спросил Антон. — И куда ты, балда, подкатываешь? Я ж тебя угробить могу в два счета.

— Можешь, Антоша! — обрадовался Пронякин. — Все можешь.

— Ты сказал там кому-нибудь?

— Понимаешь, они же все сдурели. Мы им такого гвоздя воткнем в одно место!

— Ладно, не хорохорься. Ты лучше подставляйся. Сейчас я тебе ковшик всыплю. Первую повезешь!

Отъезжая и разворачиваясь, Пронякин стоял на подножке, правя одной рукой, и орал:

— Антоша, на один ковшик я не согласен. Ты мне лучше полтора насыпай!

— Полтора не потянешь! — крикнул Антон, заводя ковш снизу. — От силы — с четвертью. Да куда тебе столько?

— Не могу я один ковш везти, Антон!

— Почему не можешь, Витя?

— Потому что я привезу, а они скажут: «Подума-

ешь, один ковшик наскребли!» А я им: «А вот и врите, а вот и не один, а с четвертью. Сколько мог, столько и взял. Мог бы три взять — три бы взял!»

— Ну хрен с тобой, — сказал Антон. — Подставляйся!

Перебирая рычаги и напряженно всматриваясь, он вывел ковш и задрал его высоко в белесое небо. Тяжелый ковш закачался над машиной, постепенно опускаясь, и вдруг, лязгая, отвалилась его нижняя губа, и в кузов со звонким железным стуком обрушилась мокрая синька. Машина, заскрежетав, осела на рессорах.

— Хорошо кладешь, Антон! — закричал Пронякин. — Просто дивно. Всегда бы так сыпал. Только жилишь ты, Антон. Неполный кладешь.

— Кто тебя разберет... Может, хватит? Дальше-то ее рыхлить надо.

— Уговор, Антоша! Четверть клади.

— Витька, ты ж учти: руда — она тяжелая.

— А была бы легкая, так я б ее в кепке дотащил.

Еще четверть ковша машина почти не почувствовала. Она и без того глубоко сидела на рессорах.

— Видишь, — сказал Пронякин, пиная носком баллон. — Что это для нее? Чем больше кладешь, тем ей легче.

Антон вылез и, подойдя, покачал с сомнением головой.

— Может, отсыплешь все-таки, Витя?

— Ни грамма! — сказал Пронякин. — Ничего, зато сцепление лучше.

— Лучше-то лучше, — сказал Антон. — Но уж если поползет...

Он посмотрел вверх, на петляющую дорогу, и на миг Пронякину стало страшно.

— Да, уж если поползет... Ладно, не ворожи. Доеду. Зато уж какого гвоздя мы им воткнем!

— Тихо как, — сказал Антон. — Все куда-то попрятались. Хоть бы речу кто-нибудь толкнул, что ли...

Дождик все накрапывал, и Пронякин сказал:

— Валяй в будку, Антон. Простудишься.

— Лирик ты, — сказал Антон. — Есенин... Завтра погуляем, а? В кинишко сползаем. Чего-нибудь, наверно, хорошенькое привезут.

— Наверно.

Пронякин сел в кабину. Антон не выдержал, пошел рядом с машиной и вскочил на подножку.

— Не надо, Антон, отстань, застишь мне только свет,— сказал Пронякин.— Я сам повезу. Понимаешь, мне надо, чтобы я сам привез...

— Ладно,— рассмеялся Антон, соскакивая.— Сам так сам. Покличь там напарничка моего, пускай сменит. А то не евши который час сажу.

— Покличу,— сказал Пронякин.

Когда он уже отъехал немного, Антон закричал ему вслед:

— Лопата у тебя есть?

— А как же!

— Почаще соскребывай. Скользит, а?

— Скользит, проклятая.

— Полежишь миллион лет, не так заскользишь,— сказал Антон.— Скажи там, пускай бульдозер пришлют.

— Скажу!

Он ехал — нога над педалью тормоза, а другой он выжимал до предела подачу топлива, а руки вцепились в баранку и лежали на ней локтями. Отчаянно буксуя, виляя задом, машина взяла первый подъем. Он вздохнул облегченно и почувствовал, как жарко его спине и лицу.

— Тяжела! — сказал он себе и опять утратился этой глины, свинцово-голубой и скользкой, как раскисшее мыло.— А ничего не тяжела! Сукин ты сын, Пронякин,— сказал он громче, чтоб подбодрить себя и машину.— И больше ничего!

И снова он выжал педаль подачи топлива, упершись плечами в спинку сиденья, и быстро переключил скорость. Стрелка спидометра дрогнула и поползла так медленно и напряженно, точно это она и тащила перегруженную машину. Он призвал к себе на помощь все мужество и злость, все свое отчаянное умение и лихость шофера, исколесившего много дорог, бравшего много подъемов. Он хотел бы все это передать теперь машине, от которой он ничего не мог потребовать, а мог только просить:

— Ну, еще немножко, милая! Ну вот, ты же умеешь, в тебе же силы столько. Ну, не дрожи, не раскисай, не бойся, ведь руду везешь!..

Он повернул, стараясь держаться ближе к склону, и опустил руку на рычаг, чтобы притормаживать двигателем, если машина покатится назад. Но все обошлось, и он вздохнул облегченно, взобравшись на третий горизонт. Тогда он выглянул и поискал глазами Антона. Тот

стоял неподвижно и смотрел, задрвав голову, вверх. Пронякин едва различал полосы на его тельняшке. И едва долетел до него крик Антона:

— ...скребыва-ай!

— Ничего! — ответил Пронякин, не надеясь, что Антон его услышит, хотя ему самому несколько раз, когда сильно заносило зад, хотелось вылезти и соскрести лопатой налипшую глину. — Ничего, доеду!

А машина все шла, и ничего с нею не случилось, и понемногу страхи его рассеялись, а мысли обратились к тем, кто ждал его там, наверху.

— А вот я вам всем и докажу, — бормотал он, стискивая зубы, в то время как руки его одеревенели на баранке, которая могла в любую секунду вывернуться. — Сейчас увидите. Сейчас пожалеете, мне бы только доехать!

Чаша карьера поворачивалась под ним, как горная долина под крылом самолета. Она была заткана мельчайшей сетью дождя, и дно ее с блестящими лужами терялось в сизой полутьме. Он снова вспомнил о глине — сколько он намотал ее на колеса, — и опять ему сделалось одиноко и страшно. У него закружилась голова и похолодело в груди.

Но вдруг ему пришло в голову такое, отчего снова стало легко и весело. Он увидел себя, как он подъезжает к конторе, поднимает кузов и вываливает все это, что он вез, прямо в слякоть и грязь, прямо перед крыльцом. А потом стоит и хохочет, хватаясь за бока и глядя на их выпученные глаза, — долго и язвительно.

Впрочем, не очень долго. И не очень язвительно. В конце концов они неплохие ребята: черт знает, какая кошка между ними пробежала. И что он им станет доказывать? Он просто вывалит руду, да и все, и пусть копаются в ней, и он тоже будет копаться, перебирая тяжелые синие осколки.

Так он поднялся на четвертый горизонт, где уже совсем не пахло затхлой сыростью карьера, — только пьянящий запах своей же солярки. Он убрал ногу с педали тормоза и поехал, правя одной рукой, высунувшись под дождь и ветер.

— Эй, где вы там, черти с рогами? Сенومان-альба! Апт-неокома! — закричал он просто так, чтобы успокоить себя и машину. Потом повернул голову, увидел совсем уже крохотного Антона и закричал ему: — Антоша! Погуляем, а?

Антон стоял и не двигался и все смотрел вверх.

«Чего это я? — спросил себя Пронякин.— Чего это с тобою нынче сделалось? — Он вертелся на сиденье, как на горячей плите.— Чего ты петушишься? Приснилось тебе, что ли, чего?»

Его охватило вдруг странное ощущение нереальности всего, что он делает. Как будто это было с ним не теперь, а когда-то, давным-давно, может быть, в детстве, когда он бежал с какой-нибудь радостью к матери и знал наверняка, что она обрадуется, потому что лучше всех это умела делать она одна, о которой он уже почти ничего не помнил. Но между тем справа был мокрый глинистый склон карьера, а слева — обрыв и серое слезящееся небо, и это он, Пронякин Виктор, вез первую руду с Лозненского рудника. Руду, которую ждут не дождутся и Хомяков, и Меняйло, и Выхристюк и про которую завтра утром, если не нынче же вечером, узнают в Москве, в Горьком, в Орле, в Иркутске и в других местах, где он успел побывать и где не пришлось. Он вспомнил, как говорили в поезде, когда он ехал сюда, что ни один рудник в мире не выдает такой богатой руды, как эта знаменитая синька, в которой до семидесяти процентов чистого железа. Она потому и синяя, что вороненое железо смотрит из нее на белый свет.

«А любопытно бы знать, что из нее сделают, из этой руды? — вдруг пришло ему в голову. И в нем опять заговорила старая привычка подсчитывать.— Антошка мне верных шесть тонн сыпанул, это как пить дать, я ж чувствую. Ну, скинем полторы шлаку, ну две, но ведь тонны четыре чистых! Во, страсти какие. А много ли это или мало, Пронякин? Как знать. Для хорошего дела всегда не хватает, это уж известно. И куда она пойдет, чем она станет, ты тоже, наверное, не узнаешь... Но это, наверное, и не моего ума дело, мое дело только везти, ну вот я и везу. И всегда мое дело было только везти, а что тебе там в кузов положат, то уж не наша забота, лишь бы рессоры не садились. Очень неважно себя чувствуешь, когда рессоры садятся. Вот как сейчас...»

А машина все шла, она приближалась к цели, он чувствовал это каждым нервом, и это было сильное чувство, даже, пожалуй, слишком сильное, потому что от него нетерпеливо подрагивали руки, а вот это уже было плохо.

«Только не надо сейчас об этом,— приказал он се-

бе.— После об этом. Ты лучше — глаза в руки и гляди, гляди на дорогу».

И он все смотрел на дорогу, на комья глины, которые приближались и уползали под колеса, и ничего не мог с собою поделывать.

«А когда же «после»? — спросил он себя.— Вот так мы все на «после» оставляем, а на самом-то деле потом уже о другом думаешь и — не так. И кому же думать, как не мне, ведь это я везу. Я, не кто-нибудь! И не последний я, а первый...»

«Сказать жenuльке, не поверит,— подумал он печально.— И правда, уж столько мы с тобою мыкались, столько крохоборничали, что и поверить теперь трудно, хотя ты меня и знаешь... Но ведь хлопцы-то подтвердят, хлопцы же врать не станут?»

Так он поднялся на последний, пятый, горизонт и повернул к выездной траншее. Здесь он всегда обгонял их всех, но теперь гнать не следовало, а нужно было взять себя в руки, и успокоиться, и ждать, когда покажутся верхушки яблонь. Он ждал их долго и заждался, а когда они наконец показались — сизые и едва приметные на сером,— он даже забыл сказать им свое обычное: «А вот и мы!» — и круто поворотил к ним, видя, как они сливаются густыми кронами, видя людей, показавшихся вдали у выезда.

И вот эти яблоньки дрогнули и поползли — влево, все влево, к краю ветрового стекла, оставляя за собой прямоугольник пустого хмурого неба. Он не сразу понял, что такое случилось с ним, а потом почувствовал мгновенную дурноту и слабость. Весь облившись потом, он круто вывернул руль в сторону заноса — это всегда кажется страшным, но в этом всегда спасение. Яблоньки остановились, но назад уже не поползли, и он рассердился на себя:

«Зеваешь, скотина! Хорошо еще, девку не посадил, вот уж было бы визгу. Но ты все-таки, Пронякин, смотри, этак недолго и загреметь...»

Но он уже гремел, хотя и не знал этого, потому что не видел, как левое заднее колесо зависло уже над обрывом и вращается — бешено и бессильно. А другое колесо, жирно облепившееся глиной, слабо буксовало на мокром бетоне, и машина потеряла ход, а значит, и не слушалась руля, хотя он вцепился в баранку со всей силой испугавшихся рук.

Он все понял, когда, вывернув руль еще и еще раз, уже не смог поставить на место яблони, все ползущие влево. Просторная кабина стала вдруг тесной, как ящик, в который тебя втиснули, согнув в три погибели. Он успел бы выскочить из нее, если бы ехал с открытой дверцей, если бы сиденье водителя было справа и если бы он догадался выскочить в первое же мгновение.

Вдруг он увидел тучи, быстро пронесшиеся в ветровом стекле, услышал скрежет резины и дробный стук посыпавшейся руды. «Рассыпал, скотина! — сказал он себе. — Доигрался, допрыгался, оглоед, дерьмо собачье! — Он уже не боролся, а лишь держался за баранку, смутно надеясь, что машина удержится на четвертом горизонте. — Но если нет, тогда — все! Восемьдесят пять метров. Все!»

Машина не удержалась на четвертом горизонте. Она тяжело сползла и грохнулась о бетон, а потом заскользила, и тяжесть руды повлекла ее дальше, вниз. Он увидел белый пласт мела, потом небо и новый, коричневый пласт, и снова небо, а затем нарастающий в полутьме свинцово-голубой цвет — цвет океана, приготовившегося к шторму.

Что-то ударило сзади по кабине, и он услышал жалобный вопль сплющиваемого железа. С грохотом покати́лась руда. «С машиной все — загубил «мазик», — успел он подумать. И тут же ощутил жестокий хрустящий удар чуть ниже затылка, от которого брызнули слезы и все слилось в черно-желтом хаосе вращения, а голова вдруг потеряла опору. Второй удар пришелся в борт и в стекло, и он инстинктивно зажмурился и сполз коленями на слякотный пол кабины, прикрываясь локтями, чтобы осколки не попадали в лицо. Но ударило в третий раз, и осколки попали в локоть.

«Когда же кончится? Господи, когда же кончится?» — подумал он с тоской, пока его куда-то влекло и било со всех сторон. Но это еще долго не кончалось, он успел потерять сознание от боли в затылке и в локте и снова очнуться, а машина все катилась по склону. Последний удар бросил его сзади на руль, так что сорвало дыхание и что-то хрустнуло в груди, и, наконец, его потащило куда-то в сторону и рывком остановило. Слепленный и полузадушенный, он услышал звенящую тишину.

Он не слышал, как отчаянно закричал Антон и взвыла аварийная сирена, и не видел, как полторы сотни лю-

дей показались на склонах карьера, как они бросились вниз и бежали, прыгая, оскальзываясь на мокрой глине, падали, и кувыркались, и поднимались вновь, и опять бежали, задыхаясь от бега, чтобы поспеть к нему на помощь.

Он услышал только свист лопнувшего ската и странный капающий звук. В звенящей тишине мерно падали тяжелые капли. Он не знал, что это его кровь, он думал, что из пробитого трубопровода каплет на разогретый чугун солярка.

— «Выключить двигатель,— успел он подумать.— Сгорим...»

Он имел в виду себя и машину.

В сумерках на улице Строителей ровнял мостовую бульдозер. Скрежеща и лязгая, он вдавливал осколки щебня в зыбкое тело дороги и с ревом устремлялся к насыпи чернозема, опуская широкий блестящий лемех ножа, как слон в бою опускает бивни. Он набрасывался и бодал ее, и насыпь нехотя поддавалась; жирные черные комья выползли из-под траков, а бульдозер взбирался все выше, задирая нож к свинцовому грозовому небу. Постояв наверху и успокоясь, он скатывался назад и отползал, готовясь к новой атаке.

Бульдозерист посадил рядом с собою маленького сына, и мальчик держался обеими руками за рычаг. Время от времени коричневая ладонь отца накрывала его руки и легонько толкала рычаг. Мальчик весело дудел, вытянув губы и округлив глаза, и смеялся, когда они с отцом почти ложились на спинку сиденья.

Всякий раз, когда они взбирались наверх, он видел пегого жеребенка с черным пушистым хвостом и голенастыми длинными ногами. Жеребенок отбил от матери и тоненько ржал, а потом прислушивался, кося фиолетовым глазом, и мать отвечала ему откуда-то хрипло и тревожно. Тогда он пускался вскачь, взбрыкивая крупом несколько в сторону, но тут же останавливался как вкопанный, опустив голову и крутя хвостом. Он боялся бульдозера и высоких тротуаров, на которых молча стояли люди, а с другого конца улицы медленно приближались к нему шестеро мужчин.

Бульдозер взлез на насыпь и остановился, затихая, и жеребенок тоже замер, широко расставив ноги и глядя

на приближавшихся людей, которые шли посередине улицы, касаясь друг друга плечами.

— Папка,— спросил мальчик,— а куда это дяденьку Мацуева повели?

Бульдозерист помолчал и ответил:

— Никто его не ведет. Он сам себе человек. Идет куда хочет.

— А я думал, он не хочет, а идет,— сказал мальчик.

— Значит, нужно идти, сынок.

Мужчины все приближались, и жеребенок, не выдержав, кинулся от них к бульдозеру. Он проскочил в двух шагах, задрав хвост и вскидывая голову; мальчик сурово прикрикнул на него басом. Мужчины свернули на тротуар, и стоявшие там расступились перед ними молча.

— Папка, поехали,— сказал мальчик.

Бульдозер заворчал снова.

Шестеро вошли в гастроном. Женщины в большой и шумной очереди тотчас же дружно загалдели на них. Но Мацуев, раздвигая толпу женщин тяжелым круглым плечом, спокойно объяснил, зачем они пришли. Тогда Федька с Косичкиным смогли подойти к прилавку.

Они купили колбасы, сгущенного молока, конфет, печенья, а Федька еще и четвертинку водки, и пошли через весь поселок к двухэтажному кирпичному строению, обсаженному тонкими продрогшими тополями, за которым уже не было домов и уходила в лес дорога к аэродрому.

Девица в белом халате приоткрыла дверь и, увидев парней, нагруженных кулками и свертками, поспешила прикрыть ее. Но Мацуев успел втиснуть в щель свой огромный ботинок.

— Снизойди, девушка,— предупредил он угрюмо.— Не то в окошко полезем.

— Попробуйте только! — сказала сестра, перебирая ключи в кармашке.— Сейчас врачиха придет, она вас тем же порядком и выставит.

— А куда она ушла? — спросил Федька.

— А тебе что? На переговорюю.

— С Белгородом созванивается?

— А тебе что? Ну с Белгородом.

— А! — сказал Федька.— Ну, так ее как раз до ночи будут соединять. Айда, хлопцы.

— Куда это «айда»? Ты же не в «зверинец» пришел все-таки,

— Ты скажи, как ему? — спросил Антон.

— Как ему, как ему! Из шока насилу вывели.

— Ага,— сказал Мацуев.— А теперь что — в сознании он?

— Сказала же: из шока вывели.— Она вздохнула.— Только ему все равно очень плохо. Серьезно говорю, плохо. А вы тут кричите, топаете.

— Знаем, что плохо,— сказал Федька.— Было бы хорошо, так, может, и не пришли бы.

Он инстинктивно потер ладони о ватник, точно под слоем неотмытого масла почувствовал неотмытую кровь на руках, которыми поддерживал разбитую голову Пронякина.

— Ладно, черт с вами,— сказала сестра, вздохнув.— Пусть кто-нибудь один идет.

Мацуев вопросительно взглянул на Антона.

— Нет уж,— сказал Антон.

Тогда Гена Выхристюк мягко и настойчиво потеснил ее и взял под локоток.

— Девушка, не будем разводить дебаты — не будем, правда?

И так же мягко, склоняясь к ней, увлек ее вверх, по чистой холодной лестнице, уже пропахшей йодоформом и карболкой. Они пошли следом, стараясь не топтать и все замедляя шаги. В большой комнате с кафельным полом и никелированными столиками вдоль стен она опять стала сопротивляться.

— У меня только два халата. И врачаха сейчас придет. Все равно всех не пушу, так и знайте.

— Слушай, девушка, как же так? — возмутился Гена.— Мы же договорились, что ты умница и все понимаешь...

Она прижала палец ко рту. Кто-то говорил в другой комнате, голос доносился сквозь приоткрытую дверь, тихий и словно раздавленный:

— Ну пусть войдут, сестра... Не мешай...

— Идите,— сказала сестра.

Они увидели край зеленого мохнатого одеяла и руку, чудовищно толстую в бинтах, лежащую на подпорке. Несколько часов назад, когда они разнимали сплюсненную обшивку кабины и срывали ломami резьбу болтов, он был еще свой, еще досягаемый в своем шоферском невестье. Теперь он был отделен от них толстой корой бинтов, запахом антисептики, всем видом этой комнаты, где

сразу стало неповоротливо и тесно их сапожищам и здоровым телам.

— Это можете оставить здесь,— сказала сестра. Она хотела забрать у них кульки и свертки.— Мы его с ложечки кормим.

Но они не отдали и гурьбой вошли к Пронякину.

Он лежал в палате один, распластавшись на широкой кровати, чем-то, должно быть, обложенный под одеялом и затянутый по макушку в бинты. Открытыми были только рука, половина рта и глаз. Бинт на щеке прилегал неплотно, и виднелась матовая смуглость кожи.

— Вы не очень мучайте его,— сказала сестра и пощупала запястье на здоровой руке Пронякина. Это выходило у нее уже почти профессионально.— Главное, чтоб он не двигался.

— У нас не двинется! — восторженно сказал Федька.

Сестра все не уходила. Федька выразительно взглянул на Гену Выхристюка, тот моргнул ему и, полуобняв сестру за плечи, вышел с нею, тихо притворив дверь. Тогда они мигом придвинули пустые койки и расселись вокруг Пронякина.

— Ну как ты, Виктор? — спросил Мацуев.

Он сидел, упершись кулаками в толстые ляжки. Глаз Пронякина медленно поворачивался и оглядывал их всех с тоскливым упрямством, преодолевающим непомерную боль.

— Оперировать тебя будут, Виктор... Теперь хорошо оперируют.— Мацуев улыбнулся очень доброй улыбкой.— Хомякова в Белгород вызвали, доложить насчет руды, с собою врача привезет. На ЯАЗе поехал, легковуха не пройдет сейчас. Ты Силантикова, с третьей бригады, знаешь?

— Нет...

— Здоровый такой,— напомнил Федька.— Усищи, как у кота.

— Помнишь, наверно,— засмеялся Мацуев.— Вот он — водитель. Он пройдет. Он, знаешь, проходчивый, вроде тебя.

— Я ж вот не прошел...

— Ну, с кем не случается! — Мацуев развел руками и обхватил ими колени.— На то ж мы и шоферы, чтоб этак вот иногда...

— А не тужи ты! — сказал Косичкин.— Знаешь, случаи какие бывают? Страшное дело! Вот у нас на фрон-

те, да в нашей же автороте, чудака одного осколком по животу — чирик! Ремень вот так разрезало — и кишки на волю. Так ты думаешь, он что? Он это все добро аккуратненько в пилоточку, с песком и с хвоей — в лесочке мы как раз стояли — и в медсанбат. Ну, правда, не сам, повели его. Так, мол, и так, братцы, зашивайте, чтобы все, значит, как раньше, было бы, по всей форме. И зашили. И жил потом. Ну потом ему правда что голову отнесло. Так ведь голову ж!..

Федька занес руку назад и гулко хлопнул его в лопатку.

— Ты чего это? — обиделся Косичкин.

Федька блуждал глазами по потолку:

— Ты думаешь, я к чему? А к тому, что есть люди, понимаешь ты, с широкой костью, с жилой, с накопцом, что ли. Энергия из них прямо стреляет, вот как из Витьки. Такой зазря не помрет. Не-ет!

Они посмеялись сдержанно. И Косичкин посмеялся тоже, открыв желтые изъеденные зубы.

— «Мазик» мой как? — спросил Пронякин.

Мацуев отвел глаза в сторону.

— Про «мазик» не беспокойся. Его ведь и так уж списать хотели. К тому же двигатель в хорошем состоянии. Починим, чего ему сделается... Тебя бы вот, дурака такого, починили скорей.

— Меня уж не починишь...

— Ну, ты это брось, Витька, — сказал Федька не очень уверенно.

Пронякин помолчал и потом снова разлепил склеившиеся губы.

— Теперь бы дожди не помешали...

— А пес с ними, с дождями-то, — сказал Мацуев. — Теперь уж не страшно. Теперь по руде будем ездить, она не размокнет.

— А выше... все бетонка будет?

— Все бетонка.

— Там... на повороте, где сверзился я, пошире бы надо сделать...

— Сделаем пошире, — пообещал Мацуев.

Они помолчали. Мацуев шумно вздыхал. Он что-то еще хотел сказать.

— Тебе, может, еще чего принести? — спросил Антон и вдруг почему-то нахмурился. — Выпить не хочешь? А то, вон у Федора есть.

Кисти рук у Антона были забинтованы тряпками. Он встретился глазами с Пронякиным и спрятал руки за спину.

— Желаешь? — спросил Федька и с готовностью полез в карман.

Сестра вдруг открыла дверь.

— Это чего это у тебя? Чего вы ему даете? Водку паршивую? Не вздумайте.

— А что? — обиделся Федька. — Для облегчения. Я знаю, чего делаю.

— Много ты знаешь! Ему для облегчения вино хорошее требуется. Или чистый спирт. Мы уж тут поили его. А самое лучшее — коньяк пятизвездочный.

— Н-да, — сказал Федька. — Курорт. — К этому слову он относился неприязненно. — Не угадали, значит.

— А это можете выкинуть.

— Выкинем, а как же, — пообещал Федька и спрятал четвертинку в карман.

Гена Выхристюк мягко увлек сестру и притворил дверь.

— Строга стала Нинка-то, — сказал Федька и вздохнул. — Вот так и загубят человека до гробовой доски.

Мацуев придвинулся к Пронякину, и тот увидел вблизи морщинистую темную кожу у него под глазами и табачную седину на висках.

Мацуев смотрел на него откровенно горестным взглядом, покачивая головой, Меняйло — сурово и с мучительным напряжением. Федька пробовал ободряюще улыбнуться. «Должно быть, плохи мои дела», — подумал Пронякин.

— Ладно, хлопцы, — сказал он, когда молчание затянулось. — Вы уж идите... Да нет, не подумайте чего. Просто плохо мне...

Они поднялись и мяли кепки в руках.

— Знаешь, Виктор, — сказал Меняйло угрюмо и виновато не глядя на него, — ты все же зуб на нас не имей.

Пронякин усмехнулся одной половишкой губы:

— Имел бы, да вышибло. Теперь не имею.

— А завтра опять навестим, — пообещал, выходя, Мацуев. — Ты уж не сомневайся.

Антон остался. Он постоял над кроватью и осторожно потрогал забинтованную руку Пронякина.

— Как же ты так, Витя?

— Ну что ж, Антоша, дерьмовый я, значит, шофер...

— Ты этого не смей говорить,— строго приказал Антон.— И думать даже не смей. Ты, как бог, шел. Всю дорогу — как бог! Только под конец повернул резко. И не послушался, чудак, я же кричал тебе: «Соскребывай»? Ты не слышал, наверное?

— Слышал... Что это у тебя... руки-то?

— Поободрал маленько. Очень ты крепко в кабине засел.

Пронякин вздохнул и потянулся головой назад, скрипнув зубами.

— Ты поправься, Витя,— попросил Антон.— Обязательно, слышишь, поправься. Мы ж еще погулять с тобой должны.— Он вдруг широко улыбнулся и, присев к Пронякину, низко склонился над ним.— А что ни говори, здорово это мы с тобою, а? Будет что вспомнить.

— Да..

— А то следовательно, знаешь...— Антон смотрел в глаза Пронякину.— Пошли ты его подальше. Я бы за этим сроду к тебе не пришел.

— Я знаю, Антон... Я его пошлю подальше.

Следователь оказался в гимнастерке без погон и с розовым пробором в седеющих волосах. В наши дни так странно видеть человека в гимнастерке и с пробором: «Специально, чтоб перхоть разводить»,— подумал Пронякин, глядя на него твердо и прямо. Следователь не стал мучить больного формальностями и, раскрыв на коленях дерматиновую папку, приступил к делу.

— Вы, наверное, знаете, что ведется следствие по поводу несчастного... насчет... по поводу того, что случилось с вами?

Пронякин не ответил.

— Есть несколько невыясненных обстоятельств. Если не ошибаюсь, у вас была машина грузоподъемностью в пять тонн... что соответствует, по нормам безопасности, установленным для Лозненского рудника, примерно объему одного ковша гусеничного экскаватора.

— Все верно.

— Так. Но есть основания предполагать, что вы везли больше.

Пронякин помолчал. Он знал свой ответ наперед и думал вовсе не об этом. Ему было странно и обидно думать, что о том, что делали они с Антоном и что случилось с ним, нужно было врать или отмалчиваться.

— Правда ли то, что я говорю? — спросил следователь.

Пронякин вспомнил лицо Антона в остекленной кабине, его разметавшийся чуб и капли дождя на шее и на тельняшке.

— Нет, — сказал он, облизывая пересыхающие губы.

— А вспомните получше.

Пронякин опять вспомнил, как они стояли над забором после взрыва, и туманное солнце, и синьку, падающую с грохотом в кузов.

— Вспомнил... — сказал он. Следователь склонился к нему. — Там и ковша не было.

Следователь смотрел на него жестоко и испытующе. Это был уже не молодой человек, но молодой следователь, он еще не разуверился в теории «силы взгляда» и не учел, что лицо Пронякина наполовину закрыто бинтом и стянуто швами.

— Машинист дал показания, что он насыпал вам полтора ковша.

— Он мог бы и три назвать, — ответил Пронякин не сразу.

Боль опять подкралась к нему и набросилась, захлестывая горло раскаленным ошейником.

— Да ковши-то бывают разные... Можно с верхом насыпать, можно недосыпать — все одно, считается ковш. Водитель же чувствует, сколько он везет.

— Пронякин, — сказал следователь, — почему вы не хотите помочь следствию? Ведь это как будто в ваших же интересах.

— Вы моих интересов не знаете, — сказал Пронякин. — Какие у меня теперь интересы? Ноги протянуть полегче... Вы вот что... Вы не спрашивайте... Вы лучше слушайте. На большой-то разговор меня не хватит... Один я во всем виноват. Так и пишите.

Следователь взглянул на него с ожиданием.

— Пишите, мне врать ни к чему. Говорили мне... кто постарше: «Не лихачь, ты еще дизель-самосвал плохо знаешь», — я лихачил... Говорили мне: «В дождь не ездил»... Мацуев самолично предупреждал, — я ездил. Машинист предлагал мне: «Отсыпь полковша», — не отсыпал... Вот как оно и получилось. Кого же винить, как не меня?

Следователь быстро записывал за ним. Потом он провёл рукою по лбу и сказал:

— Я именно так и думал... Простите...

— Ничего,— ответил Пронякин.— Вы вот лучше расскажите мне, как там с машиной?

— То есть что с нею будет дальше? По-видимому, в переплавку.

— Разбита, значит?

— То есть, по-моему, вдребезги... Простите.

Целый час никто не тревожил его, и он успел отдохнуть, хотя в одиночку было труднее справляться с болью. Время от времени она совсем раздавливала его, тогда он вцеплялся рукою в железный край койки и зажимался. Он хотел попросить сестру сделать ему укол и стеснялся ее позвать.

Она вошла зажечь свет и привела за руку гостью, которую он меньше всего ожидал. Гостья остановилась против его постели, в пальто, наброшенном на плечи, и в темном платке, срезавшем половину лба. Это ей даже шло. Она кусала губы и смотрела на него с бабьей щемлящей жалостью.

— Почтение вам,— он невольно усмехнулся и тотчас же почувствовал швы на лице. Потом он вспомнил ее имя — Рита...

— Ничего, вы лежите,— сказала она, точно он мог встать. И прибавила: — Я не могла не прийти.

«Во говорит, сразу и не поймешь,— подумал он.— Не могла, так не приходила бы...»

— Володя Хомяков просил, чтобы я вас навестила... Но я бы и сама пришла, конечно. Мне очень больно, что так получилось. Если бы мы иначе с вами поговорили, когда вы пришли с кусками руды...— Она говорила быстро и проглатывала слова, а потом останавливалась подолгу. Ему было трудно ее слушать.

— Как он вообще... Хомяков?

— Он, конечно, счастлив, что пошла руда... Конечно, если бы не случай с вами.

— Ну, тут уж ничего не поделаешь...— Он помолчал и прибавил: — Вот что...

— Нет, нет,— вдруг перебила она,— не нужно так говорить. Вы не знаете... Вы невольно повторяете то, что говорили противники Курской аномалии. Это их излюбленный тезис: «Аномалия велика и обильна, но она не отдаст в руки человеку своих богатств, она потребует жертв». Они утверждали, что нужно подождать, что при современной технике не удастся добыть эту руду, потому

что она сильно обводнена, она ревниво хранит свои тайны. И это, наверное, правда. Но вы же вырвали у нее эту тайну. Вы не жертва, вы победитель...

Он не знал, кто они такие, противники аномалии. Все это показалось ему в диковинку. Впрочем, он уже сильно устал. И у него вдруг отчего-то начала болеть здоровая рука, хотя ей-то совсем не попало.

— Глупости все это,— сказал Пронякин.— Баранку не так вертанул, вот и вся тайна...

Наверное, его ответ понравился ей. У нее заблестели глаза. И она смотрела на него с улыбкой и с любопытством, склонив голову набок.

— А вернее, не поберегся я. О себе не подумал... Тут меня и подстерегло, с непривычки... Да ладно, не об этом я хочу...

— И вы сейчас жалуете? — опять перебила она.— Вы бы второй раз на это не пошли?

— Почему не пошел бы? Только на верхнем повороте дурака бы уже не сваял.— Он помолчал и прибавил:— Я вот о чем хотел... Крохоборства много было в моей жизни. Теперь уж не поправишь.

— Не нужно так говорить,— сказала она, волнуясь.— Зачем вы на себя наговариваете? Я все равно не поверю. Вы жили так же чисто, как и... как и совершили свой подвиг. И вы не дурака сваяли, когда ехали с рудой. Вы, наверное, были охвачены порывом, правда?

Он вздохнул:

— Ладно. Пусть будет порыв, ежели вам так нравится. Только мне бы уж не о себе думать...

— Неужели вы думаете, что вам дадут умереть?

Он облизнул губы. Они пересыхали все чаще, и он должен был беречь время и слова.

— Просьба у меня к вам,— сказал он быстро. Наконец-то, наконец-то она слушает его молча.— Тут жена ко мне приезжает... Боюсь, не застанет. Я написал бы, только не смогу.

— Так вы продиктуйте мне,— сказала она поспешно.

— Вы слушайте... Женщина она еще красивая, мужиков около нее всегда хватает... Да она ведь все... на бойких местах... Я уж ее такую застал... Ничего поделывать не смог. Так вот, мужиков-то хватает, а жалеть по-настоящему, как я жалел, это навряд ли кто найдется... Вы бы потолковали с ней. Что дальше делать ей... Жить как.

— Но я ведь ее совсем не знаю! Что же я ей скажу? Что?

— Вы и меня не знали... Вот это ей как бы от меня все скажите... Боюсь я, спутается с кем не надо. Я это без ревности говорю. Я за нее боюсь...

Она прижала руки к груди.

— Боже мой, но вы же совсем не знаете женщин. Они сильнее вас. Жена может всю жизнь прожить памятью о муже.

— Это моя-то женулька?

Ему вдруг стало и смешно и досадно. «Экое же ты нескладное существо!» — подумал он. Но это была досада на себя, за то, что он тратит и время и слова впустую. Лучше бы он сказал это все Антону. Боль опять подступила к нему, и он закрыл глаза. Он не хотел бы кричать при ней, а она все не уходила.

Наконец он услышал ее голос, как из тумана:

— Может быть, вам хочется уснуть?

— Да, — ответил он, не открывая глаз.

— Я постараюсь сделать, о чем вы просили.

Он не ответил. Она постояла немного и тихо, почти бесшумно вышла, прикрыв дверь.

Вошла сестра и постояла над ним, прислушиваясь к его дыханию, затем погасила свет и ушла. Он открыл глаза и слушал, как ветер, налетая порывами, хлопает форточкой и шумит в мокром лесу, и понемногу начал задремывать. Но вскоре ему приснилась боль. И ничего другого, кроме боли, в тех же местах и только чуть слабее, чем наяву.

Он знал, что это сон и что, проснувшись совсем, он почувствует боль по-настоящему и, чтобы задобрить ее, старался думать обо всех радостях, какие были у него когда-нибудь. Но ими не так уж богата была его жизнь, да многое и позабылось с тех пор, как он избрал себе профессией наматывать на колеса бесконечную ленту дороги. Дорога отняла у него память. Точнее, она заменила ее. Всегда, если он что-то рассказывал, он начинал «Как-то раз еду это я...» — но вот куда он ездил и когда это было, он уже не помнил, потому что главным в рассказе была дорога, которая мало чем отличалась от другой дороги.

Но вот он увидел себя в тамбуре вагона, на нем шинель без погон и вещевой мешок режет плечо. Это он после армии едет к невесте. Он держит тяжелый мешок

на плече, чтобы не опускать его на заплыванный пол, и всматривается в черное окно, но не видит ни огонька. Два года назад его саперная часть строила здесь железнодорожный мост и станцию, а неподалеку, в забытой богом деревушке, они познакомились. Потом часть передислоцировали на север, а она обещала ему присылать по два письма в месяц и ждать. Она присылала их аккуратно и ждала два года, вот он и едет к ней, потому что отец его женился в третий раз, а больше у него никого не осталось.

Он сошел на маленькой станции, где поезд стоял полминуты, и ринулся к насыпи в черную темень. Можно было и подождать до утра в поселке строителей, но он хотел добраться до ее дома к рассвету, пока она с матерью не уйдет в поле. Он шел целый час разъезженной дорогой, извивающейся во ржи. Потом из облаков выступила огромная выпуклая луна и залила всю степь голубым светом. Он пошел быстрее и вскоре почувствовал близость реки. Он навсегда запомнил, как пахла тогда река сочным и молодым запахом осоки и как туман перед рассветом окутывал камыши.

Он стал разыскивать лодочника и нашел его спящим на пороге своей сторожки, хотя ночь была очень свежа. Старик не испугался ночного пришельца, только закричал с досады и пошел отвязывать лодку. Старик сел на весла, а Пронякин, увязая в зыбком песке, оттолкнул ее от берега.

— К невесте торопишься? — спросил старик. Он знал всех парней в округе, незнакомый солдат мог ехать только к невесте. — Это чья же она?

— Болдыревых знаете?

— Наташка? Ну как же. Вовремя прибежал.

— Почему это «вовремя»?

Он почуял усмешку, хотя глядел не в лицо старику, а в воду, рассекаемую блестящим веслом.

— Потому, за другого, видно, собралась. Не надеялась, что ли, тебя дожидаться.

— Это за кого же? — спросил он небрежно.

— А кто его знает. За Леньку, что ли, Рябова.

— Чепуха, отец. — Он и вправду успокоился. — Леньку она еще сопливым помнит, а видов никогда на него не имела. Мне она верная.

— А я разве чего говорю? — спросил старик. — Разве же я говорю, тебе не верная?

Они плыли, плыли, а потом старик опять спросил:

— Только, может, она и Леньке верная? Обчая, знает...

Лодка ткнулась в берег, и Пронякин выпрыгнул с мешком.

— Толкни-кась,— попросил старик.

Пронякин оттолкнул его лодку, как наваждение.

— Чепуха это все, отец,— повторил он с облегчением.

— Вертаться надумаешь, ори громче,— сказал старик.— Я дослышу.

И растаял в тумане, только волны докатывались и плескались о берег да скрежетали ржавые уключины старой лодки.

Пронякин пришел в деревню к рассвету. Сонные собаки пробовали на нем сырые голоса. Возле знакомого дома он увидел одиноко слонявшуюся фигуру и, подойдя, узнал Леньку. Он вспомнил, как говорили, что он отбил у Леньки подружку детства.

Ленька смутился. Он был щупл и высок, на голову выше Пронякина.

— Здорово, солдат.

— Я спрашиваю, чего здесь околачиваешься?

— Да вот Наташку дожидая, вместе в бригаду сговорились пойти.

— Никуда она не пойдет сегодня. Жених к ней приехал.

— Да ну, это не ты ли?

— Вот я и есть. Понял? Ну и привет.

Ленька вдруг озверел и сунулся было с кулаками. Но он был все-таки слаб, в армию его почему-то не брали, и Пронякин двумя ударами прогнал его от дома. Ленька отбежал и крикнул ему, срываясь на плач, размазывая по губам кровь:

— Сволочь ты, понял? Я уж год как гуляю с ней, а ты чего сюда явился, тебя тут ждали?

— Вали отсюда!— сказал Пронякин.— Ославил девушку на всю деревню, звонарь.

Потом он присел на завалинке — покурить и успокоиться, но вдруг отворилась дверь, и Наташка вышла на крыльцо.

— Пошли в дом, вояка,— сказала она, сдерживая смех.

Она была в пальто, накинутом на голубую трикотажную сорочку, и Пронякина сразу покинули укоры совести

из-за того, что он бил слабого Леньку. Она пошла в дом, он догнал ее и обнял за плечи.

— Что он тебе говорил? — спросила она, улыбаясь ему через плечо.

— Чепуху мелет. Звонарь он, больше никто.

— Не скажешь мне?

Он замотал головой и наконец поцеловался с нею в темных сенях.

— Намекивал он тебе, что я, мол, гуляла с ним? — спросила она опять.

— Да я уж и думать бросил. Ну а если б чего и было...

— Ты что? — сказала она, отодвигаясь. — Ты думаешь, я такая?

— Иди давай. — Он подтолкнул ее в комнату и пошел здороваться с ее матерью, которая уже поднялась ему навстречу, благостная и строгая.

— Слыхали, — сказала Наташка, — чего ваш Ленька про меня распускает?..

— Язык бы ему оторвать, этому Леньке, — перебила старуха. — Вишь ли, обидно ему, что за нашей Наташкой бегают, инспектор тут из райфо одно время сватался, а после инженер с поселка, ну вот и мелет почем зря, отваживает.

— Помыться бы мне с дороги, — сказал Пронякин.

Все-таки он немножко иначе представлял себе свое возвращение.

Конечно, в тот день Наташка никуда не пошла, а он, сняв гимнастерку, обошел с ее матерью сад и двор, пришил оторвавшуюся доску на сарае и починил засов на воротах. Он никогда не жил в деревне, но ему приятно вдруг стало чувствовать себя хозяином всего, что он видит.

Он знал, что колхоз у них не ахти какой и вряд ли мог поправиться за два года, да и хозяйство, которое Наташка приносила с собой в приданое, было не ахти какое, но он был с головой и профессией, которая нужна повсюду, а в особенности когда не хватает мужиков, и начинал не на голом месте.

— До свадьбы у нас останешься? — спросила Наташкина мать, поджимая тонкие губы. Она говорила о свадьбе, как о деле решенном.

— Останусь, ежели не прогоните.

— Чего же прогонять-то. Ежели все по-честному у вас...

Весь день они с Наташкой не могли наглядеться друг на друга и беспричинно смеялись, а ночью, когда ему постелили в гостинице, он от этого смеха не мог уснуть и ворочался на скрипучем топчане. Он насилу дождался, пока старуха перестала кряхтеть, и пошел к Наташке, в ее комнату. Она ждала его и ничуть не удивилась.

Они были молоды и не очень щадили друг друга и для начала старательно искривали поцелуями губы. Но, должно быть, он не так понял ее, потому что, когда он совсем захмелел, она внезапно успокоилась и крепко уперлась ладонями в его грудь. И он услышал, как в полусне, ее наставительный шепот:

— Нет уж, Витенька, это уж когда запишемся, а так я не дамся, уж ты не думай, не такая...

— Что ты? — спросил он. — Я же насовсем пришел.

— Все вы насовсем приходите. А после насовсем уходите. И так бывает, Витенька.

В темноте ее лицо казалось старушечьим. Наверное, когда она и в самом деле состарится, она будет такая же благодная и строгая и научится так же поджимать тонкие губы. Что-то в нем оборвалось, чего уже нельзя было связать, как бы он ни старался, потому что слишком мешали этому старик на перевозе и Ленька. Но больше всех она сама, которая все испортила. Он встал и пошел к себе, наталкиваясь на стулья и мало уже заботясь, услышит ли его старуха. Наташка робко вскрикнула, как бы пытаясь вернуть его, но матери, если б она проснулась, показалось бы, что дочка просто вскрикнула во сне.

Он посидел в темноте, потом оделся, собрал свой мешок и вышел в лунную ночь. Никто не удерживал его. Потом, когда он уже был на улице, за спиною взвизгнула дверь и Наташка крикнула ему с крыльца:

— Ну пошли, глупый... Ну чего там.

Он не обернулся.

Он шел быстро, чтобы успеть на утренний поезд. Выйдя к реке, он вспомнил, что надо покричать старику. Ему не хотелось этого делать, но не лезть же было в воду с мешком и в шинели. В конце концов он покричал, и старик выплыл к нему из тумана.

Они плыли молча, только на прощанье старик не утерпел:

— Что же она, Ленке, выходит, верная?
— Не в этом дело, отец. Она себе верная.
— Ага,— сказал старик.— А ты этого, стало быть, не любишь?

— А кто любит? Ты, что ли, отец?

— Я? Не-е. Я веселый, вольный человек. А с бабами свяжешься — хуже нету. Мне баба теперь ни к чему, и хозяйство мое не скоро еще кончится. Так и ты живи.

— Попробую. Ну, бывай, отец.

— Бывай, что ж делать-то.

Пронякин шел ухабистой дорогой, извинаящейся во ржи, и не мог теперь слышать замирающий запах осоки, сочный и пряный, молодой запах. Он не успел тогда к утреннему поезду и стал дожидаться вечернего. Он выспался на траве под насыпью, а потом в долгом мучительном томлении сидел в буфете и пил пиво, заедая каменными бутербродами, пока буфетчица не сжалилась над ним и не позвала к себе, в крохотную комнатку позади прилавка. Там она варила себе обед и накормила его этим обедом, и тут он впервые ее разглядел. Она была еще молода, но уже знала не одного мужчину, это он видел ясно. Его собственный опыт был куда меньше. Вечером он помогал ей закрывать буфет и пропустил свой поезд и остался у нее, в той же крохотной комнатке станционного домика.

За окном грохотали поезда, которые здесь не оставались, и желтые пятна от их огней прыгали по ее лицу и груди. В эти минуты ему отчего-то становилось нестерпимо жалко ее, и он спросил:

— И не надоело тебе вот так?

— Надоело,— созналась она честно.— Знаешь, как надоело! Вся жизнь моя как проезжая дорога.

Он помолчал и сказал неожиданно для себя:

— Ну так уедем отсюда.

— Уедем? — Она приподнялась на локте и склонилась над ним. Волосы ее касались его лица.— Ты сказал «уедем». Это как же — вместе?

— Ну вместе...

— Постой,— сказала она.— А кто ты мне?

Он и сам не знал, кто он ей. Но утром, когда она оделась и пошла приготовить что-нибудь ему в дорогу, он уже знал, кто он ей. И назвал ее женою, потому что твердо решил это к утру. Она очень удивилась и, жалея его, рассказала ему все о себе, но он настоял на своем.

На третий день они уехали оттуда и долгие годы скитались вместе.

Он ни разу не раскаялся в этом и никогда не жалел, что не остался тогда у «куркулей», хотя они, конечно, не были «куркулями». Вот только ничего у нее не было, кроме оравы родичей в Горьком, и никогда они ничего не могли нажить, хотя она умела попасть на хорошее место и неплохо заработать. Сначала, когда еще была молодость и любовь, они легко расставались с тем, от чего не пахло ни молодостью, ни любовью, и уходили на другое место, а потом, когда захотелось чего-то еще, этого уже трудно было добиться, потому что вместе с этим пришла усталость. Вернее, они пришли вместе, усталость и желание чего-то еще. И все равно они любили друг друга, хотя он и изменял ей в отъездах, да и она, наверное, изменяла ему.

Теперь, готовясь к тому, что должно было с ним произойти, он понял, что все было хорошо тогда — и лунная ночь в степи, когда он шел к невесте, и молодой запах осоки, и женщина, которая поделилась тарелкой борща, а потом и постелью. Может быть, во всей его жизни только и были два счастливых дня — тот, на маленькой станции, под Камышином, и сегодняшний, когда он вез из карьера руду. Он взял бы все это с собой в последнюю, самую дальнюю дорогу...

Но он не смог ничего взять, потому что услышал далекое фырканье машины и плеск разгребаемой грязи. Машина была легковая и шла от аэродрома. Он догадался, что Силантиков все же завяз, но Хомяков привез врача на самолете, и в нем опять шевельнулась надежда. Затем отсветы фар заплясали на потолке, и машина остановилась. Из нее вышли двое. Они прошли под самым окном.

Он услышал простуженный голос Хомякова; сквозь приоткрытую форточку долетели обрывки фраз:

— ...о чем я вас прошу... Это замечательный парень... мы завтра о нем в газете... Он верил больше всех... и даже меня, которому... по должности...

— Мне это решительно все равно.— Второй голос был высок и четок.— Имеет ли он пять благодарностей от министра или десять выговоров в приказе. Меня про-
сить не надо.

Хлопнула дверь вниз, и Хомяков, наверное, остался один. Слышались его чавкающие длинные шаги. Потом

они захлюпали к машине, и Хомяков спросил кого-то, на-
верное водителя:

— Ну, как думаешь?..

Но что думал водитель, Пронякин уже не слышал, потому что машина заворчала и отсветы фар исчезли с потолка. В соседней комнате возникла поспешная суета, и откуда-то взялся голос маленькой седой врачихи, которая перевязывала Пронякина с помощью сестры. Ему было тревожно и страшно, вместе с надеждой к нему опять подступила боль, и он бы, пожалуй, согласился, если б эти люди оставили его в покое.

Врачиха быстро просунула руку и включила свет, пропуская вперед приезжего хирурга. Он ступал мягко, должно быть надел поверх ботинок войлочные шлепанцы, и сестра завязывала на нем тесемки халата, который был для него тесен. Он морщился и дергал плечом. Он был высок и толст, под халатом явственно обозначалось брюшко. Не поглядев на больного, он вытянул руки вперед, и врачиха с сестрой засуетились снова. В больнице не было водопровода, его не было еще во всем поселке, и сестра поливала на руки приезжему из эмалированной кастрюли над тазом в углу.

Вытирая пальцы, он подошел к постели Пронякина и молча уставился на него.

— Ну-с, как мы тут? — спросил он машинально и повесил полотенце на плечо врачихе. Она этого даже не заметила. Он присел на койку. — Вы говорите, пятый и шестой?

— Пятый и шестой, — подтвердила врачиха. Она, вероятно, гордилась немножко, что у нее в практике такой тяжелый случай.

— Глаз тоже поврежден? — спросил хирург. Он еще не прикасался к Пронякину.

— Глаз, к счастью, не поврежден, — ответила врачиха.

— Что же ты так, милый? — спросил хирург и, поморщившись, посмотрел на люстру. — Ну-ка, помогите мне.

Втроем они сняли с Пронякина одеяло, стащили грелки и бутылки с теплой водой и перевернули на живот. Он зажмурился и стиснул зубы. Он не знал, сколько это продолжалось — минуту или час, потому что сразу же зарычал и провалился в лиловую пустоту, как только чьи-то пальцы вошли между фанерным щитом и его затылком. Но даже из пустоты он чувствовал прохладные и

неловкие пальцы сестры, торопливые и мягкие прикосновения старой врачихи и сильные пожатия толстых пальцев хирурга. Но странно, именно эти сильные пожатия причиняли меньше всего боли. Точно боль страшилась этих пальцев и бежала от них.

Когда он очнулся, он опять лежал на спине, и хирург смотрел на него. Пронякин видел его одним глазом и не знал, далеко ли он сидит.

— Что же ты, милый? — опять спросил хирург.

Пронякин виновато вздохнул. Глаз ему застилали слезы.

— Так вы говорите — пятый и шестой? Правильно, — сказал хирург. — Правильно, черт возьми.

И, потянувшись к больной ноге Пронякина, вдруг быстро и сильно помял ее. Напряжение отразилось на его лице.

— Больно?

— Н-нет.

— А так? — Он ударил кулаком.

— Тоже нет.

Он и в самом деле не чувствовал боли. Может быть, она и отсюда ушла в страхе перед этими пальцами.

— А пошевелите-ка ногой. Сильнее.

Он сделал все, чтобы пошевелить ногой. Он делал это охотно, потому что боль ушла из нее совсем.

— Ничего, — сказал хирург. — Ничего, милый, страшного.

Пронякин улыбнулся ему сквозь слезы. Надежда разрасталась в нем и заполняла все тело, из которого уходила боль.

Хирург быстро поднялся и вышел. Полы халата развевались за ним. Врачиха и сестра накрыли Пронякина одеялом и вышли тоже. Они плотно прикрыли дверь.

Они прикрыли ее очень плотно, и тогда хирург спросил, дергая плечом, оттого что халат жал ему под мышкой:

— Сколько ему лет?

— Еще не исполнилось тридцати, — ответила врачиха.

— Н-да. Вряд ли исполнится. Ну что ж, готовьте.

— Будем оперировать? — спросила сестра.

— Нет. Будем снимать мерку для костюма.

Он достал из-под халата сигаретницу из карельской березы и антиникотиновый мундштук и вкусно, изящно закурил, выпуская дым тоненькой струйкой из-под пу-

шистых усиков. Сестра взяла с подоконника пепельницу и держала ее в руке, чтобы он не сбрасывал пепел на пол.

— Вы думаете, летальный исход? — спросила врачиха, глядя на него снизу вверх сквозь толстые очки.

Он помолчал и вдруг рассердился:

— Слушайте, какое вам дело до того, что я думаю! Разрежем — посмотрим. Как будто вы сами не видите: уже начался паралич ног, еще час, ну два, и процесс поднимется кверху. Я еще удивляюсь его сердцу. Это просто буйволово сердце, потому что наверняка же задет блуждающий нерв.

— Но я правильно сделала, что вызвала вас? — спросила врачиха.

Он передернул нетерпеливо плечами и сбросил пепел мимо пепельницы.

— Вы все правильно сделали, коллега. Вы просто идеально все сделали. Вы только забыли поставить ему новые позвонки. Сущий пустяк, вы не находите?

Он прошелся по комнате, заложив руки за спину; шлепанцы мешали ему, и он отшвырнул их в сердцах.

— Вы тоже думаете, что врач, живущий в городе, лучше того, который живет в районе? А районный лучше поселкового? Так?

— Простите, — сказала врачиха.

— Да я несколько не зол, что вы меня вызвали. Я зол на себя, на всех нас, которые везде одинаковы. Мы одинаково ни черта не умеем. Уж наверное он знал свое дело лучше, чем мы. Что там говорить? Вот бросьте его одного, со всеми его ранами, в степи, в грязи, под дождем, голого!.. Думаете, он не выживет? Выживет. Сам приползет. А если он умрет, так от чего? А? Позвонки! Но вот тут-то как раз и мы ни черта не умеем.

— Может быть, через двадцать лет и это будут лечить? — сказала сестра.

— Утешила! Через двадцать лет никто за здорово живешь не станет ломать себе шею. А впрочем, черт его знает... Ну что вы стоите, как истуканы? Я же сказал: «Готовьте!» Инструменты возьмите мои, в саквояже. И готовьте, готовьте, не будем рассусоливать.

Пронякин не слышал их и ждал, когда они снова вернутся к нему. Он ждал их с надеждой и страхом и даже обрадовался, услышав, как стукнула дверь вниз. Он не знал, что это Федька с Антоном принесли коньяк, за

которым они ходили за восемь километров в Лозню, и решил, что его до утра оставят в покое.

Но дверь отворилась, и вошла сестра. Она включила все лампы в люстре и улыбнулась Пронякину дрожащей улыбкой. За нею вошли врачиха и санитар с носилками, тяжелый и длиннорукий, с проседью в рыжих усах и кудлатой пепельной головой. Он кашлянул в кулак и подошел к постели Пронякина. Втроем они стали переключать его на носилки — очень бережно и потому очень долго. А когда он снова пришел в себя, он уже лежал на столе, на боку, накрытый простыней, и потолок качался над ним. Сестра подняла шприц к свету и выплеснула несколько капель. Потом врачиха отобрала у нее шприц. Потом он увидел хмурое лицо хирурга, который подходил к нему, подняв руки, облитые желтым лаком перчаток.

И Пронякин вздохнул, закрыв глаза, и вытянулся, готовый ко всему на свете, готовый опять провалиться с рычанием в лиловую пустоту.

А среди ночи он проснулся с тревожным ощущением, что с ним сейчас, вот через минуту, что-то произойдет. Это ощущение было сильнее, чем свежий надрез на затылке, и отчасти знакомо ему. Как будто он на вечеринке хватил лишнего и почувствовал себя скверно, и надо побыстрее, пока еще что-то соображаешь, выбраться — через стулья и колени соседей — на свежий воздух, иначе потом не оберешься стыда. Но тут опять боль взялась за него и не отпускала. Он хотел позвать сестру и не мог позвать, потому что перехватило дыхание.

Вокруг была темнота — наверное, все ушли и плотно прикрыли дверь, — и он не понимал, откуда берутся голоса, которые доносились к нему глухим бормотанием. Он догадался, что их там трое: сестра, врачиха и еще как будто та девочка, что работает на отвале; она теперь что-то рассказывала им, а они спрашивали. Ее голос был самый звонкий, но она проглатывала слова, и он различал только свое имя. Но потому, как она говорила и как дрожал ее голос испугом, сожалением и затаенной, стыдной для нее самой радостью, он понял, что она рассказывала им, как он не взял ее с собой в карьер.

— Треплются бабы, — сказал он самому себе, мысленно усмехаясь. — Надо же бабам потрепаться.

Дыхание опять вернулось, и, должно быть, вернулся

голос, но он не стал звать сестру. Боль начала утихать. И он понял вдруг, почему молоденькая сестра боится остаться здесь одна этой ночью. Он был уже слишком обессилен, чтобы эта мысль могла его потрясти или напугать. Кто-то из них встал и вдруг оказался очень близко, и он нарочно старался дышать громче и ровнее; ведь они, наверное, хотели слышать его дыхание.

Они опять забормотали там, за глухой стеной, но он уже не прислушивался к их разговору, он прислушивался к тому, что происходило в нем самом. Если б он мог увидеть сейчас свое лицо, он бы узнал, что трудная складка возле его рта наконец разгладилась.

Ну что ж, они для того и оставили тебя, чтобы ты побыл один, если уж все равно ничего не поделаешь. Подумай, ведь ты и работу выбрал себе такую, чтобы быть одному в кабине, наедине с машиной и дорогой. Так и теперь случилось. Но если ты жил, хотел и добивался, если ты что-то делал и любил то, что ты делаешь, и кому-нибудь становилось от этого теплее, тогда ты можешь умереть один, в темной комнате, не сказав никому ни слова прощания или раскаяния. Тебе случалось видеть, как умирают, да и рассказывали об этом достаточно, и, право же, в этом ничего красивого не было. К тому же все они говорили какую-нибудь чепуху. «Сухо» или «Давит, братцы...» Только один сказал что-то хорошее: «Вот лето придет, к морю поедem»,— да и тот, наверное, бредил. Это ведь уже не слова, а так, болтание слабеющим языком, голова тут ни при чем, и жизнь тоже. Ну так и не зови к себе никого, ты только напугаешь их, а завтра все будут на разные лады повторять и перекраивать то, что ты вовсе и не хотел сказать...

Так или иначе думал он, в одиночку справляясь с болью.

А в комнате над ним горел яркий свет, очень яркий сейчас, потому что его давно уже выключили во всех домах поселка, и люди находились рядом — врачиха, сестра и приезжий хирург, и не было никакой девочки, что работает на отвале,— они сидели вокруг, не сводя с него глаз и прислушиваясь к его замирающему дыханию.

Но он не видел и не слышал их, хотя они разговаривали громко. Он видел и слышал свое.

Ветер опять шумел в мокром лесу и хлопал форточкой о косяк, где-то близко прошла по грязи машина, косые отсветы фар заплескали на стенах, ломаясь на потолке.

Потом стихло, и чей-то охрипший голос сказал: «Ну, кажется, все... теперь не остановишь».

Внезапно кто-то невидимый рванул койку и приподнял ее на метр от пола. Пронякин схватился за край ватной рукой и тут же потерял эту руку. У него снова перехватило дыхание. И сильно зашумело в ушах. Но он почувствовал отчетливо, как вся комната, где бродили отсветы фар, повернулась и начала кружиться, как это бывает в сильном опьянении. И только кровать висела неподвижно. Но потом и она закачалась, как на волне, когда лежишь в носу лодки и смотришь в небо.

И вдруг она поплыла вперед, как лодка, и бесшумно преодолела пределы комнаты. Подул ветер, и тьма начала проясняться, приобретая серо-голубой цвет глины в карьере. Он плыл, покачиваясь, в эту даль, над мокрым лесом и над дорогой, петляющей по склону, и ему становилось все легче, все покойнее, уже почти исчезло воспоминание о боли, когда началось мучительное падение. Его ничем нельзя было остановить, не за что схватиться, а земля стремительно приближалась, разрастаясь к горизонтам, и казалась все тверже, все страшнее. Он молил теперь об одном: чтобы его отнесло на деревья и чтоб ветви ослабили удар.

Вдруг чей-то голос, гулкий, будто в длинной трубе, закричал внизу:

— Падает, падает пульс... Вы чувствуете?

Он чувствовал только, что его несет на деревья, и обрадовался. И это было последней радостью. Потом что-то прохладное, шелковистое окутало ему лицо, и он подумал, что это листья, холодные и трепещущие от ветра.

В тот день, когда серый почтовый вездеход-фургон увозил Пронякина в прозекторскую белгородской больницы, в тот день пошла наконец большая руда.

Ближе к рассвету подул сильный восточный ветер, который подсушил глину и разогнал облака. Ранним утром показалось солнце, впервые за эти дни предосенних дождей; оно заискрилось в огромных лужах, подернутых мельчайшей рябью, и склоны карьера покрылись толстой потрескавшейся корой. К забою, где работал Антон, приползли еще четыре экскаватора, которые два часа кряду, наступая и отступая, расширяли пятачок откры-

того рудного тела. Шпур, заведенный на глубину в пять метров, выбросил взрывом чистую руду.

Тогда в карьер по бетонке, старательно расчищенной бульдозерами, спустилась первая смена самосвалов. А еще через полчаса первая машина — самосвал Мацуева — показалась в выездной траншее. За ним шли Косичкин, Меняйло, Выхристюк, Федька Маковозов и водители других бригад, которые покамест оставили вскрышу и перешли на вывоз руды. Их провожали глазами тысячи жителей поселка, облепивших края и склоны карьера, крыши экскаваторов и фермы кранов. Маленький самодеятельный оркестр ударил во всю мощь молодецких легких, и на радиаторы первых машин посыпались охапки цветов.

Выехав из траншеи, Мацуев по привычке повернул было к отвалу, но ему со смехом указали новый путь сотни людей, стоявших шпалерами вдоль шоссе. И машины повернули к лесу, за которым высились корпуса дробильной фабрики. В одиннадцать часов была разрезана ленточка, и загрохотала щековая дробилка.

Шла большая руда, брызнувшая фонтаном из вспоротой вены земли.

Она переполняла ковши экскаваторов и кузова машин и неслась, летела по шоссе бесконечной вереницей ревущих самосвалов. С двух сторон подъезжали они к опускному колодцу, упираясь колесами в деревянный брус и поднимая кузова, и руда, разом дрогнув, скрывалась и падала, падала в разверстое жерло бункера. Она высекала искры из стальной обшивки, и в темной глубине медленно подскакивали многопудовые глыбы, прежде чем улечься на зубья транспортеров.

Солнце, пробиваясь в щели навеса, сияло на оловянных медведях, а кузова, испачканные бурой пылью, горели, будто кованные из червонной меди.

Шла большая руда, и где-то внизу, на глубине в десять метров, попадала в щековую дробилку, которая с хрустом размалывала и перетираала многопудовые глыбы, двигая справа налево гигантскими челюстями. Оттуда, из темной пыльной глубины подземелья, резиновая лента, похлестывая на катках, несла ее наверх, на галерею, откуда она должна была трижды низринуться в конусные дробилки и трижды подняться снова, чтобы в последний раз просеяться мелкой бурой крупой в подставленную платформу эшелона.

А в четыре часа пополудни паровоз, украшенный цветами и кленовыми ветками, дал торжествующе-долгий гудок и потащил первые двенадцать вагонов лозненской синьки. Люди шли за ними вдоль полотна, а потом и по шпалам, и бросали цветы и ветви, расставаясь с вагонами, пропадавшими за поворотом в лесу.

Впереди толпы шел молодой и высокий парень в бо-стоновом пиджачке внакидку, в кепке, надетой козырьком назад, и пел, выкрикивая слова, нещадно мучая струны покоробившейся гитары; на лбу и на шее у него, на-прягаясь, багровели жилы:

Двери славы! Ах вы, дверцы узкие..
Но как ни были бы вы узки,
Все равно войдем мы все, кто в Курске,
Ах, добыва-ал железные куски!..

Девчата висли у него на локтях и подпевали, смешливо заглядывая ему в лицо:

А судьба моя —
Судьба завидная.
Притянула меня
Земля магнитная!..

Маленький паровоз непрестанно гудел утробным басом и мчал руду в южнорусскую степь, мимо тенистых рощ, перелесков и хуторов, мимо полей, речек и лугов с задумчивыми коровами и собаками, подбегавшими к насыпи с бесшумным лаем, мимо шламбаумов и дорог с пыльными навьюченными машинами и девчат, спевающих песни в деревнях, настоянных предвечерним покоем.

Шла большая руда, и шофер, который вез Пронякина в прозекторскую белгородской больницы, очень торопился. Он должен был сдать тело, а потом еще заехать на фильмобазу кинопроката и заполучить картину поновее, пока не расхватали другие рудники и заводы. А дорога была вся в рытвинах и величавых лужах, обыкновенная «грунтовая средней проходимости». Иногда машина подолгу буксовала в грязи, и тогда он вылезал, брал лопату и, стараясь не глядеть в кузов, швырял под колеса подсохшую землю с обочины. При этом он старался ругаться потише.

На повороте к Симферопольскому шоссе ему повстречалась старая кофейная «Победа» с шахматным ободком, тяжело переваливающаяся с боку на бок. Они поравнялись и стали дверца к дверце.

— Друг,— сказал водитель такси в фуражке с «крабом».— Лозненский рудник знаешь?

— Сам оттуда.

— А далеко ли?

— Гляди прямо,— сказал водитель фургона, не оборачиваясь.— Деревушку на горюшке видишь? С церковью.

— Ну?

— Ну так это Лозня. До нее по-человечески восемь, а по спидометру все пятнадцать. Чуешь? А до рудника еще семь. Там покажут добрые люди. Четыре кирпичных блока, десять барачков, остальное — «шанхай». Это и есть Рудногорск.

— Дорожка, значит, того?..

— Скатерть! — сказал водитель фургона.— Обрати внимание на мои борты.

В машине сидела женщина. Сквозь стекло ему видно было, что она едет с вещами и что ей тесно среди этих вещей.

Женщина опустила стекло и выглянула. Она была красива бойкой красотой парикмахерш и продавщиц. Но если бы он посмотрел внимательнее, он бы заметил усталость в ее глазах и морщинки вокруг чуть припухших губ, какие бывают у добрых женщин.

— На работу? — спросил водитель фургона. Женщина ему нравилась. Он с удовольствием сел бы на место водителя такси и уступил бы ему свое место.

— Да еще не знаю,— сказала женщина.— Пока что к мужу. Он у вас на МАЗе работает.

— К мужу? — спросил водитель фургона.— Тогда другое дело. Везет же кому-то!

Он совсем не хотел ей польстить, он просто очень хотел работать на самосвале. Но женщина кокетливо улыбнулась и тронула рукой мелко завитые волосы.

— Праздничек сегодня у вас? — спросил водитель такси.— По радио-то нынче объявляли.

— Ага, праздничек.— Он, не отрываясь, глядел на женщину. Она опять улыбнулась ему.

— Шумят небось? — спросил водитель такси.— Гуляют?

Водитель фургона пожал плечами, холодно заметил:

— Кто и погуляет...

И отпустил педаль сцепления. Шла большая руда, и он торопился и не хотел вдаваться в подробности.

Подробностей этой истории не было и в газете, которая как раз поспела к митингу. На первой полосе был помещен большой снимок бригады. Они улыбались. И Пронякин улыбался тоже. Но он улыбался другой улыбкой и был неловко подверстан к плечу Мацуева, потому что клише пришлось изготовить со старой фотографии Пронякина, которую Антон разыскал в его тумбочке. На этой фотографии он был в новой шляпе, которую, конечно, отрезали, а вместо нее подретушировали прическу, отчего он и вышел на снимке жгучим брюнетом. Этот номер хранится у многих в Рудногорске, и очень юный брюнет в модном галстуке, с папироской в углу рта странно выделяется среди комбинезонов и ватников.

И мало кто помнит его таким, каким он был в тот сентябрьский ветреный день, когда он стоял на поверхности земли, над чашей карьера.

«Новый мир», 1961, № 7.

ДАВИД САМОЙЛОВ

СОРОКОВЫЕ

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.

Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

ОБЕЛИСКИ

СТИХИ СОЛДАТА

1

Поэт не царь,
но только больше!
Пока незрел, растет пока,
растут на Яузе и в Орше
его потешные войска.
Растут в Калуге и в Рязани
друзья забот,
друзья забав
с его тяжелыми глазами,
с его словами на зубах.
Приходит час,
и хватит жеста,
чтоб он собрал под тень руки
Семеновский,
Преображенский —
свои лейб-гвардии полки.
И прочь, раздоры!
На колени!
Готовясь к славе и борьбе,
его стихами
поколение
клянется в верности себе.

2

Не заслуга быть белым.
Не достоинство — русым.
Очень трудно быть смелым.
Очень просто быть трусом.
Кто не продал России
ради собственной славы,

знает: трудно быть сильным,
знает: просто быть слабым.
Мы, престолы низвергнув,
жили в буднях великих.
Знаем: трудно быть верным
и несложно — двуликим.
Жили в ящиках тесных,
рвали нервы и жилы.
Знаем: трудно быть честным,
знаем: просто быть лживым.
Знаем: трудно жить крупно,
проще — жить осторожно;
добрым — сложно и трудно
и недобрым — несложно.
Люди смелого роста,
улыбаемся грустно:
нам, конечно, непросто,
нелегко...
Но — не гнусно!

3

Если старуха не сцапала,
вырваться — лысого черта вам!
Где вы, ребята с двадцатого?
Мальчики — с двадцать четвертого?
А я все пишу и пишу вам
про все, что случилось, подряд,
стихи, из которых «...шубу
не сшить» — знатоки говорят.
В них то, что одним — ребячество,
в них то, что другим — история.
И ты не поддержишь,
незрячая,
немая аудитория.
Лежишь в полковом отдалении
на метр и на два в глубине:
в секрете мое отделение,
в секрете мое поколение —
пятнадцатый год на войне!

4

Мы — ушедшие без племени:
 это было не с руки.
 наших девушек, как пленниц,
 разбирали старики.
 Злые мальчики забавами
 понаташили за бабами,
 называли их старухами,
 выбирали посвежей.
 Не нашлось тогда заступников,
 Не сыскалось сторожей...
 Сторожа лежат под травами,
 корни кости их сосут.
 Им цветы и песни с флагами
 чьи-то девочки несут.

5

Девчонка парикмахершей работала.
 Девчонку изнасиловала рота.
 Ей в рот портянки потные совали.
 Ласкали непечатными словами.
 Сорвали гимнастерку с красной ленточкой:
 была девчонка ранена в бою.
 Девчонку мы в полку прозвали «деточкой»,
 невенчанную женщину мою.

Не для стихов дела такого рода.
 Но это была власовская рота.
 Мы женщину забыли в отступлении.
 В пяти верстах догнала злая весть.
 Хоть в петлю лезь,
 не будет подкрепления.
 Полсотни душ —
 был полк разбитый весь.
 Бежали мы,
 летели мы над верстами,
 в село ворвались сомкнутыми горстками.
 Нет, кулаками, быстрыми и жесткими,
 не биться и не мериться — карать!
 И где-то бабы всхлипывали: «Господи!
 Откуда эта праведная рать?!»
 Колесный гул,

разрывы, вопли, громы.
Я штык согнул
и расстрелял патроны.
Добили мы их в рытвине, за баней,
хватали у своих из-под руки:
я этими вот белыми зубами
откусывал, как репы, кадыки.

Девчонка задремала под шинелью.
А мы, глотнув трофейного вина,
сидели, охраняли, не шумели,
как будто что-то слышала она.
Был вымыт пол,
блиндаж украшен, убран,
как будто что-то видела она.

...За эту операцию под утро
прислали нам из штаба ордена.
Мы их зарыли в холмик вместе с нею.
Ушли вперед,
в Литовские края.
Чем дальше в жизнь,
тем чище и яснее
невенчанная женщина моя.

6

Не растерянной,
не слабой
повстречалась ты с войной.
Ты не стала Ярославной
ждать солдата за стеной,
выходить на стену, плача,
звать на помощь лес и дол.
Лямки жесткие — на плечи,
в брюки ватные — подол,
и туда, где мрак и пекло,
где боец колоть устал,
где в горячих бурях пепла
с визгом носится металл,
где солдаты матерятся,
где от схватки не сбежать,
где на миг лишь растеряться —
век под камушком лежать.

Он всегда поднимается рано.
А у меня откликаются раны.
И, глупые, бестолково ноют,
а я их, покачиваясь, баюкаю.
И мы все живем той войною.
И форточки называем люками,
И шутки называем пулями.
Да мало ли прошлых слов!
Мы с другом случайно вернулись
из солдатских мальчишеских снов.
Вернулись,
точно проснулись,— на марше.
А женщины нам по-прежнему
руками машут.
А мы идем, переполненные снами,
на сближенье с какой-то ватагой.
И на валиках резиновых
развертываем знамя
перед последней атакой.

9

Пусть волны, как волны,
пусть ветер, как ветер,
пусть пули — в бою, как в бою,—
на бронзовой паре
своих сорок третьих,
как вкопанный в землю, стою.
И вижу, как беркут, далеко-далеко,
и ведаю суть за враньем:
от мозга и к мозгу
большая дорога
работает ночью и днем.
Мой мир — не растворов,
мой — крепких эссенций,
бой, грянув, творит и не ждет!
Но есть у меня
беззащитное сердце,
и это меня подведет...

Таруса.

Апрель 1961 г.

«Тарусские страницы», Калуга, 1961

БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР

ПОВЕСТЬ

*Посвящаю моим сыновьям
ИГОРЮ И АНТОНУ*

Это не приключения. Это о том, как я воевал. Как меня убить хотели, но мне повезло. Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить. А может быть, и некого. Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров. Кому-нибудь от этого известия станет радостно, а кому-нибудь, конечно, горько. Но я жив. Ничего не поделаешь. Всем ведь не угодишь.

СЕНО-СОЛОМА

В детстве я плакал много. В отрочестве — меньше. В юности — дважды. Первый раз это было перед самой войной, вечером. Я сказал девочке, которую любил, сказал с деланным равнодушием:

— Ну что ж, раз так, значит, конец...

— Ну что ж, значит, конец, — неожиданно спокойно согласилась она. И быстро пошла прочь. И тогда я заплакал: ведь она уходила. И утирал слезы ладонью.

Второй раз я плачу сейчас, здесь, в Моздокской степи. Я несу командиру полка очень ответственный пакет. Черт его знает, где он, этот командир полка! Песчаные холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день на передовой. А за невыполнение задания — расстрел. А мне восемнадцать лет.

Кто это сказал о расстреле? Это Коля Гринченко сказал, когда я отправлялся. У него была красивая улыбка, когда он говорил об этом.

— Держись, а не то кокнут, и все...

Приставят меня к стене. Впрочем, какие здесь стены.

И я утираю слезы. «Ваш сын оказался трусом и...» Так будет начинаться извещение... Ну, почему это именно меня послали с пакетом? Вот Коля Гринченко — такой

сильный, ловкий парень. Он бы уже давно добрался. Сидел бы сейчас в теплой землянке штаба полка. Пил бы чай из кружки. Подмигивал бы связисткам и улыбался красивым ртом.

А вдруг сейчас ухнет мина? Отыщут меня утром. Командир полка скажет командиру батареи:

— Что же это вы, лейтенант Бураков, неопытного солдата послали? Не дали осмотреться человеку, привыкнуть. Вот из-за вашего равнодушия погиб хороший человек.

«Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответственного оперативного задания...» Так будет начинаться извещение...

— Эй, куда идешь?

Это мне кричат. Я вижу, там окопчик, и из него мне рукой машут. Мало ли куда я иду?

— Стой! — кричат за спиной.

Останавливаюсь.

— Давай сюда...

Подхожу. Кто-то с силой втягивает меня в окопчик за рукав.

— Куда шел? — зло спрашивают.

Я объясняю.

— А ты знаешь, что там немцы? Еще бы сто метров...

Мне объясняют. Это наш передовой дозор, оказывается.

Потом меня долго ведут в землянку. Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели... Хоть бы дали чаю. Я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы сказал этой красавице о чем-нибудь таком... Конечно, у меня такой вид...

— Идите на батарею, — зло говорит командир полка, — и скажите вашему командиру, чтобы он таких донесений больше не посылал.

Он делает ударение на слове «таких».

— Хорошо, — говорю я. И слышу тихий смех красивой связистки. Она смотрит на меня и смеется.

— Вы давно в армии? — спрашивает полковник.

— Месяц.

— В армии нужно отвечать не «хорошо», а «есть»... и потом это... носки вместе, пятки врозь...

— Сено-солома,— говорит кто-то из темного угла.

— Я знаю,— говорю я. И выхожу. Почти бегу.

Опять степь. Идет снег. И тишина. Как-то даже не верится, что это фронт, передовая, что рядом опасность. Теперь-то уж я не собьюсь с пути.

Представляю, как смешно я выглядел: расставленные ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натянутая на уши. А эта красавица... И даже чаю не предложили... Коля Гринченко, когда говорит с офицерами, всегда чуть улыбается. Еле-еле. Никогда не спорит, а слегка улыбается. И очень изящно козыряет и говорит при этом: «Так точно». А мне слышится: «Приказывай, приказывай. Я-то тебя насквозь вижу». Он-то видит. А ботинки у меня здоровенные. Это даже хорошо. Увесистая мужская нога. И снег хрустит. Мне бы только шапку-ушанку, и я не выглядел бы таким жалким. Вот сейчас приду, доложу. Напьюсь горячего чая. Посплю. Теперь я имею право.

За спиной у меня автомат, на боку — две гранаты, с другого бока — противогаз. Очень воинственный вид. Очень. Кто-то сказал, что воинственность — признак трусости. А я трус? Когда в восьмом классе мы поссорились с Володькой Аниловым, я первый крикнул ему:

— Давай стукнемся! — и мне стало страшно. Но мы пошли за школу. И товарищи окружили нас. Он первый ударил меня по руке.

— Ах так?! — крикнул я и толкнул его в плечо.

Потом мы долго ругали друг друга, не решаясь напасть.

И вдруг мне стало смешно, и я сказал ему:

— Послушай, ну я дам тебе в рыло...

— Дай, дай! — крикнул он и выставил кулаки.

— Или ты мне дашь. Кровь пойдет. Ну какая разница?

Он вдруг успокоился. Мы пожали друг другу руки по всем правилам. Но потом дружбы уже не было.

Трус я?

Вчера на рассвете мы остановились среди этих вот холмов.

— Все,— сказал лейтенант Бураков,— прибыли.

— Что это? — спросили его.

— Это передовая.

Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью.

— А где немцы? — спросил кто-то.

— Немцы там.

«Там» виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым.

И я подумал, что мне совсем не страшно. И удивился, как это лейтенант так просто определил позиции врага.

НИНА

— А ты красивый, — говорит Сашка Золотарев.

Я бреюсь перед осклочком зеркала. Брить нечего. В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные. Нос красный. Кровь красная. Пока брился, весь изрезался. Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой.

Для чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка.

— Привет, — сказала она.

А я посмотрел на нее и понял, что я небрит. Я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвета я не запомнил. Я кивнул ей.

— Как жизнь? — спросила она.

— Идет, — сказал я мрачно.

— А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли?

Я достал папиросы.

— Ого, — сказала она, — папиросы.

— Тебе что, делать нечего? — спросил я.

— Давай покурим, — сказала она. И сама взяла из пачки папиросу.

Мы курили и молчали. Потом она сказала:

— А ты совсем еще малявка, да?

— Что это значит?

— Это рыбка, которая только из икры.

Я полез в землянку, а она смеялась вслед.

— Приходила Нинка? — спросил потом Коля Гринченко.

— Да. А ты ее знаешь?

— Я всех знаю, — сказал он.

Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, что она придет. И я расстегнул воротник гимнастер-

ки. Пусть у меня будет лихой вид. И я расстегнул шинель и засунул руки в карманы. И встал за ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток.

Кто я? Я боец, минометчик. У нас полковые минометы. Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки...

— А ты красивый,— говорит Сашка Золотарев. А я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои, губы мои расползаются.

Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом покрывает ботинки толстым слоем тавота.

Придет Нина или не придет? Я скажу ей: «Привет, малявка...» Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Если это война, то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого.

— А почему никого из начальства нет? — спрашиваю я.

— Совещаются,— говорит Сашка.

Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Золотарев. Если бы мне шинель по росту!

Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбается и говорит:

— Старшина — гад. Себе жарит яичницу, а мне концентрат дает.— И смотрит на нас с Сашкой.

— Не шуми,— говорит Сашка.

— Это ему не тыл,— не унимается Коля,— здесь ведь разговор короткий. В затылок — и привет. И не узнают.

— Пойди скажи ему об этом,— говорит Сашка.

А старшина стоит за Колиной спиной, и на подбородке у него сияет жирное пятнышко.

— Понятно,— говорит он.

Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою землянку. Все молчат. У Сашки блестят ботинки, как подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля Гринченко красиво улыбается. А из землянки старшины и в самом деле тянет глазуньей.

— Глазунья хороша с луком,— говорит Сашка.

Приходит Шонгин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни

разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожала его на все войны.

Приходит Шонгин и ест редис. И молчит.

— Откуда редиска?!

Шонгин пожимает плечами.

— Дай редисочки, Шонгин,— просит Сашка.

— Последняя,— говорит Шонгин.

Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает что... Как будто Колю Гринченко не могли послать. В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету...

А Шонгин достает редисочки одну за другой. Красные шарики летят в рот, хрустят.

— Шонгин, дай редисочки,— прошу я.

— Последняя,— говорит Шонгин.

Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, Нина придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. Не придет. И вдруг Коля говорит:

— Вот и Ниночка...

Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка-ушанка... ах какая у нее ушанка!.. она немного набекрень. Привет, малявка! Все смотрят в ее сторону, все. Она идет.

— А-а-а! — Это Шонгин кричит.— А-а-а! — и падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко.

— Ложись!

Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно!.. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина.

Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина:

— Хватит валяться, ежики.

Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издали, как она медленно поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно. Лицом вверх.

Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша.

ВОЙНА

Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей — шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира — беги, исполняй, оглушительно рывкай «Есть!», падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом — выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза...

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать...

Потерял я ложку как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша... Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня — дощечка.

А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших.

А Коля Гринченко кривит губы в усмешке:

— Не жалея, Сашка. На наш век баб хватит.

Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня.

Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу. Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то там переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А уставы мы не учим.

Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку:

— Ты что это раскурился?

— А что?

— Искры по ветру летят. Темно уже. Заметят, — говорит он и оглядывается.

Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзыва-

ется шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку.

— Говорил... твою мать! — кричит он.

Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе... А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу... Я виноват... Как я буду смотреть в глаза ребятам! Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают, мины падают.

И тогда я встаю и тоже бегу и кричу.

— Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!

Охает первый миномет. Сразу становится уютнее.словно у нас объявились сильные спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе, восторженно вскрикивает:

— Попадалься!.. Эвоэ!.. Попадалься!

Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! Побойще! Дым коромыслом... Впрочем, я все выдумываю... По нас ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват.

А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его.

— Отбой! — кричит Гургенидзе.

Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь.

— Товарищ лейтенант...

Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю: ждет, когда я признаюсь.

— Я виноват. Я совсем не подумал об этом... Делайте со мной что хотите...

— А что я должен с тобой делать? — задумчиво спрашивает он.— Ты что, натворил что-нибудь?

Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все, Начистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой:

— Послушай, иди отдыхай. При чем тут твоя самокрутка! Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди.

Я иду.

— Смотри не засни. Замерзнешь,— говорит вслед лейтенант.

Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим на месте? Неужели так будет всегда? Грохот, запах пороха, крик Гургенидзе «Попадайся! Не попадайся!..» и эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», падают, знамена высовываясь из рук.

И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза: а какое оно, наступление? Я подышу им. А НП — это не что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запевают птицы. Птицы!

Кто-то стягивает меня за ногу вниз.

— Жить надоело?! — шипит комбат. — Ты что здесь околачиваешься?

— Посмотреть хотел,— говорю я.

Наблюдатели смеются.

— Птицы откуда-то,— говорю я.

— Птицы? — переспрашивает комбат.

— Птицы...

— Какие птицы? — спрашивает из окопчика телефонист Кузин.

— Птицы,— говорю я и уже сам ничего не понимаю.

— Разве это птицы? — устало смотрит на меня комбат.

— Птицы... — смеется Кузин.

Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает палку над собой. И тотчас запевают птицы.

— Понял? — спрашивает комбат.

Он хороший человек. Другой бы начал топтать ногами и материться. Он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня убили, если бы не он. Это он, наверно, за ноги меня подтянул.

Становится темнее, темнее. Серые сумерки окутывают холмы. И я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет.

— Пулемет! — кричу я.

Никто не обращает на меня внимания.

— Пошли наши,—говорит комбат Бураков,—сейчас начнем.—И потом говорит мне: — На-ка погляди.

Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем, на фоне серого неба вытянулся полоской населенный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих пуль. И я слышу тарахтение пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу людей.

— Пошли, пошли! — кричат за моей спиной.

— Где, где?

И вдруг я вижу: по степи кое-где перебегают, согнувшись в три погибели, одиночные фигурки. Редко-редко.

— Хватит,—говорит комбат,—иди на батарею.

Я скатываюсь с холма. Я бегу. А навстречу мне плывет, покачиваясь на хоямах, «виллис». А в нем сидит генерал. Я не знаю, что мне делать: пробежать или пройти строевым, приложив ладонь к козырьку...

Генерал Багров. Он меня не видит. Он размахивает руками. А «виллис» приближается к наблюдательному пункту. И там уже вытянулся в ожидании комбат. И ребята стоят. И стереотруба стоит на своих трех ногах неподвижно.

И генерал выскакивает из машины, подбегает к комбату:

— По своим бьешь! По своим?!

Комбат молчит. Только голова мотается из стороны в сторону.

А потом генерал смотрит в стереотрубу, а комбат что-то объясняет ему. И генерал жмет ему руку.

«Чудеса!» — думаю я.

— Отбой! — кричит в телефон Кузин.

На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат.

— Что у тебя с ладонями? — спрашивает старшина.

Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. Яжимаю плечами.

— Это от минных ящиков,—говорит Шонгин.

Сейчас мне будут делать перевязку.

Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверно, пошел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверно, крови вытекло! Сейчас меня перевяжут, и я напишу домой письмо...

— Иди вымой руки,—говорит, обернувшись, старшина,—сейчас позицию менять будем.

КОЛОКОЛЬЧИК — ДАР ВАЛДАЯ...

Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову — и все? И мое горячее тело уже не будет горячим?.. Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я много боялся. Дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Разве недостаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне. Ведь это даже смешно — убивать человека, который ничего не успел совершить. Я даже десятого класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви говорю. Черт с ней, с любовью. Я согласен не любить. В конце концов, я уже любил. С меня хватит, если на то пошло. У меня мама есть. Что будет с ней?.. А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я еще не успел от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком не побывал. Я, например, не был еще на Валдае. Мне ведь нужно посмотреть, что это за Валдай? Нужно? Кто-то ведь написал: «...И колокольчик — дар Валдая...» А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я все пройду. До самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер, буду единоборствовать с танками, буду голодать, не спать, мучиться...

Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреплен блиндаж? Они и сами не рады, что здесь торчат. Они ведь соснами шумели так недавно... А когда мы уезжали на фронт, помнишь нашу теплушку? Ах, да, конечно же помню. Мы стояли у раскрытых дверей и пели какую-то торжественную песню. И у нас были гордо подняты головы. А эшелон стоял на запасных путях. Где? На Курском вокзале. По домам нас непустили. Я только успел позвонить домой. наших никого не было. Только старуха соседка Ирина Макаровна. Злая, подлая старуха. Сколько она мне крови попортила! Она спросила меня, где стоит эшелон.

— Жалко, — лицемерно сказала она, — не сможет мама повидаться-то с тобой.

И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час появилась у вагона Ирина Макаровна и сунула мне сверток. А потом, когда мы пели, она стояла в маленькой толпе случайных женщин. Кто она мне? Прощай, Ирина Макаровна. Прости меня. Разве я знал? Я никогда не смогу понять это... Может быть, ты и есть то лицо, у ко-

тогого следует просить защиты? Тогда защити меня. Я не хочу умереть. Говорю об этом прямо и не стыжусь...

В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного масла. И я поклялся сохранить один сухарь как реликвию... Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А чего же я прошу? А разве не сам я, когда прилетел «рама» и все полезли по щелям, стоял на виду?

— Лезь скорей! — кричали мне.

А я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. Если бы они знали, что у меня внутри делается! А я не могу побежать на виду у всех. Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду? Вот я и говорю. Я сам себе судья. Я имею на это право. Я не Петька Любимов. Помнишь Петьку Любимова? Ну, конечно, помню. Петр Лаврентьевич Любимов. Мой сосед по квартире. Когда началась война, он по вечерам выходил на кухню и говорил:

— Немцы-паскуды прут... Надо всем вставать на защиту. Вот у меня рука подживет — пойду добровольцем.

— Тебя и так призовут, Петенька, — говорили ему.

— Так — не штука. Так всякий пойдет. А когда Родина в опасности, нужно не ждать. Самому идти.

И спрашивал меня:

— А ты Родину-то любишь?

— Люблю, — говорил я. — Этому меня еще в первом классе научили.

А однажды я встретил его в военкомате. Это когда я повестки разносил. Он меня не видел. Разговаривал с капитаном каким-то.

— Товарищ капитан, — сказал он, — вот я освобождение принес.

— Какое освобождение?

— Бронь. Как специалист, бронь получил. Не хотят меня на производстве отпускать...

— Ну зайдите вот туда и оформляйте. Бронь так бронь, — сказал капитан.

Бронь так бронь. Вот так Петька. Какой же он специалист незаменимый, когда он часовщиком на Арбате в мастерской работал. И пошел Петька оформляться. Прошел мимо меня. Прошел. Остановился. Покраснел.

— Видал? — спросил меня. — Вот так-то. Умирать кому охота?

Наверно, он и сейчас по брони живет. Как будто он известный конструктор или великий артист...

...Этот блиндаж не нами оборудован. Он хороший, этот блиндаж. Он поменьше, правда, чем штаб полка, где Нина сидит, но все-таки неплохой. Видно, отсюда наспех уходили. Вот фотографию женскую уронили. Некрасивая молодая женщина улыбается с нее. А кто-то ее любит. Что ж он захватить-то ее позабыл?

— А ты, Сашка, бронь получал? — спрашиваю я.

— Кто ж мне ее даст? — говорит Сашка. — Ее не всем дают.

— Дал бы кому надо, — говорит Коля Гринченко, — была бы тебе бронь.

— Наверно, много давать? — спрашивает Сашка.

— Тысячи три. Барахлишко бы продал ради такого дела. Набрал бы.

— Барахлишка набрал бы. У меня один шифоньер три тысячи стоит.

— Ну вот и дал бы.

— А-а-а... — машет Сашка рукой. — Иди-ка ты...

— А ты-то что не дал? — сердится Шонгин.

— А у меня денег не было, — смеется Коля.

— Болтать ты горазд... — говорит Шонгин.

ЛАФА

Восьмой день бьют наши минометы. У нас уже трое ранено. Я их не видел. Когда вернулся на батарею, их уже унесли. Мы переезжаем с места на место, и у нас уже не то что землянок — путевых окопчиков нет. Некогда возиться. Это наступление. Когда оно началось, Коля Гринченко говорил:

— Лафа, ребята. Теперь будет лафа. Теперь мы будем отлично питаться. Теперь поживем на трофейном добре. Хватит концентраты лопать.

Тогда мы все ему поверили. И напрасно. Мы и артиллерия всюду приходим последними, когда ничего уже нет.

И опять концентрат. И дубовые сухари. И Коля Гринченко говорит старшине:

— Старшина, какого хрена этот концентрат! Где фронтная норма?

— А ты помнишь, ежик, как ты мне грозился? — спрашивает старшина.

— А ты докажи, — улыбается Гринченко.

— Ну вот и помалкивай, — говорит старшина.

Теперь у него грозное оружие против Коли. И Коля боится его. Я это вижу. Но иногда он забывает, что боится, и тогда переходит в наступление. И это бывает очень смешно.

Я помню, как мы вошли в первый населенный пункт, тот самый, который я видел с НП. Это было разбитое степное село. В уцелевших хатах уже хозяйничали кавалеристы: переодевались, спали, играли на гармонике, а в одной даже блины пекли. И мы, конечно, всюду попадали с опозданием. Куда же нам деваться?

— Пошли,— говорит Гринченко.

И мы с Сашкой Золотаревым идем за ним. Вот входим в хату. В хате жарко. Топится печь. Пусто. Лишь над сковородой склонился казак. Это по лампасам видно.

— Здорово, земляки,— говорит Гринченко с порога,— принимай гостей.

Коля очень здорово умеет с людьми разговаривать. Очень по-свойски. Он при этом улыбается. Он так улыбается, что нельзя не улыбнуться в ответ. И вот казак оборачивается, и я вижу скуластое лицо и раскосые глаза.

— Вот так казак! — говорит Коля.— Откуда ты такой взялся?

— Что нада? — спрашивает казак.

— Ты калмык, наверно, а не казак. Калмык, да? — И Коля говорит нам: — Давай, ребята, располагайся. Эх ты, казак калмыцкий!

И Коля кладет на скамью свой вещмешок. А калмык берет вещмешок и швыряет к порогу. Он стоит перед высоким Гринченко такой маленький, скуластый и широкоплечий.

— Что, тебе калмык не нравился? Уходи назад.

— Ты что, гад...— лицо у Коли покрывается красными пятнами.

— Иди, иди,— спокойно говорит калмык.

— Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь?!

Сашка берет Колю за локоть:

— Не психуй, Мыкола.

— Уводи свой люди,— говорит калмык.

— Не сердись, пожалуйста,— говорю я.

— Уходи давай...

Вдруг открывается дверь, и входят казаки. Их трое.

— Что за беда? — спрашивает один.

Калмык молчит. Мы с Сашей молчим. Коля тоже молчит. Потом он улыбается и спрашивает калмыка:

— Что ж молчишь, калмык? — И потом говорит казакам: — Вот гад... сам к печке, а русского — на мороз!

— Чего они приперлись? — спрашивает казак у калмыка.

— Давайте-ка, ребята, сыпьте отсюда, — говорит нам другой казак. А третий говорит калмыку:

— Давай, Джумак, обедать.

А мы молча уходим из хаты. На мороз. В сумерки. Если Гринченко что-нибудь сейчас скажет, он мне опротивеет. Мне кажется, что это я обидел человека. Коля молчит. «Кровь проливал»... Он ведь и царапины не получил!

Теперь мы уже за этим населенным пунктом. Бейте, минометы, бейте! Дуй, ветер! Сыпь, дождь пополам со снегом! Мокни, моя спина! Болите, мои руки!..

Что сделать, чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги нужны. Широкие. На три номера больше. Чтобы всякого навертеть-навертеть... Чтобы нога как в гнезде была... А еще нужно ходить. А мы почти и не ходим. Все время приходится менять позиции. Значит, садись в машины и пошел-пошел! Дождь идет. Дождь идет прямо с неба. Снег идет. Откуда-то сбоку. Ветер — со всех сторон. Днем и ночью мы промокаем насквозь. К утру подмораживает. Шевелиться не хочется.

Я думаю о Нине. И мне кажется, что она где-то на одной из машин. Погиб телефонист Кузин. Пуля вошла ему в рот. Она была уже на излете, слабая. Но что-то успела задеть, и он умер.

РАЗГОВОРЫ

Это, наверное, первая ночь, когда мы спим нормально. Мы лежим на полу покинутой хаты. Лежим на шинелях. Укрываться нельзя. Жара. Шонгин натопил печь. Нас набилось в хате с избытком. Темно. Только летает медленно и однообразно красный светлячок шонгинской самокрутки.

— Дай закурить, Шонгин, — просит Сашка Золотарев.

Шонгин молчит. Летает красный светлячок.

— Дай закурить, Шонгин, — прошу я. Мы ведем игру неторопливо, привычно.

— Да он спит, — говорит Коля Гринченко,

Красный светлячок жалко и неподвижно повисает в воздухе. Я вглядываюсь в темень и словно вижу стиснутые губы Шонгина и открытые мигающие глаза.

— Курить хочется,— говорит Сашка,— разбудить его, что ли?

— Не буди,— говорит Коля,— пусть человек поспит. Сам возьми, сколько тебе надо.

— Табак у него в противопогазной сумке лежит,— говорю я.

— Я вам возьму,— говорит Шонгин,— я сам насыплю.

— Ну вот, человека разбудили,— говорит Коля.

Слышно, как кряхтит Шонгин.

Мы лежим и старательно затягиваемся горьким дымом самокрутки.

Тишина. Потом кто-то говорит из темноты:

— Хорошо б сюда Нина пришла бы. Мы бы с ней беседу провели.

Сашка Золотарев смеется.

— А я толстых люблю,— говорит он,— и чтобы выше меня.

— У Нинки муж есть,— говорю я.

Сашка смеется:

— У меня тоже жена есть. Может, Нинкин-то сейчас у моей оладьи ест.

— Война,— говорит Коля,— все перемешалось. А потом, если любовь, так ведь тут не прикажешь...

Сашка смеется.

— Паскуды вы, ребята! — говорит Шонгин и поворачивается на другой бок.

— А я на гражданке с такой и не пошел бы,— говорят из темноты.

А я пошел бы.

— У меня такая девочка была. Катя ее звали, вот была красивая. Коса до пояса. Нинка — это так...

— А тебе ее не навязывают,— раздраженно говорит Коля.

— Не нравится,— говорю я,— не бери. Верно, Коля?

— У твоей Кати нос, наверно, пупочкой был,— смеется Сашка,— ты ведь таких любишь. Чтобы нос пупочкой и чтоб от нее тестом пахло...

— Досмеешься, Золотарев,— угрожают из темноты.

Ты жива еще, моя старушка.

Жив и я. Привет тебе, привет.

Пусть струится над твоей избушкой...

Это Коля поет.

И вдруг открывается дверь. И голос комбата врывается в темень:

— Кто там пессимизм разводит?

И снова тишина.

Что будет завтра? Куда нас понесет? Из дому писем нет. У Сашки на палочке не осталось места для зарубок. Если меня ранят, попаду я в госпиталь. Наемся. Приеду в отпуск домой. Пойду в школу. И все увидят мои костыли. И нашивку за ранение на груди. И может быть, медаль мне дадут, так ее тоже увидят. И выйдет Женя. И уже она не будет посмеиваться. А все будут смотреть то на нее, то на меня. А я скажу ей: «Привет, Женечка». И пойду, пойду по коридору. А она догонит меня: «Может, ты зайдешь ко мне домой? Я соскучилась по тебе». — «К тебе? Домой? Что ты, что ты. Незачем. За это время многое изменилось». И пойду я по коридору. А девочки скажут ей тихо: «Дура ты, Женька. Сама виновата».

— У меня от тыквы живот болит,— говорит Сашка.

— Я ее на гражданке сроду не ел,— говорит кто-то.

Коля советует:

— А ты, Сашка, пойдти сходи.

— Дурак,— говорит Сашка,— тыква вещь хорошая, только когда не сырая.

— А я борщ люблю,— говорят из темноты,— густой, чтобы ложка стояла. Мне никаких вареников не надо.

А у меня нету ложки. Я как без рук без ложки. Надо мною смеются, над щепочкой моей. И сам я смеюсь... А ложки-то нет у меня... И сапог нету. Были бы у меня сапоги, не так бы мы с тобой, Нина, разговаривали...

Нина, ты тоненькая такая. Вот мы идем с тобой по городу. Вот навстречу идет Женя. Она все понимает. И молчит. Дура она. А мы идем. А на мне черные брюки, белая рубашка с отложным воротником, а через плечо — аппарат «Лейка». И никакой войны.

— А еще я съел бы сметаны,— говорят из темноты.

НИНА

Сколько ни хожу в штаб полка, сколько на Нину ни смотрю — она не замечает. А свои, штабные, говорят с ней просто: «Нина, дай кружку...», «Что, милая, уста-

ла?», «Давай покурим...», «Здорово, Ниночка! Вот и еще раз увиделись!..» — и обнимают ее. А она подает кружку, улыбается, курит, сидя на ящике, и целует вернувшихся с задания, целует прямо в небритые щеки.

Это потому, что они свои. А кто они, эти свои? Они — штабные крысы. А я прихожу с батареи. Я жизнью рискую. У меня руки сбиты, шинель обожжена, губы потрескались. Но они — свои.

Я пролезаю в штабной блиндаж. Там тепло. Горит веселая пузатая трехлинейка. Пахнет хлебом. И никого. Только Нина сидит с наушниками у приемника.

— «Дон», «Дон», я — «Москва»... Прием. «Дон», «Дон», я — «Москва», как слышно? Прием.

— Здорово, Нина, — говорю я развязно.

Она кивает мне. Это так по-приятельски, так хорошо. Это так неожиданно.

— Как меня слышно? Вот теперь хорошо? Прием... — она снимает наушники.

— Садись, вояка. Отдыхай.

— Некогда, — говорю я и сажусь. На нары. И смотрю на нее. Она смеется:

— Ну, чего уставился?

— Так. Давно не видел, как женщина смеется. Там ведь у нас, на батарее, женщин нет. Сашка вот Золотарев иногда улыбнется, Коля Гринченко, а женщин нет.

Она снова смеется:

— Этот ваш Коля сюда часто ходит. Все мне про свои геройства рассказывает. Не люблю хвастунов.

— Ты приходи к нам.

— Куда это?

— На батарею.

— Чайку попьем?

— Посидим покурим...

— Посидим покурим, — смеется она.

Какой я бравый был, когда вошел. Какой бравый! Даже пламя лампы заходило ходуном. А теперь оно не шелохнется.

— Хочешь, чайком напою?

— Я чай не пью, — говорю я. И усмехаюсь.

— А, понимаю, — говорит Нина, — ты к спирту привык.

— Привык не привык, а предпочитаю. Чаем будем на гражданке баловаться.

Она смотрит на меня прямо, не мигая, и смеется:

— Чудак ты. У нас разведчики — такие ребята, а от чая не отказываются... Ну и чудак ты. А я приду к вам на батарею. Ладно? Посидим покурим... а?

— Да?

— Да... А у тебя глаза хорошие.

У меня белые крылья вырастают за спиной. Белые-белые. И от них светло, как от ракеты над передовой... Бред.

— И все-то ты врешь насчет спирта.

Это она говорит издалека. Я ее не вижу. Только два больших глаза. Круглых. Серых. Насмешливых.

Входят какие-то люди. Топают сапогами. Говорят разные слова. А я слышу:

— «Дон», «Дон»... у тебя глаза хорошие... перехожу на прием, прием.

— От лейтенанта Буракова? — спрашивают меня.

— Так точно.

— На-ка вот.

Я беру бумагу. Кладу ее в карман. Иду к Нине:

— Так ты придешь?

— Куда?.. А, на батарею? Посидим покурим? Да?

— Приходи.

— А я не курю ведь, — смеется она. — Так посидим, да?

— Что, Ниючка, красивых солдатиков завлечешь? — слышу я за спиной.

... — Вот ведь все спокойно, тихо, а мне муторно как-то. Предчувствие у меня, — говорит Шонгин, — и тишина мне не в радость. Ну не радуется она меня.

Маленький, худенький Гургенидзе стоит перед лейтенантом Бураковым. На кончике носа у него капля. Он размахивает руками:

— Отпускай меня домой четыре дня. Кварели — мой дом. Принесу разный пурмарили, еда. Вино, хачапури, лобю. Этот каша уже пелзя.

Лейтенант смеется:

— А кто воевать будет?

— Я буду, — клянется Гургенидзе. — Кто будет? Я буду. Пока здесь война нэту.

— А как же ты добираться будешь?

— Что?

— Как поедешь?

Гургенидзе смотрит на лейтенанта с сожалением.

— Давай отпуск. Сдэляем.

Комбат смотрит на нас:

— Ну как, отпустим?

— Да, видите, какое дело, товарищ лейтенант,— говорит Шонгин,— отпустить бы можно, а вдруг начнется? Как же без такого связиста?

— Вот так,— говорит комбат,— не можем мы без тебя.

— Зачем нэ можем? — волнуется Гургенидзе.— Можем. Четыре дня война нэту.

— А ты, Гургенидзе, сходи к немцам, спроси, когда начнут. Может, и можно поехать,— предлагает Сашка Золотарев.

Все смеются. Не выдержали. Гургенидзе пытается понять, что произошло. Потом машет рукой.

— Ээээ! — и сам смеется.

И капелька, не удержавшись на кончике носа, летит на землю.

И комбат говорит, посерьезнев:

— Отдыхайте. Всё. Вечером будем работать.

И уходит.

Вечером опять ничего. Я просил ее заходить на батарею. Для чего она придет? Для чего? Что ей здесь делать? Как в парк пригласил: «Приходите, погуляем». Если бы она видела мои руки, покрытые шрамами и мозолями, руки мои в заусенцах, руки мои, которые отмыть невозможно, так въелась в кожу копоть. Я скажу ей: «Послушай, давай без фокусов. Ты ведь видишь все, ты ведь понимаешь. Ну, давай просто: ты и я. Чтоб я знал, что ты ко мне идешь. Пусть все видят. Ну давай, а? Послушай, мы ведь с тобой одногодки. Ведь это же ерунда, что мужчина обязательно должен быть старше. Я ведь тебя давно знаю, давно-давно. Ну, пожалуйста, не делай вид, что тебе все равно. Я знаю, что ты это от смущения посмеиваешься надо мной». И когда я буду это говорить, выйдет белая луна, и снег заискрится, и никого кругом не будет, и обмотки мои будут не видны.

— Ты чего не отдыхаешь? — спрашивает Коля Гринченко.

Ну что мне сказать?

— А я вчера с Ниночкой договорился. Сегодня придет.

— Врешь ты все, Коля,— облегченно говорю я.— Как же ты врешь!

— Поглядишь,— говорит он.— Лови момент.

Коля стоит передо мной. От него пахнет одеколоном. Побрился. Побрился? Неужели придет? Ну да, конечно, она же смеялась, а я...

Вот над немецкими траншеями взвизывает ракета белая-белая. Где-то одиноко и грустно стучит и смолкает пулемет.

Коля Гринченко покуривает в кулак. Улыбается:

— Да, а Ниночка сейчас придет. Побеседуем.

— Она ведь замужем,— говорю я,— ничего у тебя не выйдет.

Он улыбается. И покуривает. Потом отходит в сторону. И молчит. Раз молчит, значит, правда. Значит, она придет. Дурак я, дурак. Просил, унижался. А ведь надо так, как Гринченко говорил. Да, надо так. Обнять, прижать, чтобы косточки хрустнули, чтобы слова не могла вымолвить, чтобы почувствовала: вот мужчина! Это им нравится. Это. А разговоры... кому они нужны? Ах ты, Нина сероглазая! Я теперь знаю, что тебе сказать...

За блиндажом урчит «виллис». И слышится женский смех. И я вижу, как Коля бросается туда. Приехала! И я слышу голос ее:

— Здравствуй, здравствуй. А улыбочка-то, улыбочка-то! Невозможно устоять. А я вот в гости к вам. На минутку. Упросила майора, чтоб с собой взял. Вот вы как живете! Смотри пожалуйста, и немцы рядом! Чего ж ты, Коля, молчишь? Как будто и войны нет — такой ты щеголь, Коля. И бриться успеваешь. А у вас тут мальчик есть, черноглазенький такой, он-то где?

— Какой еще черноглазенький? — спрашивает Гринченко.

— Ну такой, черноглазенький.

Я слышу ее тихий смех. Она хорошо смеется. Подойти? А почему я должен подойти. А почему это обязательно про меня? Вот и Гургенидзе — черноглазый. И комбат — черноглазый...

Темный тонкий ее силуэт выплывает из-за блиндажа.словно темная луна. Остановилась и слегка покачивается:

— Вот ты где, воин... Посидим покурим, а?

Она подходит, подходит, подходит...

— Интересно как! — говорит она. — Вот на войне у меня свидание. Ты что же молчишь? А-а-а, ты, наверно, спирту напился, да?

— Ничего я не пил.

— Ну, расскажи что-нибудь...

— Пойдем туда, за минные ящики, посидим.

— О, какой ты! Сразу — в уголок.

— При чем тут это?

— При том, что каждому этого хочется. А на передовой тем более. Что завтра будет?

— Ты мне нравишься, Нина.

— Я знаю.

— Знаешь? Задаешься просто.

— Что ты, что ты, мальчик. Мне Коля Гринченко ваш рассказал, как ты во сне со мной разговариваешь.

— Врет он все!

Из-за блиндажа закричали:

— Нина! Шубникова! К машине!

— Ну вот. Пора. Так ты и не сказал мне ничего. Кто ты, что ты, что делать будем,— говорит она и ладонью проводит по щеке моей.— Ну, прощай. Война ведь. Может, и не увидимся.

— Я завтра приду к тебе. Ты мне нравишься.

— Я многим нравлюсь,— говорит она,— здесь ведь никого, кроме меня-то, нет.

Она бежит к машине. Она быстро бежит. А над немецкими окопами все чаще и чаще взлетают ракеты.

ЭХ, МАХОРОЧКА-МАХОРКА...

Так из затишья возникает гром, так в сером утре появляются неожиданные краски: красное — на сером, рыжее — на сером, черное — на белом. Пламя, ржавое искореженное железо, неподвижные тела.

Нина укатила с майором в штаб. Последняя ракета над немецкими позициями как последний цветок. Сейчас Нина кричит, наверное, в микрофон: «Волга», «Волга», я — «Дон»... Как слышно? Прием...» А у меня в руках толстенная мирная такая мина. Сейчас я передам ее заряжающему. И миномет охнет, приседая на задние лапы.

Я знаю, как будет. Ох какой я уже опытный! И ладони мои уже не болят.

А Коля Гринченко сидит на опорной плите миномета. Он очаровательно улыбается. И поет тихонечко, для себя:

Эх, махорочка-махорка...

- Немцы прорвались, слышал? — спрашивает Сашка.
— Пехота?
— Нет, танки.
— Сюда идут?
— По тылу ходят...
— Много?
— Штук сорок, говорят.

Высоко над нами плывут немецкие бомбардировщики. Им не до нас. Они сбросят бомбы далеко в тылу, в нашем.

- Будет медикам работенка, — говорит Сашка.
А Коля напевает:

Эх, махорочка-махорка...

И тогда справа на сопочке разрывается немецкий снаряд. И в ответ дружно ударяют наши минометы. Все четыре. А потом еще раз. И еще.

А за нашей спиной вспыхивают рыжие кусты разрывов. И горячий ветер касается шеи. И в затылке противно ноет. Немецкая артиллерия отвечает все чаще и чаще.

- Нашупали! — кричит кто-то.

Я ношу и ношу мины. Я уже не задумываюсь ни над чем. Каждое движение привычно до черта. Десять шагов назад. Холодного шестнадцатикилограммового поросенка — в ладони. Десять шагов вперед. Можно даже с закрытыми глазами. Несколько раз туда и обратно. И пальцы сами расстегивают крючки шинели. И подхватывают снег, и заталкивают его в рот. И вдруг возникает глупая мысль: кончится бой, возьму сахар, смешаю со снегом — получится мороженое...

Десять шагов вперед. Десять — назад. Поросят — все меньше и меньше. Сколько времени прошло? Счастливые часов не наблюдают...

В спину ударяет взрывной волной. Я не могу устоять. Я падаю.

— А-а-а-а-а-а!.. — кричит кто-то. И снова, уже слабее: — А-а-а-а-а-а!..

Это я сам кричу. Я вижу спины товарищей. Они ведут стрельбу. Они меня не видят. Слава богу! Все у меня цело, ничего не болит. Чего я раскричался? Вот если бы прямое попадание... Но это невозможно. Почему именно в меня? А почему бы и нет? И вдруг особенно сильный разрыв. И снова крик. Это уже не я кричу. Это кто-то другой

кричит. Он так кричит, что нельзя не оглянуться. Я вижу, как Коля подбегает к нему, а потом закрывает лицо ладонями и бежит обратно. И, не добежав до своего миномета, останавливается и стоит нагнувшись.

Кто там был, у первого миномета? Никого вспомнить не могу. Никого. Вот так начисто всех. А у Сашки на палочке не осталось места для зарубочек. А командир взвода Карпов кричит, чтобы мы свертывали позицию. И все быстро-быстро работают. Скорей-скорей... Сейчас разнесут нас немцы, если будем копаться. И уже минометы прицеплены к ЗИСам. И мы выкарабкиваемся из ложбинки, где была наша позиция. Где будет новая наша позиция? Что ждет нас впереди? Все молчат. А у меня перед глазами — черные пятна на снегу, воронка и фигура в шинели, медленно бредущая к нам. Я не хочу думать об этом, а оно сидит в голове, и никак от него не избавиться.

— Вот и нету первого,— говорит Сашка.

— Нету,— говорю я.

— И ребят нету,— говорит Сашка.

— Помолчи...— это Шонгин требует. Он сидит согнувшись.

А машины идут. И я не замечаю уже стрельбы. Я только вижу бледное лицо Коли. Он смотрит куда-то вперед и даже не шевельнется.

— Слышь, Коль,— говорит Сашка,— скоро с Нинкой-то прощаться. В другую дивизию нас перебросят...

Коля сидит все так же.

— Помолчи,— говорит Шонгин.

— Сейчас еще танков не хватает на нашу голову,— говорит Гаврилов,— они по тылам ходят.

Мы проезжаем мимо какого-то пожарища. Сэррай стоял, наверное. Он сгорел. Дымятся головни. И пахнет так отвратительно тоскливо. Запах гари, запах гари... Это не то слово.

С новых позиций мы ведем огонь по врагу. Три наших миномета рывкают куда-то через холмы. А я подношу и подношу мины.

А ведь могло ударить в наш миномет. Не в первый, а в наш. И не подносил бы я мин. Может быть, я шел бы по полю, медленно, враскачку, а потом упал бы. Здесь пока спокойно. Нас пока не накрыли. И снова:

— Отбой!

И опять — по машинам. И — в ночь, в ночь, в темень.

Мы топчемся в темноте вокруг машин. Цепляем минометы. А где-то высоко, в черном небе, гудят бомбардировщики.

— Наши идут.

— А днем-то их не видать.

— Пусть хоть ночью.

Подходит командир взвода младший лейтенант Карпов. Он руки потирает. Щеки потирает. Замерз или волнуется наш командир взвода?

— Опять пересезжаем? — спрашивает Сашка Золотарев.

— А как же, — говорит Карпов, — вперед идем, ребята. Хватит отсиживаться.

— Отсиживались... — говорит Шонгин, — вон скольких потеряли!

— Война, — говорит Карпов тихо, — уж вам ли, Шонгин, старому солдату, говорить об этом?

Все молчат. Слова — это просто смешно. Действительно война. Ну что тут скажешь? Карпов виноват? Вон он какой краснощекий, молодой, энергичный... Я виноват? Коля?

Мы сидим в машине. Бездорожье. Машину покачивает, как корабль. Мы покачиваемся из стороны в сторону. Хорошо еще, что едем. А то ведь могло развезти все кругом. Попробуй потаскай на себе ЗИСы. Мы едем. Идет снег пополам с дождем. Мы промокаем постепенно. Сначала это даже хорошо: прохладно становится после запарки. И холодные капельки уютно затекают за шиворот. А вот сейчас уже бы ни к чему. Хватит. Я знаю, через минуту нас начнет бить мелкая дрожь. И тогда попробуй-ка согрейся. И ноги замерзают. Быстро и наверняка. А мы движемся в сторону нового боя. Уже ясно слышны разрывы и автоматные трели. И озаренное небо выплывает из-за холма.

«ГДЕ ВАША ДОЧЬ?..»

Как все хорошо складывается. Завтра напишу письмо домой. Я жив. Что осталось от батареи? Два миномета и не больше тридцати человек. А я жив. Меня даже не царапнуло. Завтра напишу письмо. Домой.

— Давай постучимся... — говорит Сашка Золотарев.

Ночь. Хатка какая-то. Окна темны.

Я стучу в ставню. «Мадам, не будете ли вы столь

любезны...» Никто не отвечает. «Мадам, я остался в живых. О, если б вы знали, что там было!..» Я стучу в ставню. «Ботфорты — сюда, мундир — в гардероб, шпагу — на стул...» — «Благодарю вас... А где же ваша дочь?..»

— Спать... Спать... Спать... — говорит Коля.

Я стучу в ставню. «Вальдшнеп?.. Сыр?.. Вино?..» — «О, благодарю вас. Ломтик холодной телятины и ром. Я солдат, мадам». Я стучу в ставню.

— Замерзнем к черту.

— Пошли в другую.

— Еще разок постучи.

Я стучу в ставню. Сашка стучит в ставню. Коля стучит в ставню.

«Вот ваша комната. Спокойной ночи». — «Спокойной ночи, мадам. А где же ваша дочь?..»

— Чего вам еще?

На пороге раскрытой двери — женщина. Она закутана.

— Нам бы переночевать, мамаша.

— Мы в живых остались, — говорю я.

— Радость-то какая... — говорит женщина, — только вас и не хватало.

— Мы зайдем? — спрашивает Коля.

— Холодно очень, — говорит Сашка.

— Мы переночуем только и уйдем, — говорю я.

В сенях холодно. В комнате тепло. Чадит коптилка. Кто-то ворочается на печи. Комната маленькая. Куда мы все ляжем?

Женщина сбрасывает платок. Она совсем молодая.

— Ложись сюда, — говорит она Коле. Она в угол показывает. Хорошее место у Коли. — А ты сюда, — говорит она Сашке.

Золотарев ложится на свою шинель, расстелив ее под столом. И Коля молча раздевается. А меня устраивают на короткой лавке под печкой. Лежать можно только на боку. А, черт с ним! Лишь бы лежать. А сама хозяйка ложится на койку. На раскладную. Заваленную каким-то тряпьем. Она лезет под это тряпье, не снимая полушубка.

Я кладу шинель на лавку. Гаснет синий огонек коптилки. Чья-то рука проводит по волосам моим.

— Лезь ко мне, — говорит с печки тихий голос, — у меня тепло.

— А ты кто?

— Какая разница? Лезь. У меня тепло...

— Манька,— равнодушно говорит хозяйка,— смотри у меня...

— Тебя не спросилась,— говорит Манька с печи. А рука ее гладит меня, гладит.— Лезь сюда.

— Обожди, ботинки сниму.

— Лезь. Какая разница?

Вдруг услышат?.. «Где ваша дочь, мадам?..» Вдруг услышат... Вот тебе и дочь!.. Возле Маньки тепло. Если я прикоснусь к ней, все полетит к черту. Манька... Неужели так и называть?

— Тебя как зовут?

— Мария Андреевна...

Вот тебе раз! Как же так... У нее горячий упругий живот, руки маленькие, цепкие.

— Сколько вам лет?

— Шестнадцать. А что?

— Тишшше...

— А что? А что?

— Услышат...

— Пусть... Иди поближе.

— Манька,— говорит хозяйка,— ой, смотри, Манька...

— Сама разберусь,— говорит Мария.

А внизу покашливает Сашка Золотарев. А Коля говорит:

— Хозяйка, а тебе не холодно?

А Мария обвилась вокруг меня, и уже не понять, где я, где она. Все перепуталось.

— А сердце-то у тебя ой как бьется,— смеется она прямо мне в ухо,— испугался, что ли?

А Коля спрашивает:

— Тебе не холодно, хозяйка?..

Так просто? И Нина вот так же? И все?..

— Ты что, не живой, что ли?

— Пусти меня.

— Да я ж шучу, дурачок...

— Пусти, Мария...

— Мария...— говорит хозяйка,— как же, Мария. Дура белобрысая, а не Мария.

— Пусти, хуже будет.

— Ну давай так положим, ладно?

— Пусти...

— Ну и вались на свою лавку, раз тебе с людьми тесно.

...На лавке — прохладно. Сашка покашливает. Коля говорит из своего угла:

— Хозяйка, замерзла ведь в тряпье-то. Хочешь, шинелью покрою?..

...Кто-то ходит по хате. И что-то шепчет. Это тихий торопливый шепот. Слов я не разбираю. Это, наверное, Мария там, на печке. А может быть, это хозяйка. А может быть, это и не шепот, а тишина. Но кто-то всхлипывает. Как трудно, наверное, в этом маленьком поселке. А меня завтра засмеют. Засмеют, засмеют! И поделом мне. Сама просила. Уговаривала... Засмеют. Утром встану пораньше, пойду в другую хату, или в штаб пойду, или к машинам пойду... А она как огонь горячая. Мария Андреевна. Она первая смеяться будет. Шестнадцать лет... Коля про таких говорит «кровь с молоком»... А кто-то и в самом деле плачет. Или это за окном?

— Кто это? — спрашиваю я.

— Не ори, — говорит хозяйка, — лег и спи.

Это у меня бред. А меня засмеют, засмеют... И все-таки кто-то плачет. А может быть, это Мария смеется?..

Утром Сашка Золотарев говорит:

— Похоже, что здесь припухать. Комбат картошку ест. Машины разбиты.

Сашка уже умылся. От него пахнет морозом. Щеки у него, как у ребенка, пунцовые. Уже успел все разузнать. А Коля спит. А в хате — ни Марии, ни хозяйки.

— Что ж с нами теперь будет? — спрашиваю я.

— А ничего не будет, — говорит Сашка, — подождем новую технику — и снова.

— А машины побиты?

— Начисто.

— А кухня работает?

— Какая там кухня...

Сашка достает из мешка три пачки горохового концентрата.

— Вот выдали. Будем варить. Коло-то будить надо. Вставай, Мыкола!

И вдруг входит хозяйка. И снимает платок с головы. И я вижу, что она совсем молодая. И красивая.

— Вставай, Мыкола, — говорит Сашка. Но Коля спит.

— Зачем будишь-то? — спрашивает хозяйка. — Пускай его спит. Устал ведь.

Она говорит строго очень, а сама все на Колю смотрит.

— Давай сварю,— говорит она и берет у Сашки концентрат.

...Мы сидим за столом. Мы молчим. Едим похлебку гороховую. Мы едим деревянными ложками. А у меня ложки нету. Вот уйдем отсюда, и достану я свою дощечку... Я уж этой деревянной сейчас поем. Давно ложки у меня не было... Мы едим гороховую похлебку, хлеба нет. Коля ест медленно. Изредка на хозяйку посматривает. А она сидит напротив. И тоже иногда на него глядит. И все. А я жду, что Мария вот-вот начнет смеяться. А она и не смотрит на меня. Я сейчас только и разглядел ее как следует. Она курносая такая. И лицо широкое. И на лоб смешная челочка спадает. А на носу — несколько крупных не то веснушек, не то просто родинок.

— Ну как, конопущечка,— говорит ей Сашка,— как жить дальше будем?

— Проживем,— говорит Мария.

— Вкусная штука получилась,— говорит Коля и смотрит на хозяйку.

— А что это вы друг на друга и не похожи вроде? — спрашивает Сашка.— Живете вместе, сестры как будто, а не похожи...

— А мы и не сестры,— говорит Мария,— мы чужие. Просто живем вместе.

— А похлебочка-то ничего получилась,— говорит Коля. И смотрит на хозяйку. А она ничего не говорит.

И вдруг входит Шонгин.

— Ну вот, принесло,— громко говорит хозяйка.

А Шонгин садится на табурет.

— Много народу побилло,— говорит он,— и раненые есть. Увезли.— И достает кисет.

— Покурим? — спрашивает Сашка.

— А чего курить? — говорит Шонгин.— Тут и на одну не наберется,— и показывает кисет.

— А ты где спал, Шонгин? — спрашивает Коля.

— А я и не спал,— говорит Шонгин,— раненых больно много было. Пока всех подобрали, и утро.

— Сейчас бы покурить,— говорит Сашка.

— Покури, покури,— говорит Шонгин и затягивается. Он пускает большие клубы дыма. И говорит: — Вот зашел поглядеть, как вы тут.

А хозяйка наливает в чашки молоко. И Коля говорит:

— Слышь, Шонгин, концентрату тебе не хватило. Может, молока попьешь?

— Козье молоко,— говорит Мария.

— А я уже ел,— говорит Шонгин,— ел. Гургенидзе ранило. Я супу сварил ему и себе.

Бедный маленький грузин. Совсем мальчик. С вечной капелькой на носу. «Попадался — не попадался...»

— Сильно его, Шонгин?

— Приблизительно ничего себе,— говорит Шонгин,— на машине лежит, на последней. Сейчас повезут.

Я бегу по свежему снегу. К машине. Возле нее ходят солдаты. Гургенидзе лежит на соломе, в кузове. В обгорелой шинели. Он поднимает забинтованную голову. На кончике носа повисает капелька.

— Попадался,— грустно улыбается он.

А мы с ним не дружили. Так, знали друг друга. А у него покрасневшие веки часто-часто вздрагивают.

— Куда тебя?

— Голова попадался, живот попадался, нога тоже попадался... Шонгин мэня носил на своем спина...

— Ничего, Гургенидзе, теперь отдохнешь. Все хорошо будет.

Мотор тарыхтит. Гургенидзе откидывается на солому. Руки у него на груди сложены.

— Какой у нас часть? — спрашивает он.— Какой номер?

— Отдельная минометная батарея, друг.

— Нэт, полк какой?

— Кажется, 229-й...

— А дивизия какой?

— А зачем тебе?

— Госпитал спрашивают...

Мотор гудит ровно. Кузов подрагивает.

— Какой дивизия?!

— А черт ее знает! — кричу я.

Машина идет по свежему снегу. Рука Гургенидзе торчит из кузова. Это он прощается с нами. Уехал, уехал... А ложку забыл я у него выпросить!

Комбат говорит мне:

— Собирай всех. Пора. Отдохнули.

...В хате нет никого. За домом на бревне сидят хозяйка и Коля. Она молчит. Голову подперла ладонью. Глаза у нее красные. Губы, как у девочки, надуты. А Коля курит и тоже молчит.

— Пора, Коля,— говорю я,— комбат приказал...
— Знаю,— говорит он и встает. И смотрит на меня.
Я жду его.
— Знаю,— говорит он.
Я уйду. Пусть прощаются.

ДОРОГА

— Видал у немцев машины? — спрашивает Коля. — Брезент и все такое. Сидят, как дома. А тут...

— Я уже ног не чувствую,— говорит Сашка Золотарев.— Я бы валенки обул. Пимы. Морда — черт с ней, главное — ноги. Может, у меня большой палец уже отвалился, а? Сниму ботинок, а он выпадет.

А мне бы не валенки. Мне хотя бы сапоги. С широким голенищем. Чтобы они как корабли. Встал в воду — ничего, встал в снег — ничего. Хоть ночь стой. Пожалуйста.

Степь, степь, степь. Когда мы остановимся? Идет наступление. Кочует наша батарея. То в одну часть ее направляют, то — в другую. Где-то, неизвестно где, остался полк, которому были мы приданы. А там — Нина. Нина, Нина, очень ты мне хорошо улыбалась. И не могу я тебя позабыть. Кто ты и откуда? Ничего мне не известно. Где я тебя разыщу? Все померкло, потускнело все, что было. Где-то Женя в тумане, вдали. Только ты, Нина. И зачем ты так хорошо со мной говорила?

— А я во сне разговариваю? — спрашиваю у Коли.

— Один раз говорил. С Нинкой Шубниковой.

— Что?

— Садись рядом, Нина. Ну, садись. Посидим покурим,— так говорил.— Потеха.

— А она тебе про меня говорила?

И зачем спросил? Сейчас он посмеется. Выдумает что-нибудь...

— Нет, не говорила,— хмурится Коля.— Чего говорить. Она с начальником штаба полка живет. Помнишь, майор такой высокий?

Помню, помню. Если бы он этого не сказал, теплее было бы. Если когда-нибудь встречу с ней, ну просто так, случайно, ведь может быть такое, я ей скажу...

— Когда я в кавалерии служил,— говорит Шонгин,— вот была беда, это уж в самом деле горе. С марша при-

шел, а спать нельзя: коня расседлай, напой, накорми, а время останется — сам отдохай.

— А у англичан официантки солдат обслуживают,— говорит Коля,— и к обеду — коньячок.

— Врешь ты все, Гринченко,— ворчит Шонгин.

Машины стоят. Впереди — пробка. Вечереет.

— Слезай, ребята. Грейся.

Писем из дому нет. Что там?..

— Шонгин, ты из дому письма получаешь? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня внимательно.

— Получаю, а как же,— говорит он и достает кисет и предлагает мне закурить: — На-ка вот. Погрейся.

Если до утра вот так простоим, можно простудиться окончательно. Какие у Шонгина глаза были! Ласковые, добрые. Вчера, когда мы концентрат гороховый варили, он мне и Коле в котелки насыпал по горсти пшена. Пшено разварилось — густо было. Сам ведь подошел: «Ну-ка, ребятки, добавочки я вам насыплю...»

— Шонгин, дай закурить,— говорит Сашка.

Шонгин топчется на месте: ноги греет.

— И так хорош,— бубнит он.

Когда темно, снега не видно. Словно теплей становится. Подходит командир взвода Карпов. У него всегда румяные щеки. Даже в сумерках это видно.

Он смеется:

— Что, вояки, замерзли?

— Замерзнешь,— говорит Коля,— старшине-то тепло. Он о радиатор греется. Может, костер разведем, товарищ младший лейтенант, а?

— Никаких костров,— говорит Карпов.

Шонгин, как сторож, топчется по снегу и рукой постукивает по котелку.

Подходит Гаврилов и говорит тихонько:

— Ребята, впереди машины с крупой какой-то... И водители спят...

— Ну и что? — спрашивает Шонгин.

— А ничего,— говорит Гаврилов,— я к тому, что спят водители.

— А не плохо бы нам по котелку крупы отсыпать,— говорит Сашка Золотарев.

И он уходит в темноту, туда, к машинам, где спят водители. И все глядят ему вслед. И все молчат.

Если это пшено, можно сварить кулеш. Если гречка —

ее хорошо с молоком. Если перловка — с луком. Вытерплю я до утра или нет? Все промокло на мне. Все. Вдруг я заболел воспалением легких?

Из дому писем нет. Где ж ты, почта полевая?

ШКОЛЯРЫ

Я заряжаю автоматные диски. Заряжаю и молчу.

— О чем грустишь, ежик? — спрашивает старшина.

А мне трудно ему ответить. Что я отвечу?

— Это я так, — говорю я, — дом вспомнил...

Тебе-то хорошо, старшина. Ты яичницу ешь. А мы гороховый концентрат всухомятку жрем. Тебе-то хорошо, старшина. А мы которые сутки толком выспаться не можем...

— Наши к Ростову подошли, — говорит старшина.

...У тебя вон какая физиономия жизнерадостная. А нас все меньше и меньше. И этот песочек моздокский скрипит на зубах у меня и скрипит на душе. Дал бы ты мне, старшина, сапоги, что ли. Потрескалась картонная подметка на моих американских ботинках. Я ведь ноги в костер сую, когда холодно. А ботинки красивые, красные. А что от них осталось?..

— Ты бы, ежик, ботинки тавотом смазал, — говорит старшина, — смотри, они у тебя совсем никудышные.

...А какие ботинки носил я перед тем, как в армию ушел? Не помню. Или у меня были модные туфли шоколадного цвета и белый рант, как полоса прибоя? Или я об этом только мечтал? Наверное, носил я черные ботинки скороходовские. А зимой калоши надевал. Да, да, калоши. На последнем комсомольском собрании я их в школе забыл. Забыл. Пришел домой без калош. А уж война была, и никто не заметил моей пропажи. Так и ушел я. А были у меня новые калоши. Глянцевые. А теперь не знаю, будут ли у меня такие?

А когда было последнее комсомольское собрание, Женя сидела в углу. Она ничего не говорила, пока мы брали слово один за другим и клялись погибнуть за Родину. Потом она сказала:

— Мне жаль вас, мальчишки. Вы думаете, это так просто — воевать? Войне нужны молчаливые хмурые солдаты. Воины. Не надо шуметь. Мне жаль вас. И ты... — она кивнула на меня, — ты ведь ничего не умеешь еще, кро-

ме чтения книжек. А там — смерть, смерть... И она очень любит вот таких молоденьких, как вы.

— А ты? — крикнул кто-то.

— А я тоже пойду. Только я не буду кричать и распинаться. Зачем? Я просто пойду.

— А мы тоже пойдем. Что ты нам нотации читаешь?

— Нужно быть внутренне готовым...

— Заткнись, Женька...

— Иначе никакой пользы от вас не будет.

— Заткнись!..

— Хватит,— сказал комсорг,— что это мы, как семиклассники, расшумелись?

А когда я в воротах тебя поцеловал, да так, что ты охнула и сама меня обняла, это что же? Это, значит, я, кроме книжек, ничего не умею?..

...— Завтра поедем минометы получать,— говорит старшина,— еще ночь понежишься, ежик.

— Какие минометы? — спрашиваю я.

— А ты не спи. Завтра пополнение придет. Будешь обучать сосунков?

— А разве я смогу?

— Что ж, тебе три года воевать, чтобы школярам наше дело объяснить?

Наше дело? Мое дело? Это о минометах? Я буду обучать?

— Буду,— говорю я.

...Школяры. Я ведь тоже был школяром. А теперь я не школяр, значит? А на том собрании я был школяром. И когда все зашумели, и я зашумел. Женья сказала:

— Вы шумите, как школяры. А ведь там этого нельзя. Там нужна суровость.

И она посмотрела на меня. Я тоже посмотрел на нее. Кто-то сказал, что, если девушка любит, она не выдерживает взгляда — краснеет и опускает глаза. Значит, она меня не любила. Не любила.

— Пошли всем классом! — крикнул кто-то.

— Пошли! — крикнул я.

— Заткнись,— сказали мне,— заткнись, трепло...

Потом вошел директор школы, и комсорг сказал:

— Ладно, продолжим повестку дня.

А на повестке стоял один вопрос: учеба комсомольцев.

...— Когда с дисками кончишь, зайдешь в каптерку,— говорит старшина и уходит.

...А после собрания мы шли по набережной все вместе. И Женя шла с нами и только не смотрела на мѣня. Было темно. Настороженно.

— А десятого нам не видать, ребята,— сказал кто-то. И тотчас завыла сирена. А я очутился рядом с Женей.

— Значит, мы — школяры? — спросил я.

— Конечно,— сказала она миролюбиво.

— Значит, из нас воины не получатся?

— Конечно.

— Чтобы быть воином, нужно быть широкоплечим, да?

— Да,— засмеялась она.

— И равнодушным, да?

— Нет,— сказала она,— этого я не говорила.

— Пойдем туда,— я указал в темный переулок.

Мы шли по переулку. Было еще темнее. Еще настороженнее. И вдруг распахнулось окно. С треском. На третьем этаже. И оттуда посыпался смех. А потом поплыла музыка. Патефон играл старое довоенное танго.

— Как будто ничего и не случилось, да?

— Да,— сказал я.

Окно захлопнулось. Музыка стихла. И снова завыла сирена.

...Я зарядил все диски и иду в каптерку. Это не каптерка, а обыкновенная изба, где старшина остановился.

Старшина греет руки у печки. Наш комбат сидит за столом. Пишет. А комвзвода Карпов, розовощекий такой, бреется у окна. И сквозь белую мыльную пену видно, какие розовые у него щеки.

А перед комбатом стоит руки по швам Сашка Золотарев.

— Значит, воровал чужое пшено? — спрашивает комбат.

— Воровал,— вздыхает Сашка.

— Чужую кашу съел! Когда воровал, думал, что другой голодным останется?.. Думал?..

— Думал, товарищ лейтенант. ;

— И что же?

— Хотел сам наесться...

— А ты знаешь, что за это?..

— Знаю, а как же... — тихо говорит Сашка. ;

— Он всем роздал,— говорю я с порога,

Комбат смотрит на меня пронзительно. Ударит? Хоть бы ударил.

— Жулье, а не батарея! — говорит он.

— Разболтались, — говорит Карпов. — Это у них Гринченко — образец... Все про любовь да про жратву разговоры...

— Ладно, Карпов, брейся, — говорит комбат, — я же о другом.

А мне хочется спросить Карпова, где он был, когда мы, необстрелянные, под совхозом № 3 первый бой принимали. Он тогда в училище по режиму питался...

— Кругом! — кричит на меня комбат.

Я иду к себе. Может быть, Женя и права? Может быть, я и в самом деле школяр? Скоро кончится зима. Скоро мы вернемся на передовую. Вот тогда посмотрим, какой я школяр... И опять я встречу Нину. «Привет, малявка, — скажет она, — давно мы с тобой не виделись. Посидим покурим, да?»

РАЗГОВОРЫ

Мы стоим в разбитом населенном пункте уже четвертые сутки. Здесь был совхоз. Большой искромсанный ветряк, как печальная птица, смотрит сверху на нас.

Здесь сошлись потрепанные батареи, обескровленные батальоны, поредевшие в наступлении полки. Здесь в бывших блиндажах возникли склады, и невыспавшиеся интенданты раздают, выдают, снабжают.

Здесь проходят дороги на север. Туда ушло наступление. Оттуда все глуше доносится канонада. А по этим дорогам торопятся на передовую новые части. В новом обмундировании. Как с иголочки. На новых машинах. И они разглядывают нас с любопытством и почтением, со страхом и завистью.

Я уже давно не видел Нину. Я уже забываю ее лицо. Я уже забываю ее голос. Как быстро все на войне...

Коля Гринченко начистился, отоспался. Снова весел. Сашка Золотарев через каждые два часа варит себе что-нибудь в котелке в добавление к общей еде. И спит. Глазки у него совсем маленькие. Щеки еще пунцовой. Теперь и не поймешь, у кого пунцовой — у него или у Карпова. А младший лейтенант Карпов ходит победителем в своем овчинном полушубке, в лихо сдвинутой шапке, с пруты-

ком в руке. Он этим прутиком похлестывает себя по голенищам, как теленок, хвостом отгоняющий мух. Голос у него стал звонче. И почему-то мы с ним чаще сталкиваемся.

— Ему делать-то нечего,— говорит Коля Гринченко,— вот он и суется куда ни попало.

— Командир,— говорит Шонгин.

— На передовой-то его и не слышно было,— говорит Сашка,— скоро воспитывать начнет.

— Командир,— говорит Шонгин.— Как же без этого?

— Он скоро до нас доберется,— говорю я,— вон он как на Колю все поглядывает.

— Он меня не любит,— говорит Коля,— вот комбат, тот любит. А этот нет.

— Комбат—это, конечно, другое дело,— говорит Шонгин,— этот с веточкой ходить не будет.

— Он умный, наш комбат,— говорит Сашка Золотарев.

Подходит младший лейтенант Карпов. Он бьет по голенищам веточкой. Он говорит Коле:

— Ты что, Гринченко, пряжку морскую носишь? Мы ведь артиллерия.

— Так точно. Артиллерия,— говорит Коля и улыбается.

— И поэтому сними пряжку и спрячь ее на память.

— Есть снять пряжку,— козыряет Коля и улыбается.

— Я ведь серьезно говорю,— говорит Карпов сдержанно-сдержанно,— здесь на фронте эти фокусы ни к чему.

— Так точно,— говорит Коля и улыбается.

Карпов оглядывает нас. Мы не улыбаемся. Сашка смотрит в сторону. Шонгин стоит «смирно», руки по швам. А я хочу встать «смирно», а не могу. То левая нога согнется, то правая.

— Снять и доложить,— говорит Карпов. И ударяет веточкой по голенищу. И уходит.

Коля торопливо снимает пряжку с ремня. Красивую пряжку с якорями.

— Так я же не противился,— говорит он,— что это его?

— Командир он,— говорит Шонгин,— а ты молокосос. А ну-ка тебя так...

Коля уходит, размахивая ремнем.

— Нарвется,— говорит Сашка Золотарев.

Непонятно, о ком это он: о Карпове или о Коле. Мы уходим тоже. В свою избу. В ней тепло.

Коля сидит на лавке. Меняет пряжку.

— Уйду к разведчикам. Лихие ребята,— говорит он.

Мы сидим и молчим. Сидеть надоело, молчать — тоже, говорить — тоже. Пополнения нету.

— Отправили бы куда-нибудь подальше, все равно без дела сидим,—говорит Сашка.— Поехали бы мы в городишко... В увольнительную ходили бы. В парке, наверное, оркестр играет. Скоро яблони цвести начнут...

— Тебе бы Карпов дал бы там,— говорит Коля.

— Яблони и без тебя зацветут,— говорит Шонгин,— а оркестров сейчас нету. Ни к чему они вроде... Вот когда я на фронт уходил, тогда оркестр играл.

— Это был последний оркестр,— говорю я,— потом всем дали пулеметы. Все пулеметчиками стали.

— Э-э, болтать-то,— говорит Шонгин.

— Да, да. Теперь оркестры не играют. Теперь только тогда, когда город какой-нибудь освобождается.

...А когда я уходил, оркестр не играл. Была осень. Шел дождь. И мы с Сережкой Гореловым стояли на трамвайной остановке. И на нас были вещевые мешки. А в кармане лежал пакет из военкомата. И в нем — наши направления в отдельный минометный дивизион.

— Сами доедете,— сказал нам начальник второй части,— не маленькие.

Мы и поехали.

Никто нас не провожал. И Женя не пришла. Мы ехали по вечерней Москве и молчали. А на Казанском вокзале было страшно тесно. И мы сели на пол. И это нам нравилось. Сережка курил и все время сплевывал на пол. Мы с ним играли в солдат, и нам нравилась игра. А я все время поглядывал по сторонам: может быть, увижу Женю. Нет, оркестры не играли нам на прощание. Только на возвышении стоял рояль, и к нему подсел какой-то хмельной морячок и заиграл старинный вальс. И все замолчали и стали слушать. И я слушал, а сам все время поглядывал по сторонам: не идет ли Женя.

Это был какой-то незнакомый вальс, но чувствовалось, что он старинный. Даже дети, которые плакали, вдруг перестали плакать. А морячок раскачивался на стуле, и длинный чуб его свисал и касался клавиш.

— Вот мы с тобой и солдаты,— шепотом сказал мне Сережка.

Морячок играл старинный вальс. Все слушали. Женщины, дети, старики, солдаты, офицеры... И я был счастлив, что сижу на полу вокзала, что рядом — мой вещмешок, что я солдат, что завтра, может быть, дадут мне оружие.

И я был счастлив, что я с ними, что хмельной морячок играет на рояле. И мне очень хотелось, чтобы Женя появилась здесь и увидела нас в этом мире, к которому мы причастились, который так непохож на наши дома, на нашу вчерашнюю жизнь...

А морячок играл старинный вальс. В зале было душно. Но никто не шумел. Все слушали музыку. Они и раньше слушали музыку. И наверное, лучше этой. Но это была особенная. И потому все молчали.

А вальс все звучал и звучал. И офицер с красной повязкой, и два солдата комендантского патруля тоже слушали. Офицер — хмуро, солдаты — удивленно.

— Вот мы с тобой и солдаты, — сказал Сережка.

А морячок продолжал играть. И длинный чуб его полоскался по клавишам. Потом он вдруг опустил руки. Они соскользнули вниз и повисли. А голова ткнулась в клавиши, и рояль издал странный грустный звук. Все молчали. И тогда к морячку подошел офицер с красной повязкой на рукаве и козырнул, и что-то сказал. Вдруг все, кто был ближе, закричали на офицера.

— Что же это, братишки... — сказал морячок, — а если мою мамашу фрицы сожгли?..

— Сидит здесь в тылу, — сказал Сережка, — пошел бы туда, знал бы, как с повязкой ходить...

— И чего он привязался? — сказала какая-то женщина.

И тогда я побежал туда и крикнул офицеру:

— Ты, штабная крыса, нечего к людям приставать!

Офицер не слышал меня. А один из патрульных солдат сказал мне устало:

— Иди-ка, парнишка, домой.

...Фронтные сумерки лезут в окна. Света мы не зажигаем.

— Когда я в кавалерии служил, — говорит Шонгин, — мы, бывало, с марша придем, коней накормим и давай кулеш варить.

— А старшина сегодня опять сахару недодал, — говорит Коля.

— Стала мне теперь жена по ночам сниться, — гово-

рит Сашка Золотарев,— не видать нам, ребята, увольнительных.

— Когда я учился в восьмом классе,— говорю я,— у нас учитель по математике был очень смешной. Только отвернется, а мы подсказываем, а он за это двойку, да все не тому...

ДОРОГА

Мы отправляемся на базу армии за минометами. Мы — это младший лейтенант Карпов, старшина, Сашка Золотарев и я.

Карпов забирается к водителю в кабину, мы трое устраиваемся в кузове старенькой нашей полуторки.

И машина идет. Надоело это глупое сидение в населенном пункте. Лучше ехать. И все надоело. Мы улыбаемся с Сашкой и подмигиваем друг другу.

Старшина устроился возле самой кабины на мягком сиденье из пустых американских мешков. К кабине прислонился, руки сложил на животе, ноги короткие вытянул и прикрыл глаза.

— Едем, ежики,— говорит он,— смотрите не вывалитесь, пока я вздремну.

Едем.

Может быть, Нину где-нибудь встречу. Газик идет легко, потому что подморозило. Он торопится с холма на холм. А впереди — тоже холмы. А за ними — другие. Нам ехать-то всего сорок километров. Это такой пустяк. Посмотрю, как там в глубоком тылу поживают.

Дорога не пуста. Машины, машины... Танки идут. Пехота идет. Все — к передовой.

— А под Москвой сибиряки немцев причесали,— говорит Сашка.— Если бы не они, кто знает, как вышло бы.

— Сибиряки все одного роста,— говорю я,— метр восемьдесят. Специально подобраны.

— Дурачки,— говорит старшина, не открывая глаз,— при чем мамыны калоши? Техника под Москвой все ршила, техника...

А какой смысл спорить? Пусть себе говорят. Я знаю хорошо, что там было. Мне очевидцы рассказывали. И когда шли сибиряки, немцы катились на запад без остановки. Я знаю. Потому что сибиряки стояли насмерть. Они все охотники, медвежатники. Они с детства смерти в гла-

за смотрят. Они привыкли. А мы? Вот Сашка или я. Разве мы сможем? Вот на нас танки пойдут, ведь мы глаза закроем. И не потому, что мы трусы. Просто мы не привыкли... Смогу я на танк выйти? Нет, не смогу. С минометами это проще. Тут передовая далеко. Стреляй себе, постреливай, позицию меняй. А лицом к лицу... Хорошо, что мы не пехота.

Вдруг наша полуторка останавливается. Впереди дорога пуста. Только далеко-далеко какой-то одинокий маленький солдатик стоит и смотрит в нашу сторону. Старшина спит. Мы с Сашкой соскакиваем на дорогу. Младший лейтенант Карпов спит в кабинке. Нижняя губа у него отвисла, как у старика. Водитель поднял капот.

А солдатик бежит к нам. Маленький солдатик. Меньше и не придумаешь. Он бежит к нам и размахивает руками.

— Гляди, гляди,— говорит Сашка.— Сибиряк бежит.

Я смеюсь. Очень уж маленький этот солдатик. Вот он подбегает к нам, и я вижу, что это девочка. Она в шинели. Аккуратно затянута ремнем. И на плечах — погоны старшины. А лицо маленькое, и нос на нем как крохотный бугорок.

— Подвезите, ребята. Целый час торчу. Все машины — к фронту, а обратно ни одной. А мне вот так надо,— говорит она и проводит рукой по горлу.

Я помогаю ей взобраться в кузов. Мы с Сашкой отдаем ей свои плащ-палатки, и она садится на них.

— Вы откуда, мальчишки?

Мы киваем в сторону передовой.

— А пятнадцатая уже ушла?

Мы переглядываемся с Сашкой и пожимаем плечами.

Наш газик наконец трогается. Старшина спит. Он даже всхрапывает.

— Это потрясающе! — говорит наша попутчица и смеется.— Храпит, как на печи.

— Он поспать любит,— говорит Сашка.

Когда она смеется, губы у нее уголками загибаются кверху. Как у клоуна. Старшина! А я солдат. А куда она, такая маленькая, тоненькая, совсем девочка? Что случилось: всех подняло, понесло, перепутало?.. Ползают школьники по окопам, умирают от ран, безрукими, безногими домой возвращаются... Девочка-старшина... Что случилось?

— Сорок «юнкеров» позавчера на базу налетели,— говорит она,— это потрясающе! Мы с ног сбились.

— А что бы на передовой ты делала? — спрашивает Сашка.— Там ведь и похуже бывает.

— Плакала бы, наверно,— говорит она и смеется.

...Что случилось?.. Плакала бы, конечно. Я ведь тоже почти плакал. Перед войной я смотрел кинокартину. Там все бойцы были как бойцы: взрослые, опытные, они знали, что к чему. А я не знаю, Сашка не знает, и эта девочка не знает... А старшина спит, и Карпов настоящий командир, хоть и хмурый...

— Меня зовут Маша,— говорит она.— Я — старшина медицинской службы. Я в классе всех мальчишек была.

— А ты похвастаться любишь, да, старшина? — говорит Сашка.

Старшина просыпается. Он долго смотрит на Машу.

— Ты еще откуда взялась? — спрашивает он.

— А можно не тыкать? — спокойно говорит Маша.°

У старшины шапка ползет на затылок:

— Да как ты со мной разговариваешь?!

— Это потрясающе, до чего безграмотный мужчина,— обращается она к нам.

Мне хочется смеяться. Старшина долго разглядывает Машу, потом замечает нашивки на ее погонах.

— Я вас спрашиваю, товарищ старшина, откуда вы?

Машина снова останавливается. Водитель снова поднимает капот. Из кабины выходит Карпов.

— Как там дела? — спрашивает он у нас.

— Ваши солдаты замерзли тут, пока вы спали,— говорит Маша.

— Ого! — говорит Карпов.— Какой приятный пассажир. А вы-то не замерзли?

И он приглашает ее в кабину.

Она легко выпархивает из кузова. Машет нам рукой приветственно.

Как, должно быть, в кабине тепло. От мотора воздух жаркий, сидеть мягко. Вся дорога — как на ладони.

Карпов лезет за ней.

— Нет, нет,— говорит она,— может быть, мне вернуться, товарищ младший лейтенант?

— Сидите уж,— холодно говорит Карпов. Он забирается в кузов.

— Что это ты, Золотарев, ноги растопырил? — говорит он. — Сидеть по-человечески не умеешь, что ли?

...Едем. Уже темнеет. Если через полчаса не будет базы, замерзну к черту. Сашка весь замотался, только нос виден. Красный толстый нос.

— Человеку кровать нужна, а не кузов, — бубнит он, — и теплая печка, и еда повкусней, и любовь...

— А работать кто будет, ежик? — спрашивает старшина.

Когда вернусь домой, буду хорошо учиться. Спать буду ложиться в десять вечера. Зимой надену меховую шубу, чтобы никакой черт меня не взял...

Мы останавливаем какую-то машину. Спрашиваем. Оказывается, до базы еще около восьмидесяти километров.

— Как же так? — удивляется Карпов. — Ведь сказали, сорок.

— Другой дорогой надо было ехать, — отвечают с машины.

— Проспал дорогу, черт, — шипит Сашка.

— Замерзнем, — говорит старшина.

Выходит из кабины Маша.

— За первым поворотом отсюда — совхоз № 7, — говорит она.

— Правда? — радуется Карпов.

— Я неправды не говорю, к вашему сведению.

...Мало домов осталось целыми в этом совхозе. Мало. Но когда сводит пальцы, и губы заковенели, и ноги как деревянные — какая разница, сколько домов? Есть дома, и в них пускают, и в них тепло, и можно попить кипятку.

Карпов выбирает дом побольше и поцелей и приглашает туда Машу:

— Тут вам будет удобнее.

И обращается к нам:

— А вы, друзья, вон в тот, где окно светится.

— Я пока у машины побуду, — говорит водитель, — после смените меня.

Я смогу выдержать еще одну минуту. Мы с Сашкой бежим к дому. Нам открывает девочка. Она в платке. В валенках.

— Кто пришел? — спрашивают из комнаты.

— Это наши, мама, — говорит девочка.

Девочку зовут Вика. Ее мама тоже в платке и в шали.

Она похожа на мою маму. Очень. Она приглашает нас в комнату. Мы сбрасываем шинели.

— Не найдется ли у вас кипяточку? — спрашиваю я замерзшими губами.

Мы вываливаем на стол дубленые свои сухари.

— Больше, хозяйюшка, ничего не имеем, — говорит Сашка, — рады бы.

— Ничего, ничего, — говорит она, — сейчас я вас покормлю.

— А Карпов-то к Маше полез, — говорит Сашка, — и старшину взял на побегушках быть.

Мы сидим за столом. Вика тоже сидит и смотрит на нас большими глазами. А ее мама ставит на стол сковороду. А на сковороде дымится пирог. Черт знает что! Как она похожа на мою маму...

— Здесь госпиталь останавливался, — говорит она, — подарили мне бутылочку спирту. Выпейте, мальчики, погрейтесь.

У нее большие синяки под глазами. Мы не отказываемся от спирта. Я выпиваю свою рюмку и чувствую, что задыхаюсь. Сажу с открытым ртом. Она смеется:

— Нужно было выдохнуть воздух перед глотком. Я совсем забыла предупредить вас. Заедайте пирогом.

Я ем пирог. Как она все-таки похожа на мою маму. У меня кружится голова. Кружится у меня голова.

— Это из ваших сухарей сделала, — говорит она.

— Еще тяпнем? — спрашивает Сашка.

— Тяпнем, — говорю я.

Она наливает нам спирту.

— Надо бы и вам, хозяйюшка, — говорит Сашка.

Она улыбается и качает головой. А у меня голова кружится, кружится.

— Маме нельзя, — говорит Вика.

— Немножечко, — просит Сашка.

— Маме нельзя, — говорю я, — что привязался?

Она гладит меня по голове и подкладывает мне пирог. Кружится моя голова. Жарко стало. Сашка отодвинулся куда-то далеко. И Вика отодвинулась. И мама... Это чтобы мне не так жарко было...

— Вы здешняя? — спрашивает Сашка.

— Мы из Ленинграда, — говорит Вика.

— Как приятно, — говорю я, — а я из Москвы. Какое совпадение... Какая встреча... Где-то у черта на куличках... Я очень рад, очень рад... Если поедете в Ленин-

град через Москву, позвоните, пожалуйста, ко мне домой...

Сашка ест пирог. Пока он ест, я немного посплю. Положу голову на стол и посплю.

— Погоди,— говорит Сашка,— я тебя доведу.

Он кладет меня на расстеленную шинель.

— Я устал что-то,— говорю я.

— Спи, мальчик, спи,— говорит мама. Она стоит надо мной.

— Мама,— говорю я,— я жив-здоров. Скоро вернусь... С победой...

...Утром в комнате тишина. На Сашкином месте спит водитель. В доме никого. Надеваю шинель. Бегу к машине. Вокруг нее ходит с автоматом на груди Сашка.

— А я? — спрашиваю я.— Что же ты меня-то не разбудил?

— А ты спал — не добудишься,— говорит Сашка,— ты зашиб вчера. Тебя разморило.

— А ты так и ходишь? Один?

— А я выспался,— говорит Сашка.— Ну, походи немного, я погреюсь схожу.

Я — подлец и мерзавец. Вот я бы на его месте так, наверное, будил бы, пока не разбудил. Я бы больше своей нормы и не ходил бы, наверное. Я — скотина. Прочитать меня нужно. Я — предатель. Хоть бы кто-нибудь полез сейчас к машине, я его перерезал бы очередью.

Из дому выходит старшина:

— Ну как, ежик, все в порядке?

Я ничего не отвечаю. А ему и не нужно это. Он забирается в кузов, зевает во весь рот:

— Иди зови ребят. Ехать надо.

— ...Погодите немного,— говорит нам мама Вики,— сейчас пирог из картофеля готов будет.

— Спасибо, нам пора,— говорю я.

— Вы пирог за наше здоровье съешьте с дочкой,— говорит Сашка.

Мы идем к машине. Маша сидит в кузове. Она улыбается нам.

— Выяснили точно. Еще тридцать километров до базы,— говорит водитель.

— Это потрясающе! — говорит Маша.

— Все сели? — высовывается из кабины Карпов.

И вдруг я вижу: бежит от дома через дорогу Вика. Она протягивает сверток. Я на ходу успеваю взять его.

- Это пирог! — кричит она. — До свиданья!
 Мы долго машем ей руками.
- Как спалось? — спрашивает Сашка у Маши.
- Мы с хозяйкой — отлично, — смеется она, — а вот товарищ младший лейтенант не спал, кажется.
- Они спали, — говорит старшина.
- Ну, значит, вы не спали, — смеется Маша, — кто-то три раза за ночь будил нас, в дверь стучал: «Маша, мне надо с вами поговорить!»
- Я не стучал, — говорит старшина.

НИНА

Карпов выходит из штаба дивизии. Мы смотрим на него.

— Пополнение уже ушло к нам, — говорит он. — Мы разминулись. Ждать не стали.

— Вот и хорошо, — говорит старшина, — забот меньше.

— Будем американский бронетранспортер получать, — говорит Карпов, — тоже штучка ничего себе. Берите, старшина, сапоги на складе, грузите полуторку и отправляйтесь. Мы в бронетранспортере.

Сапоги! Вот они когда. Настоящие сапоги. Вот теперь-то только и начнется по-настоящему. Сапоги... А то ведь, как обозник, в обмотках хожу. Даже стыдно. Автомат и обмотки. Ну уж теперь повоюем!

Карпов уходит по всяким отделам.

— В сапоги можно наvertеть тряпок до черта, — говорит Сашка, — никакой мороз не прошибет.

— И не промокнут, — говорю я.

— Хорошо, — говорит Сашка, — тавотом подмазал и гуляй.

— И ложку можно за голенище заткнуть, — говорю я.

— Обуваться-то — одно удовольствие, — говорит Сашка, — потянул, и готово.

— Надо за ушки тянуть, — говорю я.

— Конечно, за ушки, — говорит Сашка. Он уходит знакомых поискать. Земляков. А я тоже похожу. Посмотрю, как тут люди живут.

Идет война. Идет она себе без передышки. Делает свои дела. Ни на кого не смотрит. Идет война. Ржавеет мой автомат. Ни разу я не выстрелил из него.

— Ты откуда взялся, господи?! — слышу я за спиной.

Это Нина! Она в гимнастерке. Пустой котелок в ее руке. Это же Нина...

— В гости приехал?

— Тебя искал,— говорю я,— с тех пор все ищу.

Она смеется. Она рада. Я вижу.

— Ах ты, мой дорогой... Вот дружок настоящий. Не забыл, значит?

Ей холодно стоять. Мороз ведь и ветер.

— Пойдем-ка поедим. Поговорим, что да как, да?

Она тянет меня за руку. Я иду за ней. Иду за ней...

Мы сидим с ней в штабной столовой. В бараке. Никого нет.

— Все уже пообедали,— говорит она,— это я опоздала. Сейчас выпросим у Феде порцию.

— Федя,— говорит она в окошечко повару,— дай, Федя, супу. Ко мне дружок с передовой приехал...

И Федя наливает полную миску супу для меня. А Нина отламывает кусок хлеба от своего.

— С миру по нитке?..— спрашивает в окошечко черный усатый Федя.

— Здесь тепло,— говорю я.

— Ну как там у вас? — спрашивает она.— Коля как поживает?

— Нина,— говорю я,— а ведь я и в самом деле тебя искал. Думал-думал о тебе... Что же ты молчала?

— А мы сейчас поедим с тобой, а потом покурим, да?

— Что же ты молчала?

— Не пошла бы я обедать, наверное, и не встретилась бы.

— Вот теперь я вижу, какие у тебя глаза. Зеленые. А то вспоминаю, а вспомнить не могу. Какие они? Какие? А тут понял наконец.

— Ты сшь, ешь. Остынет. Трудно там у вас?

— Знаешь, я даже представил однажды, как мы с тобой после войны встретились. На тебе — розовая жакетка, а шапки никакой...

— Совсем никакой?

— Мы идем по Арбату...

— Да ты ешь. Холодный, наверно, суп, да?

— Мне ведь скоро уезжать. Обратное. Хочешь, я тебе письмо напишу?

— А я тут девчонкам рассказывала. Там, говорю, у меня дружок есть. Черноглазенький. На всю войну —

один. А они мне не верили. Смеялись. А ты ведь помнил меня, да?

— Почему же один? Других у тебя нету?

— А другим-то ведь другое нужно...

Черноусый Федя внимательно смотрит на меня. Чего он смотрит? Может быть, жалеет, что супу дал? Может быть, он тот самый «другой»?..

— Послушай, да я ведь это всерьез. Я ведь думал о тебе. Я никогда ни о ком так не думал, как о тебе.

— Ну вот и ты тоже,— губы у нее кривятся.— Как хорошо-то было...

А на самом краешке миски, словно червячок, одиноко повисла лапша. Белая, печальная такая. А Нина подперла щеку кулачком и смотрит мимо меня. А в зеленых ее глазах я вижу окно барака. А за ним — зеленые сумерки наступают.

— А здесь даже выстрелов не слышно,— говорит Нина,— только раз бомбили.

— Послушай, Нина,— говорю я,— ну, хочешь, я буду письма тебе писать? Просто так. Как мы там живем... А то ведь пропадешь ты. Где тебя искать-то потом?

Дурочка она какая! Неужели она не понимает? Что я, соблазнитель какой-нибудь, что ли?.. Война. Это ведь не Женя. Там все казалось, казалось. А это ведь настоящее. Неужели она не видит? Я теперь понимаю все. Вот дурочка...

— Что ж ты думаешь, я как другие? Хочешь, докажу? Хочешь, при тебе сейчас домой напишу про все. Сама отправишь...

Черноусый Федя все смотрит на меня. Делать ему нечего, что ли?

— Вот и опять у нас с тобой свидание... да?

— И когда война кончится, мы поедем вместе...

— Прямо посередке войны у нас с тобой свидание. Вот только мороженым не торгуют. Федя,— говорит она,— нет ли у тебя мороженого?

— Для вас, Ниночка, все есть,— говорит Федя,— только оно у нас горячее. В виде кипяточка.

— Я когда до войны гулять ходила, всегда мне кавалеры мороженое покупали. А один был такой — не купил. Я его быстренько разогнала... А у нас в городе парк был...

— Нина, скоро мне ехать.

— Жалко мне тебя,— говорит она,— тебе не воевать

надо. Много ты навоюешь, а? Только не сердись, не сердись. Это я ведь не к тому, что не можешь. Просто зачем это тебе, да?

— А тебе?

— А мне уж и подавно. Вот Федя в ресторане работал. Ресторан «Поплавок». Да, Федя? Отбивные готовил. Салаты...

— Мне ведь уезжать,— говорю я,— ты скажи, напишешь мне? Мне ведь легче жить будет.

— Напишу,— говорит она,— напишу.

Мы идем к выходу. Позвякивает ложка в котелке.

— Послушай, Нина, а тот майор, он что...

— Тот?

— Да, тот...

— О, ты его заметил.

Мы снова останавливаемся у самой двери. Она стоит рядом со мной. Совсем рядом. Какая она все-таки маленькая, хрупкая, тоненькая. Какая она беззащитная. Я возьму ее за плечи, за круглые ее плечи... Я поглажу ее голову ладонью. Пусть она не объясняет. Я не хотел спрашивать, не хотел...

— Ты что, жалеешь меня, да?

— Нет, только и ты меня не жалеи, Нина.

— А что ж ты дальше-то делать будешь?

— Буду ждать писем твоих.

— А если не дождешься? Всякое ведь бывает...

— Дождусь. Ты ведь обещала.

— Зачем тебе это, глупый?..

Глупый я, глупый. Что-то я не так сказал. Не о том говорил.

— Вот у тебя крошка хлебная на щеке,— говорю я.

Она смеется. Смахивает крошку.

— Пора идти нам с тобой. Хватятся тебя.

— Пусть хватятся,— говорю я.— Пусть хватятся. Семь бед — один ответ.

— Смелый ты у меня какой,— смеется она. И проводит ладонью по моей голове.

Мы выходим в тамбур. Я касаюсь ее плеча

Она отводит мою руку. Очень ласково отводит.

— Не надо,— говорит она,— так лучше.

И целует меня в лоб. И бежит в начавшуюся метель.

...У штаба дивизии стоит бронетранспортер. Сашка ходит вокруг. Разглядывает.

— Сейчас поедem,— говорит он.

Бронетранспортер — очень удобная машина. Он словно серый жук. Он всюду пройдет, отовсюду вылезет. В нем уютно. Тепло. Печка электрическая работает. Можно даже поспать на ходу.

Я не сплю. Я подремываю. Что будет к вечеру, когда мы догоним свою батарею? Может быть, будет тяжелый бой? Может быть, никого мы уже не застанем... Вот приедем на место, буду ждать писем от Нины... А Сашка спит. По-настоящему. А Карпов сидит рядом с водителем и не то спит, не то просто уставился неподвижно в разбитую дорогу.

...А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?..

— Товарищ младший лейтенант,— говорю я,— если бы дорога хорошая была, вот бы мы мчались, наверное. Но Карпов не отвечает. Спит, видно, Карпов.

— Федосьев,— говорю я водителю,— а хорошая теперь у нас машина...

— А я не Федосьев,— говорит он,— я Федосеев. Федосеев я. Все меня путают. И Федоскиным называют, и по-всякому. А я Федосеев. На войне-то разве разберешься: Федосеев или Федосьев? Некогда разбираться. Было раз — Федишкиным назвали. Потеха ведь. А я Федосеев. Сорок лет уже Федосеев. Как говорится, с самого первого дня младенчества.

Мы возьмем бочку вина. Это на всю батарею. Это фронтальная норма.

— А винцом-то пахивает,— говорит Федосеев.

У него оттопыренные розовые губы, белые брови, зубы редкие, крупные. Он говорит нараспев. Он, наверное, никогда не выходит из себя. С ним уютно, надежно.

— А винцом-то пахивает,— говорит он.

Бочка большая. Отверстие заткнуто деревянной пробкой. Прочно. Не выбить. Да если и выбить, все равно: как до вина дотянуться? А на батарее сейчас принимают пополнение. Новички. Юные ребята, наверно. Стоят, озираются. Потеха. Школяры. Коля Гринченко вышагивает, наверное, перед ними. Фасонит. А Шонгин, наверное, покуривает и говорит Коле: «Болтать ты горазд, Гринченко...» А старшина привез сапоги. А если мне не достанется?

— А если газу прибавить,— спрашиваю я,— что получится, а, Федосеев?

— Получится прибавление скорости,— говорит Федосеев,— скорость увеличится. Это если газу прибавить. Только здесь нельзя. Дорога плохая. Трясти будет, если газу прибавить...

— Ну и пусть трясет.

— А зачем нам?

— А интересно ведь, когда трясет...

— Машину-то жалко. И люди спят. Пусть поспят. Это мы с тобой не спим. А они спят. И пусть.

А если я без сапог останусь? Меня не жалко? Гнал бы ты, Федосеев, покрепче. Может, успеем еще...

— А винцом-то пахивает— говорит Федосеев.

А ведь действительно вином пахнет. Ароматный дух идет от бочки. И есть хочется. Только вина нам не пить. Оно — в бочке. И пробка величиной с кулак.

— А пробку можно вытащить,— говорит Сашка на ухо мне.

— Вдруг Карпов услышит? Он нам даст...

— Конечно, можно,— говорит Карпов, не поворачивая головы.

— Это только прикажите — пара пустяков,— говорит Федосеев.

Мы съезжаем с дороги и останавливаемся у одинокого столба. Мы вытаскиваем пробку. Легко. Она как по маслу вылезает из своего гнезда. И сквозь морозный воздух пробивается облачко винного дурмана. Все сильней и сильней.

— Каждый пробует свою норму,— говорит Карпов,— не больше.

— Закусить бы,— говорит Сашка.

— Закусывать на батарее будем,— говорит Карпов.

Федосеев делает очень просто. Он берет резиновый шланг, которым бензин переливают, и опускает один конец в бочку.

— Котелочки подставляйте,— смеется Сашка,— чтобы не пролилось.

Золотое вино льется в подставленный котелок. Сашка прикладывается. Мы смотрим на него.

— Бензином воняет,— говорит он.

— Это ничего,— говорит Карпов,— ничего.

Он отпивает несколько глотков.

— Чистый бензин,— говорит он и сплевывает.

— Без этого нельзя,— говорит Федосеев,— шланг ведь. Ну-ка я попробую...

Мы распиваем пробу. Вино крепкое. Это чувствуется сразу.

— Нужно не дышать, когда пьешь,— говорит Сашка.

— Бензинный дух—это самое полезное,— говорит Федосеев,— никаких болезней не будет. Это привыкнуть надо. Я-то вот ничего. Мне не противно. Привычка. Ну-ка дай-ка котелочек-то...

— Ну, теперь давайте по норме отливайте, и все,— говорит Карпов.

— А какая норма? — спрашиваю я.

Никто не может объяснить, какая норма.

— Пока пьется,— говорю я.

— Но-но,— говорит Карпов,— это что еще за штучки!

Я уже знаю, как будет. Выпью, и теплое, как огонь, пойдет по телу. Станет жарко, томно, странно.

— Ты не пей много, Федосеев,— говорит Карпов,— тебе машину вести.

— Водичка,— говорит Федосеев.— Я этого добра могу два литра, и ни в одном глазу. Водичка.

— Да,— говорит Сашка,— это тебе, брат, не водочка. Водичка.

Я уже не могу пить. В котелке еще много, а я уже не могу. Губы у меня почему-то стянуло. Трудно рот раскрыть. А у Сашки весь подбородок в вине. Он только успевает передохнуть и снова к котелку. А Карпов хватается рукой за бронетранспортер.

— Черт, от голода уже сил нет никаких,— говорит он.

— Пора бы ехать,— говорит Федосеев и лезет в кабину.

— Нашел место, где остановиться,— говорит Карпов,— на самых буграх. Ногу поставить некуда. Вот там поровнее место-то.

— А ты здорово ухлестнул,— говорит Сашка Карпову.

— Я еще не так могу. Я чистый спирт могу,— говорит Карпов.

— А тебя как зовут? — спрашивает Сашка.

— Меня Алексеем зовут,— говорит Карпов.

Щеки у него красные-красные. И у Сашки тоже. Они как два брата.

Мы залезаем в машину.

— Тебе дать еще, Алеша? — спрашивает Сашка.

Карпов мотает головой. Сашка сосет шланг. Вино льется в котелок.

— На-ка попей,— тычет Сашка котелок Карпову,— попей, Алеша, водичку...

Руки у Сашки короткие, словно два обрубка, а вместо головы винная бочка. Вот это голова!

— А куда же ты пробку-то воткнешь? — смеюсь я.— В рот, что ли?

А Сашка качает своей бочкой и молчит.

— А где шланг? — спрашивает Федосеев.

— В бочке,— говорит Сашка.

— Купается,— смеюсь я.

— Купается? — спрашивает Карпов.— Я и не видел.

— Эх ты, Алеша,— смеюсь я.

Он хороший, этот Карпов, зря я на него обижался. Вон у него губы какие обиженные-обиженные. Я щекочу его шею.

— Эй, Алеша,— говорю я,— не грусти.

Сашка положил голову на бочку и спит. Пусть поспит. Он тоже хороший. Все хорошие. Вот когда мне сапоги дадут, я еще не так воевать буду.

— Сашка,— говорю я,— заткни бочку, противно.

А Сашка плачет. Большие слезы текут по щекам. Как у ребенка.

— Куда я еду? — всхлипывает он.— Надо мне больно ехать с вами! Меня Клава ждет... Где ты там, Клава?..

Как противно пахнет. Смесь вина и бензина. А если смешать духи с персиками? Все равно противно. А если розы — с гуталином?.. Вот если тихонечко нить, тихонечко-тихонечко, по-комариному, тогда легче.

— Тебе что, плохо, парень? — спрашивает Федосеев.

А мне не плохо. Только запах противный. И ноги не протянешь. Тесно.

— Приходи ко мне,— говорит Карпов,— я тебе покажу мою собаку.

— Куда приходиться?

— Улица Волжская, дом восемь.

— Потеха,— говорит Федосеев.

А Сашка плачет крупными слезами. Он вспоминает свою Клаву. И утирает слезы ладонями. А мне не хочется плакать. Зачем плакать?.. А у Сашки опять вместо головы — бочка. Она кружится, эта бочка, нет спасенья.

— Из-за фрицев этих ты меня, Клавочка, позабудешь... Купи мне пачку «Норда» на память... Простимся у порога, Клавочка, купи себе платок пестрый,— слышится из бочки,— а придешь — еще денег дам...

А я не плачу. Я лучше поною. Так дышать легче. Потому что этот запах проклятый... Прости меня, Нина. Тоненькая, маленькая, вся странная... неизвестная... прости меня.

— Куда мы? — спрашивает Карпов.

— На батарею,— говорит Федосеев.— Вон они уже летят, летят.

— Пьян ты, что ли, Федосеев?.. Кто это летит?.. Это ракеты, что ли? Ты на передовую меня везешь?

— Она самая. Вон она, рядышком.

— А на что мне она, Федосеев? Мне там делать нечего. Заворачивай ко мне на чашку чаю...

Я бы тоже чаю попил. А то запах проклятый...

...Открываю глаза. Стоит наш бронетранспортер. Впереди выстрелы отчетливо уже слышатся. В голове туман. Сашка спит. Карпов спит. Откинул голову, открыл рот. Мы вино пили. Противно даже.

— Что это мы стоим?

— Прибыли. А батареи нет. Никого нет,— говорит Федосеев.— Ушел фронт. Надо догонять... А ты хорош был. Как оно тебя, а?

Машина идет вперед. Фары погашены. Снег идет крупный-крупный. От него светло кругом. Призрачно светло. Как во сне. Я вижу сон. Или я пьян еще? Идет наступление, а мы напильсь. Это пьяный бред — там впереди белая фигура. Она стоит на нашем пути. Она подняла руки. В одной — автомат, в другой — фонарь «летучая мышь». Желтый огонек ничего не освещает.

— Стой, Федосеев,— говорю я.

Машина останавливается. Карпов проснулся. Он смотрит на фигуру. Он руку тянет к кобуре.

— Это же свои,— говорит Федосеев,— узнаем-ка, что там такое.

А вдруг это немцы? Где мой автомат? Нету моего автомата. Он где-то там, под бочкой. Под винной бочкой. А фигура приближается, приближается. Федосеев распахивает дверцы.

— Ребятки! — кричит фигура.— Ребятки, помогите нам по-быстрому. Тут дружков наших побил. Зарыть надо...

Фигура приближается к машине. Это солдат. Он весь в снегу. Пола шинели оторвана.

— Чем побило? — спрашивает Карпов и зевает.

Он зевает, словно с печки слез. Он зевает, когда там убитые лежат! Он пьян, этот Карпов.

— Пулями побило! — говорю я.

— Не суйтесь не в свое дело, — говорит Карпов. — Где убитые?

Солдат машет фонарем.

— Тама, тама, — говорит он, — все... семеро. А нас двое живых-то. Помогните, ребятки.

— Там бой идет, — говорит Карпов, — как же мы можем на батарею опоздать?

— И так опоздали, — говорит Федосеев.

— Пить не надо было, — говорю я и удивляюсь, как я смело говорю.

А Карпов смотрит на меня и молчит. Он ничего не говорит, потому что нечего ему сказать.

— Напились все как свиньи. А тут бой идет, — громко говорю я. — Пошли, Федосеев?

Мы вылезаем из машины. Карпов тоже. Молча. Потом — заспанный Сашка. Мы берем лопаты, ломик и идем за солдатом.

— Такое было, такое было, — говорит он на ходу, — с первого дня такого не было. Шесть часов друг дружку молотили. Потом только вперед пошли.

Мы идем по снежным буграм. Нет, не сон это. Там впереди страшный бой продолжается. Мне слышно хорошо. Вот, Ниночка, твой вояка и отличился. А под невысоким холмиком долбит замерзшую землю одинокий солдат. А тот, что с нами шел, говорит:

— Вот, Егоров, подмогу я привел. Сейчас мы быстро, Егоров. Ты давай, давай долби ее. Сейчас мы все возьмемся.

А чуть в стороне лежат тела убитых. Их снегом запылило. Шинели белые, лица белые. Семь белых людей лежат и молчат. Какой же это сон? Это убитые. Наши. А мы вино пили.

— Ничего себе командир, — говорю я Сашке, — сам напился и нам позволил.

— Молчи ты... — говорит Сашка.

— Беритесь-ка за лопаты, — говорит Карпов.

— Всем надо брататься, — усмехаюсь я.

Сашка и Федосеев смотрят на меня.

— А я тоже берусь,— спокойно говорит Карпов.— Вот и у меня лопата есть.

А семеро лежат неподвижно, как будто их это не касается. Мы роём молча. Час или два. Земля поддается с трудом. Но она поддается. Сейчас мы будем хоронить убитых. Как я на них посмотрю?..

— Да погаси ты фонарь,— говорит Карпов.

Егоров гасит фонарь. Но ничего не меняется. Он ведь почти и не светил совсем. И что это Карпову вздумалось фонарь гасить?..

Яма получилась глубокая. И вот тот, первый, солдат лезет в нее.

— Ну, давай, Егоров,— говорит он. И я понимаю, что это значит. А Егоров делает нам знак, и мы идем за ним. Неужели мне сейчас брать мертвых руками и тащить их к могиле?! Сашка и Егоров берут первого. Несут. Федосеев нагибается ко второму. Карпов смотрит на меня. А почему бы мне и не взять? Возьму за ноги. Это ведь не голова. Я должен взять. Именно я. Не Карпов, а я. Я беру убитого за ноги. Мы несем.

— Осторожно, ребятки,— говорит из ямы первый солдат,— не уроните.

— Никак Леня,— говорит Егоров, проходя мимо.

— Это наш Леня,— говорит первый солдат,— давайте его сюда.

Он принимает у нас тело Лени и бережно укладывает его.

Потом мы приносим еще одного, еще одного.

— Салтыкова сверху. Он молодой был,— говорит первый солдат,— ему лежать легче будет.

— А ты помолчать не можешь? — спрашивает Карпов.

— А им ведь не обидно это, товарищ младший лейтенант,— говорит солдат,— а помолчать я могу, конечно.

Мы укладываем всех. Аккуратно. Они лежат в шинелях. Они лежат в сапогах. У всех новые сапоги. Мы молча орудуем лопатами. Мы делаем все, что нужно. Все, что нужно. Вот уже и сапоги скрылись под слоем земли. И на холмике лежит каска. А чья — неизвестно...

...Мы снова едем туда. На выстрелы. Мы молчим,

...А кто считал, сколько раз мы уже позицию меняем? Кто считал? А сколько я поросят передал заряжающему нашему Сашке Золотареву? А как у меня руки болят... Мы ведь не просто позицию меняем: лишь бы переменить. Мы вперед идем. Моздок уже за спиной где-то. Давай, давай! Теперь-то я уже наверняка ложку достану. Хорошую новенькую ложку буду иметь. А вот бой кончится, выдаст старшина мне сапоги... Это когда кончится. А когда он кончится?.. Все кланяется Коля Гринченко. Он припадает к прицелу. Выгибается весь. Он ведь длинный.

— Взво-о-од!..— кричит Карпов. Он взмахивает веточкой. Он стоит бледный такой.— Огонь!..

Сашка Золотарев сбросил с себя шинель. Ватник распахнул. Губы белые. Он только закидывает мины в ствол, только закидывает. И ахает каждый раз. И миномет ахает.

Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком расположении начинает похрюкивать «ванюша». И где-то за батареей нашей ложатся его страшные мины.

— Как бы не накрыл,— говорит Шонгин. Он даже кричит:— Накроет, и все тогда!

— Отбой! — кричит Карпов.

— Слава богу,— жалобно смеется Сашка,— руки оторвались. Заменить-то нечем.

Приходят из укрытия ЗИСы. Цепляем минометы. И снова хрюканье «ванюши», и шуршание мин над головой, и визг их где-то за спиной. Пронесло. Опять пронесло. Как противна беспомощность собственная. Что я, кролик? Почему я должен ждать, когда меня стукнет? Почему ничего от меня не зависит? Стою себе на ровном месте, и вдруг — на тебе... Лучше в пехоту, лучше в пехоту... Там хоть пошел в атаку, а-а-а-а-а!.. и уж кто кого... и никакого страха — вот он, враг. А тут по тебе бьют, а ты крестишься: авось да авось... Вот опять. Похрюкивает «ванюша» все настойчивей, упрямей. Все чаще ложатся мины, все ближе. Истошно кричат наши ЗИСы, выкарабкиваются из зоны огня... Скорей же, черт!

И снова похрюкиванье. Мирное такое. Раз и еще раз. И вой...

— Ложись!..

Шонгин сзади кружится на одном месте.

— Грибы собираете?! — кричит Карпов.

— Обмотка...

И он кружится, кружится, ловит свою обмотку, словно котенок с клубком играет.

В бок мне ударяет чем-то. Конец?.. Слышно, бегут. Это ко мне. Нет, мимо. Жив я! Мамочка моя милая... жив... Снова жив... Я жив... я еще жив... у меня во рту земля, а я жив... Это не меня убили...

Все бегут мимо меня. Встаю. Все цело. Мамочка моя милая... все цело. Там недалеко Шонгин лежит. И Сашка стоит над ним. Он держится рукой за подбородок, а рука у него трясется. Это не Шонгин лежит, это остатки его шинели... Где же Шонгин-то? Ничего не поймешь... Вот его котелок, автомат... ложка!.. Лучше не смотреть, лучше не смотреть.

— Прямое попадание,— говорит кто-то.

Коля берет меня за плечи. Ведет. И я иду.

— Землю-то выплюнь,— говорит он,— подавишься.

Мы идем к машинам. Они уже трогаются. Возле Шонгина остались несколько человек.

— Давай, давай,— подсаживает меня Коля.

— Все целы? — спрашивает Карпов.

— Остальные все,— говорит Коля.

...К вечеру въезжаем в какой-то населенный пункт. И останавливаемся. Неужели всё? Неужели спать? Подходит кухня. В животе пусто, а есть не хочется.

Мы сидим втроем на каком-то бревне. Я отхлебываю суп прямо из котелка.

— Фрицы сопротивляются,— говорит Сашка.

— Теперь уже пошло,— говорит Коля.

— Теперь наши стали и днем летать,— говорю я.

— А голова-то у тебя цела? — спрашивает Коля.

— У него голова как котел. Все выдержит,— говорит Сашка. Он смеется. Тихонечко. Про себя.

— Жалко Шонгина,— говорю я.

Мы молча доедаем суп.

— А тебе без ложки-то легче,— говорит Коля,— хлебнул пару раз — и все. А тут пока его зачерпнешь, да пока ко рту поднесешь, да половину прольешь...

— А я тут ложки видел немецкие,— говорит Сашка,— новенькие. Валяются. Надо бы тебе принести их.

И он встает и отправляется искать ложки. Будет и у меня ложка! Правда, немецкая. Да какая разница...

Сколько я без ложки прожил! Теперь зато с ложкой буду.

Ложки и в самом деле хорошие. Алюминиевые. Целая связка.

— Они мытые,— говорит Сашка,— фрицы чистоту любят. Выбирай любую.

Ложки лежат в моих руках.

— Они мытые,— говорит Сашка.

Ложек много. Выбирай любую. После еды ее нужно старательно вылизать и сунуть в карман поглубже. А немец тоже ее вылизывал. У него, наверное, были толстые мокрые губы. И когда он вылизывал свою ложку, глаза выпучивал...

— Они мытые,— говорит Сашка.

...А потом совал за голенище. А там портянки пропревшие. И снова он ее в кашу погружал, и снова вылизывал... На одной ложке — засохший комочек пищи.

— Ну, что ж ты? — говорит Коля.

Я возвращаю ложки Золотареву. Я не могу ими есть. Я не знаю почему...

Мы сидим и курим.

— «Рама» балуется,— говорит Коля и смотрит вверх.

Над нами летает немецкий корректировщик. В него лениво постреливают наши. Но он высоко. И уже сумерки. Он тоже изредка постреливает в нас. Еле-еле слышна пулеметная дробь.

— Злится,— говорит Коля,— вчера небось по этой улице ногами ходил, летяга фашистский.

А Сашка по одной швыряет ложки. Размахивается и швыряет. И вдруг одна ложка попадает мне в ногу. Как это получилось, понять не могу.

— Больно,— говорю я,— что ты ложки раскидываешь?

— А я не в тебя,— говорит Сашка.

А ноге все больней и больней. Я хочу встать, но левая нога моя не выпрямляется.

— Ты что? — спрашивает Коля.

— Что-то нога не выпрямляется,— говорю я,— больно очень.

Он осматривает ногу.

— Снимай-ка ватные штаны,— приказывает он.

— Что ты, что ты,— говорю я,— зачем это? Меня ж не ранило, не задело даже...— Но мне страшно уже. Где-то там, внутри, под сердцем, что-то противно копошится.

— Снимай, говорю, гад!

Я опускаю стеганные ватные штаны. Левое бедро в крови. В белой кальсонине маленькая черная дырочка, и оттуда ползет кровь... Моя кровь... А боль затухает... только голова кружится. И тошнит немного.

— Это ложкой, да? — испуганно спрашивает Сашка.— Что же это такое?

— «Рама»,— говорит Коля,— хорошо, что не в голову.

Ранен!.. Как же это так? Ни боя, ничего. В тишине вечерней. Грудью на дзот не бросался. В штывки не ходил. Коля уходит куда-то, приходит, снова уходит. Нога не распрямляется.

— Жилу задело,— говорит Сашка.

— Что ж никто не идет? — спрашиваю я.— Я ведь кровью истеку.

— Ничего, крови хватит. Ты вот прислонись-ка, полежи.

Приходит Коля. Приводит санинструктора. Тот делает укол мне:

— Это чтобы столбняка не было.

Перебинтовывает. Меня кладут на чью-то шинель. Кто-то приходит и уходит. Как-то все уже неинтересно. Я долго лежу. Холода я не чувствую. Я слышу, как Коля кричит:

— Замерзнет человек! Надо в санбат отправлять, а старшина, гад, машину не дает.

Кому это он говорит? А-а, это комбат идет ко мне. Он ничего не говорит. Он смотрит на меня. Может быть, сказать ему, чтобы велел сапоги мне выдать? А впрочем, к чему они мне теперь?.. Подходит полуторка. На ней бочки железные из-под бензина.

— Придется меж бочек устроиться,— слышу я голос комбата.

Какая разница, где устраиваться.

Мне суют в карман какие-то бумаги. Не могу разобрать, кто сует... Какая, впрочем, разница?

— Это документы,— говорит Коля,— в медсанбате сдашь.

Меня кладут в кузов. Пустые бочки, как часовые, стоят вокруг меня.

— Прощай,— говорит Коля,— ехать недолго.

— Прощай, Коля.

— Прощай,— говорит Сашка Золотарев,— увидимся.

— Прощай,— говорю я.— Конечно, увидимся.

И машина уходит. Все. Я сплю, пока мы едем по дороге, по которой я двигался на север. Я сплю. Без сновидений. Мне тепло и мягко. Бочки окружают меня.

Я просыпаюсь на несколько минут, когда меня несут в барак медсанбата. Укладывают на пол. И я засыпаю снова.

...Это большая, прекрасная комната. И стекла в окнах. И тепло. Топится печь. Меня тормозит кто-то. Это сестра в белом халате поверх ватника.

— Давай документы, милый,— говорит она,— нужно в санитарный поезд оформлять. В тыл повезут.

Я достаю документы из кармана. Вслед за ними выпадает ложка. Ложка?!

— Ложку-то не потеряй,— говорит сестра.

Ложка?.. Откуда у меня ложка?.. Я подношу ее к глазам. Алюминиевая сточенная старая ложка, а на черенке ножом выцарапано «Шонгин»... Когда же это я успел ее подобрать? Шонгин, Шонгин... Вот и память о тебе. Ничего не осталось, только ложка. Только ложка. Сколько войн он повидал, а эта последняя. Бывает же когда-нибудь последняя. А жена ничего не знает. Только я знаю... Я упрячу эту ложку поглубже. Буду всегда с собой носить... Прости меня, Шонгин — старый солдат...

Сестра возвращает мне бумаги.

— Спи,— говорит она,— спи. Чего губы-то дрожат? Теперь уже не страшно.

Теперь уже не страшно. Что уж теперь? Теперь мне ничего не нужно. Даже сапоги не нужны. Теперь я совсем один. Вдруг Коля войдет и скажет: «Теперь наступление. Теперь лафа, ребята. Теперь будем коньячок попивать...» Или вдруг войдет Сашка Золотарев: «Руки у меня отваливаются от работы, а заменить нечем...» А Шонгин скажет: «Э-э, болтать вы горазды. Паскуды вы, ребята...» А Шонгин теперь ничего не скажет. Ничего. Какой же я солдат — даже из автомата ни разу не выстрелил. Даже фашиста живого ни одного не видел. Какой же я солдат? Ни одного ордена у меня, ни медали даже... А рядом со мной лежат другие солдаты. Я слышу стоны. Это настоящие солдаты. Эти всё прошли. Всё повидали.

В барак вносят новых раненых. Одного кладут рядом со мной. Он смотрит на меня. Бинт у него соскочил со лба. Он его накладывает снова. Матерится.

- Сейчас, сейчас, милый,— говорит сестра.
— А мне и без вас тошно,— говорит он. И смотрит на меня. Глаза у него большие, злые.
— Из минометной? — спрашивает он.
— Да,— говорю я.— Знакомый? Знаешь наших-то?
— Знаю, знаю,— говорит он,— всех знаю.
— Тебя когда это?
— Утром. Вот сейчас. Когда же еще?
— А Коля Гринченко...
— И Колю твоего тоже.
— И Сашку?!
— И Сашку тоже. Всех. Подчистую. Один я остался.
— И комбата?..
Он кричит на меня:
— Всех, говорю! Всех! Всех!..
И я кричу:
— Врешь ты все!
— Врет он,— говорит кто-то,— ты его глаз не видишь, что ли?
— Ты его не слушай,— говорит сестра,— он ведь не в себе.
— Болтать он горазд,— говорю я,— наши вперед идут.
И мне хочется плакать. И не потому, что он сказал вдруг такое. А потому, что можно плакать и не от горя... Плачь, плачь... У тебя неопасная рана, школяр. Тебе еще многое пройти нужно. Ты еще поживешь, дружок...

Август 1960 г.— февраль 1961 г.

«Тарусские страницы», Калуга, 1961

**ПЕСНЯ,
КОТОРОЙ ТЫСЯЧА ЛЕТ**

Это старинная песня,
Которая вечно нова.

Г. Гейне

Старинная песня,
Ей тысяча лет.
Он любит ее,
А она его — нет.

Столетия сменяются.
Вьюги метут.
Различными думами
Люди живут.

Но так же упорно
Во все времена
Его почему-то
Не любит она.

А он и страдает,
И очень влюблен...
Но только, позвольте,
Да кто ж это — он?

Кто? Может быть, рыцарь.
А может — поэт.
Но факт, что она —
Его счастье и свет.

Что в ней он нашел
Озаренье свое,
Что страшно остаться ему
Без нее...

Но сделать не может
Он здесь ничего...
Кто ж эта она,
Что не любит его?

Она? Совершенство.
К тому же она
Его на земле
Понимает одна.

Она всех других
И нежней, и умней.
А он лучше всех
Это чувствует в ней...

Но все-таки, все-таки
Тысячу лет
Он любит ее,
А она его — нет.

И все же ей по сердцу
Ближе другой,
Не столь одержимый,
Но все ж неплохой.

Хоть этот намного
Скучнее того...
(Коль древняя песня
Не лжет про него).

Но песня все та же
Звучит и сейчас...
(А я ведь о песне
Веду свой рассказ).

Признаться, я толком
И сам не пойму:
Ей по сердцу больше другой...
Почему?

Так глупо
Зачем выбирает она?
А может, не скука
Ей вовсе страшна?

А просто, как люди,
Ей хочется жить...
И холодно ей
Озареньем служить.

Быть может... Не знаю...
Ведь я не пророк...
Но в песне об этом
Ни слова... Молчок...

А может, и рыцарь
Вздыхать устает.
И сам, наконец,
От нее отстает.

И тоже становится
Этим, другим,
Не столь одержимым,
Но все ж неплохим.

И слышит в награду
Покорное: «Да...»
Не знаю. О том
Не поют никогда.

Не знаю, как в песне,
А в жизни земной
И то и другое
Случалось со мной.

Так что ж мне обидно,
Что тысячу лет
Он любит ее,
А она его — нет.

* * *

Век открывался для меня непросто.
Он был противоречьем во плоти.
Я видел подлость, знаю благородство,
Я видел мрак и знаю свет пути.
Век шел к свободе — и крепил законы.
Все для войны — и не любил войны...

Был бунтовщик — и надевал погоны...
Был демократ — и соблюдал чины.

Он шел на риск и не дрожал от страха...
Когда ж он кончит все свои труды,
Останется земля, где нету засух,
И мир, освобожденный от нужды.

ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ

Ни к чему,
 ни к чему,
 ни к чему полунощные бденья.
Что других обвинять!
 Надо видеть причины
 в другом.
Время?
 Время дано.
 Это не подлежит обсуждению.
Подлежишь обсуждению
 ты,
 разместившийся в нем.
Ты не верь,
 что грядущее вскрикнет,
 всплеснувши руками:
«Вот какой тогда жил,
 да, бедняга, от века зачах».
Нету легких времен.
 И в людскую врезается память
Только тот,
 кто пронес
 эту тяжесть
 на смертных плечах.

СОВРЕМЕННОКИ

Ст. Рассадину

Сквозь тучи
 в рассвет синеватый
Пошел самолет напролом.
И город, где жил я когда-то,
Огнями возник под крылом.

Он вдруг поднимался неслышно,
Кружило его и несло...
А рядом со мной неподвижно
В пространстве лежало крыло.
Все было доступным, понятным,
Известным давно и простым.
И все-таки было занято,
Что мы среди неба висим.
Что здесь, в этой точке высотной,
Нас держит пространство одно...
Казалось вещественным, плотным
И было надежным оно.
А город навстречу бросался,
Вздыхался, стоял под углом
И снова лежал... И казался
Пунктирным большим чертежом.
Он был необжитым простором,
Скоплением холодных светил,
Мой город... Тот самый, в котором
Три года я временно жил.
Да, временно... Дни торопил я,
Чтоб время прошло поскорей.
И все это даже не странно.
Но кто объяснит, почему
Из жизни своей постоянной
Мечтал я вернуться к нему.
Зачем, забыв про усталость,
Тот город я видел во сне...
Знать, время прошло... Но осталось,
Как все остается во мне.
Тут, с юным покончив бесстрашьем,
Мне бросив: «Счастливо живи!» —
Девчонка по воле мамы
Сбежала в начале любви...
Веселой была и спокойной,
Игры, любопытства полна...
И всей моей жизни нестройность
Легко устраняла она.
Теперь у ней все, что ей нужно:
Семья, и работа, и быт.
И где-то внизу перед службой,
Наверно, теперь она спит.
И пусть я совсем не обязан
Прощать ей побег из мечты,

Но помню: с ней жизнью я связан,
А жизнь оставляет следы!

.
Качается скопище света,
То встанет, то прынет назад.
Но, даже не зная про это,
Друзья мои в городе спят.
Им письма писать забывал я
В заботах текущего дня.
И больше!
Везде, где бывал я,
Бывали друзья у меня
По страсти, надеждам, потерям,
По вехам на трудном пути,
И там, где я не был, я верю:
Я тоже бы мог их найти.
Но нет в моем сердце измены,
В нем живы все дружбы и дни.
Они для меня равноценны,
Хоть в разное время они.
Далекие лампочки светят
(Не раз я бродил среди них),
Там завтра друзья меня встретят,
И все восстановится вмиг.
И сядем семьейю одною,
Где каждый по-своему мил,
И будет меж ними и мною
Та жизнь, где я с ними дружил.
В блужданиях, открытиях, прозрениях
Я все же им был не чужим:
Ведь каждый из нас — современник
Всего,

что бывает с другим.
Я думаю, словно о чуде,
Об этом... И тут я не прав:
Мы все современники — люди!
Хоть мы — переменный состав.
Нам выпало жить на планете
Случайно во время одно.
Из бездны времен и столетий
Нам выбрано было оно.
Мы в нем враждовали, дружили,
Любили, боролись с тоской.
И все бы мы были чужие

Во всякой эпохе другой.
Есть время одно — это люди,
Живущие рядом сейчас.
Давай к нему бережней будем:
Другого не будет у нас!

.
Все резче рассвет синеватый.
Коснулся земли самолет,
И город, где жил я когда-то,
Опять предо мной предстает.
Рассвет холодит мои плечи,
И светят огни сквозь туман...
И вдруг выбегает навстречу
И рвет из руки чемодан.
И словно бы прошлое

право

Свое обретает опять.
И утром — спецовка. И — в лаву
За смену свою отвечать!
Тут много хорошего было,
Тут не было бросовых дней,
Но дни, как дурак, торопил я,
Чтоб время прошло поскорей...
Что ж! Время, подумавши малость,
Прошло...

Как об этом ни пой.
Вернее, оно здесь осталось...
Его не увозят с собой...

* * *

Мне без тебя так трудно жить,
А ты — ты дразнишь и тревожишь...
Ты мне не можешь заменить
Весь мир... А кажется, что можешь.
Есть в мире у меня свое...
Дела, успехи и напасти...
Мне лишь тебя недостает
Для полного людского счастья!
Мне без тебя так трудно жить,
Все неудобно, все тревожит...
Ты мир не можешь заменить!..
Но ведь и он тебя — не может...

* * *

Предельно краток язык земной.
Он будет всегда таким...
С другим — это значит то, что со мной,
Но — с другим.
А я победил уже эту боль,
Ушел и махнул рукой...
С другой — это значит то, что с тобой,
Но — с другой.

ОВАЛ

Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал.

П. Коган

Меня, как видно, бог не звал
И вкусом не снабдил утонченным.
Я с детства полюбил овал
За то, что он такой законченный.

Я рос и слушал сказки мамы
И ничего не рисовал,
Когда вставал ко мне углами
Мир, не похожий на овал.

Но все углы, и все печали,
И всех противоречий вал
Я тем острее ощущаю,
Что с детства полюбил овал.

НАД КНИГОЙ НЕКРАСОВА

(1941)

...Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.

Она бы хотела иначе —
Носить драгоценный наряд...
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

«Тарусские страницы», Калуга, 1961

ПО МОТИВАМ
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

(ФРАГМЕНТЫ)

ГУСЛИ БОЯНА

У Бояна
 стозвонные
гусли,
а на гусях
 русский орнамент,
гусли могут стенать, как гуси,
могут
 и клекотать¹
орлами,
могут мудростью
с дубом спорить,
спорить скоростью
с волком
 могут,
радость князю —
 ликуют,
горе —
разом с князем горестно
молкнут.
У Бояна
 бойкие струны!
Словно десять речетов
статных
напускает Боян
 на юное
 лебединое стадо,
Первый речет
 кричит победно
песню-здравицу в честь Мстислава,
что прирезал Редедю
перед полками касогов бравых.

То не десять кречетов
юных —
десять пальцев,
от песен скорченных,
задевают струны,
а струны
сами славу князьям рокочут.
Или вдруг
застрелятся
грустью,
журавлиною перекличкою...
У Бояна
стозвонные
гусли —
пе-ре-лив-чатые.

КОПЬЯ ПОЮТ НА ДУНАЕ

Над Путивлем Солнце-радость
велико,
а светит слабо.
На валу,
ограде града,
плачет лада Ярославна.

Плачет, голос поднимая,
до рассвета цвета ситца:
«Полечу я по Дунаю
бесприютною зегзицей.
Рано, рано

на Дунае
омочу рукав бобровый,
князю раны вспеленаю,
ототру
от крови

брови».
Над Путивлем ветер стылый
носит запах сечи душной.
Плачет лада:
«О Ветрило!
Отчего враждебно дуешь?
Отчего,
о Ветр-Ветрило,

добродушный и обширный,
мечешь
на воздушных крыльях
стрелы
в русскую дружину?
Мало ли тебе, бездомный,
облака гонять по югу,
мало на море студеном
корабли волной баюкать?
Мало пригибать посевы,
дыбить мех
лесному зверю?
Отчего ж мое веселье
по ковыль-траве
развеял?»

Над Путивлем Солнце-радость
велико,
а светит слабо.
На валу,
ограде града,
плачет лада Ярославна,
плачет лада,
стоном стонет,
Солнцу слабому грозитя:

«Полечу к тебе я, Солнце,
бесприютною зегзицей.
Отчего в безводном поле,
жар-лучи
кидая наземь,
пропитало потной солью
ты дружину мужа-князя?
Отчего тугие луки
ты им, Солнце,
раскачало,
покоробило им тугой
камышовые колчаны?»

Над Путивлем красны тучи
будто Игоревы раны.
Поднимая голос круче,
плачет лада Ярославна:
«О могучий Днепр Словутич!

Расколлот ты горы-камни,
горе-лодки Святослава
с Кобыковыми полками
ты столкнул...
О господине!
Прилелей мне мужа завтра.
Не хочу
 покрытым тиной,
а хочу
 живым, глазастым».

КМЕТЫ-КУРЯНЕ

Мы, куряне,
 с пеленок войны,
нами все
 путь-дороги
знаемы,
наши тулы
 настежь отворены,
и всегда настороже
знамена.
Мы под вопли труб
 всколыбелены,
с наконечников копий
 вскормлены.
Наши сабли
 в брусках
избстрены,
луки,
 что желваки,
напряжены.
Сами скачем степями жесткими
день и ночь за врагами княжьими.

НОЧЬ ПЕРЕД ПОБЕГОМ

Разве
 спрашивает
страх?
Двадцать страдников
у костра.
Двадцать стражников

и Кончак.
И у каждого
колчан.
Круп коняги в жару
груб,
двадцать стражников
жрут
круп
и прихлебывают
кумыс.

Половчане —
палач к палачу,
и похлопывают —
кормисы! —
князя Игоря по плечу.
Но у князя дрожит
нога,
князь сегодня бежит,
но как?

Разве спрашивает
страх?
Двадцать стражников
у костра.

Раскорячен
сучок в костре.
Что колчан,
то пучок
стрел.
Что ни стражник, то глаз
кос —
помясистей украсть
кость.
Что ни рот — на одну
мысль
поядрелей хлебнуть
кумыс.

Двадцать стражников.
Ночь.
И у каждого
нож.

ПРИЕЗД ОТЦА В ГОСТИ К СЫНУ

Иван Ермолаев ждал в гости своего отца. В письме не было сказано, когда именно и с каким поездом отец придет, и Иван волновался и досадовал на расхлябанную деревенскую манеру писать письма, где о выезде сообщалось двумя словами, а о самочувствии дальних родственников и соседей, почти забытых Иваном,— на четырех полных страницах из школьной тетради.

Двадцать восемь лет назад, пятнадцатилетним мальчиком, уехал Иван из деревни, вернее — был выгнан невзлюбившей пасынка молодой мачехой, совсем как в сказке. Дальнейшая жизнь его тоже оказалась некоторым образом похожей на сказку, непростую и трудную в каждодневье, но полную увлекательных событий и чудесных превращений, если оглянуться назад и охватить взглядом всю картину.

Маленьким мужичком с льняными волосами, в лаптях и посконной рубахе пришел он в областной город Пензу, а оттуда завербовался на новостройку в Магнитогорск, город, о котором говорилось так, словно он есть, хотя его еще не было. Чернорабочий, фабзаяц, плотник, бетонщик, Иван в числе десятков тысяч других строил своими руками завод, а завод, в свою очередь, тесал и плавил его самого, незаметно тесал и плавил его по своему образу и подобию. Так тихий и безответный крестьянский мальчик превратился в знаменитость, чье имя упоминалось при всяком перечислении виднейших доменщиков страны с такой же неизбежностью, с какой, например, Лермонтов упоминается при каждом перечислении наиболее выдающихся русских поэтов; всегда голодный вороненок, полный совершенно превратных представлений о мире и потливого страха перед старшими, перевоплотился в спо-

койного, уверенного в себе человека, отца большой семьи, книгочея и любителя писать статейки в газету: безработный житель самых холодных углов строительных барачков стал владельцем четырехкомнатного дома с садом в новом городе на правом берегу Урала, депутатом горсовета, членом разных комиссий — словом, одним из тех, которые могли бы называться почетными гражданами Магнитогорска.

Естественно, что Иван любил Магнитогорск затаенной, но сильной любовью. Город был для него не просто местом проживания, как старые города для своих жителей, — один не мог бы существовать без другого: если бы не город, Иван не стал бы Иваном, если бы не Иван, город не стал бы городом. Отцовская и сыновья любовь одновременно — редчайшее чувство; такое чувство питал Иван к Магнитогорску.

Домой он не писал — не так от обиды, как от тягостного и ясного понимания равнодушия к нему домашних. Он только время от времени посылал им то пятьдесят, то сто рублей, а когда встал твердой ногой у доменной печи в качестве третьего, затем второго и, наконец, старшего горнового, начал посылать по двести рублей ежемесячно. В ответ он иногда получал короткую писульку о том, что деньги получены, с присовокуплением обычных поклонов от разных дядьев и кумовьев. Жена Ивана, Любовь Игнатьевна, расставалась с этими деньгами без особой охоты: каждый раз к концу месяца ей казалось, что не хватает именно этих двухсот рублей. Но, попытавшись однажды задержать отсылку денег, она получила от обычно покладистого и спокойного Ивана такую яростную и оскорбительную острastку, что с тех пор исполняла эту обязанность с примерной аккуратностью.

Дело в том, что в Иване все эти годы жила тихая, не очень сильная, но сосущая боль при воспоминании о родной деревне. Боль эта по прошествии лет слабела, а в последнее время давала знать о себе все реже; при получении же известия о приезде отца она возобновилась с новой силой, лишь постепенно видоизменяясь в свою противоположность — в сдержанное ликование человека, вновь обретающего нечто утраченное и все еще дорогое.

Эту неделю Иван работал с восьми утра и поэтому мог успевать к московскому поезду, приходившему на рассвете. В фиолетовом полумраке выводил он свою «Победу» из сарая и ехал на станцию.

По мере того как одинокая «Победа» неторопливо, там и сям разбрызгивая темные весенние лужи, приближалась к реке, утренняя заря все больше завладевала небом — заря не городская, а скорее вольная, широкая, степная заря, еще не разглядевшая, что внизу под ней не степь, а город. И дома и улицы здесь, несмотря на свою многочисленность и благоустроенность, еще не прижились на своих местах: каждому дому и каждой улице вроде бы казалось, что они на краю, что сразу за ними — конец городу, пустынное пространство; так оно и было совсем недавно.

Вокруг светлело, и фиолетовый полумрак пропадал куда-то, испарялся. И это походило на не слишком стремительное поднятие огромного легкого фиолетового занавеса, за которым обнаруживалась мягко освещенная теплым желтым светом огромная, пока еще пустынная сцена, где вскорости произойдут важные события.

И вот, наконец, самое важное событие происходит: когда машина подъезжает к реке, взору Ивана открывается завод на том берегу. Кажется, что это — огромное клокочущее вулканическое пространство, наспех прикрытое каменными стенами, железными крышами и толстым стеклом, затычками из огнеупора и огнестойкого металла, с отводами в виде многочисленных труб, сквозь которые вулкан имеет возможность хоть частично выдохнуть излишки своей ярости; из этих труб рвутся пламя и дым разнообразнейших цветов и оттенков; вот с откоса низвергается раскаленный шлак, и огненная струя его, стекаящая вниз, принимает очертания человека с раскинутыми руками.

По сравнению с могучим, еле сдерживаемым полыханьем заводского вулкана мощные электрические лампы в окнах, у проходных, на столбах кажутся блеклыми и мертвыми, как светляки в сравнении с лесным пожаром.

Иван улыбался восхищенно. Он не переставал восторгаться своим заводом, на котором работал уже четверть века, как дети стрелочников не устают махать руками поездам, которые проходят мимо них каждый божий день.

Вдоль заводской стены, а потом по улицам старого города на левобережье Иван ехал к вокзалу. Перед вокзалом он выключал мотор, запирали машину, а сам шел к выходу на перрон и здесь долго, до конца разъезда всех пассажиров, стоял, вглядывался в каждого из приезжав-

ших, даже в молодых людей: ему трудно было представить себе отца после двадцативосьмилетнего перерыва, и он на всякий случай пытливо и не без замирания сердца заглядывал под все шляпы, фуражки и кепки.

Отца все не было. Ивану в который раз приходилось садиться в машину и ехать обратно ни с чем. Однако напряженное ожидание, предвкушение, что вот-вот он увидит отца, не проходило бесследно. На обратном пути он неотступно думал о своем детстве в родной деревеньке. Снова ныла у него в сердце давно зарубцевавшаяся душевная рана маленького мальчика в больших лаптях, медленно, но упорно выживаемого красивой и вздорной бабой из отцовского дома. Почти с прежним чувством отчаяния и тупого фатализма вспоминал он шумные вздохи отца в отсутствии жены и жалкое молчание в ее присутствии. Перед его туманящимися глазами возникали опять картины детства: большие мягкие губы отца, похожие на губы лошади, когда отец ел похлебку, молча слушая, как жена попрекает дочь, по-пустому вяжется к сыну, кричит ему: «Дурак! Иванушка-дурачок!» — гремит ухватами, пышет жаром; он вспоминал, как просыпался на рассвете от шума и вздохов на полатах, и видел в полутьме жирные, белые, как сметана, ноги мачехи и худые, одеревенело вздрагивающие ноги отца, и, понимая, что вот из-за всего этого мачеха забрала власть в доме, тоскливо думал о том, как все это, в сущности, непонятно и страшно. Он видел, будто наяву, опостылевшую, но любимую до слез низкую избу на краю деревеньки у самой речки Вороны, и душа его, вся во власти воспоминаний, снова как бы испытывала любовь к этой избе, к этой деревеньке — собственно, даже не любовь, а чувство глубочайшей уверенности, что только в этом закуте может жить на свете Иван Ермолаев.

Но вот он переезжал по мосту в новый город, уже оживленный, полный солнца и людей. Он неторопливо ехал по широким улицам, окаймленным большими домами, по площадям, где все производило впечатление новизны и простора, где, в отличие от старого города на другом берегу, не чувствовалось близости заводских дымов, утренний воздух был чист и свеж, а молодая завязь на деревьях — ярко-зелена. Наконец он подъезжал к своему дому и заводил машину в сарай. Здесь воспоминания оставляли его. Он бесшумно отпирал дверь, ставил чайник на плитку, переодевался в рабочую одежду. В до-

ме все еще спали, только кошка лениво терлась о ножку стола. Но вскоре, заслышав шорох в столовой, из спальни выходила в халате и шлепанцах румяная, заспанная Любовь Игнатьевна. Ее шаги негулко и домовито раздавались то тут, то там. Шумы в доме становились все сложнее и разнообразнее: хлопанье дверей, мелкие шажки тещи Дарьи Алексеевны, бормотание вскипающего чайника, стук высоких каблучков старшей дочери Марины, студентки горно-металлургического института, громкие и веселые зевки сына Пети, ученика девятого класса, потом его же свист, наконец, шевеление в крайней комнате слева, пронзительный возглас: «Мама!» — шлепанье босых ног, бульканье струйки в горшочек — это просыпались трое младших.

Пока Иван пил чай, мимо него медленно проходил или быстро пронесся то один, то другой член семьи, но Иван, как обычно в эти утренние часы, не обращал на них никакого внимания, полностью игнорируя их существование. А они, в свою очередь, тоже словно не замечали его, так было установлено издавна. Он уже был как бы не здесь, а на заводе, у доменной печи, уже начинал общаться к таинству металла и огня, и окружавшие понимали это и, не переставая, разумеется, делать свои обыденные дела, уважительно молчали и двигались как можно бесшумнее, едва только попадали в его поле зрения.

Неделю Иван ездил на станцию встречать своего старика, но так и не встретил его. А появился отец совершенно неожиданно и буднично, и не рано утром, а этак часов в десять. Просто постучал в дверь и открыл ее невысокий старик с небольшой серой бороденкой, с небольшим узелком в руке. Вошел, спросил, здесь ли живет Иван Ермолаев, а узнав, что здесь, сел на стул и начал оглядывать комнату, как мастер-обойщик или маляр осматривает стены, чтобы прикинуть объем будущей работы. Дарье Алексеевне даже и в голову не пришло, что это и есть долгожданный гость, она сказала ему, что хозяйка скоро придет, и продолжала делать свои дела.

Радиоприемник разговаривал бодрым голоском — голоском «специально для детей». Дети, впрочем, были во дворе. Любовь Игнатьевна ушла в магазин. Петя — в школу. Марина собиралась в институт — ее у калитки поджидал сын сталевара Пименова, студент-однокурсник, а возможно, что и жених. Сам же Иван, недавно

вернувшийся с ночной смены, отсыпался, и его ровный храп возникал из спальни в те мгновения, когда поддельно бодрый голосок из радиоприемника делал паузу.

Дарья Алексеевна, маленькая старушка в очках, справила, наконец, все утренние домашние дела и села на диван с книгой: она была отчаянной читательницей. Она читала громким шепотом, почти вслух. Подняв через некоторое время глаза, она увидела старичка на прежнем месте и подумала о том, что Любе следовало бы уже быть дома, раз она пригласила мастера по поводу ремонта крыши. Узелок старика Дарья Алексеевна приняла за сумку с инструментом.

Как это не раз случалось в истории, все дела распутал ребенок. Шестилетний Федя Ермолаев, вернувшись со двора за каким-то нужным ему предметом, увидел старичка, который дремал на стуле, и спросил с детской прямоотой:

— Дедушка, ты чего тут сидишь?

Старик пожевал мягкими губами, почесал серую бородку, внимательно посмотрел на ребенка и, неприязненно покосившись на шепчущую старушку в очках, ответил:

— В гости к вам приехал, милоч, в гости... Ты бы мне свово папаню разыскал...

Федя кивнул лобастой головой, но так как «папаня» спал, а будить его не полагалось, мальчик направился к выходной двери; однако сочетание слов «дедушка» и «в гости» показалось Феде весьма значительным, так как оно произносилось в доме за последние дни бесчисленное множество раз. Поэтому он на всякий случай подошел к бабушке, мотнул головой в сторону старика, сказал:

— Дедушка в гости приехал.

И тогда только убежал во двор.

Слова эти не сразу дошли до старушки, а когда дошли, она растерянно посмотрела на дверь, куда исчез мальчик, потом на старичка, вроде бы задремавшего, уронила книгу на диван и кинулась к старику:

— Господи! Вы не... не Тимофей ли Васильевич?

Поднялась суета. Со двора прибежали дети вместе с соседской детворой. Митя побежал за мамой в магазин, Федя кинулся к уходившей Марине и вернул ее, к немалому огорчению Вити Пименова. Растолкали Ивана.

Иван выбежал в столовую босиком, крепко прижал отца к груди, снял с него серую ватную кацавейку, стянул с него сапоги и дал свои мягкие домашние туфли,

помог теще быстрее накрыть на стол и растроганно смотрел, как старик жует мягкими губами и улыбается чуть сконфуженно.

Тимофей Васильевич почти не изменился, только волосы и борода у него посерели, и весь он посерел, потеряв тот кирпичный цвет лица и шеи, который так хорошо запомнился Ивану с детства. Помимо того, он стал благообразнее, потерял суетливость, свойственную ему в стародавние времена.

Сына он, разумеется, не узнал; он с интересом поглядывал на него, пытаясь уловить черты сходства с мальчиком Ваней, и, не находя таких черт, бормотал неопределенно:

— Ну, вот и встретились, и слава богу.

Иван опасался, что отец будет вспоминать старое, извиняться, каяться, но старик не проронил о прошлом ни слова, степенно передал поклон от своей жены и детей от второго брака, а также от Ваниной сестры, которая охромела еще в отрочестве, так и не вышла замуж и по-прежнему жила при отце. На вопрос Ивана, что нового в деревне, Тимофей Васильевич ответил, что в деревне ничего не изменилось, все по-прежнему. Иван засмеялся:

— Ну, как не изменилось? Там же колхоз теперь?

Старик ответил равнодушно:

— А? Ну да, колхоз... А ты разве до колхоза уехала? Верно, до колхоза...

— А ты кем в колхозе работаешь? — спросил Иван.

Старик сказал хмуро:

— Я? Чего я там не видел...

— А как же? — удивился Иван.

— А так, живем потихоньку, — ответил Тимофей Васильевич уклончиво, однако тут же, искоса взглянув на Ивана, добавил торопливо: — Ну и хвалиться особенно нечем...

В это время вернулась запыхавшаяся Любовь Игнатьевна. Знакомясь с ней, старик одобрительно кивал: жена Ивана оказалась большой, рослой женщиной, краснощекой и голубоглазой. Старик уважал крупных женщин. Одобрил он также и квартиру Ивана; правда, войдя в ванную комнату, не понял ее назначение: оказалось, к удивлению детей, что он ванны никогда в жизни не видел. Впрочем, оценил он ее довольно быстро. Вымывшись и переодевшись в Иваново белье, он уселся на стул возле окна в столовой, чистенький, молчаливенький; на этом

стуле сидел все время, между тем как члены семьи, радостно-возбужденные, вертелись вокруг него, точно спутники вокруг планеты.

Вскоре из кухни донеслись сложные и приятные запахи приготавливаемых парадных кушаний к вечернему празднеству в честь приезда Тимофея Васильевича. Младшие дети — Вера, Митя и Федя — не отходили от бабушки, смотрели на него молча, ожидая, что он их позовет и поговорит с ними. Но он не обращал на них внимания. Только когда впервые появился старший, девятиклассник Петя, старик внезапно заинтересовался и даже удивленно заерзал на стуле: уж очень тот был похож на мальчика Ваню, только без лаптей и вместо домотканой рубахи — в клетчатом пиджачке с галстуком и узкими брючками.

Пока все это делалось дома, Иван уехал на завод приглашать в гости друзей, работавших в дневной смене. Потом он побывал на квартире у тех своих приятелей, которые сегодня работали ночью. И наконец, вернулся домой, пресветлый и предовольный, с целым ящиком водки, шампанского на заднем сиденье машины.

Гостей собрался полон дом. Тут были мастера доменных печей, в большинстве своем пожилые, среди них прославленный Ульянов с красивой вертихвосткой-женой и еще более знаменитый Гончаренко, уже пенсионер, усатый, как запорожец, — один из последних сотрудников Свицына, помнивший еще самого Курако по Краматорскому заводу. С ним вместе пришли старуха жена, седая, важная, как профессорша, и сын полковник с молодой женой, приехавшие в отпуск. Были тут горновые с Ивановой печи с женами, люди молодые и скромные, восходящее светило доменного производства инженер Коломейцев и его жена — нарсудья Лидия Ивановна Коломейцева, инструктор горкома партии — бывший доменщик Леня Башмаков и сталевар Пименов с женой и сыном.

К Марине в это время пришли две ее подруги, чтобы совместно готовиться к зачету, но ввиду такой okazji их тоже усадили за стол, и они сидели втроем в уголке, разумом своим порываясь в другую комнату, к учебникам и тетрадам, а суетными пятью чувствами стремясь остаться здесь, за роскошным столом, под одобрительными взглядами мужчин и кислыми — тридцатилетних женщин, в хмельной атмосфере начинающегося веселья.

К Марине подсел Витя Пименов; он не ел и не пил, только глядел на нее неотрывно, будто впервые ее видел.

Стол был красивый и богатый. Тут располагались разные колбасы, холодцы, всевозможные консервы в жестяных банках, однако стоявших на фарфоровых тарелочках, холодные голубоватые магазинные куры, селедка, заливная рыба и уже мятые — шел май месяц — еще вкусные кислые огурцы и моченые яблоки.

Однако венцом всех яств были пельмени — знаменитые на всю Россию, не те, худосочные из магазина, в скучных картонных коробках, а самодельные уральские, из изысканной смеси говядины, баранины и свинины, четырех разных сортов — большие, как пироги, и маленькие, как детские ушки, такие, где все дело — в тесте, где оно воздушное, пахучее и тает во рту, а мясо служит как бы только приправой, а иные, где вся прелесть — в мясе, в правильности его пропорций, в его сочности неизъяснимой (держи рот, не то оттуда брызнет!), — а тесто только так, футлярчик, пленка для содержимого.

Дарья Алексеевна, Любовь Игнатьевна и Марина, разгоряченные, румяные, серьезные, очень похожие друг на друга, но очень разные (сами вроде как пельмени различных сортов), стали подавать пельмени с пылу с жару, миска за миской; и как только миски пустели — а это происходило быстро, — тут же несли новые миски и не садились, пока самые ненасытные гости не отвалились на спинки стульев в блаженном изнеможении.

Подавая, Любовь Игнатьевна и Дарья Алексеевна уделяли особое внимание Тимофею Васильевичу; они шептали ему — то одна, то другая — в большое седое ухо о достоинствах тех или иных пельменей и наперебой придвигали к нему перец, сметану, кету, топленое масло и уксус в большом фужере.

За здоровье приезжего гостя пили бесконечно. Тосты за него произнесли старик Гончаренко, Коломейцев, Башмаков, Ульянов и младший Гончаренко, полковник. Этот приветствовал его чуть ли не от лица всех вооруженных сил, что, впрочем, рассмешило одного только Леню Башмакова: докладчик и лектор, он хорошо знал цену всяким преувеличениям.

Старик Гончаренко благодарил Тимофея Васильевича за сына, «который является, — как старик сказал по-старомодному, — украшением отечественной металлур-

гин». Горновые решили покачать отца своего «старшего», и он в их сильных руках легонько подскакивал под самую люстру, глядя на многочисленные стеклянные подвески не без опасений.

После ужина стол задвинули в угол, а стулья расставили вдоль стен. У женщин разгорелись глаза. Заиграл патефон. Начались танцы. Только Дарья Алексеевна, проголодавшаяся, как волк, приткнулась к столу и села есть уже остывшие пельмени, одновременно ухитряясь, невзирая на шум, заглядывать в книжку.

Комната была не очень большая, танцевали впритику друг к другу, как в американском баре, но это не только не мешало никому, но еще больше веселило всех. Не обходилось без вольных шуточек танцующих с чужими женами по адресу нетанцующих мужей, а также встречных острот, обмена на ходу парами, флирта «понарошку» и взаправду. Царило свободное интимное, но не разгульное веселье, какое бывает в компаниях, все праздники проводящих вместе, где все друг к другу привыкли, каждый знает слабости другого лучше, чем свои собственные, все связаны многолетней дружбой и взаимной симпатией, не исключающей, правда, заочных маленьких сплетен и довольно злых подкалываний по поводу совершенных промахов. Постороннего, попавшего в эту среду, легко собьют с толку намеки на неизвестные ему события, собственные, только данному кругу принадлежащие словечки и прозвища и некий условный, связанный с общим производством и совместным времяпрепровождением жаргон, который понятен только здесь и больше нигде на свете.

Танцевали долго и самозабвенно. Как обычно, тут главенствовала Любовь Игнатьевна. На ее лице было при этом написано особого рода равнодушие, которое составляет высший шик среди магнитогорских замужних женщин; оно призвано свидетельствовать о чистоте их помышлений, о том, что для них главное в танце — вовсе не партнер, не мужчина, а танец сам по себе, что это вопрос чистого искусства, и только. Хотя Любовь Игнатьевна танцевала на первый взгляд неторопливо, сдержанно, даже незаинтересованно, но ее плавная иноходь была куда мощнее и опаснее, чем резвый галоп других танцорш, и действительно, она перетанцевала всех. Когда остальные уже без сил сидели, развалясь на стульях и диванах, лишь она, да кокетливая Екатерина Сте-

пановна Ульянова, да приезжая — молодая жена полковника Гончаренко еще были на ногах. Потом приезжая повалилась в изнеможении на диван, прямо на руки своему мужу. Тут переменяли пластинку, гармоника заиграла «русского». Любовь Игнатьевна и Екатерина Степановна остановились как вкопанные, их глаза сразу стали хитрыми-хитрыми, и они пустились в пляс.

Но мужчины никак еще не могли «соответствовать». Лишь изредка, подстегнутые особенно удачным перебором гармошки или уж очень лихим коленцем и настойчивым вызовом одной из двух неутомимых плясуний, кто-нибудь из мужчин прохаживался по комнате с перестуком каблуков или как будто в отчаянии кидался на полминуты вприсядку с таким напряженным лицом, словно прислушивался, не донесется ли ответного стука снизу, из подпола, или даже с противоположной стороны Земли; не получив ответа, он разочарованно и сконфуженно опять усаживался на диван, а вместо него выскакивал кто-нибудь другой.

Потом снова сменили пластинку, но Екатерина Степановна больше не могла, и лишь одна Любовь Игнатьевна, гордая своей победой над соперницей, опять замерла, сделала томные глаза и пошла по кругу плавной походкой девушки из аула. За ней ненадолго бросался кто-нибудь из мужчин, зажав между зубов лезвие столового ножа, он шел за ней как привязанный, и лезгинка неожиданно вызывала общий смех, когда ее выплясывал озорной русак со вздернутым носом и скуластым слабобородым лицом.

Понемногу люди и вся комната в целом приобрели тот же вид, что и стол после ужина, когда все кушанья потеряли первоначальную пышность и благообразие: все салаты разрушены, все пирожки надкусаны, все тарелки перемазаны, все блюда перемешаны. Иными словами, началась та чересполосица разумных речей и полнейшей белиберды, громкого пенья и беспричинного смеха, та полупьяная добродушная несуразица, которая является высшей точкой каждой большой вечеринки.

В этих обстоятельствах одна только Дарья Алексеевна неизменно оставалась на посту. Она уложила спать малышей. Она тихонько выпроводила Марину и ее подруг в другую комнату заниматься (Витя Пименов ускользнул вслед за ними). Она начала уносить остатки ужина, чтобы сервировать чай, при этом не забыв —

добрая русская душа! — оставить на столе недопитые бутылки.

Еще один человек, кроме Дарьи Алексеевны, был совсем трезв и ясен — сам хозяин дома Иван Ермолаев.

Иван сегодня почти не пил, не был, как обычно, вдохновителем общего веселья, не плясал в паре с Любовью Игнатьевной «русского» и не следил с орлиной зоркостью за пустыми рюмками и тарелками друзей. Он был сегодня тихий и трезвый, молчаливо и ласково поглядывал на всех, и в особенности на своих домашних. И вид у него был строже, чем всегда, в новом, еще не надеванном черном костюме из отличной шерсти «с выработкой». Этот новый костюм, о котором толковалось давно, произвел впечатление на всех, особенно на модницу Екатерину Степановну: она обратила всеобщее внимание на то, как черное к лицу Ивану, светлому блондину, какой он в черном стройный и элегантный, и глядела на Ивана еще умильней, чем обычно. Понравился костюм и Тимофею Васильевичу, который, потрогав материю, причмокнул языком.

От отца Иван не отходил ни на шаг, иногда обнимал его одной рукой за плечи, обращал его внимание на чью-либо шутку или смешной рассказ и, перед тем как смеяться шутке или смешному рассказу, глядел на отца вопросительно — понял ли тот, — и сам начинал смеяться не прежде, чем начинал улыбаться отец, ухватив соль остро-ты. Изредка Иван поднимался и, потрепав отца по плечу — ненадолго, мол, — уходил из столовой — просто так, от усталости трезвого среди выпивших. В соседней комнате Марина и ее подруги готовились к зачету. Витя Пименов, уже сдавший зачет раньше, сидел на подоконнике и смотрел на Марину, отрываясь от этого занятия только затем, чтобы объяснить непонятное место в учебнике: он был отличником и славился своими способностями; и казалось удивительно и трогательно, как он в одно мгновение, все с тем же очарованным видом, переключается от любви к металловедению.

Рассеянно улыбаясь, покидал Иван эту комнату и входил в другую, где на широкой кровати спали все трое маленьких. Звуки вальсов и топанье ног почти не доносились сюда. Иван стоял и смотрел на детей, слабо освещенных светом маленького ночника, и давал себе слово, что никогда от них не уйдет, не бросит семью, не оставит их без отца; года четыре тому назад он увлекся одной

докторшей из заводской поликлиники и некоторое время был близок к разрыву с семьей.

В очередной раз очутившись возле спящих детей, Иван почувствовал, что его охватила странная душевная слабость, приятная и причиняющая страдание.

Он постоял, пока это странное ощущение не улеглось, и вернулся в столовую. Здесь уже стало тише. Любители пения на время одолели любителей танцев. Судья, Лидия Ивановна Коломейцева, была главной певицей. Голос у нее был низкий, цыганский, и песни — ему под стать — озорные или надрывные. Озорные она пела серьезно, а надрывные — насмешливо, и, видимо, так было правильно. Все притихли, даже танцорши. Умная Лидия Ивановна, впрочем, недолго пела одна, вскоре завела общеизвестную хоровую, и все голоса радостно вступили, запела даже Дарья Алексеевна, только инженер Коломейцев чертил что-то старику Гончаренко на бумаге, шепотом советуясь со старым доменщиком по поводу некоего «рационализаторского предложения».

Потом гости сели пить чай с печеньем, лишь Ульянов и Башмаков, не желающие, как они выразились, «делать ерша», то есть мешать водку с чаем, продолжали пить водку. Екатерина Степановна, любезничая с полковником, сердито косилась на мужа, когда он наливал себе очередную рюмку, и ее живые карие глазки то мерцали мягким масляным блеском, то злобно посверкивали.

Тимофей Васильевич сидел в уголке, ко всем приглядывался, больше слушал, чем говорил, степенно поглаживая свою серенькую бороденку. Мастер Ульянов совсем подружился с отцом своего любимого старшего горнового и, будучи порядочно на взводе, иногда лез к нему целоваться, и звал в гости, и сентиментально вздыхал, вспоминая орловскую деревню, которую покинул ребенком, лет сорок назад.

Людей становилось меньше. Первыми — еще до полуночи — незаметно ушли горновые из Ивановой смены. Они и не пили почти, так как в двенадцать часов должны были заступать; Ивана же начальник цеха заменил другим старшим горновым в связи с семейным торжеством.

Остальные гости стали расходиться часов с двух ночи. В три все стало тихо. Пока Любовь Игнатьевна и Дарья Алексеевна, зевая во весь рот, убирали посуду, подметали пол, стелили постели, старик, которому совсем не хотелось спать, стал расспрашивать сына про гостей

(кто они, какие должности занимают, сколько жалованья получают), осторожно прохаживаться насчет женского пристрастия к танцам «с кем попало», соображать, не лучше ли выдать Марину за второго сына Гончаренко (его на вечере не было, но старый доменщик похвалялся им перед Тимофеем Васильевичем), чем за этого ее женишка: отец у женишка больно молчаливый, видно, скупой, да и дома своего не имеют, занимают квартиру в большом казенном доме.

Иван, посмеиваясь, отвечал на его вопросы и мягко отводил его соображения, в то же время тихо радуясь тому, что у него есть родной отец, смешно и мило озабоченный его делами. А старик смотрел на длинный стол, уже пустой, но еще покрытый большой розовой скатертью, вспоминал прошедший вечер и говорил задумчиво:

— Хорошо живешь...

Позже, когда все улеглись и уgomонились, Иван вышел на крыльцо и постоял, глядя, как обычно, в сторону завода, на зарево, пылавшее над ним. Ивану стало не по себе от того, что смена работает, а он находится здесь, на крыльце своего дома, — кажется, впервые за двадцать лет он не был вместе со своей бригадой. Он ревниво и пристально глядел в сторону домен, которые не были видны отсюда, но угадывались по алым, оранжевым и золотистым отсветам и дымам.

Он решил, что завтра обязательно покажет отцу завод, и попробовал представить себе, какое впечатление произведет завод на старика, привыкшего к тому пейзажу, который ясно помнился Ивану с детства: деревенские избы спускаются к самой реке, за рекой змеятся холмы, покрытые темной зеленью дремучего соснового бора. Направо уходит вдаль бесконечная равнина, на ней там и сям виднеются деревеньки, а слева тянется гора, у подошвы которой стоит большое село и ярко белеет приходская церковь Василия Великого; туда в старину ходили на богомолье к источнику святой воды.

Это воспоминание показалось таким далеким, эта картина так была не похожа на ту, которую Иван видел теперь перед собой в темноте весенней ночи, что Иван на мгновение почувствовал себя не одним человеком, а двумя — так трудно было соединить в одной биографии эти два разных мира. И то, что завтра его отец, Тимофей Васильевич Ермолаев, ни с того ни с сего окажется на

Магнитогорском заводе, казалось тоже неправдоподобным.

Часов в двенадцать дня Иван не без некоторой торжественности усадил Тимофея Васильевича в машину рядом с собой и отправился с ним на завод. Сзади уселась Дарья Алексеевна — ей нужно было в библиотеку, книги менять на всю семью. Книги, аккуратно увязанные веревочкой, она положила к себе на колени. Иван высадил ее у библиотеки и поехал к заводууправлению.

Двоим с отцом они поднялись за пропуском. Служащие заводууправления почти все знали Ивана и называли Иваном Тимофеевичем. Здороваясь с ним, они в то же время с улыбкой косились на совершенно выпадающую из общей картины мешковатую фигуру старичка с серой бородкой, такую явно не деловую, не командировочную, не инженерную, не индустриальную; старичок щурил глаза и вертел головой во все стороны, рассматривая потолки и стены старательно, как будто по обязанности, но без интереса.

Кое-кто останавливался, спрашивал:

— Что, отец приехал?

А некоторые, звавшие Ивана ближе, подходили:

— Уже приехал?

И пожимали старику руку с несколько преувеличенным жаром.

Краснощекая девица в комнате, куда отец и сын зашли за пропуском, подняв глаза и увидев старика, сначала удивилась, но потом заметила стоявшего за ним Ивана, сразу вспомнила и радушно закивала головой:

— Да, да... сейчас выпишу пропуск. Как вас величать? Тимофей?..

— Васильевич.

Старик сиял от удовольствия: может быть, он смутно думал о том, что вот они с сыном так давно живут врозь, а он, родитель, все равно как бы незримо пребывал вместе с Ваней — ведь звали же Ивана все эти незнакомые люди «Тимофеевичем», по батюшке.

Получив пропуск, они спустились по лестнице вниз, пошли к проходной и наконец очутились на земле завода. Впрочем, по земле отец и сын двигались недолго, вскоре дорога уткнулась в широкую железную лестницу, по которой они поднялись на расположенный высоко над землей виадук и пошли по нему. Внизу, довольно глубоко под ними, тянулись по всем направлениям рельсы, авто-

мобильные пути, толстые и тонкие трубопроводы. Далеко в стороне высились стены огромных цехов, отовсюду свистел вырывающийся из труб пар, то там, то сям из неприметных отверстий даже выбивалось пламя. Ровное пыхтение раздавалось кругом, непрерывное ровное пыхтение, покрываемое иногда гудками и тяжким постуком платформ с ковшами, в которых остывало уже лиловеющее огненное варево.

Наконец вдалеке, а потом все ближе, придвигаясь подобно грозному видению, перед ними предстала шеренга доменных печей. Иван остановился и показал их отцу, чтобы он издали оценил эти чудища. Они выглядели как гигантский многобашенный линейный корабль, а каждая в отдельности напоминала марсианина, но так как старику не с чем их было сравнивать — ни о марсианах, ни о линкорах он не имел понятия, — то он просто испугался.

— Печи! Вот это так печи! — оробев, забормотал Тимофей Васильевич.

Он и раньше слышал о доменных печах, но это слово вызывало в нем самые определенные сопоставления: он думал, что речь, в общем, идет о русской печи, где вместо каши варят железо. Точнее говоря, когда Ваня написал, что работает у доменных печей, Тимофей Васильевич сразу представил себе поле, а на нем, наподобие стогов, — ряды больших белых русских печей, с подпечьями и припечками, загнетками и дымоходами.

Спускаясь вслед за сыном по железной лестнице к доменному цеху, Тимофей Васильевич как замороженный смотрел на сплетение гигантских цилиндров, конусов и призм, составляющих причудливый корпус доменной печи, и все бормотал:

— Печь! Вот это так печь...

Внизу, под домной, где человек кажется себе особенно маленьким и жалким, они наткнулись на инженера Коломейцева, который, узнав их, просиял. Стараясь перекричать доносящийся со всех сторон непрерывный гул, он громко спросил:

— Еще не опохмелялись?

Эти более чем обыденные слова в такой необыкновенной обстановке несколько привели Тимофея Васильевича в чувство, и он заулыбался так же степенно и чуть покровительственно, как вчера при тостах в его честь.

Когда Коломейцев ушел, пригласив отца с сыном

зайти к нему в контору, а вечером пожаловать в гости, Иван сказал о нем:

— Хороший инженер.

— А ты не инженер? — спросил Тимофей Васильевич.

Иван улыбнулся:

— Хотел, да силенок не хватило. Подготовки не было. Начал учиться заочно, но не вышло. Годы не те, голова не так ясно работает... Память неважная. В общем, бросил. Ну, ничего, ведь и рабочие нужны. Зато дочь моя скоро будет инженером.

Старик с сомнением покачал головой: «Рабочий?.. Смотри, как его везде встречают...»

На доменной печи, где работал Иван, отца старшего горнового тоже встретили очень дружелюбно. Черные от копоти горновые и газовщики подходили к нему, улыбались черномазыми лицами и упорно не подавали ему руки, так как не хотели измазать почтенного гостя.

В огромном помещении было темновато и прохладно. Желтый песочек мирно лежал на полу домны, как на берегу реки. Люди, однако, сновали туда и обратно, видимо, были чем-то очень заняты, но чем именно, старик не понимал. Появившийся откуда-то мастер Ульянов тоже был — не по-вчерашнему — серьезен и деловит. Он громко распоряжался, кого-то грозно распекал, и трудно было представить его себе пьяным и слезливым, и боящимся своей залихватской женки, и прощающим ей все. Тимофей Васильевича он, впрочем, встретил по-приятельски, увел его к себе в комнатку, где вокруг висели щиты с подрагивающими стрелками, потом дал ему синие очки и повел его к печи — смотреть сквозь небольшие глазки на запертое пламя, бушевавшее внутри нее.

Потом Ульянов внезапно исчез, и Тимофей Васильевич почувствовал себя одиноким и потерянным здесь, в этом странном корпусе, ни на что на свете не похожем. Но вот из полумрака появился Иван. Он взял отца за руку и повел, как ребенка, куда-то, поставил его в сторонке и тихо сказал:

— Смотри.

И тут началось. Открылась лётка, и раскаленный жидкий металл двинулся из печи. Все в домне мгновенно преобразилось. Стало нестерпимо жарко и нестерпимо светло. Тени запрыгали по далеким стенам как бешеные. Огонь, осветив ярчайшим светом все закоулки доменной печи, а заодно и соседнюю домну, соединенную

с этой, как бы раздвинул их, показал их действительные размеры, более грандиозные, чем это представлялось раньше.

Раскаленный жидкий металл пустился по наклонной плоскости прямо по полу незнамо куда и мог бы все сжечь на своем пути, если бы не замеченные раньше ложбинки в желтом песочке. Раскаленные струи кинулись по этим ложбинкам вперед. Алое и золотистое пламя, похожее на адское и еще пострашнее, вдруг напомнило Тимофею Васильевичу их приходскую церковь Василия Великого, где во всю стену были изображены адавы муки. Но тут огонь был настоящий, бесы, то бишь горновые, метались с баграми в руках, пробегали, кидались с этими баграми прямо на огонь, пускали жидкий огонь то в одну, то в другую ложбинку и уже не замечали ни Ивана, ни его отца, словно это были для них незнакомые люди.

Тимофей Васильевич глядел на окружающее с суевренным ужасом, и только присутствие сына успокаивало его, хотя и сын во время плавки изменился, стал каким-то нездешним, смотрел на огонь и металл как замороженный, забыв, кажется, обо всем на свете; золотистые отсветы прыгали по лицу Ивана, сверкали и играли в его глазах.

Словно угадав мысли отца, Иван обернулся к нему, посмотрел на него внимательно и сказал ласково:

— Не бойся, тятя.

Почему-то он именно здесь вспомнил слово «тятя», с детских лет совсем забытое, и оно умилило его. Он повторил:

— Не бойся, тятя. Огонь — наш раб, рассчитан и расчерчен по графику.

Это, конечно, было верно, но когда Тимофей Васильевич очутился на высокой платформе, ведущей из домны на вольный свет, он не без опаски поглядел на небо: есть ли оно еще на своем месте. Оно было на своем месте, в нем неподвижно и необыкновенно высоко стояли перистые облака. Тимофей Васильевич украдкой перекрестился и вздохнул. Иван заметил его движение и улыбнулся. Естественное в старину и непривычное, почти забытое Иваном теперь, это движение тем не менее чем-то растрогало его, как и слово «тятя». И в то же время он испытывал удивление от того, что жизнь отца так мало изменилась — по крайней мере по внешности; казалось, что там все так же, как было тридцать лет назад, разве что

вместо телег и бричек по дорогам ходят автомобили. Он подумал: «То ли район там такой отсталый, то ли сам отец крепко держится старины, а может, потому он и держится старины, что район отсталый...»

Долго раздумывать над этим не было ни охоты, ни времени; остаток дня и все последующие дни были заполнены до отказа хождением в гости, в кино, во Дворец металлургов. Мысли Ивана занимало одно: как бы получше принять старика, чем бы еще его потешить. В субботу и воскресенье — два подряд выходных дня Ивановой бригады — решили поехать за город на рыбалку.

К дому Ермолаевых в три часа пополудни съехались две «Победы» и «Москвичи». Иван вывел и свою «Победу». Погрузили палатки, рыболовную снасть, кухонную утварь, рассовали по багажникам части разборной лодки и приготовленные заранее обрезки досок и реек. На эти доски и рейки Тимофей Васильевич смотрел с недоумением, пока ему не объяснили, что в степи топлива нет, поэтому приходится брать топливо для костра, на котором будет вариться уха. Тимофею Васильевичу, жителю лесных мест, это показалось необыкновенно смешным — ездить со своим топливом для костра, — и он впервые за все дни вслух рассмеялся, и все увидели, что сын на него очень похож.

Иван повел свою машину во главе всей маленькой автоколонны. С Иваном в машине были Тимофей Васильевич, Леня Башмаков и полковник Гончаренко — на этот раз не в франтовской военной форме, а в затрапезном, вероятно отцовском, костюме, старой шляпе и длинных, выше колен, охотничьих сапогах. На других машинах ехали их владельцы — инженер Коломейцев, инженер Лапин и горновой Синичкин, каждый со своими приятелями. Женщин не было, считалось, что рыбалка — дело сугубо мужское, даже более того — долгожданный отдых мужчин от женского общества. Почтенные отцы семейств чувствовали себя здесь как школьники, убежавшие с занятий, и были склонны сильно преувеличивать свои домашние тяготы и недостатки женского характера — для полноты ощущений.

Вскоре машины очутились в степи, на не очень четкой степной дороге, созданной скорее соизволением самих шоферов, чем заботами дорожников. Довольно пустынная, однообразная, волнистая равнина семимильным ша-

гом шла навстречу и, далеко обходя машины, лениво ползла будто не назад, а вперед. Единственная достопримечательность по пути, на которую обратил внимание Тимофея Васильевича Леня Башмаков, был заброшенный золотой прииск — несколько покосившихся деревянных построек. Тимофей Васильевич, человек, всю жизнь проживший в Европейской России, где о натуральном золоте, добываемом прямо из земли или со дна реки, ходили только легенды, закидал Леню вопросами о том, почему прииск покинут и не осталось ли там золота, и все оглядывался на старые постройки, покачивая головой.

Леня Башмаков хорошо знал и любил здешние места и, несмотря на однообразие ландшафта, ухитрялся рассказывать о них разные истории. Въехали в деревню, и Леня сказал, что ее название Требия, а названа она по имени итальянской реки, где полтора века назад Суворов разбил генерала Макдональда. («Впоследствии наполеоновского маршала и герцога Тарентского», — бросил Леня с важностью в сторону полковника Гончаренко.) Вообще местность здесь изобиловала иностранными наименованиями; тут были неподалеку деревня Париж, поселок Фер-Шампенуаз, села Наварин, Балканы — так сохранялась память о победах русских войск, среди которых отличились и уральские казаки.

Но вот машины выехали на гребень небольшой возвышенности. Справа внизу, среди зарослей, вдруг показалась извилистая светлая лента реки. Машины долго колесили вдоль ее берегов и наконец остановились у тихого заливчика. Рыболовы стали устраиваться: они были сдержанно взволнованны и то и дело вопросительно и жадно поглядывали на загадочно-безмолвное зеркало реки. Работали споро и ловко, видно было, что все давно продумано и рассчитано: одни разбивали палатки, другие выгружали сети и прочий инвентарь, третьи принялись налаживать разборную лодку, окрашенную в красный лак, как трамвай; это была сложная и кропотливая работа, но вскоре лодка заскользила по заливчику, как красная рыбка. В нее уселись Леня Башмаков и Синичкин. Они поставили сети в разных местах. Кто-то накопал червей, кто-то ладил удочки. Коломейцев взял в свою резиновую надувную лодку полковника Гончаренко и отправился с ним ставить сети подальше, в какое-то свое заповедное место. Вернувшись обратно, они вместе с Лапиным начали готовить закуску — разумеется, еще не

уху — уха еще была среди коряг, в расселинах дна, терлась еще о водоросли, кружилась в омутах, помахивала хвостами, подрагивала плавниками, — а из домашних продуктов, приготовленных и упакованных теми самыми женами, о которых здесь говорилось с таким высокомерием.

Ивану сегодня не давали участвовать в общих усилиях, забирали у него из рук всякую работу, и он сидел с отцом на берегу, объясняя ему, кто что делает, как гид при знатном иностранце. Пахло тинистой прохладой, и Ивану вспомнилась речка Ворона и большой паром.

Покончив с делами, все собрались вокруг постеленного на траве квадратного брезента; всеми цветами тусклой радуги поблескивали пластмассовые тарелочки и пластмассовые стопки, стояли — чтоб не перепиваться — всего три бутылки водки среди блюдец с селедкой, колбаской, жареными котлетами и вареным мясом и множества баночек горчицы. На чистом воздухе, при полном забвении служебных дел и всех забот, кроме как о том, что делается под водой, идет ли рыба в сети, — это был восхитительный обед.

Кое-кто после обеда тут же на траве заснул, и лишь самые завятые удильщики разошлись с удочками кто куда и сидели вразброс, молчаливые и терпеливые, но в глубине души полные азарта и желания во что бы то ни стало превзойти своих соперников. Тимофею Васильевичу тоже была вручена удочка, и он, обзрев опытным глазом берега, выбрал себе тихую заводь подальше от других и уселся удить. Старик не опозорился: он больше всех наловил окуней, поймал даже одну щучку и язя.

Темнело. Понемногу удильщики вернулись к машинам. Спавшие проснулись. Развели большой костер. Стали чистить картошку. Приближалась «художественная часть», как ее называл Леня Башмаков. Он и Синичкин отправились в красной лодочке проверять ближние сети и вскоре привезли, при общем ликовании, полведра трепещущей рыбы. Тут же взялись за приготовление «большой ухи»: стали чистить рыбу живьем, резать ее, еще бьющуюся в руках, окровавленными ножами, кидать в ведро кипящей воды вместе с целыми луковицами и ломтиками картофеля, снимать ложками накипь с поверхности будущей ухи; и при этом все были очень озабочены и горды и говорили, что дома такую уху разве сварить, и что без женщин оно как-то вкуснее, и недаром, дескать,

лучшие повара — мужчины, и чтостряпня вовсе не такая уж маята, как это любят изображать жены. И хотя все в глубине души прекрасно знали, что все эти разговоры — одна мнимость, но уж таков на рыбалке хороший тон.

Когда рыба закипела в котле среди луковиц и картофеля, Коломейцев, Башмаков и Лапин направились к машинам и вернулись оттуда с черным перцем и лавровым листом в больших конвертах. Взглянув на их торжественные, благоговейные лица, историк мог бы наконец понять, почему человечество так жаждало пряностей, что в погоне за ними даже открыло Америку.

Поели уху, выпив на этот раз изрядно. И вот на небо вышла юная луна, и заливчик засеребрился, и в кустарнике на его берегах зашумел ветерок. А степь лежала широкая и бесконечная; машины и люди вокруг костра отбрасывали на нее причудливые мятущиеся тени. Лягушки квакали невдалеке.

Поздно ночью, когда не спали только самые неугомонные, далеко в степи показались два светящихся глаза, и вскоре к лагерю рыболовов приблизилась еще одна машина, грузовая. Она остановилась неподалеку, и ее фары тотчас же погасли. Послышались неторопливые мягкие шаги по траве. Вскоре в светлый круг вошли трое мужчин. Вглядевшись в них, рыболовы огласили берег веселыми криками: это тоже были заядлые любители рыбной ловли — директор совхоза Канунников, зоотехник и директорский шофер.

— Давненько вас не было видно, — проговорил Канунников, грея руки над костром.

— Да все некогда, — стал оправдываться Иван. — План выполнять надо. Месяц кончается. Сегодня выбрались на рыбалку — и то только в честь моего гостя. Отец приехал... Не виделись давно, четверть века с гаком... Он у меня записной рыболов. Теперь спит в палатке, умаялся.

Вновь прибывшие стали поздравлять Ивана. Он застенчиво их благодарил.

Тимофей Васильевич, впрочем, не спал. Он слушал весь разговор с удовольствием. То, что директор совхоза запросто, даже просительно разговаривает с Иваном, потешило родовую гордость старика и несколько удивило его. Директор жаловался Ивану на неполадки и умолял помочь слесарями для ремонта инвентаря,

Иван по поручению парткома занимался шефской работой, а доменный цех как раз шефствовал над целинным совхозом, где директором был Канунников. Но старик не разбирался в этих взаимоотношениях; он пристально и уважительно смотрел через отверстие палатки на серьезное лицо своего сына, освещенное от костра золотистым светом, точно как там, на домне, и бормотал:

— Иванушка-то! Вот тебе и Иванушка-дурачок!..

Он не преминул вылезти из палатки — немного погреться в лучах славы и в тепле костра. При директоре он назвал сына Иваном Тимофеевичем и в дальнейшем уже иначе его не называл, чем повергал Ивана в смущение и беспокойство.

Весь следующий день ловили рыбу, слонялись по берегу, закусьвали, лениво рассказывали бывальщину и небывальщину. Нежаркие солнечные лучи, дрожащие светлые нити на воде, путаница длинных степных трав, непрерывно длящийся пересвист птиц и перезвон насекомых — все это словно бы сплело вокруг людей легкую и тихую сеть блаженного ничегонеделания. Из нее не так просто было выпутаться, и требовалось некоторое усилие воли для того, чтобы на исходе дня приступить к сборам, укладке, одеванию, вернуться к стремительным мыслям обыденной жизни.

На дорожку закусили. Снова произносились тосты за Тимофея Васильевича. Хитрец Канунников, который был крайне заинтересован в том, чтобы задобрить Ивана и получить необходимую помощь от доменного цеха, заметив любовь к отцу, так и светившуюся в глазах у знатного доменщика, не жалел похвал и шумных излияний. Впрочем, он и сам расчувствовался; видя чистую и трогательную сыновнюю любовь, он вспомнил своих родителей, очень старых, живших на окраине Симферополя в маленьком домишке, и решил сегодня же им написать. Он редко им писал.

Живая рыба билась в ведрах и корзинах. Ее разделили между всеми поровну. Синичкин, с утра крепко выпивший, вдруг стал бить себя в грудь и кричать, что он и в детстве был беспризорный, и теперь нет у него дома, и не для кого ему возить рыбу, и пусть его долю заберут к чертовой матери: от него недавно ушла жена, и при дележе рыбы беда эта показалась ему особенно нестерпимой. Он стал обнимать Тимофея Васильевича, называл его папашей и жаловался ему на окаянную жизнь, счи-

тая, вероятно, что выдавший виды седой человек поймет его лучше, чем другие.

Синичкина успокоили, вместо него за руль его автомобиля сел полковник, и машины помчались в обратный путь по еле намеченным степным дорогам.

Решили выбрать другой маршрут, чтобы проводить Канунникова до совхоза. Степь сменилась бледно-зелеными березовыми рощами, стоявшими в пленительном беспорядке. После гладких однообразных пространств эти зеленые рощицы радовали душу, и голубое небо над ними было как будто светлее и яснее, чем над изжелта-коричневой степью.

Совхоз был совсем новый. Оштукатуренные белые домики, такие же белые продолговатые и круглые хозяйственные постройки — все это было ослепительно. Новыми казались тут и коровы и овцы. Тут еще не было ни собак, ни кошек. И люди были все молодые. Может быть, по этой последней причине прохожие, юноши и девушки в новых ватничках, с таким интересом поглядывали на Тимофея Васильевича, когда он проходил по улице поселка в своем сером миткалевом костюме, все время держась рядом с директором...

В Магнитогорск приехали поздно вечером. Все, кроме водителей, сладко спали, так что даже не пришлось прощаться. Сонного Тимофея Васильевича Иван уложил одетого в постель, только сапоги с него снял. Леня Башмаков остался досыпать у Ивана — ему постелили в столовой. Ермолаевскую долю улова кинули в большой таз, долю Лени Башмакова — в ведро.

Иван улегся рядом с женой и шепотом, чтобы никого не разбудить, долго рассказывал ей о рыбалке, симпатичном Канунникове и новом совхозе и перечислял всех пойманных рыб по породам и приблизительному весу.

У супругов зашла речь о предстоящем отъезде Тимофея Васильевича и в связи с этим о подарках ему и его домашним. Понимая, что Ивану хочется «не ударить лицом в грязь», Любовь Игнатьевна, как умная и хитрая жена, знающая, как сохранить мир и согласие в семье, сама взяла в руки инициативу и предложила купить и послать мачехе Ивана скатерть, отрез шерсти на пальто и шкурку на воротник, сестре — летнее платье и материал на зимнее, детям Тимофея Васильевича от второго брака — их было трое — ботинки, брюки и опять же пла-

ть, и еще какому-то дяде и двум теткам, чаще других упоминавшимся стариком,— сапоги и по платку.

Самому Тимофею Васильевичу следовало преподнести особенно ценный подарок, и Иван с Любовью Игнатьевной долго толковали на этот счет; Любовь Игнатьевна боялась назвать предмет слишком дешевый, чтобы не задеть сыновние чувства Ивана и не прослыть скупой и недоброй к мужниной родне; в то же время она не хотела уж чересчур раскошелиться — и так придется признаться тысячи полторы у Ульяновых на подарки и другие расходы — своих сбережений могло не хватить. И она, покосившись на задумчивый профиль мужа, воскликнула с удалством в голосе, но и не без надежды, что сам муж воспримется ее предложению:

— Давай-ка мы твой новый костюм ему отдадим?! Ничего!.. Живы будем — справим другой!

Ивану новый костюм очень нравился, и такой легкий отказ жены от этого костюма покоробил его; он не совсем безосновательно предположил, что она так легко отдает костюм потому, что на вечере Иван в нем явно пришелся по вкусу Екатерине Степановне Ульяновой: Любовь Игнатьевна немного ревновала его к своей любвеобильной приятельнице. Но ничего не скажешь, подарок был отличный, костюм и старику очень *показался*, и к тому же такой подарок вроде не стоил денег — за него было уплачено хотя и много, но давно.

— Ладно, Люба, молодец, Люба,— сказал Иван умиrotворенно и погладил ее по пышному белому плечу, а она, обрадовавшись этой ласке и польщенная его похвалой, в душе окончательно склонилась перед необходимостью отказа от новых зимних пальто Марине и Мите.

Иван с женой уснули блаженным сном, довольные друг другом.

Утром Иван пошел на завод, а Тимофей Васильевич, проснувшись, с похмелья пил огуречный рассол, принесенный ему сердобольной Дарьей Алексеевной. Он спросил ее, где здесь церковь и не собирается ли она к заутрене — сегодня вознесение, сорок дней после пасхи. Дарья Алексеевна, сдержанно улыбнувшись, ответила, что ее покойный муж, работавший литейщиком в Златоустовском заводе, был старый безбожник, в бога не верил и ей наказал, так что она уже лет тридцать как не ходит в церковь.

Все же она проводила Тимофея Васильевича к трам-

ваю, усадила его и растолковала, как ехать в церковь через весь город.

Пока он ездил, все было сделано: деньги одолжены, покупки произведены, билет на указанный им день куплен.

Прощальная вечеринка, объявленная в свой срок, прошла так же весело и шумно, как и встреча. Наутро после проводов старику были вручены подарки. Старик как будто не очень удивился, только притих, глаза у него стали маленькие-маленькие, он медленно, будто недоверчиво, брал каждую вещь и, выслушав, кому она предназначалась, задумывался на мгновение, оценивая достоинства человека и предназначаемой ему вещи. И только когда все подарки были сложены, старик вдруг поглядел исподлобья на сына и спросил:

— Ты, Ваня, того... сколько жалованья получаешь?..

Иван возразил, гордый и растроганный:

— Ничего, батя!.. Не беспокойся... Хватает, хватает, батя!

А Любовь Игнатьевна, давая старику денег на дорогу, тоже расчувствовалась и, вздохнув, сказала ему ласково, хотя и с некоторым надрывом:

— И по двести рублей будем вам высылать...

Старик при этом смотрел в сторону и быстро-быстро моргал глазами, и было непонятно: то ли он собирался заплакать, то ли думает о чем-то своем. И весь вид у него был какой-то странный: не то петушистый, не то жалкий.

И вот однажды утром дети, проснувшись, не застали дедушку. Он уехал ночью, когда они спали. Зато у них появилась еще одна забава: они надумали играть в «дедушку», и эта игра стала одной из самых любимых. Дедушку изображала обычно Вера; она приклеивала к подбородку обрывок старой папиной шапки серого меха, сидела серьезная и отрешенная на стуле с рюмкой в руке, а остальные дети чокались с ней рюмками и стаканами и говорили тосты; Федя же, изображавший полковника,— он нашил себе на плечи бумажные красные погоны — говорил речь и кричал «ура», и потом «дедушка» деловито получал подарки, быстро прятал их в чемодан, спрашивал, кто сколько жалованья получает, и обещал писать письма. Соседские дети тоже жаждали участвовать в этой игре, но по врожденному, что ли, чувству справедливости самостоятельно не смели в нее играть, а

обязательно приходили к ермолаевским детям, законным внукам дедушки, истово чокались с Верой и кричали «ура».

Все знакомые при встрече с Иваном обязательно спрашивали, как старик доехал, и что он пишет, и как поправился ему Магнитогорск и завод. А Иван, конфузясь (так как от старика не пришло ни одного словечка), отвечал всем, что отец доехал благополучно.

Весточку от Тимофея Васильевича Иван получил только месяца через полтора и весьма неожиданным путем. В доменный цех как-то днем позвонили из нарсуда и велели передать ему, чтобы он зашел к судье Коломейцевой. Он удивился, но, разумеется, пошел и был неприятно поражен злым видом Лидии Ивановны, обращением к нему на «вы» и сухостью ее тона. Глядя на него бьющим прямо по переносью пристальным взглядом суровых глаз, которые он до сих пор знал лишь веселыми или насмешливыми, она спросила без предисловий:

— Деньги родителям посылаете?

Иван вздрогнул от неожиданности.

— Да,— сказал он, густо покраснев под ее взглядом и весь сжавшись от предчувствия какой-то неизвестной беды.— Да... А что? Конечно, посылаю... Не родителям — отцу, у меня матери нет. Из каждой второй полочки посылаю. Только в последний раз не посылал: я ведь ему дал на дорогу.

Расспросив его и при этом свирепо придираясь к каждому слову, она наконец вздохнула с явным облегчением, и ее взгляд стал легким.

— Так я и думала,— сказала она и положила ему на плечо тяжелую и ласковую руку.— Квитанции сохраняешь?

— Квитанции? Не знаю... Навряд ли...

— Так я и думала,— повторила она, покачав головой.— Вот прибыл иск от твоего отца. Жалуется он на тебя: мол, член партии, депутат, домовладелец, богач, а алиментов не платишь. Оставил, мол, родных на произвол судьбы — родителей, братьев и сестер, из коих два несовершеннолетних и одна хромая-калека.

Иван не пытался объясняться. В нем будто что-то оборвалось. Он втянул голову в плечи, на минуту почувствовав себя несчастным и беззащитным крестьянским мальчиком стародавних времен. Она же глядела в сторону и рассуждала вслух:

— Ну, факт твоих переводов мы, положим, с помощью почты сможем установить в любое время, не в этом суть... Одна я не решаю, у меня заседатели, все выяснится в судебном заседании, но думаю, что присудим мы ему с тебя, ввиду твоей многодетности, рублей пятьдесят в месяц. Вполне достаточно. Он имеет корову, овец, откармливает свинью, да еще валенки валяет... Сам же он мне и рассказывал. Пятьдесят рублей будешь ему платить.

В этот момент она посмотрела на Ивана и осеклась, потрясенная выражением его лица.

— Разве в этом дело? — проговорил он, махнув рукой.

— Да. Конечно. Понимаю, — сказала она мягко и как бы виновато.

— Может, они так это?.. Не подумавши? По темноте своей?.. А? — продолжал он, глядя на Лидию Ивановну вопросительно, почти умоляюще. — Может, им живется трудно? А?..

Выйдя из помещения суда, Иван с ужасом подумал о том, что надо идти домой; он не мог сейчас видеть жену и Дарью Алексеевну и даже детей, которые, может быть, за стеной играли в «дедушку». И он решил пойти в пивную, выпить там грамм триста русской горькой, чтобы не было так стыдно. Но когда он подошел к реке, перед его глазами возникла привычная, но всегда ошеломляющая своим величием картина вечно работающего завода. В сгустившихся сумерках разноцветные снопы пламени всевозможнейших оттенков красного и оранжевого и ослепительные вспышки белого огня то тут, то там прорезали мир неподвижных вещей стремительно и дерзко. В этом мире — огромном теле, включающем в себя темные горы, тускло освещенные дома, тяжелые воды реки и небо с длинными тучами, чуть освещенными невидимым закатом, — завод с его непрерывным тяжким постуком был вечно бьющимся сердцем, почти таким же сложным и таинственным, как человеческое сердце. Иван жестко усмехнулся и пробормотал с любовью, хотя и не без горечи:

— Вот она, Магнитка! Она — твоя деревня, твой родной дом, твой отец, твоя мать...

1959—1960

«Знамя», 1962, № 5

ДАВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ

Я был жесток.

Я резко обличал,
о собственных ошибках не печалюсь.

Казалось мне —

людей я обучал,
как надо жить,

и люди обучались,

Но —

стал прощать...

Тревожная примета!

И мне уже на выступление где-то
сказала чудненький очкарик-лаборантка,
что я смотрю на вещи либерально.

Приходят мальчики,

надменные и властные.

Они сжимают кулачки влажные
и, задыхаясь от смертельной сладости,
отважно обличают

мои слабости.

Давайте, мальчики!

Давайте!

Будьте стойкими!

Я просто старше вас в познании своем.
Переставая быть к другим жестокими,
быть молодыми мы перестаем.

Я понимаю,

что умнее —

со стыдливостью.

Вы неразумнее,

но это не беда,

ведь даже и в своей несправедливости
вы тоже справедливы иногда.
Давайте, мальчики!

Но знайте,—

старше
станете,

и, зарекаясь ошибаться впредь,
от собственной жестокости устанете
и потихоньку будете добреть.

Другие мальчики,

надменные и властные,

придут,

сжимая кулачки влажные,

и, задыхаясь

от смертельной сладости,

обрушатся они

на ваши слабости.

Вы будете —

предсказываю —

мучиться,

порою даже огрызаться зло,

но все-таки

в себе найдите мужество,

чтобы сказать,

как вам ни тяжело:

«Давайте, мальчики!»

«Новый мир», 1962, № 7

НАСЛЕДНИКИ СТАЛИНА

Безмолвствовал мрамор.

Безмолвно мерцало стекло.

Безмолвно стоял караул,

на ветру бронзовея.

А гроб чуть дымился.

Дыханье из гроба текло,

когда выносили его

из дверей Мавзолея.

Гроб медленно плыл,

задевая краями штыки.

Он тоже безмолвным был —

тоже! —

но грозно безмолвным.

Угрюмо сжимая
набальзамированные кулаки,
в нем к щели глазами приник
человек, притворившийся
мертвым.

Хотел он запомнить
всех тех, кто его выносил,—
рязанских и курских молоденьких новобранцев,
чтоб как-нибудь после набраться для вылазки сил,
и встать из земли,
и до них,
неразумных,
добраться.

Он что-то задумал.
Он лишь отдохнуть прикорнул.
И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою:
удвоить,
утроить у этой плиты караул,
чтоб Сталин не встал
и со Сталиным — прошлое.

Мы сеяли честно.
Мы честно варили металл,
и честно шагали мы,
строясь в солдатские цепи.

А он нас боялся.
Он, веря в великую цель, не считал,
что средства должны быть достойны
величия цели.

Он был дальновиден.
В законах борьбы умудрен,
наследников многих
на шаре земном он оставил.

Мне чудится —
будто поставлен в гробу телефон.

Энверу Ходжа
сообщает свои указания Сталин.

Куда еще тянется провод из гроба того?

Нет, Сталин не умер.

Считает он смерть
поправимостью.

Мы вынесли
из Мавзолея
его,

но как из наследников Сталина
Сталина вынести?

Иные наследники
розы в отставке стригут,
но втайне считают,
что временна эта отставка.

Иные
и Сталина даже ругают с трибун,
а сами ночами тоскуют о времени старом.
Наследников Сталина,
видно, сегодня не зря
хватают инфаркты.

Им, бывшим когда-то опорами,
не нравится время,
в котором пусты лагеря,
а залы, где слушают люди стихи,
переполнены.

Велела не быть успокоенным Родина мне.
Пусть мне говорят: «Успокойся!» —

спокойным я быть
сумею.

Покуда наследники Сталина
живы еще на земле,
мне будет казаться,
что Сталин — еще в Мавзолее.

«Правда», 1962, 21 октября

САМОРОДОК

РАССКАЗ

На Колыме мы звеньями мыли золото.

За сто процентов добычи давали восемьсот граммов хлеба, три раза затируху и раз овсяную кашу. День ото дня мы тоньшели, выпирая костями, но добывать это проклятушее золото было надо. «Не потопаешь — не полопаешь», — говорила лагерная поговорка.

В звене нас было четверо — Василий Душенов, Самуил Гендель, Ефим Голубев и я. Все мы были коммунистами, и сорок второй год покрыл нас своей безысходностью. Гитлеровские фашисты остановились под Москвой, и мы со страхом гадали: возьмут или не возьмут ее и что тогда будет с нами.

В этот день колымское солнце поднялось над сопками огромным негреющим мандарином. Оно мерцало желтым и красным огнем, и сизый туман розовел, подымаясь в голубую высь. Розоватым был и ноздреватый снег, и сосняк недалеко от разработок на берегу незамерзающего ручья.

Конвой привел нас на работу, и начальник прокричал утреннюю «молитву»:

— Зону знаете? Выход из нее считается побегом, и огонь применяется без предупреждения. Понятно?

Мы проорали «понятно» и побежали к делянкам раскладывать костры. На вчерашние головешки бросили охапку сухого мха, Душенов высек искру из «динами», подул на фитиль и сунул в костер. Вспыхнул огонь, на него бросили корья, потом тонких дров, и заплясало рыжее пламя. Стало тепло, и можно было жарить хлеб.

— Жизнь есть смерть! — пробормотал Гендель, вытащил из-за пазухи горбушку и прочно утвердил ее на сером камне-голыше.

— Сам придумал или вспомнил? — спросил Душенов. Свою пайку он нанизал на колючую проволоку и сунул в огонь. Запахло жареным хлебом.

Я и Голубев впряглись в санки и поехали к ручью за водой. Пока мы возили воду и подогревали ее в железной бочке на костре, Душенов и Гендель разогревали грунт. После этого все начинали мыть «старательское» золото.

Солнце поднялось и стало желтеть. Наши пайки у костра тоже зарумянились. Промыли с полтонны грунта. Самым опытным был Душенов. Он и собирал крупинки золота, похожего на позеленевшие медные пылинки.

— Самородок бы попался,— проговорил я.

Голубев высморкался и закончил несбыточной мечтой:

— Махорки бы дали. Бийской! Номер первый, крепачка!

— Давайте перекурим,— предложил Гендель. Я видел, что он очень устал и в перекур мог бы передохнуть. Душенов пошел к костру и взял свою проволоку. За ним пошли и мы. Голубев в большую консервную банку с самодельной дужкой зачерпнул воды и поставил на костер. Как вода закипит, ее заварят поджаренной коркой хлеба. Это будет чай. Пока он закипает, можно закурить.

На все звено у нас была спичечная коробочка махорки.

— По тоненькой или одну на двоих? — спросил Душенов.

— Давай одну на двоих,— предложил Гендель.

Голубоватый махорочный дымок потянулся из наших ртов. Самый вкус был, когда куришь «бычок». В нем самая крепость, смак и еще что-то такое, ядреней ядреного. Закипела вода, и Душенов бросил черную, обугленную корку, и мы стали пить. Хрустел хлеб, и мы растегнули бушлаты. Сразу запахло дезкамерой.

Подошел учетчик Аркашка Синицин, по кличке Тонкий. Он бытовик, бесконвойный, и ведет учет промытого грунта. Лицо у него чисто выбритое и пахнет земляничным мылом.

— Сколько? — спрашивает Тонкий.

— С полтонны будет,— говорил Душенов.

Тонкий записывает, подсаживается к нам, достает портсигар и дает нам по целой махорочной сигарете.

Мы знаем, что такие сигареты вертит ему опальный чекист Булыгин. Голубев, по колхозной простоте, восторгается неожиданному подарку и сразу закуривает, а мы кладем папироски на видное место. Закурим потом.

Тонкий разглагольствует:

— Вы, политические, какие-то чокнутые! Диалектики, одним словом... Жить надо, а вы только мучаетесь. Жить можно везде. Пониме!

— Нет, не понимае! — ответил Гендель.

— Чудаки затруханные! — восклицает Тонкий и достает настоящую папиросу «Беломор». Затягивается несколько раз и протягивает Душенову. Душенов затягивается только два раза, дает мне, я уже Голубеву.

— Хватили пшеничного! — бормочет он и окурок кладет в карман. Тонкий помолчал и потом спросил:

— Лишнее есть? Можно сменять на махорку, хлеб, крупу...

— Не знаешь, что на фронте? — спросил Душенов.

— А хрен его знает? — ответил Тонкий. — Я к вам с делом, а вы о фронте. У вас все не как у людей. Смех меня берет. Коммунизм, социализм! Колхоз, совхоз! Программа, устав! Капитализм, интернационализм! Жить надо! Ну, лишнее есть?..

— Откуда возьмется лишнее... Только на пайку выживаем, — отвечает Душенов. Он хмурится.

Тонкий поднимается.

— Ну, смотрите. А то можно за грамм пять осьмух табаку. Бийский первачок!

И неожиданно заканчивает:

— Взяли бы Москву и стал бы капитализм. Пошли бы дела!

Мы молчали от изумления: Тонкий хочет капитализма! Какое отношение он к нему имеет? Гендель спрашивает:

— Аркадий! А что, если бы тебе дали миллион? Что бы ты стал делать?

Тонкий садится.

— Идиотский вопрос. С миллионом все можно сделать. Сто тысяч прокурору на мелкие расходы. Ясно? А потом к Берии. Лаврентий Павлович, давайте триста зек, приск открываю. И поехал! Не беспокойся, нашел бы, что делать с миллионом. Я не Остап Бендер!

Душенов поднимается и говорит:

— Давайте за работу.

Тонкий уходит, предупреждая:

— Если что будет, сразу ко мне! В обиде не будете.

Мы снова тяжело работаем. Надо зарабатывать пайку и кашу с баландой. Часа через два делаем перекур. Солнце из красного стало желтым. Мы сидим и разговариваем. Гендель любопытствует:

— Голубев, а что тебя вчера к оперу таскали?

Голубев сперва смеется, а потом рассказывает:

— Вызвал меня и начал тары-бары, как живешь. Закурить дал. Кури, говорит, сколько влезет. А потом сует мне подписку, в сексоты вербует... Я думаю, хрен с тобой, взял и подписал. А он обрадовался, дает мне пол-осьминки махорки и спрашивает, что говорят, не замышляют ли чего...

— А ты что?

— Я ему и говорю, на фронт все собираются, товарищу Сталину здоровья желают, а Гитлера чтобы чума схватила. А опер на меня вызверился и как заорет: иди отсюда к такой матери, у него дело спрашиваешь, а он байки рассказывает... Ну я и ушел, а махорка, вон она...

Голубев порылся за пазухой и достал пол-осьмухи махорки. Мы смеемся, махорку ссыпаем из осьмушки в общий кисет. Обертку Гендель тщательно разрезает на шесть частей, и мы сворачиваем по целой папиросе. Душенов достает трубку, когда есть табак, он курит из этой шикарной трубки черного дерева с фильтром.

— Он же тебя, дурью голову, теперь в покое не оставит,— говорит Душенов.

Голубев машет рукой:

— Оставит. Я ему такое наговорю, за голову схватится. Нашел кого в сексоты вербовать. За что меня судили? За то, что нечаянно в клубе бюст Сталина уронил. Он на соплях держался, а я виноват. На спецколлекции стал говорить, а председатель толкует: «Вы понимаете политическое значение содеянного преступления?!» Раз у них совести не было, то откуда она теперь у меня? Пятнадцать лет отвесили!

Мы снова работаем. Долго и нудно долбим мерзлую землю. И вдруг... Вдруг Гендель, который лопатой бросал грунт, неожиданно остановился, держа ее на весу.

— Товарищи! Лопата что-то тяжелая.

Глаза у Генделя округлились, и рыжие брови подскочили на середину лба.

— Спокойно! Спокойно, Гендель,— сказал Душенов,

взял у него лопату и бросил в вашгерд. Это был первый наш самородок. Кусок металла, сдавленный какой-то неземной ужасающей силой в тяжелую малость.

Голубев запричитал:

— Смотри, и нам повезло! Не было, и вдруг на тебе. Хоть добром спомянут!

— Как же, разевай рот! Пока гений будет властвовать, нас только проклинать будут,— проговорил Гендель.

Самородок лежал на синей тряпке, поблескивая неровными краями. Душенов поскреб его ногтем, и на самородке замерцали серые блики.

— Килограмма полтора! Что будем делать дальше? Сдавать? — спросил Душенов.

Мы задумались. Что же все-таки делать с этим самородком? Сдавать или не сдавать? Запрятать, а мы умеем прятать, что сам сатана не найдет, и ежедневно сдавать только норму. Появится хлеб, махорка, можно даже достать чаю, газету трехмесячной давности, мыло. А на работе волынить. Все соблазнительно, и если с умом все делать, можно легче прожить.

— Чего молчите? — спрашивает Душенов и тихо продолжает: — Я, может быть, пойду вразрез с вашим мнением, но, по-моему, самородок надо сдать. Сдать! И вот почему. Я коммунист, коммунисты и вы. А настоящие ленинцы мыслят по-коммунистически. Ильич говорил: марксист должен учитывать живую жизнь, точные факты действительности! Там идет война. Чьей-то злой волей нас обвинили, оболгали и запрятали сюда искать самородки. Но там война! Надо помогать. Что бы с нами ни было, мы коммунисты. В этом наша жизнь.

Горел костер. Розовые шарфы пламени полыхали, пожирая сухую сосну и ели, потрескивая и искря. Привезли обед. Душенов и Голубев сходили за баландой и кашей. Мы пообедали.

Самородок лежал на синей тряпице, и мы старались на него не глядеть. Первым зафилософствовал Голубев:

— Вроде камень, а смотри, какое напряжение делает.

Гендель сморщился:

— Я за то, чтобы сдать. Из-за войны — за! А если бы ее не было, был бы против. Давай неси его к черту.

— А вы как? — спросил Душенов меня и Голубева.

— Сдать,— сказал я, а Голубев добавил:

— Нехай им Гитлер подавится. Жили без самородков, проживем еще. Тащи!

Душенов встал и снял шапку. Белая голова, словно припорошенная пеплом, поклонилась нам.

— Как член общества старых большевиков, от имени партии благодарю вас, товарищи, за помощь советскому народу в трудные дни.

Гендель что-то хотел сказать, но только разинул рот и ничего не сказал.

— Объявляй в час добрый...— проговорил Голубев.— Может, придет время, поблагодарят нас...

Душенов пошел к начальнику конвоя, и вскоре к нашему костру прибыли начальник лагпункта — лейтенант с разбойными глазами, пованивающий спиртом. С ним пришел контролер-приемщик с весами. Самородок взвесили, и он объявил:

— Килограмм шестьсот восемьдесят девять граммов. Каждый день бы так.

Начальник лагпункта подержал самородок в руках.

— Месяц-два можно шикарно пожить!

Отдал самородок приемщику и, повернувшись к начальнику конвоя, громко распорядился:

— Скворцов, отведи их в зону, пусть отдыхают. Скажи, чтобы выдали по две осьмушки махорки на рыло.

В лагпункте нас накормили обедом из столовой вольнонаемных. Потей, мы ели розовый борщ, макароны с мясной подливой и выпили клюквенного киселя. Хлеба было от пуза. Жестяные миски мы тщательно вылизали, забрали хлеб и, потные, пошли к себе в барак. Там топилась печь из железной вагонетки. Мы развесили портянки и растянулись на черных матрацах, набитых стружкой.

На другой день опять пошли на работу. Опять мандарином светило колымское солнце, обливая сопки, ближний сосняк, снег на них розовым тонким светом.

Мы лениво работали, частенько перекуривая. Жарились у огня горбушки, и закипала вода в большой консервной банке.

К полудню пришел Тонкий. В этот раз он не угощал нас самодельными сигаретами, а сразу заорал:

— Я видел псов, а таких, как вы, еще нет. Коммунисты, комсомольцы! Веру я вашу мотал! Правильно делает Сталин, что вас в лагеря сажает... Сдохните здесь, туда вам и дорога!

— Аркадий, ты когда... хочешь, штаны снимаешь? — спросил его Гендель.

— А ты думал, в штаны кладу?

— Мы тоже умеем снимать штаны,— учтиво ответил Гендель.— Ясно?

Тонкий плюнул в костер и ушел. К концу дня было еще происшествие. Засуетился начальник конвоя, мы увидели его беготню.

— Начальство,— догадался Душенов.

Оказывается, приехал начальник лагеря. С длинной свитой он ходил по разработкам.

Мы заработали лопатами. Начальство подошло к нам. На морозном воздухе запахло приятно-пряным, отчего мы давно отвыкли.

— Это те, что вчера самородок нашли,— доложил начальник лагпункта.

— Большой самородок? — спросил приехавший.

— Кило семьсот.

— Только-то! А не спрятали? Проверяли?

— Проверяли,— соврал начальник лагпункта.— Они по пятьдесят восьмой, исключено...

— А ты им не очень доверяй,— проговорил полковник и ткнул пальцем в Душенова:

— Кем на воле работал?

— Командующий военной флотилией.

Человек настороженно посмотрел на Душенова. Он стоял перед ним в прожженных у костра ватных штанах, с клочьями рыжей ваты. Небритое лицо с седой щетиной изборождено морщинами, с глазами Иисуса Христа на старинных иконах. Я видел, как у него дрожали руки.

— Надо бы бриться, командующий, пора стать культурным,— сказал начальник и ткнул в меня:

— А ты кто?

— Комбриг войск ВЧК—ОГПУ.

— Смотрите, не забыли еще! Надо создавать условия для таких работяг.

— Условия им созданы что надо! Начальник лагпункта, создал условия?

— Так точно, товарищ полковник, полностью создал! — гаркнул начальник лагпункта.

И они, благоухая, пошли дальше. Мы набросали в костер дров, он ярко запылал, мы сели и закурили. Сидели молча, как большие, грязные, нахохлившиеся птицы.

Гендель докурил папироску до половины и вроде самому себе сказал:

— Да-а, самородок!

Голубев поднялся, посмотрел, куда ушло начальство, и раздумчиво покачал головой:

— А когда они стояли около нас, я все принимался, от них ровно ладаном пахло. Истинная правда, ладаном.

Душенов встрепенулся:

— А ты, пожалуй, Голубев, прав, ладаном пахло...

...До конца работы мы ничего не делали.

«Известия», 1962, 5 ноября

ОТТЕПЕЛЬ: ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

1960

Я Н В А Р Ь

9 января.

В «Литературной газете» статья Вл. Барласа «Всегда ли верить вдохновенью?» — доброжелательный и требовательный разбор стихов Евг. Евтушенко. Отмечены «<...> ясность видения; «жадность, торжествующая жадность» к жизни. И в то же время сумбурное и поверхностное мышление; бездумная и безвольная готовность нестись за потоком вдохновения в любую сторону; суетливое тщеславие самолюбования».

15 января.

Сессия Верховного Совета СССР приняла «Закон о новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР», согласно которому Советская Армия и Военно-Морской Флот сокращаются на 1 200 000 человек и соответственно уменьшаются расходы на военные нужды по государственному бюджету СССР.

В докладе Н. С. Хрущева на сессии сформулирована концепция мирного существования государств с различным политическим и общественным строем.

Как указывает Р. А. Медведев, «начавшиеся вскоре увольнения из армии вызвали недовольство многих военачальников. Большая группа маршалов, генералов и адмиралов направила в ЦК КПСС письмо, утверждая, что при таком значительном сокращении Вооруженных Сил безопасность СССР не может быть гарантирована» (*Дружба народов*, 1989, № 8, с. 186).

16 января.

В «ЛГ» одновременно с отчетом о сессии Верховного Совета СССР стихотворение Евг. Евтушенко «Россия сокращает армию».

Журналы в январе.

В «Новом мире» (№ 1) страницы воспоминаний С. Маршака

«В начале жизни», «Новые стихи» А. Ахматовой¹, «Новогодняя сказка» В. Дудинцева².

В «Знамени» (№ 1) «Капля росы» Вл. Солоухина (окончание — № 2).

ФЕВРАЛЬ

4 февраля.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР утвердили новое Положение о Ленинских премиях и состав Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства. Председателем комитета назначен Н. Тихонов, в состав комитета включены писатели А. Корнейчук, К. Федин, М. Шолохов (члены президиума), И. Анисимов, М. Ауэзов, П. Бровка, А. Гончар, Н. Грибачев, В. Ермилов, М. Ибрагимов, В. Лукс, Л. Новиченко, Н. Погодин, А. Прокофьев, М. Рыльский, С. Смирнов, Л. Соболев, В. Солоухин, А. Сурков, Т. Сыдыкбеков, А. Твардовский, М. Турсун-заде, К. Яшен.

В «ЛГ» подборка стихов Б. Окуджавы «Из книги «Острова»,

6 февраля.

В «ЛГ» отрывок из пьесы В. Розова «Неравный бой».

13 февраля.

В «ЛГ» статья М. Кириллова «Плохое начало хорошего номера» — резко критическая оценка поэмы Евг. Евтушенко «Считайте ме-

¹ Выразительна запись в дневнике А. Твардовского от 29 сентября 1959 года: «Вчера говорил по телефону с Ахматовой (о новых ее стихах для «Нового мира»), которую лет 30 назад, по Антологии Ежова и Шамшурина, может быть, считал покойницей, как Блока, Брюсова, Гумилева. Только потом уж узнал, что она жива, правда, знал уже задолго до ее стихов в «Правде» в войну и прочих.

Голос, после старушечьего, слабого, в коем я и предположил было ее, — голос, по которому можно было себе представить походку, какой она подошла к телефону, — сильный, уверенный, не старый — с готовностью в нем, исключающей разговор с ней, как со старушкой. Назвался. — «Здравствуйте, тов. Твардовский». Мне показалось, что она не поняла, зачем мне ее стихи. Это — редактор «Нового мира». — «Ну, боже мой, Вы мне это сообщаете» (*Знамя, 1989, № 9, с. 158*).

² Первая после скандала с романом «Не хлебом единым» журнальная публикация В. Дудинцева проходила с немалыми трудностями, о чем свидетельствует запись в дневнике А. Твардовского от 28 декабря 1959 года: «Неприятность: звонил Демент — Поликарпов умывает руки, посылает Дудинцева «наверх» с отрицательным сопровождением. Это архинехорошо. Вещь объявлена, непоявление ее хуже самого худшего появления. Как этого не понять! Да где нам — из Пастернака мы сделали «мученика» — лауреата Нобелевской премии, сами сделали, своею высокоумной глупостью» (*Знамя, 1989, № 9, с. 168*).

ня коммунистом» (Юность, № 2). «<...> Вызывает удивление,— сказано в статье,— что, решив написать поэму с таким обязывающим названием, Евг. Евтушенко сосредоточил свое внимание главным образом на изображении тех, кто недостойн носить это высокое имя, кто примазался к революции. <...> Получается чудовищная картина — в нашем обществе чуть ли не все и вся заполнили эти мерзавцы, и поэт, как некий Дон-Кихот, собирается вести с ними войну, да еще «гражданскую», да еще «Отечественную». <...> Новая поэма Евтушенко — свидетельство идейной незрелости и недостаточного жизненного опыта поэта, свидетельство странной глухоты ко всему повому, что вошло в жизнь страны за последние годы».

19 февраля.

В «Советской России» сообщение о том, что роман Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» подготовлен к публикации журналом «Нева». Приводится телеграмма, посланная редакцией Э. Хемингуэю: «Литературный журнал «Нева», открывший год окончанием романа Шолохова «Поднятая целина», от имени 121 тысячи своих подписчиков и многочисленных читателей просит вас разрешить публикацию романа «По ком звонит колокол». Через сутки пришел ответ: «Очень рад, что вы печатаете роман. Лучшие пожелания. Хемингуэй».

Как указывает Р. Орлова, «тогда СССР не подписал еще конвенции об авторском праве. Так что спрашивать разрешения у Хемингуэя было совсем не обязательно. Поговаривали, что просили-то разрешения на купюры. И Хемингуэй дал такое разрешение. Документально я этого подтвердить не могу» (Вопросы литературы, 1989, № 6, с. 97).

23 февраля.

В «ЛГ» сообщение о том, что Комитет по Ленинским премиям отобрал для дальнейшего обсуждения книги: «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке Н. С. Хрущева в США» А. Аджубея, Н. Грибачева, Г. Жукова, Л. Ильичева, В. Лебедева, Е. Литошко, В. Матвеева, В. Орлова, П. Сатюкова, О. Трояновского, А. Шевченко, роман Б. Полевого «Глубокий тыл», роман Ш. Рашидова «Сильнее бури», сборники стихов М. Рыльского «Розы и виноград», «Далекие небосклоны», стихи и поэмы М. Турсун-заде, роман М. Шолохова «Поднятая целина», трилогию Я. Коласа «На росянках».

Журналы в феврале.

В «Октябре» (№ 2) вторая книга романа М. Шолохова «Поднятая целина» (окончание — № 4).

Зима.

Начал издаваться машинописный журнал «Синтаксис». Редактор — Александр Гинзбург — до своего ареста в июле 1960 г. успел выпустить три номера.

«В этом журнале, — вспоминает В. Осипов, — не было критических статей, мало прозы, — почти только стихи» (*Грани*, № 80, с. 264).

МАРТ

3 марта.

В «ЛГ» рецензия Ф. Светова «Дым в глаза» на одноименную повесть А. Гладилина (Юность, 1959, № 12). Общий вывод: «Поколение, которому сейчас двадцать два, не имеет ничего общего с героями повести «Дым в глаза». Ничего, кроме порой «внешней похожести». И конечно же это поколение ждет современной повести о своей судьбе... Быть может, много читателя «Дым в глаза» привлечет «поисками формы». Что ж, скажет такой читатель, конечно, не первый класс, не большая литература, а все-таки...

Но литература не бывает большой, средней или маленькой. Литература бывает только художественной».

8 марта.

В «ЛГ» стихотворение Б. Ахмадулиной «Чужое ремесло».

21 марта.

На заседании секретариата правления СП СССР А. Твардовский прочитал последние, завершающие главы поэмы «За далью — даль», и в том числе главу «Так это было». Выступившие на обсуждении К. Федин, Г. Марков, С. Маршак, А. Сурков, М. Исаковский, А. Лупан, Л. Новиченко, А. Салынский, С. Щипачев, К. Воронков, В. Озеров, Н. Лесючевский, А. Дементьев, Я. Смеляков, И. Черноуцан, Н. Абалкин, Г. Владыкин, В. Дорофеев, М. Кузнецов, М. Козьмин, В. Косоруков дали, как сказано в отчете «ЛГ», «высокую оценку поэме, считая, что последние главы достойно завершают десятилетний труд поэта над его талантливой поэмой, значительнейшей среди произведений, созданных в послевоенные годы советскими поэтами, произведением, страстно откликающимся на наиболее животрепещущие темы нашего неповторимого времени».

Журналы в марте.

В «НМ» (№ 3) повесть В. Тендрякова «Тройка, семерка, туз».

В «Неве» (№ 3) стихи А. Ахматовой «Из «Восточной тетради».

В «Юности» (№ 3) комедия В. Розова «Неравный бой».

А П Р Е Л Ь

5 апреля.

По свидетельству Р. А. Медведева, «Советское правительство пригласило Мао Цзэдуна в СССР для переговоров. Но Мао отклонил предложение. В опубликованных к 90-летию со дня рождения Ленина статьях китайская партийная печать подвергла критике отдельные положения из Декларации Совещания коммунистических партий 1957 года, хотя под ней стояла и подпись КПК. Масштабы разногласий расширились. В июне 1960 года ЦК КПСС направил другим коммунистическим партиям «Информационную записку», в которой критиковались теоретические взгляды и претензии руководства КПК. В свою очередь, ЦК КПК направил другим компартиям свое письмо.

Дискуссия между партиями отразилась и на межгосударственных отношениях СССР и КНР. Китай сократил объем своих закупок в СССР и странах СЭВ. Среди советских специалистов в Китае начали распространять материалы с критикой КПСС. Ответные действия СССР оказались очень решительными — в июле 1960 года Советское правительство отозвало из КНР всех советских специалистов. Для того времени это было поспешное решение, продиктованное во многом раздражением Хрущева. Уровень разногласий еще не достиг такой степени, чтобы оправдать отъезд всех советских специалистов. Из-за провала «великого скачка» Китай как раз в 1960 году испытывал огромные экономические трудности. Теперь руководство КПК получило возможность объяснять большую часть своих неудач ссылкой на позицию СССР» (*ДН, 1989, № 8, с. 185*).

15 апреля.

В связи с тем что ни цензура, ни Отдел культуры ЦК КПСС не могли самостоятельно решить вопрос о публикации главы «Так это было» из поэмы «За далью — даль», А. Твардовский по совету В. С. Лебедева обратился к Н. С. Хрущеву с письмом, в котором, в частности, сказано:

«Мне очень хотелось сердечно поздравить Вас со днем Вашего рождения и принести Вам по этому случаю как памятный знак моего уважения и признательности самое дорогое сейчас для меня — заключительные главы моего десятилетнего труда — книги «За далью — даль», частично уже известной Вам и получившей бесценные для меня слова Вашего одобрения.

Среди этих новых, еще не вышедших в свет глав я позво-

лю себе обратить Ваше внимание на главу «Так это было», посвященную непосредственно сложнейшему историческому моменту в жизни нашей страны и партии, в частности, в духовной жизни моего поколения,—периоду, связанному с личностью И. В. Сталина.

Мне казалось, что средствами поэтического выражения я говорю о том, что уже неоднократно высказывалось Вами на языке политическом. Во всяком случае, я думаю, что эта глава является ключевой для всей книги в целом, и я буду счастлив, если она придется Вам по душе. <...>».

Через несколько дней, записывает А. Твардовский в дневник, «вечером я, кажется, принял сновторное, уснул, около часа — звонок — Лебедев.

— Прочел с удовольствием. Ему понравилось,— понравился,— очень понравилось, благодарит за внимание, желает,— и что-то в этом роде.— Я, конечно, не сомневался, но вместе с вами еще раз переживаю радость...» (*Знамя, 1989, № 9, с. 183*).

Заключительные главы, одобренные Н. С. Хрущевым, были напечатаны в «Правде» (29 апреля — 1 мая) и «Новом мире» (№ 5), а вся поэма в целом издана «молнией» за три месяца в серии «Роман-газета».

22 апреля.

Ленинские премии присуждены М. Рыльскому за книги стихов «Розы и виноград» и «Далекie небосклоны», М. Турсун-заде за книгу стихов и поэм «Голос Азии» и поэму «Хасан-Арбакеш», М. Шолохову за роман «Подпятая целина», а также А. Аджубею, Н. Грибачеву, Г. Жукову, Л. Ильичеву, В. Лебедеву, Е. Литошко, В. Матвееву, В. Орлову, П. Сатюкову, О. Трояновскому, А. Шевченко, Г. Шуйскому за книгу «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке Н. С. Хрущева в США».

До 28 апреля.

Принято решение секретариата правления СП СССР об издании в Большой серии «Библиотеки поэта» стихотворений О. Мандельштама. (См. письмо Л. Я. Гинзбург Н. И. Харджиеву от 28 апреля 1960 г. // *ВЛ, 1989, № 6, с. 245*¹.)

¹ Как указывает в примечаниях к этой публикации Э. Бабаев, «рукопись первого комментированного издания стихов О. Мандельштама пролежала в издательстве «Советский писатель» почти 15 лет и была издана только в 1973 году».

28 апреля.

В «ЛГ» письмо народных артистов СССР Ю. Завадского, И. Ильинского, Б. Ливанова, А. Попова, Р. Симонова, М. Царева, Д. Шостаковича, заслуженных деятелей искусств Ф. Бондаренко, П. Маркова, кандидатов искусствоведения Б. Ростоцкого, Н. Чушкина, кандидата филологических наук А. Февральского, писателя И. Эренбурга, возмущенных публикацией в шестом номере журнала «Театральная жизнь» статьи Дм. Щеглова «Легенда, опровергнутая жизнью», в которой, как сказано в письме, «автор пытается полностью зачеркнуть творчество большого мастера советской сцены В. Э. Мейерхольда». «Можно и нужно, — говорится в письме, — критически подходить к оценке творческого наследия В. Э. Мейерхольда, можно и нужно спорить по поводу его художественных принципов, его постановок, книг и статей, но нельзя становиться на путь заведомо односторонней, ложной оценки, как поступает Дм. Щеглов».

29 апреля.

В «Правде» заключительные главы поэмы А. Твардовского «Задалью — даль» (окончание — 1 мая).

Комментарий в дневниковой записи А. Твардовского от 5 июня:

«До напечатания мне казалось, что самое главное и самое трудное с этими, вернее — с этой главой, — напечатать. Но потом оказалось все куда сложнее. Напечатала «Правда» — это и хорошо, и не очень, так как из некоторых писем видно, что это (появление в «Правде» этой главы) рассматривается как прямое выполнение некоего заказа, официально-поэтическая интерпретация вопроса (темы). Усмотрено и наклонение в сторону нового культа. Словом, хоть хороших писем больше и они как-то достовернее, а дурные, оскорбительные и чуть ли не угрожающие — главным образом анонимные, но дурные с непривычки как-то памятнее. <...>

Дурные письма делятся на два, взаимоисключающих ряда: 1) как смеешь охаивать и 2) как смеешь восхвалять, оправдывать. Точно читают одним глазом: этот видит только это, тот только то. <...>

Подчас кажется, что на меня обрушивается то, что было бы направлено в другой совсем адрес (а может быть, и было направлено) после закрытого доклада о культе личности» (Знамя, 1989, № 9, с. 185).

Журналы в апреле.

В «Октябре» (№ 4) повесть С. Антонова «Аленка».

1 мая.

В 5 часов 36 минут самолет «Локхид У-2», пилотируемый военным летчиком США Френсисом Г. Пауэрсом, нарушил государственную границу СССР в районе Кировабада (ныне Пяндж Туркменской ССР) и на высоте 20 000 метров направился в глубь советской территории. В 8 часов 53 минуты самолет был сбит ракетой в районе Свердловска. Пилот выбросился на парашюте и был задержан.

Как вспоминает А. И. Аджубей, «во время парада Хрущев нервничал. То и дело к нему на трибуне Мавзолея подходил военный, отзывал в сторону. После очередного доклада Хрущев сдернул с головы шляпу и, широко улыбаясь, взмахнул над головой. Настроение у него исправилось.

Подробности происшествия в день Первой станут достоянием широкой общественности во время майской сессии Верховного Совета СССР, но перед этим американской стороне будет официально заявлено, что над советской территорией сбит самолет-шпион, совершавший разведывательный полет. Правительство СССР расценит акцию как недружественную, направленную на подрыв мирного сотрудничества между двумя странами, возвращение в международную практику «холодной войны» (*Знамя, 1988, № 7, с. 113*).

«Надо отметить,— указывает Р. А. Медведев,— что полеты американских сверхвысоких самолетов-разведчиков, производивших фотографирование советской территории, начались еще во времена Сталина. Эти самолеты летали даже над Ленинградом и Москвой, иногда в дни наиболее торжественных советских праздников. Советская печать ничего не сообщала об этих унижительных для СССР вторжениях в его воздушное пространство, так как у нашей страны не имелось тогда средств помешать подобным выходкам. <...> И вот теперь, в 1960 году, достаточно точные зенитные ракеты поступили на вооружение советских войск ПВО» (*ДН, 1989, № 8, с. 181*).

4 мая.

Пленум ЦК КПСС избрал членами Президиума ЦК А. Н. Косыгина, Н. В. Подгорного и Д. С. Полянского. Пленум освободил члена Президиума ЦК А. Б. Аристову и кандидата в члены Президиума П. Н. Поспелова от обязанностей секретарей ЦК КПСС, имея в виду сосредоточить их внимание на работе в Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Пленум освободил члена Президиума Н. Г. Игнатову от обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с назначением его заместителем Председателя Совета Министров Союза ССР. Пленум освободил члена Президиума Е. А. Фурцеву от обязанностей секретаря ЦК

КПСС в связи с назначением ее министром культуры СССР. Пленум избрал члена Президиума Ф. Р. Козлова секретарем ЦК КПСС. Пленум освободил Н. И. Беляева от обязанностей члена Президиума ЦК КПСС. Пленум освободил А. И. Кириченко от обязанностей члена Президиума и секретаря ЦК КПСС.

Как комментирует эти кадровые перемещения в партийном руководстве Р. А. Медведев, «Кириченко вошел в Президиум ЦК в 1955 году и стал здесь активным сторонником Хрущева. Хотя Кириченко имел репутацию не только грубого, но и во многих отношениях невежественного человека, он пользовался тогда полным доверием и расположением Хрущева. В Секретариате ЦК именно Кириченко стал вскоре после июньского Пленума 1957 года вторым человеком, и он обычно председательствовал на заседаниях Секретариата и Президиума ЦК во время продолжительных поездок Хрущева по стране и за границу. С другими членами партийного руководства Кириченко держался крайне грубо и нередко злоупотреблял властью. Инспектируя однажды южные области Украины, Кириченко оборудовал под свою резиденцию большой теплоход, превратив служебную поездку в увеселительную экскурсию. Члены Президиума ЦК предприняли совместный демарш против Кириченко, который был обвинен также в плохом руководстве народным хозяйством в 1959 году. Он лишился всех ответственных постов и был назначен директором небольшого предприятия в Пензенской, а потом Ростовской области. Новым секретарем ЦК КПСС был избран Ф. Козлов, сохранивший и свой пост первого заместителя Председателя Совета Министров СССР. Отныне Козлов становится вторым человеком и в Секретариате ЦК и в Совете Министров СССР. По своим моральным качествам Козлов мало отличался от Кириченко, и усиление власти и влияния Козлова вызвало явное беспокойство в Ленинграде, где его знали лучше, чем в Москве. Еще когда Козлов возглавлял Ленинградскую партийную организацию, к Хрущеву приезжала специальная делегация ленинградских коммунистов, которая просила не рекомендовать Козлова областной партийной конференции в качестве секретаря обкома. Однако Хрущев взял под защиту Козлова и не стал проверять выдвинутые против него серьезные обвинения. «Мы только рекомендуем,— заявил Хрущев ленинградцам,— а вы можете и не выбирать Козлова своим руководителем. У вас же тайное голосование».

Что же касается Н. И. Беляева, возглавлявшего в 1957—1960 годах партийную организацию Казахстана, то тут «Хрущев возложил на Беляева ответственность за плохое положение».

ние дел на целине. Урожай и сборы зерна здесь уменьшились, несмотря на распашку все новых и новых земель. Первым секретарем ЦК КП Казахстана был вскоре избран Д. Кунаев» (ДН, 1989, № 8, с. 187).

5 мая.

Выступая на сессии Верховного Совета СССР, Н. С. Хрущев сообщил о мероприятиях по завершению перехода в 1960 году всех рабочих и служащих на сокращенный рабочий день, предложил уже в текущем году приступить к постепенной отмене налогов с заработной платы рабочих и служащих. «Со временем, по мере увеличения общественного производства, роста хозяйства колхозов,— сказал Н. С. Хрущев,— будут созданы условия, при которых роль приусадебных участков будет отпадать, они, видимо, потеряют свое значение для колхозников, и, следовательно, созреют условия для отмены и сельскохозяйственного налога с личного подсобного хозяйства». Одновременно предложено с начала 1961 года «укрупнить нашу денежную единицу, увеличить золотое содержание рубля и пересмотреть масштаб цен».

7 мая.

В «ЛГ» стихотворение Н. Коржавина «Парад ветеранов в Кельне (ФРГ)», а также подборка стихотворений Вс. Багрицкого, П. Когана, М. Кульчицкого, Н. Майорова, Н. Отрады.

На сессии Верховного Совета СССР ogłosлено заявление К. Е. Ворошилова с просьбой об освобождении его от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР по состоянию здоровья. Н. С. Хрущев «тепло и сердечно,— как сказано в газетном отчете,— поблагодарил Климента Ефремовича Ворошилова, как верного сына Коммунистической партии <...>, от имени ЦК КПСС внес предложение присвоить товарищу К. Е. Ворошилову звание Героя Социалистического Труда».

Председателем Президиума Верховного Совета СССР единогласно избран Л. И. Брежнев.

10 мая.

Умер Юрий Карлович Олеша (род. в 1899 г.).

11 мая.

МИД СССР устроил пресс-конференцию, в которой приняло участие около 500 советских и иностранных журналистов, и выставку остатков сбитого американского военного самолета, проводившуюся в шахматном павильоне Парка культуры и отдыха имени Горького. Пресс-конференцию проводил министр иностранных дел СССР

А. А. Громыко: на выставку приехал Н. С. Хрущев. Его выступление не планировалось, однако, как вспоминают очевидцы, «внимательно все осмотрев, он взобрался на табуретку и говорил около часа. Полет Пауэрса более чем возмутил Никиту Сергеевича: узнав о захваченном американском шпионе, в первую минуту он в гневе закричал: «Повесить!» (*Аргументы и факты*, 1989, № 17).

16 мая.

На предварительной встрече в Париже с президентом Французской республики Ш. де Голлем, премьер-министром Великобритании Г. Макмилланом и президентом США Д. Эйзенхауэром с заявлением выступил Н. С. Хрущев, предложивший — в связи с «провокационным актом со стороны американских военно-воздушных сил в отношении Советского Союза» — «перенести совещание глав правительств примерно на 6—8 месяцев» и «отложить поездку президента США в Советский Союз», намечавшуюся на 10 июня.

В заявлении подчеркнуто, что «в случае повторения вторжения американских самолетов в пределы Советского Союза мы будем сбивать такие самолеты».

Советское правительство оставляет за собой право во всех таких случаях предпринимать соответствующие ответные меры против тех, кто будет нарушать государственный суверенитет СССР, осуществлять подобный шпионаж и диверсии в отношении Советского Союза. Правительство СССР вновь заявляет, что в отношении тех государств, которые, предоставляя свою территорию для американских военных баз, станут пособниками агрессивных действий против СССР, будут приняты также надлежащие меры, вплоть до нанесения удара по этим базам».

17 мая.

В «ЛГ» открытое письмо советских писателей, в разные годы побывавших в США, американским писателям — «Мы хотим слышать и ваш голос!» — с поддержкой заявления Н. С. Хрущева на встрече глав государств в Париже. Письмо подписали М. Ауэзов, Н. Грибачев, Б. Изаков, В. Катаев, Н. Михайлов, С. Михалков, Б. Полевой, А. Софронов, А. Чаковский, М. Шолохов, А. Штейн, С. Щипачев.

19 мая.

В «ЛГ» отклики Л. Леонова, К. Симонова, Л. Соболева, В. Кожешникова, С. Маршака, Ф. Панферова, О. Писаржевского, А. Прокофьева, В. Полторацкого, В. Закруткина, присоединяющихся к открытому письму советских литераторов американским писателям, а также выступление председателя Советского комитета защиты мира Н. Тихонова на собрании представителей общественности Москвы

против агрессивных действий реакционных кругов США, состоявшемся 18 мая в концертном зале имени Чайковского.

23 мая.

В. Гроссман заключил с редакцией журнала «Знамя» договор о публикации романа «Жизнь и судьба».

30 мая.

Умер Борис Леонидович Пастернак (род. в 1890 г.)¹.

Журналы в мае.

В «НМ» (№ 5) заключительные главы поэмы А. Твардовского «За далью — даль».

И Ю Н Ь

1 июня.

Н. С. Хрущев, другие руководители партии и правительства посетили развернутую в Манеже выставку изобразительного искусства «Советская Россия». Гостей принимали и давали им пояснения художники В. А. Серов, Б. В. Иогансон и другие, а также министр культуры РСФСР А. И. Попов.

2 июня.

В «ЛГ» извещение: «Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда Пастернака Бориса Леонидовича, последовавшей 30 мая с. г. на 71-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного».

«Ведь я,— рассказывал А. Твардовский В. Лакшину,— специально ездил в Союз говорить, чтобы проводили его полюдски, накрутил Суркова, он уже составил некролог... И все напрасно. Мы уже и в ЦК ездили, доходили под самый верх, а нам сказали: «не суйтесь не в свое дело». Там есть такой человек в руководстве — Козлов, который, когда разговаривает, слушает только себя и сам пьянеет от своего голоса. Даже

¹ Характерна запись в дневнике Л. Чуковской от 31 мая: «Вера Васильевна (Смирнова.— С. Ч.) пересказала мне слух <...>: будто из Союза к Зинаиде Николаевне (вдове Б. Пастернака.— С. Ч.) приезжал Воронков, предлагал ей, что Союз возьмет похороны на себя, если она разрешит поставить гроб в ЦДЛ.

(«Союз Профессиональных Убийц» — так называл Союз Писателей Булгаков.)

Зинаида Николаевна, к чести ее, отказалась» (Чуковская Л. *Записки об Анне Ахматовой, Париж, 1980, т. 2, с. 324*).

Шелепин, наше МГБ, и тот сказал: «Почему же? некролоп можно», — и все же не разрешили» (Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева, рукопись).

В этот же день в Переделкине похороны Б. Л. Пастернака.

Как вспоминает Р. Орлова, «было на похоронах около двух тысяч человек. Из крупных писателей только Паустовский¹. Все время в доме звучала музыка. Играли Нейгауз, Рихтер, Юдина. Очень он был красив в гробу. скульптурен, похож на Данте.

<...> Перед выносом тела попросили всех уйти из дома — прощались родные.

Я стояла у крыльца, а с другой стороны — Ольга Ивинская, героиня поздней лирики, последняя его любовь. Победно красивая и тогда, уже немолодая. Она тянулась к закрытому окну.

Гроб не дали поставить в приготовленный автобус, несли к кладбищу на руках. Место у трех сосен, откуда виден дом, он выбрал сам. Речь на могиле произнес профессор МГУ Валентин Фердинандович Асмус. Говорил о гениальном русском поэте, его постоянном месте в русской поэзии. <...>

После речи Асмуса кто-то выкрикнул: «Он любил рабочих». Другой крик: «Он сказал правду, а все писатели трусы». <...>

Говорил парень с лицом семинариста-шестидесятника. Истерично и, мне тогда показалось, фальшиво.

Потом читали стихи «О, знал бы я, что так бывает». Над открытой могилой страшно звучало, «что строчки с кровью убивают».

¹ Р. Орлова не вполне точна. Так, А. Гладков среди писателей, присутствовавших на похоронах, называет еще и Л. Славина, В. Каверина, И. Соколова-Микитова, В. Левика, В. Звягинцеву, М. Петровых, Н. Чуковского, Л. Копелева, А. Синявского, А. Белинкова, В. Корнилова, Н. Коржавина, Б. Окуджаву, Ю. Казакова, Б. Балтера и др. «Резко бросается в глаза, — указывает А. Гладков, — отсутствие Федина, Леонова и друга юности Б. Л. Ник. Асеева» (Гладков А. Встречи с Пастернаком. Париж, 1973, с. 155).

В дневниковой записи Л. Чуковской упомянуты: «Каверин. Паустовский. Рита Райт. Мария Сергеевна (Петровых.— С. Ч.). Володя Глоцер. Володя Корнилов. Фридошка (Вигдорова.— С. Ч.). Хавкин. Харджиев. Копелев. Смирнова. Ливанов. Коля и Марина (Чуковские.— С. Ч.). Калашников. Волжина. Наташа Павленко. Ивич. Яшин. Казаков. Рысс. Рахтанов. Любимов. Вильмонт. Старший Богатырев. Нейгауз. <...> Даниэль и Синявский. <...> (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой, т. 2, с. 329—330).

Миша Поливанов, молодой физик, прочитал «Гамлета». Мы ушли, когда гроб засыпали землей, а молодежь при свечах читала стихи до ночи» (Орлова Р. *Воспоминания о непрошедшем времени*. Анн Арбор, 1983).

4 июня.

В «ЛГ» отрывок из книги И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь».

10 июня.

На общем собрании Академии наук СССР членами-корреспондентами по Отделению литературы и языка избраны И. И. Анисимов, А. С. Бушмин и П. Н. Берков.

22 июня.

Постановление ЦК КПСС «О неправильной практике организации новых издательств», направленное против создания новых нерентабельных издательств и призывающее к укрупнению нерентабельных старых.

Журналы в июне.

В «Юности» (№ 6) повесть В. Аксенова «Коллеги» (окончание — № 7).

И Ю Л Ь

2 июля.

В «ЛГ» статья А. Кузнецова «Литературный разбой». Автор протестует против «пиратского» издания своей повести «Продолжение легенды» во Франции: «<...> находится хитроумный негодяй, который берет книгу, изымает из нее целые главы, переводит так ловко, что отдельные места акцентируются, а другие «скромно вуалируются», пишет безобразное, лживое предисловие, снабжает книгу обложкой с изображением красной звезды за колючей проволокой, изобретает соответственное название «Звезда в тумане», об авторе утверждает, что он ищет бога, не зная его,— и призывает автора поклоняться не красной, а... вифлеемской звезде! <...> Меня возмущает, что мое имя стоит на обложке этой стряпни».

14 июля.

В «ЛГ» статья Ф. Кузнецова «Каким быть?..» — положительный отклик на повесть В. Аксенова «Коллеги». Общий вывод:

«Талантливая повесть Василия Аксенова — первая повесть двадцатисемилетнего врача — поможет многим юным занять свое место в атаке».

17 июля.

На подмосковной правительственной даче состоялась встреча руководителей партии и правительства с учеными, писателями, художниками, композиторами, работниками киноискусства и театра.

Как указывается в информационном сообщении о встрече, «где бы ни появлялся Никита Сергеевич Хрущев и его товарищи-соратники, тотчас их окружали празднично одетые люди. Завязывались беседы, звучали шутки, вспыхивал смех.

Никита Сергеевич узнавал своих старых друзей, знакомых, с которыми ему приходилось не раз встречаться.

...Вот он вместе с К. Е. Ворошиловым подошел к украинскому композитору Данькевичу:

— Ну, помоги старику,— сказал Климент Ефремович и запел народную украинскую песню.

Тотчас к дуэту присоединился и Никита Сергеевич.

Знаменитый украинский певец Гмыря своим могучим басом поддержал зародившуюся песню. Это был необыкновенный концерт, веселый и радостный. <...>

Время перешло за полдень. Под гигантским шатром, осененным вековыми липами, хлебосольно накрыты столы. Открывая обед, в большой программной для деятелей науки и искусства речью обратился к гостям член Президиума Центрального Комитета КПСС, секретарь ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов» («ЛГ», 19 июля).

Из речи М. А. Суслова: «Нельзя мириться с тем, что критики иногда учиняют несправедливый и обидный для авторов разнос их произведений, полностью перечеркивая большую творческую работу художника. <...> Особенно важно подчеркнуть необходимость заботливого, внимательного отношения к работе художника над современным жизненным материалом. <...> Здесь может и не быть сразу полной удачи. Но если писатель зорко подметил важные новые явления жизни, если в его произведении есть удачные образы, то критик не имеет права огульно перечеркивать всю его работу, а должен заботливо и внимательно разобрать произведение и тем помочь автору. <...> Речь идет о том, что нельзя допускать скептицизм и брюзжание, когда оценивается большой и сложный труд писателя, создающего произведение о наших днях»¹.

¹ А. Твардовский, лаконично комментируя в дневнике (запись от 21 июля) эту встречу, почувствовал в речи М. А. Суслова полемику и с принципами «Нового мира», и со своими собственными размышлениями о том, что «актуальность», «идейность», «важность темы» не оправдывают художественную беспомощность произведения:

«Водосвятие в Семеновском. <...> Бесстыдство Соболевых и т. п.— Шолохов, провозглашающий тост за руководи-

С тостами во время обеда выступили Л. И. Брежнев, Ф. Р. Козлов, А. И. Микоян, Е. А. Фурцева, А. Б. Аристов. Ответные здравницы произнесли президент АН СССР А. Н. Несмеянов, М. А. Шолохов, К. А. Федин, Л. С. Соболев, С. В. Герасимов, Н. П. Охлопков, С. Ф. Бондарчук, М. Ф. Рыльский, Д. Д. Шостакович, А. Е. Корнейчук, П. У. Бровка, К. И. Сатпаев, Ш. Р. Рашидов, И. В. Абашидзе, В. А. Серов.

«В течение всего обеда,— как сказано в информационном сообщении,— под шатром царила обстановка непринужденности и веселья. Речи ораторов перемежались с выступлениями артистов. Юная ученица великой Галины Улановой — Катя Максимова вызвала бурю аплодисментов своим искусством. <...> Белла Руденко очаровала слушателей свежим, полным обаяния голосом. Участники встречи замерли, слушая могучую, выразительную игру Святослава Рихтера. Величавую скрипку Ойстраха сменяют задорные голоса уральских певцов. <...>

С вполне понятным нетерпением ожидали собравшиеся выступления Никиты Сергеевича Хрущева. Остроумно, с юмором, с яркими развернутыми образами, просто и живо говорил Никита Сергеевич».

Из речи Н. С. Хрущева: «Некоторые товарищи в своих выступлениях напоминали о нашей встрече здесь, которая состоялась три года назад.

Вы помните, какая тогда была погода — сверкали молнии, гремел гром и шел проливной дождь. Говоря об этом, товарищи, вероятно, имели в виду, что молнии сверкали и гром гремел не только в небе. Это действительно было так. Тогда между нами шел большой, откровенный и, что скрывать, острый разговор по самым насущным вопросам развития литературы и искусства.

И это хорошо, что молния сверкала. Она ярко осветила все углы и закоулки, которых боялись пугливые люди. Прогремивший гром помог иным тугоухим очнуться, увидеть и понять те новые замечательные изменения, которые произошли в жизни нашей страны после XX съезда КПСС. <...>

А в то время ведь встречались и такие люди, которые не понимали значения проводимых партией мероприятий. <...> Мы вынуждены были сказать таким людям открыто и в острых выражениях об их ошибках. <...> Может быть, это прозвучало грубовато, но, по-моему, лучше человека немножко за ухо потянуть от пропасти, чем дать ему свалиться туда.

<...> Могут спросить, по какому, собственно, праву мы так

лей партии и правительства. Речь Сулова «в части критики» («это не значит» как раз и значит), открывающая путь Панферову. Адрес — «Новый мир» (*Знамя*, 1989, № 9, с. 188—189).

ставим и решаем вопросы? На это надо ответить: по праву руководства. Если партия, народ поставили тебя у руля руководства, то ты должен быть на уровне своего положения, делать все для того, чтобы обеспечить проведение в жизнь политики партии, оправдать доверие, которое тебе оказано партией, народом.

<...> Мы, в Президиуме ЦК, очень довольны положением, которое сейчас сложилось в партии и в стране. Очень хорошее положение!»

19 июля.

В «ЛГ» речь М. А. Сулова «За подлинно высокое искусство коммунизма!», а также отклики Н. Погодина, В. Катаева, М. Турсунзаде, П. Соколова-Скала, М. Исаковского, М. Бажана, М. Шагинян, Вл. Солоухина на встречу руководителей партии и правительства с деятелями науки и культуры.

21 июля.

В «ЛГ» отклики А. Прокофьева, К. Сейтлиева и А. Салынского на встречу 17 июля.

23 июля.

В «ЛГ» статья В. Ермилова «Большой день», где, в частности, сказано: «Большой день 17 июля 1960 года — свидетельство высокого умения нашей партии, нашего правительства, всего нашего общества стимулировать деятельность художников, вдохновлять их на создание новых эстетических ценностей. Это — день великого единения во имя новых и новых успехов литературы, искусства, науки, во имя коммунизма!»

28 июля.

В «ЛГ» отклики М. Ибрагимова, Э. Топчяна, К. Крапивы, М. Алигер под рубрикой «Служим народу, служим партии!».

Июль.

Арестован Александр Гинзбург, издатель машинописного журнала «Синтаксис».

АВГУСТ

13 августа.

В «ЛГ» под рубрикой «Молодые силы» стихотворение Ю. Мориц «В Арктике» и отрывок из повести В. Максимова «Жив человек».

17 августа.

В Колонном зале Дома союзов начался открытый судебный процесс по делу гражданина США летчика-шпиона Френсиса Пауэrsa.

19 августа.

Военная коллегия Верховного суда СССР, признав Пауэrsa виновным в шпионаже, приговорила его к 10 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

В 1962 году по инициативе американского юриста Donovan Пауэрс был обменен на полковника Р. Абеля, советского разведчика, осужденного в США в 1957 году к 30 годам каторжной тюрьмы. (*АиФ*, 1989, № 17).

27 августа.

В «ЛГ» статья А. Аникста «Классиками становятся только новаторы», завершающаяся призывом:

«Шире дорогу новому, свежему, смелому искусству, достойному нашего времени! Не надо бояться «недоступности». На наших глазах произошло несколько метаморфоз эстетических вкусов (Маяковский, Шостакович). Мы говорим: нам нужна своя классика. Но классиками становятся не те, кто подражает классикам. Классиками становятся только новаторы».

Журналы в августе.

В «НМ» (№ 8) «Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга (окончание первой книги — № 10) и рассказ В. Каверина «Кусок стекла».

С Е Н Т Я Б Р Ъ

9 сентября.

Н. С. Хрущев отбыл в Нью-Йорк на XV сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

По мнению Р. А. Медведева, «появление Хрущева в США было для американского правительства нежелательным, ведь Эйзенхауэр оскорбился отменой своего визита в СССР. Даже Япония, куда американский президент намеревался прибыть после поездки в СССР, предложила Эйзенхауэру отложить его визит из-за массовых протестов левых партий» (*ДН*, 1989, № 8, с. 182).

10 сентября.

Умер Федор Иванович Панферов (род. в 1896 г.).

13 сентября.

В «ЛГ» подборка стихов А. Вознесенского.

14 сентября.

Президиум правления МО СП РСФСР посмертно принял в члены Союза писателей СССР поэтов П. Когана, Н. Отраду, М. Кульчицкого, Н. Майорова, погибших в годы финской и Отечественной войн.

17 сентября.

В «ЛГ» статья В. Аксенова «Принцы, нищие духом» — резкое осуждение стилиг и фарцовщиков. Статья завершается словами: «Вы не динозавры, ребята! вспомните, что вы современные советские люди, поднимите головы в небо. Неужели вы не увидите там ничего, кроме неоновой вывески ресторана?»

21 сентября.

Умер Самуил Залманович Галкин (род. в 1897 г.).

23 сентября.

Н. С. Хрущев выступил на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН с докладом «Свободу и независимость всем колониальным народам. Решить проблему всеобщего разоружения».

24 сентября.

В «ЛГ» рассказ В. Аксенова «С утра до темноты».

До 29 сентября.

В Союз писателей СССР приняты Новелла Матвеева, Юлиан Семенов, Андрей Вознесенский и др.

30 сентября.

Н. С. Хрущев выступил на Генеральной Ассамблее ООН с речью о восстановлении законных прав КНР в ООН.

В мемуарах «Те десять лет» А. Аджубей рассказывает об эпизоде, о котором, по его словам, «ходило немало толков — от умилительных: «Вот это да, знай наших» — до презрительных: «Подумайте, стучал ботинком по столу, да где, в Организации Объединенных Наций! Позор! Что подумали о нас?». Но ведь это не противоречило протокольному порядку заседания. Хототали многие делегаты сессии ООН, а Генеральный секретарь Хаммаршельд не сделал Хрущеву замечания, хотя жестко контролировал соблюдение всех основных правил поведения в соответствии с Уставом.

Все началось, собственно, за день до памятного события. Предстояло обсуждение так называемого «венгерского вопроса». Во время завтрака в советской миссии Хрущеву сообщили о повестке дня, сказали, что предупредят, когда в знак протеста надо будет покинуть зал. Хрущев как бы не понял, о чем ему говорят. А после разъяснений удивился: «Покинуть зал, когда наших друзей поносит черт-те кто, да еще отказаться от права на обструкцию». <...>

И вот председательствующий объявил о рассмотрении «венгерского вопроса». Советская делегация не покинула зал. Разнесся шепот удивления: «Советские не ушли». И тут началось. Хрущев непрерывно (но в соответствии с процедурными правилами и регламентом) вносил запросы, требовал разъяснений, уточнений, требовал, чтобы ораторы предъявили мандаты делегаций и прочее. Было уже не до «венгерского вопроса», становилось ясно, что на этот раз обсуждение проваливали иным, более «громким» способом. Все члены нашей делегации в соответствии с темпераментом колотили по откидным столикам перед креслами, их поддерживали многие другие делегации. Как на грех с руки Хрущева соскочили часы. Он начал искать их под столом, живот мешал ему, он чертыхался, и тут рука его наткнулась на ботинок...» (*Знамя, 1988, № 6, с. 120*).

Иначе оценивает поведение Н. С. Хрущева в ООН Р. А. Медведев, подчеркивая, что «несколько раз Хрущев устраивал на заседаниях Ассамблеи обструкции, начиная вместе с делегатами от социалистических стран стучать кулаком по пюпитру. В историю ООН вошел случай, когда Хрущев, довольный выступлением дипломата одной из западных стран, снял ботинок и начал колотить им по столу, прервав заседание ООН. Председатель Генеральной Ассамблеи растерянно глядел по сторонам, не зная, как поступить. <...> Хотя и в прежние годы прения в ООН не отличались особой вежливостью, советская делегация была оштрафована за нарушение порядка на 10 000 долларов. <...> Впрочем, многим американцам Хрущев понравился и на этот раз» (*ДН, 1989, № 8, с. 183*).

Журналы в сентябре.

В «НМ» (№ 9) повесть Н. Дубова «Жесткая проба» (окончание — № 10).

В «Юности» (№ 10) повесть А. Рыбакова «Приключения Кроша».

ОКТАБРЬ

1 октября.

В «ЛГ» глава из повести В. Некрасова «Кира Георгиевна».

5 октября.

Выступая на общемосковском собрании писателей, Л. Соболев, в частности, сказал: «Мы, писатели, должны брать за образец поведение и действия Никиты Сергеевича Хрущева. Это образец достоинства советского гражданина».

Собрание направило в Нью-Йорк телеграмму Н. С. Хрущеву, где сказано: «Дорогой Никита Сергеевич! С восхищением следим за Вашей великолепной борьбой. Наши сердца и помыслы с Вами, с великим нашим народом, с Коммунистической партией. Желаем Вам здоровья и новых сил на благо мира, которого так жаждет все человечество и который Вы так мужественно защищаете».

8 октября.

В. Гроссман сообщил в письме жене, что он передал рукопись романа «Жизнь и судьба» в редакцию журнала «Знамя».

В «ЛГ» стихи О. Берггольц, А. Яшина, В. Бокова, Л. Мартынова, В. Корнилова, Н. Коржавина, Б. Слуцкого и статья Ст. Рассадина «Кто ты?» — в целом одобрительный отклик на сборники стихов А. Вознесенского «Парабола» и «Мозаика».

10 октября.

«Задумал,— сообщает в дневнике А. Твардовский,— написать письма в ЦК о необходимости издавать хоть небольшие однотомники поэтов, вкупе не причинивших столько вреда, сколько один Есенин, но принадлежащих нашей поэзии,— Гумилева, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, может быть, Ходасевича»¹.

14 октября.

Н. С. Хрущев вернулся из Нью-Йорка в Москву.

29 октября.

В «ЛГ» очерк Ю. Казакова «У Белого моря», стихи А. Ахматовой «Из новой книги».

¹ «Неизвестно,— комментирует эту запись М. И. Твардовская,— было ли письмо в ЦК, но официальная записка с предложением издать в ближайшее время сочинения А. Ахматовой, М. Цветаевой, Н. Гумилева, Б. Пастернака была направлена Твардовским в Гослитиздат (1960)» (*Знамя*, 1989, № 9, с. 203).

Здесь же «Открытое письмо К. Г. Паустовскому» М. Рыльского, который утверждает, что Паустовский в повести «Начало неведомого века» позволил себе, «основываясь исключительно на зыбких воспоминаниях детства и «туманной юности» высказывания о деятелях украинской культуры и о языке украинского народа, которые иначе, как оскорбление, не могут быть восприняты».

Журналы в октябре.

В «Октябре» (№ 10) повесть К. Паустовского «Бросок на юг». В «Юности» (№ 10) рассказ С. Антонова «Порожний рейс».

Н О Я Б Р Ъ

До 3 ноября.

На Новодевичьем кладбище в Москве был торжественно захоронен прах Велимира Хлебникова, перенесенный с кладбища деревни Ручьи Новгородской области. Траурный митинг открыл Б. Слуцкий. Со словом о поэте выступили Вс. Иванов, А. Марков, В. Катанян, профессор Н. Степанов, художник А. Свешников.

3 ноября.

В «ЛГ» «Ответ М. Т. Рыльскому» К. Паустовского, где, в частности, сказано: «<...> Я считаю, что Ваше письмо в гораздо большей степени факт морального порядка, чем литературное выступление. <...> Вместо живого обмена мыслями и взаимного понимания, как это и должно быть между писателями, Вы решили поссорить меня с украинским читателем. Мне почему-то кажется, что это Вам не удастся. Я же надеюсь, что в будущем я еще напишу о пленительной и великой стране — Украине и ее народе со всей силой, на какую способен».

10 ноября.

В Московском городском суде начался процесс по обвинению Ивинской Ольги Всеволодовны «в том, что будучи близким человеком исключенного из Союза писателей Бориса Леонидовича Пастернака, автора не допущенного к опубликованию в СССР «Доктора Живаго», содействовала нелегальной передаче рукописи этого романа миланскому (Италия) издателю Джанджакомо Фельтринелли, а затем в получении от последнего денег (гонораров за издание романа), доставляемых из-за рубежа контрабандным путем» (Москва, 1988, № 10).

10 ноября — 1 декабря.

В Москве Совещание коммунистических и рабочих партий. Присутствуют представители 81 партии, но нет делегации Союза коммунистов Югославии.

По сведениям Р. А. Медведева, «делегация КПК с самого начала выступила с рядом критических замечаний по проблемам стратегии и тактики коммунистического движения. Эти замечания не поддержали другие компартии, и, оказавшись в изоляции, китайцы, возглавляемые Лю Шаоци и Дэн Сяопином, подписали итоговое Заявление. Сразу же после Совещания Хрущев пригласил китайскую делегацию совершить поездку по СССР. Делегация КПК приняла это предложение и побывала в нескольких городах нашей страны. В беседах с китайскими лидерами Хрущев всячески подчеркивал желание преодолеть разногласия. В печати появилась фотография, на которой мы видим Хрущева, обнимающего Лю Шаоци и Дэн Сяопина. Газета «Женьминь жибао» писала 10 декабря 1960 года: «Нынешний визит председателя Лю Шаоци, без всякого сомнения, еще более укрепил и развил великую дружбу и сплоченность народов Китая и Советского Союза и вписал золотую страницу в историю советско-китайской дружбы».

Такие слова имелись и в приветственной телеграмме Мао Цзэдуна Хрущеву и Брежневу по случаю нового, 1961 года. Но прошло не очень много времени, и разногласия между КПК и КПСС обострились с новой силой» (*ДН, 1989, № 8, с. 185*).

19 ноября.

На торжественном заседании, посвященном 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого, со «Словом о Толстом» выступил Л. Леопов.

29 ноября.

В «ЛГ» отрывок из повести В. Тендрякова «Медвежья охота» («Суд»).

Ноябрь.

В. Осипов выпустил первый номер машинописного журнала «Бумеранг», куда, по его воспоминаниям, вошли «размышления художника Ситникова, критические статьи, стихи Щукина, Шухта, Ковшина, проза Виктора Калугина...» (*Грани, № 80, с. 267*).

ДЕКАБРЬ

1 декабря.

В «ЛГ» статья В. Аксенова «Горячий снег в руках», где, в частности, говорится:

«Да, некие мальчики спекулировали валютой, некоторые мальчики и девочки развратничают «по хатам», помыслы иных ограничиваются личным и весьма экстравагантным торшером. Да, это есть. Многое вызывает тревогу, и говорить об этом надо, но говорить по большому счету, а не сводить проблему к некоему подобию спора «остроконечников» и «тупоконечников» (узкобрючников и широкобрючников).

Хочется не только говорить о современнике, но и говорить с ним. Но как говорить с ним, мне еще не совсем ясно. Откровенно говоря, я боюсь иронической улыбки своего современника, умеющего подмечать высокопарность и ходульность литературского письма».

3 декабря.

В «ЛГ» отрывок из повести Г. Бакланова «Мертвые сраму не имут».

7 декабря.

О. В. Ивинская и ее дочь И. И. Емельянова осуждены Московским городским судом за контрабанду, выразившуюся в получении гонораров за зарубежные издания романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» (*Огонек*, 1988, № 37).

Верховный суд РСФСР по протестам заместителя Генерального прокурора СССР соответственно 31 октября и 2 ноября 1988 года состоявшиеся в отношении Ивинской О. В. и Емельяновой И. И. решения отменил и уголовные дела прекратил за отсутствием в их действиях состава преступления (*Огонек*, 1989, № 3).

8 декабря.

В «ЛГ» подборка стихов Вл. Корнилова.

10 декабря.

В «ЛГ» подборка стихов Ф. Искандера.

19 декабря.

Состоялось заседание редколлегии журнала «Знамя», на котором с участием Г. Маркова, С. Сартакова и С. Щипачева обсуждался вопрос о романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба».

Б. Г а л а н о в. «Свой талант художник употребил на выскива-

ние и раздувание всего дурного и оскорбительного в жизни нашего общества, в облике людей. Это искаженная, антисоветская картина жизни. <...> Роман для публикации неприемлем»¹.

В. Катинюв. «Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба» внеисторичен, антигуманен и в корне ложен по своей концепции. Этот роман льет воду на мельницу антисоветской пропаганды, изощренной в клевете и лжи. Роман В. Гроссмана необходимо отвергнуть».

А. Кривицкий. «Невольно приходит на ум сравнение с романом Б. Пастернака «Доктор Живаго», который я читал и по поводу которого подписывал письмо группы членов редколлегии «Нового мира». И если идти в этом сравнении до конца, то, пожалуй, «Доктор Живаго» — просто вонючая фитюлька с тем вредоносным действием, которое произвел бы роман В. Гроссмана».

Л. Скориню. «Исправить роман невозможно. Здесь можно только отвергать, поэтому я решительно против опубликования романа «Жизнь и судьба».

Б. Сучков. «В целом являясь злобной клеветой на социализм и советскую действительность, он не только не заслуживает публикации, но должен рассматриваться как произведение, враждебное нашей идеологии».

Г. Марков. «Я прочитал роман очень тщательно и очень огорчился, что, как говорится, в недрах Союза писателей возникло такое произведение в духе антисоветских писаний, да еще в такое время — в 1960 году. Я абсолютно подписываюсь под духом и буквой вашего решения».

С. Сартаков. «Все, что написано в этом романе, настолько несправедливо, настолько неверно, настолько искажает сам дух нашего общества, что просто не находишь слов, чтобы сказать, как далеко все, что написано в романе, от действительности. <...> Действительно, иначе, как большой провал, как творческую и идейно-политическую катастрофу писателя, это оценивать невозможно».

С. Щипачев. «Я прочел не весь роман. <...> Но и то, что я

¹ Как указывает А. Турков, «легко сейчас патетически почитать критика Бориса Галанова за его <...> выступление на обсуждении романа «Жизнь и судьба», но хотелось бы все-таки напомнить, что он был одним из немногих сказавших в печати доброе слово о романе «За правое дело» (в журнале «Молодой большевик») и вскоре поплатившихся за это. Давний работник «Правды», Галанов в начале 1953 года, после появления там разносной статьи Михаила Бубеннова об этом же романе, был немедленно уволен. В тот же день ныне покойный Сергей Львов, чья рецензия на книгу была напечатана в «Огоньке», возглавлявшемся тогда еще Алексеем Сурковым, подвергся у себя, в редакции «Литературной газеты», резкой критике и был понижен в должности» (*Литературное обозрение*, 1989, № 6, с. 25).

прочел, произвело на меня совершенно удручающее впечатление. И по той части рукописи, которую я читал, видно, что о печатании этой вещи не может быть и речи. И меня удивляет только, как Василий Семенович сам этого не понимает».

В. Кожевников. «Мы хотели раскрыть глаза Гроссману <...>, чтобы он понял всю глубину своего падения. Мы хотели обратить его внимание на то, что его произведение может принести вред нашему обществу. <...> Ему следует как можно дальше спрятать этот роман от посторонних глаз, принять меры к тому, чтобы он не ходил по рукам».

После заседания В. Кожевников связался по телефону с В. Гроссманом и в присутствии участников обсуждения сообщил ему, что роман отклоняется как произведение идейно порочное. В. Кожевников настойчиво порекомендовал В. Гроссману изъять из обращения экземпляры рукописи своего романа и принять меры к тому, чтобы роман не попал во «вражеские руки» (*Литературная Россия, 1988, 11 ноября*).

27 декабря.

В «ЛГ» сообщение о том, что на соискание Ленинских премий 1961 года поступили роман А. Абсаямова «Огонь неугасимый», роман А. Андреева «Грачи прилетели», пьеса А. Арбузова «Иркутская история», роман Г. Березко «Сильнее атома», роман М. Бубеннова «Орлиная степь», книга стихов С. А. Васильева «Что такое счастье», роман А. Гончара «Человек и оружие», повесть В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев!», роман Г. Маркова «Соль земли», книга стихов А. Прокофьева «Приглашение к путешествию», роман Ш. Рашидова «Сильнее бури», пьеса А. Салынского «Барабанщица», роман К. Симонова «Живые и мертвые», лирические повести Вл. Солоухина «Капля росы», «Владимирские проселки», пьеса А. Софронова «Стряпуха», роман Т. Сыдыкбекова «Среди гор», поэма А. Твардовского «За далью — даль», диалогия А. Чаковского «Год жизни», «Дороги, которые мы выбираем», литературный киносценарий Г. Чухрая, В. Ежова «Баллада о солдате», «Поэма о любви» С. Эралиева.

Журналы в декабре.

В «НМ» (№ 12) повесть А. Бека «Резерв генерала Панфилова».

В «Знамени» (№ 12) повесть Н. Евдокимова «Грешница».

В «Юности» (№ 12) статья Ст. Рассадина «Шестидесятники» — о писателях нового литературного поколения, их героях и их читателях.

1961

7 января.

В «Правде» киноповесть Л. Леонова «Бегство мистера Мак-Кинли» (продолжение — 2, 4, 6, 8, 29 января, 3 и 5 февраля).

С. Смирнов освобожден от обязанностей главного редактора «Литературной газеты». И. о. главного редактора назначен В. Косолапов.

Как вспоминает В. Лакшин, работавший в ту пору заместителем редактора отдела русской литературы, заведующим отделом критики, при В. Косолапове сложился очень своеобразный редакционный коллектив. «Заведовал отделом — сначала Ю. Бондарев, тогда молодой автор двух нашумевших военных повестей, и потом — еще более молодой и пока заметно не отличившийся в критике Ф. Кузнецов. <...>

Состав отдела был занятый: поэзией заведовал Булат Окуджава, чьи песни тогда лишь начинали петь. В критике работали — Б. Сарнов, С. Рассадин, И. Борисова. Но особенно забавно сейчас вспомнить состав наших так называемых «консультантов», получавших небольшую плату за ответы на письма читателей и все время околачивавшихся в редакционных коридорах. Это были: покойные ныне ученики Паустовского — Борис Балтер и Лев Кривенко, а также Владимир Максимов и Наум Коржавин. <...> То и дело забегали к нам «на огонек» Ф. Искандер, В. Аксенов, А. Вознесенский — вся тогдашняя молодая литература» (Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева, рукопись).

В «ЛГ» отрывок из романа Ю. Бондарева «Тишина».

10 января.

В «ЛГ» статья чувашского писателя С. Новикова «Королева полей», завершающаяся выводом: «Думается, довольно уже разговоров о том, надо ли сеять кукурузу на севере, стоит ли использовать квадрат. Сама жизнь решила этот спор! Королева полей завладела нынче огромным пространством в 28 с лишним миллионов гектаров. <...> Идут и идут вести о небывало высоких урожаях этой поистине непревзойденной культуры. Королева полей победоносно шествует по стране, жестоко посрамяв скептиков и маловеров».

Пленум ЦК КПСС принял решение о созыве очередного XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза 17 октября 1961 года,

18 января.

Пленум ЦК КПСС избрал кандидатами в члены Президиума ЦК первого секретаря Оренбургского обкома КПСС Г. И. Воронова и председателя ВЦСПС В. В. Гришнина.

24 января.

В «ЛГ» отрывок из романа Ю. Трифонова «Утоление жажды».

26 января.

В «ЛГ» передовая статья «Маяки жизни — в литературу!».

Из статьи: «Маяками нашей жизни назвал на только что закончившемся Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев передовых людей колхозной деревни. «На эти маяки пужно равняться», — говорил он. Художественное воплощение таких характеров, которые стали бы маяками, на которые следует равняться <...>, — важнейшая задача, пока еще не решенная современной нашей литературой».

Журналы в январе.

В «Знамени» (№ 1) «Чистые пруды» Ю. Нагибина.

В «НМ» (№ 1) вторая книга «Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга (окончание — № 2), повесть В. Войновича «Мы здесь живем».

ФЕВРАЛЬ

7 февраля.

В «ЛГ» отрывок из повести Б. Балтера «До свидания, мальчики!» (с предисловием К. Паустовского).

14 февраля.

Три сотрудника КГБ в присутствии понятых произвели обыски в квартирах, где проживали В. Гроссман и члены его семьи. Изъятию подлежали все экземпляры рукописи романа «Жизнь и судьба», все черновики и подготовительные материалы. Кроме того, у машинисток, перепечатававших рукопись, также изъяли черновики и даже использованную копировальную бумагу. Экземпляры романа были изъяты и у сотрудников редакций журналов «Знамя» и «Новый мир».

18 февраля.

В «ЛГ» передовая статья «Литература и воспитание нового человека», где, в частности, сказано:

«Разнообразны и многолики проявления героизма в современной нам действительности. Задача литературы — чутко улавливать

эти новые проявления героического в характерах и формах, существующих в современной нам жизни, и воплощать их в образах ярких, зримых, художественно убедительных».

18 февраля.

В «ЛГ» сообщение о том, что в Европейское сообщество писателей принят 71 советский писатель.

21 февраля.

В «ЛГ» сообщение о том, что Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства отобрал для дальнейшего обсуждения повесть Ч. Айтматова «Джамгиля», пьесу А. Арбузова «Иркутская история», роман А. Гончара «Человек и оружие», повесть В. Коженикова «Знакомьтесь, Балуюев!», роман Г. Маркова «Соль земли», книгу стихов А. Прокофьева «Приглашение к путешествию», роман Ш. Рашидова «Сильнее бури», пьесу А. Салынского «Барабанщица», роман К. Симонова «Живые и мертвые», лирическую повесть Вл. Солоухина «Капля росы», пьесу А. Софронова «Стряпуха», поэму А. Твардовского «За далью — даль». На обсуждение выдвинут В. Ежов как сценарист кинофильма «Баллада о солдате».

25 февраля.

В «ЛГ» статья В. Тендрякова «Свежий голос — есть!» — сочувственный, хотя и с замечаниями, отклик на повесть В. Войновича «Мы здесь живем».

Журналы в феврале.

В «НМ» (№ 2) пьеса В. Пановой «Проводы белых ночей», рассказ Ч. Айтматова «Верблюжий глаз».

В «Юности» (№ 2) «Реквием» Р. Рождественского.

В «Знамени» (№ 2) повесть В. Конецкого «Завтрашние заботы».

МАРТ

Журналы в марте.

В «Знамени» (№ 3) «Северный дневник» Ю. Казакова (окончание — № 4).

В «НМ» (№ 3) повесть В. Тендрякова «Суд».

А П Р Е Л Ь

8 апреля.

В «ЛГ» статья В. Шкловского «Талантливо» — восторженная оценка книги Ю. Белинкова «Юрий Тынянов».

12 апреля.

На орбиту вокруг Земли выведен первый в мире космический корабль-спутник «Восток», пилотируемый гражданином СССР Ю. А. Гагариным.

14 апреля.

Торжественная встреча летчика-космонавта СССР Ю. А. Гагарина в Москве.

В этот же день на площади Маяковского в Москве разогнан митинг по случаю дня гибели поэта.

Как вспоминает В. Осипов, «вначале была речь, в которой перечислялись жертвы репрессий Сталина. Потом стали выступать поэт за поэтом. Когда дошла очередь до Анатолия Щукина и тот начал читать, толпа подоспевших дружинников взревела: «Бей его!» <...> Мы защищали его, как могли. Людской ком докатился до витрины кинотеатра «Москва», и здесь Щукин был сдан милиционеру. Одновременно был схвачен и я. Нас «закинули» в легковую милицейскую машину. На следующий день судья приговорил Щукина «за чтение антисоветских стихов» к пятнадцати суткам лишения свободы, а меня «за нарушение общественного порядка» и «нецензурную брань» — к десяти суткам. Всю жизнь я — убежденный враг хамья, всю жизнь не устаю повторять, что мат — это пароль плетеев; поэтому меня особенно возмутило клеветническое обвинение» (*Грани, № 80, с. 268—269*).

22 апреля.

Ленинские премии присуждены А. Прокофьеву за книгу стихов «Приглашение к путешествию», М. Стельмаху за трилогию «Хлеб и соль», «Кровь людская — не водица», «Большая родня», А. Твардовскому за поэму «За далью — даль», Ю. Смуулу за арктический путевой дневник «Ледовая книга», В. Ежову за сценарий художественного фильма «Баллада о солдате».

Апрель.

В Гослитиздате выпущена книга А. Ахматовой «Стихотворения (1909—1960)».

В «НМ» (№ 4) повесть В. Липатова «Стрежень» (окончание — № 5).

В «Октябре» (№ 4) повесть Э. Казакевича «Синяя тетрадь».

«К этой вещи,— вспоминает М. Алигер,— Казакевич относился трепетно, и с ней для него было связано уже немало переживаний, вплоть до осложнившихся почти до разрыва отношений с «Новым миром», то есть с Александром Твардовским. Последний, несмотря на близкую дружбу и глубокий интерес к Казакевичу как к писателю, по каким-то своим литературным соображениям отверг эту повесть. «Синей тетрадь» заинтересовался редактор «Октября» Ф. И. Панферов. Однако с публикацией «Синей тетради» все было не так просто, и она по разным причинам несколько раз срывалась. Журнал упорно не отказывался от своего намерения, и после смерти Панферова в конце концов повесть все-таки была напечатана (*Воспоминания о Э. Казакевиче. М., 1979, с. 373*).

Обстоятельства публикации повести Э. Казакевича в «Октябре» проясняет фраза из дневниковой записи А. Твардовского от 11 декабря 1960 года: «Сейчас, ведя речь с несчастным Поликарповым о новой истории с повестью Казакевича, дал понять, что «довольно, больше не могу», но уже наверху сказано, что напрасно он, т. е. я, так этот случай воспринимает и истолковывает» (*Знамя, 1989, № 9, с. 204—205*).

М. И. Твардовская так комментирует эту фразу: «Имеется в виду повесть «Синяя тетрадь», длительное время находившаяся в «Новом мире», который боролся за ограничение купюр и исправлений, истребованных цензурой. В конце концов автору надоело ждать появления своей вещи в печати; он забрал повесть из «Нового мира» и почти сразу опубликовал ее в «Октябре». <...> «Несчастному Поликарпову» А. Т. не преминул высказать негодование по поводу правовых порядков, позволивших Ф. Панферову («Октябрь») сделать то, что не позволялось Твардовскому» (*там же, с. 204*).

М А И

4 мая.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни».

«Правильный закон!» — назвали свой отклик на этот Указ писатели А. Лавров, О. Лаврова, замечая, в частности, что «широкое привлечение общественности к борьбе с туеядцами, спекулянтами

<...> укрепит гражданскую бдительность. Указ, несомненно, сыграет большую роль в уничтожении остатков общественной пассивности, выражаемой в «поговорках» вроде «пусть милиция ловит...». А участие в практическом осуществлении Указа повысит нетерпимость наших людей ко всякого рода частнособственническим, стяжательским настроениям» (ЛГ, 9 мая).

9 мая.

В «ЛГ» баллада Б. Окуджавы «На рассвете».

13 мая.

В «ЛГ» под рубрикой «Посвятить свой талант великому делу борьбы за коммунизм!» отклики В. Кожевникова, И. Сельвинского, Г. Гуляма, В. Каверина, М. Прилежаевой, И. Куприянова на публикацию в журнале «Коммунист» (№ 7) статьи Н. С. Хрущева «К новым успехам литературы и искусства» — сокращенного изложения его выступлений на встрече руководителей партии и правительства с представителями советской интеллигенции 17 июля 1960 года и на приемах в честь писателей и композиторов Российской Федерации.

16 мая.

В «ЛГ» отклики П. Бровки, Л. Никулина, К. Финна, М. Жестева, К. Зелинского, С. Борзенко, А. Хижняка на публикацию статьи Н. С. Хрущева.

18 мая.

В «ЛГ» отчет о встрече писателей с партийным активом Москвы и отклики М. Гусейна, Г. Холопова, Миршакара, Ф. Рокпелниса, Б. Истру на публикацию статьи Н. С. Хрущева.

27 мая.

В «ЛГ» подборка стихов Б. Слуцкого.

Журналы в мае.

В «НМ» (№ 5) рассказ Л. Глебова «Правдоха».

И Ю Н Ъ

3—4 июня.

Встреча Н. С. Хрущева с президентом США Д. Кеннеди в Вене. В совместном Заявлении указано, что руководители двух государств «обменялись мнениями по вопросу об отношениях между СССР и США», «обсудили вопросы о прекращении ядерных испытаний, разо-

ружении и германский вопрос», «согласились поддерживать контакты по всем вопросам, представляющим интерес для наших обеих стран и для всего мира».

«В свете последующих событий можно, однако, утверждать,— пишет Р. А. Медведев,— что Хрущев и Кеннеди не слишком хорошо поняли друг друга. Каждый из них недооценил противника. Лучшее знание пришло не из вежливых бесед в Вене, а в ходе двух крупных международных кризисов: берлинского в 1961 году и кубинского в 1962-м» (*ДН, 1989, № 8, с. 193—194*).

13 июня.

В «ЛГ» статья С. Смоляницкого «С жизнью народной» — восторженный отклик на документальный кинофильм «Наш Никита Сергеевич».

19 июня.

За выдающиеся заслуги в руководстве по созданию и развитию ракетной промышленности, науки и техники и успешном осуществлении первого в мире космического полета советского человека на корабле-спутнике «Восток» звание трижды Героя Социалистического Труда присвоено Первому секретарю ЦК КПСС, Председателю Совета Министров СССР Н. С. Хрущеву, звание дважды Героя — заместителю Председателя Совета Министров СССР Д. Ф. Устинову и президенту Академии наук СССР М. В. Келдышу, звание Героя Социалистического Труда — Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу, секретарю ЦК КПСС Ф. Р. Козлову, заместителю Председателя Совета Министров СССР К. Н. Рудневу, министру СССР В. Д. Калмыкову.

21 июня.

В Большом Кремлевском дворце состоялось собрание, посвященное 20-летию со дня начала Великой Отечественной войны. С речью перед собравшимися выступил Н. С. Хрущев.

24 июня.

В «Правде» стихотворением «Звучат шаги гаванских патрулей...» начата публикация цикла кубинских стихов Евг. Евтушенко («Агрессоры» — 30 июня; «Мигуэль думает про звезды» — 14 июля; «Разговор с МАЗом» и «Королева красоты» — 24 июля; «Стихи о Фиделе», «Интернационал», «Герой Хемингуэя» — 11 сентября).

27 июня.

В «ЛГ» статья Б. Сарнова «Если забыть о «часовой стрелке»...», где, в частности, сказано: «Кое-кому Евгений Евтушенко и Андрей

Вознесенский кажутся наиболее ярким созвездием на небосклоне сегодняшней нашей поэзии. Что ж, это может показаться, если забыть о «часовой стрелке». А забыть о «часовой стрелке» в данном случае — это значит забыть о Блоке, Маяковском, Есенине, Багрицком, Твардовском, Асееве, Тихонове, Светлове, Смелякове...» (окончание статьи — 1 июля).

Умер Мухтар Омарханович Ауэзов (род. в 1897 г.).

Журналы в июне.

В «Знамени» (№ 6) повесть Г. Бакланова «Мертвые сраму не имут».

В «НМ» (№ 6) роман В. Фоменко «Память земли» (окончание первой книги — № 8).

В «Юности» (№ 6) роман В. Аксенова «Звездный билет» (окончание — № 7). В связи с выходом романа появились статьи: В. Панкова «Право на звездный билет» (Литература и жизнь, 25 августа), В. Назаренко «Кстати о «формализме»...» (Звезда, № 9), В. Котова, И. Шевцова «Фальшивый билет. Еще раз о романе В. Аксенова» (ЛиЖ, 6 октября), К. Поздняева «Звездный билет» — «Куда?» (Октябрь, № 10), В. Рослякова «Правдоха» и «модерн» (ЛГ, 16 ноября) и др.

«<...> К моменту выхода,— как вспоминает В. Аксенов,— уже на полный ход шли съемки фильма по роману «Звездный билет». Режиссер Александр Зархи <...> решил идти в ногу со временем, а то и опередить время <...> и сделать сногшибательный фильм о новой советской молодежи. Роман был закуплен прямо на корню, то есть еще в рукописи, киностудией «Мосфильм».

И вот вообразите, милостивые государи: мы ведем съемку на таллинском пляже, молодой автор окружен персонажами его книги во плоти, то есть актерами Олегом Далем, Сашей Збруевым, Андреем Мироновым и Люсей Марченко, они называют его «папой», говорят фразы из только что написанной книги и ведут себя, надо сказать, полностью в стиле своих персонажей, когда вдруг, и день за днем все больше, пляж начинает покрываться желто-оранжевыми корками журнала «Юность» — вышел июльский номер с романом. Началось несколько призрачное существование» (Стрелец, 1985, № 10, с. 31).

И Ю Л Ь

8 июля,

В «ЛГ» отрывок из романа Д. Гранина «Иду на грозу».

17 июля.

Умерла Ольга Дмитриевна Форш (род. в 1873 г.).

19 июля.

В Турине (Италия) закончился конгресс Европейского сообщества писателей, посвященный теме «Отражение Рисорджименто в литературах Европы». В работе конгресса приняли участие И. Абашидзе, М. Бажан, Э. Межелайтис, К. Паустовский, А. Чаковский.

24 июля.

Большого приза Второго Московского международного кинофестиваля удостоены фильмы «Голый остров» К. Синдо (Япония) и «Чистое небо» Г. Чухрая (СССР).

27 июля.

В «ЛГ» статья Ф. Кузнецова «Четвертое поколение. Заметки о прозе молодых» — положительная оценка произведений В. Войновича, Б. Сергуненкова, В. Аксенова, Э. Ставского, А. Приставкина, В. Липатова, Г. Горышина. Общий вывод:

«Пока что развитие таланта, уровень литературного мастерства в молодой прозе опережает духовное, гражданское, умственное развитие ее.

Но, бесспорно, литературная зрелость будет завоевана, и тогда сегодняшняя молодая проза сможет дать многое <...>, вступит в полосу больших литературных открытий, подлинных художественных удач.

Будем верить в это».

22 июля.

В. Косолапов из исполняющих обязанности главного редактора «Литературной газеты» переведен на должность ее главного редактора.

29 июля.

В «ЛГ» статья Ю. Бондарева «Поиски семнадцатилетних» — положительная, хотя и с оговорками, рецензия на «Звездный билет» В. Аксенова.

В «ЛГ» подборка стихов А. Вознесенского.

30 июля.

В «Правде» опубликован проект Программы КПСС, где, в частности, говорится:

«В ближайшее десятилетие (1961—1970) Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — США; значительно поднимется материальное благосостояние и культурно-технический уровень трудящихся, всем будет обеспечен материальный достаток; все колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства; в основном будут удовлетворены потребности советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет тяжелый физический труд; СССР станет страной самого короткого рабочего дня.

Во втором десятилетии (1971—1980 годы) будет создана материально-техническая база коммунизма, для всего населения обеспечено изобилие материальных и культурных благ; советское общество вплотную подойдет к осуществлению принципа распределения по потребностям, произойдет постепенный переход к единой общественной собственности. Таким образом, в СССР будет в основном построено коммунистическое общество. Полностью построение коммунистического общества завершится в последующий период. <...>

Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Как вспоминает участвовавший в разработке проекта Программы Ф. Бурлацкий, «самые большие споры вызвало предложение включить в Программу цифровые материалы об экономическом развитии страны и ходе экономического соревнования на мировой арене. С этим предложением приехал на одно из заседаний крупный хозяйственник А. Ф. Засядько. Насколько я припоминаю, члены рабочей группы — экономисты и не экономисты, в том числе и я — решительно выступили против этого предложения. <...> Выкладки о темпах развития нашей экономики и экономики США фактически были взяты с потолка — они выражали желаемое, а не действительное.

Однако сам Засядько легко положил конец разгоревшейся дискуссии. Он открыл первую страницу книжки в синем переплете с машинописным текстом примерно на восьмидесяти страницах и показал надпись «включить в Программу» и знакомую подпись Первого. Так в Программу партии, вопреки мнению подавляющего большинства участников — и не только в рамках рабочей группы, но и на политическом уровне,—

были включены цифровые выкладки о том, как мы в 80-х годах догоним и перегоним Соединенные Штаты. Порывы были высокие, но, как говорилось в аппарате, кроме амбиций нужна еще и амуниция.

Правда, надежды на ускоренное экономическое развитие связывались с осуществлением хозяйственной и управленческой реформ, которые не состоялись. Кроме того, в ту пору даже крупные специалисты-экономисты не могли по-настоящему предвидеть бурного развития научно-технической революции» (НМ, 1988, № 10, с. 193—194).

Журналы в июле.

В «Знамени» (№ 7) повесть Б. Бедного «Девчата» (окончание — № 9).

В «НМ» (№ 7) рассказ «При свете дня» Э. Казакевича, повесть «Большая руда» Г. Владимова, «Сухое лето. 1960» Е. Дороша.

В «Октябре» (№ 7) «Ни дня без строчки» Ю. Олеси (окончание — № 8).

В «Звезде» (№ 7) роман «Секретарь обкома» В. Кочетова (окончание — № 9).

А В Г У С Т

1 августа.

В «ЛГ» передовая статья «Великая программа народного счастья», посвященные партии стихи Н. Грибачева, М. Упеника, А. Сагияна, статьи В. Катаева «Первое впечатление», Р. Рза «Поэзия борьбы и созидания», С. Васильева «Источник радости», А. Прокофьева «Всепобеждающая правда», В. Большака «Герои нашего времени» и другие отклики на публикацию проекта Программы КПСС.

3 августа.

В «ЛГ» передовая «Партия заботится!» и отклики Н. Атарова, Л. Кассиля, А. Приставкина, К. Чуковского, Ж. Гривы, А. Дехоти, И. Нонешвили, В. Дубовки на публикацию проекта Программы КПСС.

7 августа.

В выступлении по советскому телевидению Н. С. Хрущев, упомянув об угрозах западных деятелей «прорываться силой» в Берлин, заявил, что ввиду опасности сложившегося положения Советскому Союзу, возможно, придется увеличить численный состав ар-

ми на западных границах СССР и призвать часть резервистов, чтобы обеспечить полный комплект советских дивизий.

«Выступление Хрущева,— указывает Р. А. Медведев,— обострило общее положение в Европе; в вооруженных силах НАТО объявили повышенную боеготовность. Тем временем в Москве собралось совещание представителей стран Варшавского Договора, призвавшее ГДР установить на границах республики «порядок, предотвращающий подрывную деятельность против стран социалистического лагеря». 12 августа Совет Министров ГДР постановил ввести строгий контроль на границах республики» (*ДН, 1989, № 8, с. 195*).

13 августа.

В ночь на 13 августа по решению партийно-правительственного руководства ГДР и СССР воздвигнута стена, разделившая Восточный и Западный Берлин. Граница между ГДР и ФРГ была закрыта, все пути сообщения через нее взяты под строгий контроль.

Как рассказывает О. Битов, «еще накануне, в субботу, можно было запросто отправиться из одной половины Берлина в другую на метро, на машине, велосипеде, а то и пешком по любой из восьми десятков подходящих улиц. <...> В иные и особенно праздничные дни границу в обоих направлениях пересекали до полумиллиона человек.

И вдруг в воскресенье утром — ферботен. Запрещено» (*ЛГ, 1989, 23 августа*).

По свидетельству Р. А. Медведева, «принятые в ГДР меры вызвали бурные протесты на Западе. Американские парашютно-десантные войска перебрасывались в Европу. В армию ФРГ призывали резервистов, немецкие войска подошли ближе к границе. Вице-президент США Л. Джонсон вылетел в Западный Берлин, где было сделано несколько попыток разрушить воздвигаемую стену, которая тут же восстанавливалась. В Берлине с одной стороны воздвигнутой стены стояли американские, а с другой — советские танки. <...>

В конце концов <...> западным странам пришлось принять к сведению существование не только строгого пограничного контроля на границах ГДР, но и берлинской стены, так как эти меры проводились в пределах компетенции ГДР и не нарушили связей Западного Берлина с Западом» (*ДН, 1989, № 8, с. 195*).

24 августа.

В «ЛГ» подборка стихов Евг. Евтушенко.

31 августа.

Вышел в свет первый номер литературно-художественного журнала на еврейском языке «Советиш геймланд» («Советская родина»). Главный редактор — А. Вергелис.

Журналы в августе.

В «Знамени» (№ 8) воспоминания В. Шкловского «Жили-были...» (окончание — № 11).

В «НМ» (№ 8) роман К. Феина «Костер» (окончание — № 12).

Лето.

«Я вспоминаю,— рассказывал позднее академик А. Д. Сахаров,— лето 1961 года, встречу ученых-атомщиков с Председателем Совета Министров Хрущевым. Выясняется, что нужно готовиться к серии испытаний, которая должна поддержать новую политику СССР в германском вопросе (Берлинскую стену). Я пишу записку Хрущеву: «Возобновление испытаний после трехлетнего моратория¹ подорвет переговоры о прекращении испытаний и разоружении, приведет к новому туру гонки вооружений, в особенности в области межконтинентальных ракет и противоракетной обороны»,— и передаю ее по рядам. Хрущев кладет записку в нагрудный карман и приглашает присутствующих отобедать. За накрытым столом он произносит импровизированную речь, памятную мне по своей откровенности, отражающей не только его личную позицию. Он говорит примерно следующее:

«Сахаров хороший ученый, но предоставьте нам, специалистам этого хитрого дела, делать внешнюю политику. Только сила, только дезориентация врага. Мы не можем сказать вслух, что ведем политику с позиции силы, но это должно быть так. Я был бы слюняй, а не Председатель Совета Министров, если бы слушался таких людей, как Сахаров» (*цит. по: ДН, № 8, с. 205—206*).

С Е Н Т Я Б Р Ъ

19 сентября.

В «ЛГ» стихи Евг. Евтушенко «На митинге в Гаване», «Американское кладбище на Кубе» и «Бабий Яр».

¹ «Советское правительство еще в 1958 году объявило об одностороннем прекращении всех испытаний ядерного оружия и заявило, что не возобновит их, если США и Англия тоже прекратят взрывы. Эти страны последовали примеру СССР, который, однако, первый нарушил добровольный мораторий в 1961 году, в разгар берлинского кризиса, когда в СССР завершилось создание нескольких особо мощных, еще не испытанных ядерных зарядов» (*ДН, 1989, № 8, с. 205*).

Как рассказывает Евг. Евтушенко в своей «Преждевременной автобиографии», «на следующий день все номера «Литературной газеты» были распроданы в киосках молниеносно. Уже в первый день я получил множество телеграмм от незнакомых мне людей. Они поздравляли меня от всего сердца. Но радовались не все.

Через несколько дней газета «Литература и жизнь» опубликовала стихи Алексея Маркова, написанные в ответ на «Бабий Яр», где я назывался пигмеем, забывшим про свой народ, а еще через три дня та же газета в обширной статье обвинила меня в том, что я попираю ленинскую интернациональную политику и возбуждаю вражду между народами¹. И стихи А. Маркова, и статья вызвали огромную волну общественного возмущения. Я был завален письмами, идущими со всей страны» (Неделя, 1989, № 19).

26 сентября.

В «ЛГ» подборка стихов Г. Айги (перевод с чувашского Б. Ахмадулиной) с предисловием М. Светлова

Журналы в сентябре.

В «НМ» (№ 9) третья книга «Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга (окончание — № 11).

В «Знамени» (№ 9) «Рассказы» Ю. Казакова.

О К Т Я Б Р Ь

5 октября.

В «ЛГ» статья Б. Слуцкого «Огниво высекает огонь» — о «первой и единственной покуда книге стихов Варлама Тихоновича Шаламова, итожащей более чем тридцатилетние труды талантливого поэта».

«Я — пишет Б. Слуцкий, — заканчиваю эту статью рекламным зазывом: требуйте в книжных магазинах книгу Шаламова «Огниво». Это хорошая книга.

Требуйте! А когда в магазинах и библиотеках вам ответят отказом — требуйте у издательства доиздания этой и многих других недоизданных книг».

17 октября.

В Кремлевском Дворце съездов начал свою работу XXII съезд КПСС. С Отчетом Центрального Комитета КПСС выступил Н. С. Хрущев, который, в частности, сказал:

¹ Имеются в виду стихотворение А. Маркова «Мой ответ» («Какой ты настоящий русский...»), напечатанное в «ЛиЖ» от 24 сентября 1961 года, и статья Д. Старикова «Об одном стихотворении» (там же, 27 сентября).

«Накануне XX съезда вопрос стоял так: или партия открыто, по-ленински осудит допущенные в период культа личности И. В. Сталина ошибки и извращения, отвергнет те методы партийного и государственного руководства, которые стали тормозом для движения вперед, или в партии возьмут верх силы, цепляющиеся за старое, сопротивляющееся всему новому, творческому. Именно так остро был поставлен вопрос. <...>

Ленинский курс, выраженный XX съездом, пришлось в первое время проводить в условиях ожесточенного сопротивления со стороны антипартийных элементов, рьяных приверженцев методов и порядков, господствовавших при культе личности, ревизионистов и догматиков. Против ленинского курса партии выступила фракционная антипартийная группа, в которую входили Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шепилов».

«Борьба с антипартийной группой,— подчеркивает Н. С. Хрущев,— была принципиальной, острой политической борьбой, борьбой нового со старым. Речь шла о том, будет ли наша партия и впредь проводить ленинскую политику, намеченную XX съездом, или вновь возродятся методы периода культа личности, осужденные всей партией»¹.

Н. С. Хрущев подверг уничтожающей критике Сталина и его ближайшее окружение, привел многочисленные примеры нарушения социалистической законности в 30—40-е годы, рассказал о судьбах безвинно репрессированных коммунистов, отметил, что курс XX съезда, вызвав «горячее одобрение международного коммунистического движения», вместе с тем, «как потом оказалось, не встретил должного

¹ Комментарий Р. А. Медведева: «XXII съезд являлся не внеочередным, а отчетным. Было невозможно поэтому избежать в Отчетном докладе разговора об июньском Пленуме 1957 года. Достоверно известно, однако, что Президиум ЦК рекомендовал лишь кратко упомянуть о его событиях. <...>

И вдруг неожиданно для членов ЦК КПСС <...> Хрущев впервые назвал полный состав так называемой антипартийной группы, прямо заявив, что эти люди «несут персональную ответственность за многие массовые репрессии в отношении партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских кадров и за другие явления подобного рода, имевшие место в период культа личности».

Подобный поворот в докладе Хрущева вызвал в кулуарах съезда оживленное обсуждение. Некоторые из членов ЦК и Президиума ЦК не скрывали раздражения, но уклониться от обсуждения поднятых Хрущевым вопросов стало уже невозможным. И, когда начались препня, их течение пошло не по тому руслу, которое намечалось заранее» (ДН, 1989, № 8, с. 196).

понимания у руководителей Албанской партии труда, больше того, они повели борьбу против этого курса».

С Отчетным докладом Центральной Ревизионной Комиссии КПСС выступил на съезде ее председатель А. Ф. Горкин.

18 октября.

На XXII съезде КПСС с докладом «О Программе Коммунистической партии Советского Союза» выступил Н. С. Хрущев.

19 октября.

Открывая на XXII съезде КПСС прения по докладам, первый секретарь МК КПСС П. Н. Демичев, в частности, сказал:

«Партия всегда подчеркивает, что политическое и эстетическое воспитание народа идет в процессе непримиримой борьбы с тлетворным буржуазным влиянием. На фоне успехов нашей литературы и искусства, богатой духовной жизни тем более нетерпимо, что отдельные незрелые писатели, художники, композиторы, как правило из молодежи, подвержены такой болезни, как лженоваторство, формализм в искусстве. Правда, их ничтожно мало, но если не пресечь болезнь в зародыше, она может стать опасной».

Выступая на съезде, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев подчеркнул, что «успехи советского народа обеспечены благодаря правильному руководству ленинского Центрального Комитета нашей партии во главе с выдающимся государственным и партийным деятелем Н. С. Хрущевым».

20 октября.

Министр культуры СССР Е. А. Фурцева, выступая на XXII съезде КПСС, резко осудила действия «раскольников» Молотова, Кагановича, Маленкова и др., воскликнув: «<...> Какое счастье для всей нашей партии, какое великое счастье для нашего советского народа, что в тот момент Центральный Комитет партии во главе с нашим дорогим Никитой Сергеевичем оказался на высоте своего положения и сумел разгромить антипартийную группу. Новый курс нашей партии победил!»

Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР А. И. Микоян в своем выступлении особо отметил, что «борьба против консервативно-догматической группы велась методами внутрипартийной демократии, без применения государственных репрессий, как это было в условиях культа личности. Победа же антипартийной группы привела бы к расправе со всеми активными сторонниками XX съезда методами, которые партия никогда не может забыть».

Резкое обострение «Берлинского кризиса». Позднейшую оценку журналиста О. Битова: «Съезд гремел овациями и

здравицами; а мир, неведомо для большинства делегатов, висел на волоске. Из-за того, быть ли Берлину единым или разьединенным. Быть ли Стене» (ЛГ, 1989, 23 августа) — подтверждают воспоминания А. Аджубея:

«<...> в Западном Берлине очень беспокойно. На Фридрихштрассе, у контрольно-пропускного пункта, пушка в пушку стоят американские и советские танки с работающими моторами. <...> Как зыбка, как малоуправляема ситуация, когда от экипажей советских и американских танков зависит судьба миллионов людей. <...>

Шло очередное заседание съезда. Кажется, 20 или 21 октября в комнату президиума пришел маршал И. С. Конев и попросил вызвать Никиту Сергеевича для срочного сообщения. Иван Степанович доложил, что моторы американских танков вот уже полчаса работают на повышенных оборотах. Маршал Конев, человек, знающий, что такое война, нервничал. Хрущев задумался. «Отведите наши танки на соседнюю улицу, но пусть там их моторы работают на таких же повышенных оборотах. Прибавьте шуму и грохоту от танков через радиусилители». Конев медлил: «Никита Сергеевич, они могут рвануться вперед!» — «Не думаю, — ответил Хрущев, — если, конечно, злоба не замутила окончательно разум американских военных». Обратившись к помощникам, Хрущев попросил записать это распоряжение и точно проставить время. Поручил редакторам «Правды» и «Известий» подготовить соответствующее сообщение.

Через некоторое время Иван Степанович сообщил, что американские танки ушли. Ушли и наши. Никакого сообщения в газетах не появилось» (Знамя, 1988, № 7, с. 116).

23 октября.

Председатель Совета Министров РСФСР Д. С. Полянский, выступая на съезде, подчеркнул, что «за последние годы самые важные события в жизни страны, партии, и в том числе разгром антипартийной группы, неразрывно связаны с именем верного ленинца, выдающегося политического деятеля современности, с именем Никиты Сергеевича Хрущева».

24 октября.

По словам выступившего на съезде первого секретаря ЦК ВЛКСМ С. П. Павлова, советская молодежь «не соглашается и не принимает такие произведения, в которых преимущественное внимание отводится образам и поступкам небольшой, жалкой группы «золотушной молодежи». Смакование походов моральных уродов — дело легкое, но никак не благородное. И не надо делать это под

флагом борьбы за воспитание человека. Очень жаль, что эти стран-ные тенденции стали наиболее отчетливо проявляться в таком ува-жаемом журнале Союза писателей, как «Юность». Кстати, в редкол-легии этого журнала нет ни одного педагога или комсомольского работника. Нам непонятна и та поспешность, с какой некоторые ки-нематографисты взялись за экранизацию опубликованных в «Юности» повести «Мишка, Серега и я» или романа «Звездный билет». Мы го-ворим об этом потому, что молодежь нуждается прежде всего в про-изведениях, которые звали бы ее к действию, к творческому труду, к подвигам, воспитывали готовность бороться за идеалы коммунизма».

Бурные аплодисменты, смех, оживление в зале вызвала речь М. А. Шолохова, который высоко оценил партийное братство («Как подумаешь, что преодолела, что свершила наша могучая партия и что еще предстоит ей свершить, честное слово, даже комок под-катывается к горлу: до чего же все-таки здорово!»), рассказал о сво-ей дружбе с Н. С. Хрущевым, поддержал Е. А. Фурцеву («Всем взяла наша дорогая Екатерина Алексеевна: и дело свое отлично по-ставила, потому что знает и любит его, и внешностью обаятельна, и в обхождении с деятелями культуры то же самое обаятельна»).

Говоря о высказанном Е. А. Фурцевой пожелании приблизить писателей, в особенности молодых, к жизни, направить их «в глубин-ку», М. А. Шолохов заметил: «Молодым творцам «непреходящих цен-ностей», тем, которые живут в провинции, не запретишь въезд ни в Москву, ни в другие крупные центры. Они слышат, с каким триумфом проходят в Москве литературные вечера наших пынешних модных, будуарных поэтов, непременно с конным нарядом милиции и с ис-терическими криками молодых стилижных кликуш. Им тоже хочется покрасоваться перед нетребовательными девицами в невероятно уз-ких штанишках и в неоправданно широкоплечих сюртуках. Им тоже хочется вкусить от плодов славы. Вот они и прут в Москву, как пра-воверные в Мекку. И никакими уговорами и карантинами их не удержишь. Как говорится, «идут и едут, ползут и лезут», и своей цели достигают».

Заведующий Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС по со-юзным республикам Л. Ф. Ильичев значительную часть своего вы-ступления посвятил анализу грубейших теоретических ошибок Моло-това, Кагановича, других «фракционеров», заявив, что «в нашей пар-тии ликвидирована почва для возникновения культа личности» и «было бы неправильно и вредно смешивать авторитет руководителей с культом личности».

Многочисленные подробности нарушений социалистической за-конности в годы культа личности Сталина привел в своем выступле-нии председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Н. М. Шверник, подчеркнувший, что «за последние годы в КПК не

поступают дела, по которым бы коммунисты привлекались к партийной ответственности по политическим обвинениям».

25 октября.

«От имени ветеранов революции» член КПСС с 1896 года Ф. Н. Петров заявил, что «старые большевики испытывают величайшее счастье, видя, как воплощаются в жизнь ленинские заветы, с каким искусством ведет партию, весь народ по пути создания коммунистического общества Центральный Комитет во главе с выдающимся ленинцем, воплотившим в себе лучшие черты пламенного революционера-большевика, сына рабочего класса, Никитой Сергеевичем Хрущевым».

27 октября.

Рассказывая на съезде о достижениях советской литературы, Н. М. Грибачев заметил: «Правда, несколько лет назад нашу литературу основательно лихорадило потому, что небольшая группа писателей клюнула на нехитрые приманки западных ловцов душ. В ту пору выдвигались, и порой коммунистами, требования пересмотра партийной линии в литературе, ликвидации влияния партии на литературу, даже требования печатать все, что и как напишется, без редакторов, поскольку, как буквально дословно выразился один из выступавших, «писатель имеет право на бред». В целом это был литературный метастаз ревизионизма. ЦК КПСС и, в особенности, сам Никита Сергеевич Хрущев с его взрывчатым полемическим темпераментом и прекрасной практической выдержкой и расчетом оказали нашей литературе помощь быструю и действенную. Гроза, громыхавшая над нами в один летний день, смыла мусор, освежила атмосферу и сменилась хорошей погодой».

«Много страстей,— заметил Н. М. Грибачев,— бушует вокруг проблемы молодых. Но недавно в ЦК комсомола состоялся откровенный разговор с молодыми поэтами, и стало ясно, что подавляющее большинство из них готовы вложить свои силы в общее созидание. Разговоры же о том, будто у молодежи некий особый курс, выгодны обывателю и порождались обывателем, а подогреваются и раздуваются, по мнению многих серьезных литераторов, безответственностью «Литературной газеты», которая недостаточно занимается национальными литературами, плохо разрабатывает вопросы эстетики, но зато систематически занимается дурными сенсациями».

Выступая на съезде, А. Т. Твардовский, в частности, заметил: «Годы, прошедшие после XX съезда нашей партии, были годами творческого подъема масс, плодотворного труда. Для советской литературы это период ее как бы духовного обновления, освобождения от некой скованности или стесненности, отпечатлевшихся на ней в

силу известных антигуманных явлений, связанных с культом личности. Достаточно сказать, что в это время вместе с тысячами людей, которым партия, развенчавшая культ личности, возвратила честь и жизнь, многие наши товарищи по перу вновь обрели свое литературное имя, свое место в истории советской литературы».

«Но,— подчеркнул А. Т. Твардовский,— при всех очевидных достижениях нашей литературы за последние годы, она <...>, на мой взгляд, еще не смогла в полную меру воспользоваться теми благоприятными условиями, которые определил для нее XX съезд партии.

Она далеко не всегда и не во всем следовала примеру той смелости, прямоты и правдивости, который показывает ей партия.

В чем существенный изъян нашей литературы, с особенной отчетливостью видный сейчас, в свете всего того, что составляет содержание и пафос нашего XXII съезда? В недосказанности, в неполноте изображения многообразных процессов жизни, различных ее сторон и выдвигаемых ею проблем,— говоря без обиняков, в недостатке жизненной глубины и правды. <...> Да, недостаток многих наших книг прежде всего недостаток правды жизни, авторская оглядка: что можно, чего нельзя, т. е. недоверие к читателю, я-то, мол, умник, все понимаю, а он вдруг что-нибудь не так поймет и перестанет план выполнять. Все это не что иное, как дань приемам и навыкам тех лет нашего развития, которые вообще отмечены духом недоверия и подозрительности, особенно губительными для искусства».

А. Е. Корнейчук, выступая на съезде, заявил: «От всей души выражаем Вам, дорогой Никита Сергеевич, великую благодарность за то, что вы проявили подлинно ленинскую прозорливость и смелость в борьбе против культа личности. Под Вашим руководством Центральный Комитет разгромил антипартийную группу, которая создавала культ личности и прикрывалась им как щитом, творя беззакония и преступления. Вы, Никита Сергеевич, показали перед всем мировым коммунистическим движением, как нужно по-ленински, беспредельно верить в партию, в народ».

28 октября.

В речи В. А. Кочетова на XXII съезде говорилось:

«<...> Есть еще в писательской среде угрюмые сочинители мемуаров, которые больше смотрят назад, чем в сегодняшний день или в будущее, и в силу такого искривления взгляда с усердием, достойным лучшего применения, копаются на свалках своей изрядно подгулявшей памяти, чтобы вновь тащить на свет божий давно истлевшие литературные трупы и выдавать их за нечто еще способное жить. <...>

Наш идеологический противник почти молниеносно реагирует на

такие промахи и ошибки. Если фильмик в западном духе, если книга с неверным перекосом, если живопись по «творческому» методу тяп-ляп,— в буржуазной прессе — бурные похвалы, одобряющие хлопки по плечу: вот, дескать, настоящее-то искусство! Возможны даже золотые медали, всяческие премии; плетутся лавровые венки.

Ну, а если писатель, художник прочно держится на позициях партийности,— тут уж похвал не жди: жди только разнообразных ругательств.

Но брань противника — это еще Ленин учил — лучшая похвала. А вот когда противник хвалит да премирует, нельзя не задуматься, нельзя не насторожиться: в чем-то, видимо, промахнулся.

На съезде с заявлениями от имени делегаций выступили И. В. Спиридонов — Ленинградская областная парторганизация, П. Н. Демичев — Московская городская парторганизация, Г. Д. Джавахишвили — Компартия Грузии, Д. А. Лазуркина — член КПСС с 1902 года, Н. В. Подгорный — Компартия Украины. «Выражая,— как сказано в информационном сообщении,— мнение партийных организаций и широких масс трудящихся, выступавшие говорили о несовместимости дальнейшего сохранения в Мавзолее Владимира Ильича Ленина саркофага с гробом И. В. Сталина, поскольку Сталиным были допущены нарушения ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей».

30 октября.

XXII съезд КПСС единодушно принял постановление, в котором говорится: «Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В. И. Ленина».

По свидетельству Р. А. Медведева, «это постановление <...> было выполнено в ночь на 31 октября. <...>

Караула у могилы Сталина никто не установил. Недалеко от Мавзолея выкопали глубокую яму и опустили туда гроб. Несколько самосвалов свалили сверху тонны бетона. Могилу запечатала гранитная плита, на которой позднее сделали простую надпись: «И. В. Сталин». Когда Хрущев 31 октября закрывал XXII съезд КПСС, постановление съезда уже было выполнено.

Решение съезда сделало возможным устранение и других предметов культа. Были переименованы города, площади, колхозы и предприятия, носившие имя Сталина. Многие памятники Сталину сносились еще после XX съезда, в частности был

снесен и отправлен на переплавку громадный бронзовый монумент Сталину на Волго-Донском канале. Теперь эти изваяния исчезали везде, и только в Грузии кое-где остались «улицы Сталина» (ДН, 1989, № 8, с. 197).

31 октября.

Пленум Центрального Комитета КПСС избрал членами Президиума ЦК Л. И. Брежнева, Г. И. Воронова, Ф. Р. Козлова, А. Н. Косыгина, О. В. Куусинена, А. И. Микояна, Н. В. Подгорного, Д. С. Полянского, М. А. Суслова, Н. С. Хрущева, Н. М. Шверника. Кандидатами в члены Президиума избраны В. В. Гришин, Ш. Р. Рашидов, К. Т. Мазуров, В. П. Мжаванадзе, В. В. Щербицкий. Первым секретарем ЦК КПСС избран Н. С. Хрущев, секретарями ЦК — Ф. Р. Козлов, П. Н. Демичев, Л. Ф. Ильичев, О. В. Куусинен, Б. Н. Пономарев, И. В. Спиридонов, М. А. Суслов, А. Н. Шелепин. Председателем Комитета партийного контроля при ЦК КПСС избран Н. М. Шверник.

Из писателей в состав ЦК КПСС вошли А. Е. Корнейчук и М. А. Шолохов. Кандидатами в члены ЦК КПСС избраны Н. М. Грибачев, А. А. Сурков, А. Т. Твардовский. Членами Центральной Ревизионной Комиссии КПСС стали Г. А. Жуков, В. А. Кочетов, А. А. Прокофьев.

Журналы в октябре.

В «Звезде» (№ 10) «Дорогой мой человек» Ю. Германа — вторая книга романа «Дело, которому ты служишь» (окончание — № 12).

Октябрь.

В Калуге вышел в свет альманах «Тарусские страницы», в котором опубликованы стихи и проза М. Цветаевой, повесть в стихах В. Корнилова «Шофер», стихотворные циклы и поэмы Б. Слуцкого, Д. Самойлова, Н. Панченко, А. Штейнберга, Н. Коржавина, Е. Винокурова, Н. Заболоцкого, повести Б. Окуджавы «Будь здоров, школяр!», В. Максимова «Мы обживаем землю», рассказы Ю. Казакова и др.

Как указывает современный исследователь И. Мильштейн, «история калужского альманаха, случившаяся во времена оттепели,— классический пример риска, дерзкой авантюры, без которой немислим литературный процесс. <...>

Заглянем в выходные данные: тираж 75 тысяч. И не поверим цифре. На самом деле — 31 тысяча. Что же произошло?

Видимо, кому-то из начальства пришла охота раскрыть альманах и углубиться в чтение. Углубившись в чтение, на-

чальство ужаснулось. Чему ужаснулось? С точки зрения современного читателя, ужасаться было решительно нечему. Ни политики, ни литературных полемик — проза, стихи, воспоминания, множество иллюстраций и репродукций. <...>

Известно также, что часть тиража продавалась в фойе XXII съезда, состоявшегося в октябре 1961 года» (*Огонек*, 1989, № 14).

Н О Я Б Р Ъ

11 ноября.

Умер Василий Васильевич Каменский (род. в 1884 г.).

23 ноября.

Умер Владимир Семенович Саппак (род. в 1921 г.).

Журналы в ноябре.

В «Знамени» (№ 11) повесть А. Рекемчука «Молодо-зелено» (окончание — № 12).

Ноябрь.

Вышла в свет книга Б. Пастернака «Стихотворения и поэмы».

В редакцию «Нового мира» передана рукопись рассказа А. Солженицына «Щ-854» (повесть «Один день Ивана Денисовича»).

Как вспоминает Р. Орлова, «Солженицын вновь приехал в ноябре 61-го года, сразу после XXII съезда, мы только что вернулись с Кавказа и стали его уговаривать отдать повесть в «Новый мир», не надеясь на публикацию. Лев сначала хотел через Марьямова, а я настаивала, чтобы через Асю Берзер. И прямо Твардовскому. Я и отнесла Асе — только лично Твардовскому. <...> Она безнадежно посмотрела — «после съезда хлынул целый поток таких рукописей, боюсь, что в журнале не появится ни строки». Прошло месяца полтора. То Твардовский уезжал, то был очень занят. Сама Ася «ничего подобного не читала», но полагала, как все мы, что публикация невозможна.

В воскресенье в 8 часов утра — звонок. Ася предупреждает, что будет звонить Твардовский, он прочитал, потрясен. Долго говорил севой, сказал, что вызовет автора» (*Орлова Р. Воспоминания о непрошедшем времени. Анн Арбор, 1983, с. 189*).

ДЕКАБРЬ

Начало декабря.

Как вспоминает А. Солженицын, «<...> в начале декабря от Л. Копелева пришла телеграмма: «Александр Трифонович восхищен статьей». <...> Еще через день (в день моего рождения как раз) пришла телеграмма и от самого Твардовского — вызов в редакцию. А еще назавтра я ехал в Москву и, пересекая Страстную площадь к «Новому миру», суеверно задержался около памятника Пушкину — отчасти поддержки просил, отчасти обещал, что путь свой знаю, не ошибусь. Вышло вроде молитвы» (*Солженицын А. Бодаля теленок с дубом. Париж, 1975, с. 24—25*).

9 декабря.

В «ЛГ» статья Я. Смелякова «Молодая русская поэзия» (в основу статьи положен доклад на совещании молодых поэтов в ЦК ВЛКСМ) — сочувственный отклик о стихах В. Кострова, В. Павлинова, О. Дмитриева, Д. Сухарева, Н. Анциферова, В. Савельева, В. Цыбина, А. Поперечного, сдержанный, с множеством замечаний — о стихах Евг. Евтушенко, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Матвеевой.

16 декабря.

В «ЛГ» трехподвальная статья Е. Суркова «Если мерить жизнью...» — о романе В. Кочетова «Секретарь обкома». Общий вывод: «В этой книге так мало видны заботы о художественной полноте выражения жизни, о языке, о ритме и пластике фразы, о характере и так много страниц, не поднимающихся над среднегазетным уровнем, заполненных торопливой и сухой информацией, что нередко бывает трудно узнать руку, написавшую «Журбиных».

А самое главное — нет в «Секретаре обкома» проникновения в самую суть процессов, составляющих содержание нашей современности, нет ясного представления о значительности пути, пройденного страной в период между XX и XXII съездами, нет ответа на основные вопросы, выдвинутые за эти годы жизнью».

22—23 декабря.

На пленуме правления СП СССР с докладом «XXII съезд КПСС и задачи советской литературы» выступил Г. Марков, который, в частности, подверг критике роман В. Аксенова «Звездный билет», сценарий В. Розова «А, Б, В, Г, Д...» и статью Е. Суркова о романе В. Кочетова «Секретарь обкома» в «Литературной газете» (доклад Г. Маркова опубликован в «ЛГ» от 23 и 26 декабря).

Выступая в прениях, В. Смирнов сурово порицал литераторов, которые «упрямо выискивают в жизни плохое, собирают плохое в кучу» и опасаются, «как бы не перехвалить» в своих книгах советскую действительность. «Мы должны сказать таким опасливым товарищам: не бойтесь, дорогие товарищи, не перехваляйте. История вас не обвинит в лакировке, потому что наша советская действительность просто сказочна, наш человек, его героические дела не имеют себе равных».

С В. Смирновым и его «упрощенным, недialeктическим пониманием главной линии литературы» полемизировал Б. Сучков, который заметил, что «мы не можем определить новый образ человека, не показав всего, что мешает продвижению к коммунизму».

Споры вызвали роман В. Аксенова «Звездный билет» («Школьники взяли на вооружение лексику аксеновских героев,— заявил Л. Соболев.— Сейчас в Бендерах, в Бельцах, в Кишиневе пошел гулять этот чудовищный словарь, который так добродушно благословил Корней Иванович Чуковский, заметив, что юноши, мол, перебесятся»), роман В. Кочетова «Секретарь обкома» («<...> я с тревогой смотрю, как постепенно этот писатель от книги к книге пишет все хуже и хуже. И никто не говорит ему правды в глаза,— заметил Е. Мальцев,— но сегодня нельзя разговорами о важности темы прикрыть плохое произведение. Время это прошло, и мы сейчас живем в другие времена»), книга В. Турбина «Товарищ время и товарищ искусство» (Л. Якименко, как сказано в газетном отчете, защищал ряд положений этой книги, В. Ермилов и И. Анисимов спорили с автором книги).

23 декабря.

В калужской областной партийной газете «Знамя» статья «Во имя чего и для кого?», подписанная заведующим кафедрой местного пединститута Н. Кучеровским и доцентом той же кафедры Н. Карповым,— предельно резкая критика альманаха «Тарусские страницы». Общий вывод: «Забвение принципов партийности в литературе, бездейственность, эстетски-объективистский взгляд на жизнь, натуралистическое копирование отрицательных явлений действительности могут заслужить лишь справедливое осуждение со стороны нашей общест-венности».

25—28 декабря.

В Большом Кремлевском дворце Н. С. Хрущев открыл Всесоюзное совещание по вопросам идеологической работы. С докладом «XXII съезд КПСС и задачи идеологической работы партии» выступил Л. Ф. Ильичев, который, в частности, отметил: «Культ личности имел вредные последствия и играл отрицательную роль в жизни пар-

тии, нашей страны. Но даже в обстановке культа личности партия действовала как живой творческий организм. Никакой культ личности не мог остановить поступательное развитие советского общества, изменить природу социалистического строя, решающей движущей силой которого всегда были, есть и будут многомиллионные массы трудящихся. Никакой культ личности не мог изменить существа революционного мировоззрения, поколебать организационные, политические и теоретические основы нашей партии, созданной и воспитанной в революционном духе великим Лениным».

В прениях по докладу приняли участие 35 человек, в том числе А. Чаковский, С. Михалков, А. Сурков и другие писатели.

27 декабря.

В серии «Жизнь замечательных людей» подписана к печати книга М. Булгакова «Жизнь господина де Мольера».

28 декабря.

В «ЛГ» статья Л. Никулина «Путь поэта» о сборнике А. Ахматовой «Стихотворения». Отметив, что «своеобразие ее таланта и прелесть лирического звучания ее стихов неоспоримы», рецензент доказывает, что «Анна Ахматова живет, работает в тесной, товарищеской среде советских писателей старшего и молодого поколения».

1962

Я Н В А Р Ь

1 января.

В «ЛГ» сообщение о том, что на соискание Ленинских премий 1962 года поступили роман А. Адамовича «Война под крышами», книга стихов Н. Асеева «Лад», роман С. Бабаевского «Сыновний бунт», книга стихов П. Бровки «А дни идут...», рассказы Е. Дабкиной-Бабиной «Черные сухари», эпопея В. Катаева «Волны Черного моря», роман Б. Кербабаева «Небит-Даг», роман В. Кетлинской «Иначе жить не стоит», роман А. Кешокова «Чудесное мгновение», пьеса А. Корнейчука «Над Днепром», роман А. Кутатели «Лицом к лицу», пьеса А. Макаенка «Левониха на орбите», книга стихов А. Малышко «Полдень века», книга стихов Э. Межелайтиса «Человек», роман Л. Никулина «Трус», книга стихов Н. Рыленкова «Корни и листья», диалогия С. Сартакова «Горный ветер», «Не отдавай королеву», роман Б. Сейтакова «Поэт», роман Г. Серебряковой «Похищение огня», книга Л. Хинкулова «Тарас Шевченко», книга К. Чуковского «Мастерство Некрасова», книга научно-художественных

очерков Д. Данина «Неизбежность странного мира», путевые очерки В. Сафонова «Путешествие в чужую жизнь».

2 января.

В редакции «Нового мира» состоялось обсуждение рассказа А. Солженицына «Не стоит село без праведника» («Матренин двор»).

А. Твардовский, по воспоминаниям А. Солженицына, «делал круг над рассказом и потом круг общих рассуждений, и опять над рассказом, и опять — общих рассуждений. Художник истинный, он не мог упрекнуть меня, что здесь неправда. Но признать, что это и есть правда в полноте, — подрывало его партийные, общественные убеждения. <...>

И завершилось «обсуждение» тем, что — нет, конечно, нет, безусловно, нет, «эта вещь не может быть напечатана».

Но хотя естественно было после того вернуть рукопись автору, Твардовский с виноватой заминкой сказал:

— А все-таки оставьте ее пока в редакции. Почитает кое-кто...» (Солженицын А. *Бодался теленок с дубом*, с. 35—36, 38).

9 января.

В «ЛГ» статья Е. Осетрова «Поэзия и проза «Тарусских страниц», подытоженная — после сдержанно-критического разбора произведений Ю. Казакова, В. Максимова, Б. Окуджавы, Б. Слуцкого, Е. Винокурова и др. — общим выводом:

«Однажды Константин Паустовский назвал Тарусу нашим отечественным Барбизоном. Это сравнение, на наш взгляд, имеет чисто внешний характер. <...> Барбизонская школа стремилась к правдивости и безыскусственности в противовес господствовавшему тогда во Франции официальному академическому искусству. У барбизонцев была своя эстетическая программа.

У авторов «Тарусских страниц» конечно же нет никакой отличной от всей нашей литературы своей, «тарусской» эстетики. Но живой думает о живом, и слабость современной тематики стала главным недостатком этой во многом привлекательной и умной книги».

На заседании бюро Калужского обкома КПСС в связи с выходом альманаха «Тарусские страницы» объявлены выговоры директору Калужского книжного издательства А. Сладкову и главному редактору издательства Р. Левите. Секретарю обкома КПСС по идеологии А. Сургакову поставлено на вид.

Спустя несколько дней во изменение предыдущего решения главный редактор Р. Левита освобожден от занимаемой должности, директору А. Сладкову выговор заменен на строгий выговор.

На состоявшемся вскоре заседании Бюро ЦК КПСС по РСФСР

принято к сведению решение Калужского обкома об увольнении главного редактора. А. Сладков освобожден от должности директора издательства. А. Сургакову объявлен выговор.

«Однако,— как указывает Р. А. Медведев,— новая погромная кампания так и не началась. К. Паустовский сумел добиться приема у Н. С. Хрущева, и тот отменил решение Бюро ЦК по РСФСР» (ДН, 1989, № 8, с. 190).

16 января.

В «ЛГ» стихотворения А. Ахматовой «Александр у Фив» и «Комаровские кроки».

27 января.

Секретариат правления СП СССР удовлетворил просьбу В. Катаева об освобождении его от обязанностей главного редактора журнала «Юность», объявив ему благодарность за большую работу, проделанную по организации и руководству журналом.

Главным редактором «Юности» утвержден Б. Полевой.

Журналы в январе.

В «НМ» (№ 1) роман «Тропы Алтая» С. Залыгина (окончание — № 3) и юмористическая повесть «Женя — чудо XX века» Т. Есениной.

ФЕВРАЛЬ

8 февраля.

Умер Сергей Николаевич Голубов (род. в 1894 г.).

13 февраля.

В «ЛГ» «Слово о Пушкине», произнесенное А. Твардовским 10 февраля на торжественном вечере в Большом театре Союза ССР.

22 февраля.

В «ЛГ» сообщение о том, что Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства отобрал для дальнейшего обсуждения книгу стихов Н. Асеева «Лад», книгу стихов П. Бровки «А дни идут...», эпопею В. Катаева «Волны Черного моря», роман Б. Кербабая «Небит-Даг», роман А. Кутатели «Лицом к лицу», книгу стихов А. Малышко «Полдень века», книгу стихов Э. Межелайтиса «Человек», роман Г. Серебряковой «Похищение огня», книгу К. Чуковского «Мастерство Некрасова»,

Журналы в феврале.

В «НМ» (№ 2) «Один из нас» В. Рослякова, «Семь пар нечистых» В. Каверина.

В «Звезде» (№ 2) «Слово о Пушкине» А. Ахматовой.

МАРТ

5—8 марта.

На Пленуме ЦК КПСС заслушан и обсужден доклад Н. С. Хрущева «Современный этап коммунистического строительства и задачи партии по улучшению руководства сельским хозяйством».

Комментарий Р. А. Медведева: «Помимо агрономических мероприятий Хрущев предложил создать новую систему управления. Теперь предстояло создать в деревне специализированные колхозно-совхозные управления, охватывающие территорию двух-трех районов. В задачу инспекторов этих управлений входило давать советы руководителям хозяйств. Управление избирало парторга и издавало газету. Секретари сельских райкомов становились заместителями этого парторга. Аналогичные управления должны были создаваться в масштабах области, республики. В масштабах СССР создавался союзный комитет по сельскому хозяйству, председателем которого назначался Н. Игнатов. Пленум ЦК одобрил предложения Хрущева, которые являлись поспешной и непродуманной импровизацией» (*ДН, 1989, № 8, с. 198—199*).

24 марта.

В «ЛГ» отрывок из повести П. Нилина «Через кладбище».

Журналы в марте.

В «НМ» (№ 3) «Тишина» Ю. Бондарева (окончание — № 5).

В «Знамени» (№ 3) «Короткое замыкание» В. Тендрякова.

АПРЕЛЬ

9 апреля.

В ознаменование первого в мире полета советского человека в космос Указом Президиума Верховного Совета СССР установлен День космонавтики — 12 апреля.

19 апреля.

В «ЛГ» статья Л. Аннинского «Нечто не о «лабуде» — субъективные заметки о состоявшейся 16 апреля в Центральном Доме литера-

торов дискуссии «Какова же она все-таки, наша молодежь?». Как указывает автор, «о глубокой общности молодых и «немолодых» героев, о единстве поколений говорили на дискуссии буквально все — от молодого Б. Ларина до умудренной опытом В. Герасимовой. <...> Раз уж так получилось, закончу отчет фразой Ст. Злобина, который вел и заключал обсуждение: «Мы все, и старшие, и младшие, идем той дорогой, которую наметил XX съезд партии: вся наша литература помолодела на этом пути».

На той же полосе «ЛГ» стихи О. Чухонцева и А. Кушнера.

22 апреля.

Ленинские премии 1962 года присуждены П. Бровке за книгу стихов «А дни идут...», Э. Межелайтису за книгу стихов «Человек», К. Чуковскому за книгу «Мастерство Некрасова».

24 апреля.

Пленум ЦК КПСС избрал А. П. Кириленко членом Президиума ЦК КПСС. И. В. Спиридонов освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПСС в связи с избранием его председателем Совета Союза Верховного Совета СССР.

25 апреля.

На первой сессии Верховного Совета СССР шестого созыва принято по предложению Н. С. Хрущева решение о выработке проекта новой Конституции СССР. Образована Конституционная комиссия во главе с Н. С. Хрущевым.

Журналы в апреле.

В «НМ» (№ 4) четвертая книга «Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга (окончание — № 6).

В «Знамени» (№ 4) «Тридцать отступлений из поэмы «Треугольная груша» А. Вознесенского.

М А И

1 мая.

В «ЛГ» праздничный репортаж А. Вознесенского «Мы — май».

Начало мая.

Принято решение о размещении на Кубе советских ракет, чем было положено начало «карибского кризиса».

«Н. С. Хрущев спросил меня, — вспоминает А. И. Алексеев, назначенный в то время послом СССР в Республике Ку-

ба,— как отнесется Фидель, если мы предложим ему такое решение. Не скрою, этот вопрос поверг меня в оцепенение. Я ответил, что Фидель вряд ли согласится на это, поскольку он строит свою стратегию защиты революции на укреплении солидарности мирового и латиноамериканского общественного мнения, а установка ракет неминуемо лишит Кубу этой поддержки. <...> Н. С. Хрущев считал, что для предотвращения американского вторжения на Кубу надо найти такое средство устрашения, которое бы удержало США от осуществления своих планов и поставило Кубу в фокус мировой политики. <...> Он подчеркнул, что такая операция не преследует цель развертывания ядерной войны, а является лишь средством сдерживания» (АиФ, 1989, № 10).

4 мая.

«<...> Было,— записывает в дневник В. Лакшин,— заседание в ЦК у Ильичева, где хотели мирить Твардовского с Кочетовым. Перед тем еще А. Т. говорил мне, что дело это невозможное, хотя он обычно и исповедует мудрость Савельича, советовавшего Гриневу поцеловать ручку у Пугачева: «Поцелуй, да и плюнь, поцелуй, да и плюнь».

Я так и не понял из его слов, что он говорил на этом заседании. Кажется, произнес довольно большую речь. Кочетов юлил, тщилясь показать, какой он благородный: не стал печатать в «Октябре» статью против Твардовского даже после марьямовской рецензии в «Новом мире». Хорош бы он был, если бы напечатал! Ему все кажется, что он и Твардовский — величины сопоставимые.

Ильичев давал оценку всем речам писателей на XXII съезде.

Твардовский, заявил он, правильно говорил о мастерстве. Кочетов обошел эту проблему. Зато вот Твардовский не вполне искренен (может, он что-то другое хотел сказать, но подвернулось именно это слово), когда в полемическом азарте больше говорит о мастерстве и правде, чем о партийности. Твардовский прервал его с места: «Я никогда не бываю неискренним, тем более не позволил бы себе этого с трибуны партсъезда. И даже секретарю ЦК не разрешу усомниться в моей искренности. Требую извиниться». Ильичев пытался сгладить возникшую неловкость» (Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева, рукопись).

21 мая.

В Оксфорде состоялась церемония присуждения К. И. Чуковскому степени доктора литературы. Затем К. И. Чуковский прочел несколько лекций в Оксфорде, Лондоне и Эдинбурге.

Журналы в мае.

В «Знамени» (№ 5) рассказ Э. Казакевича «Приезд отца в гости к сыну».

ИЮНЬ

1 июня.

Постановлением Совета Министров СССР повышены закупочные и сдаточные цены на скот и птицу, продаваемые колхозами и совхозами государству. Одновременно снижены государственные розничные цены на сахар, ткани из вискозной штапельной пряжи и изделия из этих тканей.

«В целях,— как сказано в постановлении,— сокращения убытков, которые несет государство при продаже населению мяса, мясопродуктов и масла животного, а также установления более правильного соотношения между закупочными и розничными ценами на продукцию животноводства» решено «повысить с 1 июня 1962 года розничные цены на мясо и мясные продукты в среднем на 30 процентов <...>, а также на масло животное в среднем на 25 процентов».

Необходимость этих решений обосновывается в «Обращении ЦК КПСС и Совета Министров СССР ко всем рабочим и работникам, колхозникам и колхозницам, рабочим и работницам совхозов, советской интеллигенции, ко всему советскому народу». В Обращении выражается надежда, что «все советские люди правильно поймут экономическую и политическую необходимость такой меры помощи сельскому хозяйству, как повышение закупочных цен и соответственно розничных цен на продукты животноводства», и указывается, что «некоторое повышение цен на мясо и мясные продукты, а также на масло — это мера временная», дающая «возможность в недалеком будущем снижать цены на продукты сельского хозяйства».

1—3 июня.

В Новочеркасске Ростовской области состоялись массовые демонстрации, митинги и забастовки рабочих, а также членов их семей.

Как рассказывает П. П. Сиуда, приговоренный за участие в этих событиях к 12 годам в колонии усиленного режима, причиной волнений явилось то, что «с января 1962 года на Новочеркасском электровозостроительном заводе в очередной раз снижали расценки до 30—35 процентов. Последним понизили расценки рабочим сталелитейного цеха. Это уже было в мае. А утром 1 июня по Центральному радио было объявлено о повышении цен на мясо и масло. Но не только повышение цен привело к забастовке. На заводе не решалась жилищная проблема, а плата за частные квартиры составляла в ту пору

от 35 до 50 рублей в месяц, то есть 20—30 процентов месячной зарплаты рабочего... В магазинах практически не было мясных продуктов, а на рынке все стоило очень дорого... 1-го числа по дороге на работу люди возмущались повышением цен. В сталльцехе рабочие собирались кучками. В цех пришел директор завода Курочкин и сказал рабочим, что, конечно, всех возмутило: «Не хватает денег на мясо и колбасу — ешьте пирожки с ливером». Эти слова и стали той искрой, которая привела к трагедии. Рабочие включили заводской гудок. К заводу стали стекаться рабочие из 2-й и 3-й смен. Началась забастовка... Появились плакаты: «Дайте мясо, масло», «Нам нужны квартиры». <...>

Уже поздно вечером рабочие сорвали с фасада заводууправления портрет Хрущева. Его же портреты изъяли из всех кабинетов, свалили в кучу и сожгли на площади...

По воспоминаниям генерал-лейтенанта танковых войск М. К. Шапошникова, бывшего в то время первым заместителем командующего Северо-Кавказским военным округом, 2 июня «около одиннадцати часов распахнулись заводские ворота, и толпа в семь-восемь тысяч человек с красными знаменами направилась в сторону Новочеркасска. <...> По рации я доложил генералу Плиеву о том, что рабочие идут к центру города. «Задержать, не допускать!» — услышал голос Плиева. «У меня не хватит сил, чтобы задержать семь-восемь тысяч человек», — ответил я. «Я высылаю в ваше распоряжение танки. Атакуйте!» — последовала команда Плиева. Я ответил: «Товарищ командующий, я не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками». Плиев раздраженно бросил микрофон. Предчувствуя недоброе, я попытался на своем «газике» перегнать колонну. Навстречу мне попался генерал Пароваткин, которого я посылал раньше за устными указаниями Плиева. «Командующий приказал применить оружие», — сказал он мне. «Не может быть!» — воскликнул я. Тогда Пароваткин протянул мне блокнот, развернул его, и я увидел: «Применить оружие». Мы с Пароваткиным быстро вскочили в «газик», чтобы успеть обогнать толпу и не допустить кровавой акции. Но не доехав метров четыреста до площади перед горкомом партии, услышали массированный огонь из автоматов».

При подавлении беспорядков, санкционированном находившимися в то время в Новочеркасске членами Президиума ЦК КПСС Ф. Р. Козловым и А. И. Микояном, было убито 24 человека, из них один школьник, 30 было ранено. За участие в новочеркасских событиях были осуждены 105 чело-

век, семеро из них (в том числе и одна женщина) были приговорены к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение. (ЛГ, 21 июня 1989 г.).

4 июня.

В Новочеркасске состоялось собрание городского партийного актива, на котором с участием членов Президиума ЦК КПСС Ф. Р. Козлова, А. И. Микояна, Д. С. Полянского, секретаря ЦК ВЛКСМ С. П. Павлова был рассмотрен вопрос «О фактах беспорядков и нарушений нормальной жизни города и задачах городской партийной организации по мобилизации трудящихся города на успешное выполнение планов коммунистического строительства». Доклад сделал Ф. Р. Козлов (текст доклада в протоколе собрания отсутствует). Из протокола:

«Вьюненко, секретарь цеховой партийной организации электродного завода: «Мы никогда так хорошо не жили, в таких условиях, как сейчас. Позорное явление — это типичные хулиганские выпады, и очень жаль, что эти оголтелые хулиганы воздействовали на молодых рабочих... Рабочие электродного завода требуют к таким лицам — я не знаю их фамилии, такие меры — выслать в тунядский край, чтобы они работали». (Смех в зале.)

Оводов, профессор инженерно-мелиоративного института: «Я выражу такое пожелание, чтобы те операции, о которых говорил Фрол Романович Козлов в своем докладе по отношению к провокаторам, были бы выполнены в возможно быстрейший срок». (Аплодисменты.)

Ядринцев, член бригады коммунистического труда завода синтетических продуктов: «Позорная кучка бунтовщиков электровозостроительного завода...»

Предложение с мест: «Партийным организациям города усилить шефскую работу с частями подразделений Советской Армии, находящимися в гарнизоне, ибо часть товарищей не совсем правильно поняла поведение армейских подразделений». Козлов: «Это записать постановлением». Председательствующий: «Разрешите собрание городского партийного актива считать закрытым». (Бурные аплодисменты.) Тов. Козлов: «Желаем вам успехов, товарищи!» (Бурные аплодисменты.) (ЛГ, 1989, 21 июня.)

5 июня.

В «ЛГ» статья Г. Радова «Напутствие рублю» — приветственный отклик на повышение розничных цен на продукты животноводства.

7 июня.

В «ЛГ» отрывок из повести А. Яшина «Сирота».

23 июня.

На заседании редколлегии «Нового мира» принято решение о публикации повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

28 июня.

В «ЛГ» рассказ В. Быкова «Приказ».

Конец июня.

Вышел в свет первый том «Краткой литературной энциклопедии».

Журналы в июне.

В «Юности» (№ 6) стихи Б. Окуджавы, Р. Рождественского.

Июнь.

В Москве в условиях абсолютной секретности состоялись переговоры Р. Кастро с Н. С. Хрущевым и Маршалами Советского Союза Р. Я. Малиновским и С. С. Бирюзовым. Выработано соглашение о размещении на Кубе советских ракет. В соглашении, в частности, указано, что сами ракеты и их обслуживание будут полностью находиться в ведении советского военного командования.

Как рассказывает А. И. Алексеев, «соглашение, которое должны были подписать Н. С. Хрущев и Ф. Кастро, было парафировано Р. Я. Малиновским и Р. Кастро. <...> В конце того же месяца в Москву с исправленным экземпляром соглашения вылетел Эрнесто Че Гевара. Однако из-за обострившейся обстановки документ так и не успели подписать на высшем уровне. Поскольку переписки между Москвой и Гаваной на сей счет не было, никаких бумаг в архивах не осталось» («Никита Сергеевич Хрущев». М., 1989, с. 71).

И Ю Л Ь

7 июля.

В «ЛГ» отрывок из романа Д. Гранина «Иду на грозу».

Здесь же — статья С. С. Смирнова «Странная судьба одного таланта», защищающая художника Илью Глазунова от «предвзятого» отношения к нему коллег и руководства Союза художников.

14 июля.

В «ЛГ» рассказ А. Платонова «По небу полуночи...».

23 июля.

В. Гроссман приглашен в ЦК КПСС для беседы с членом Президиума, секретарем ЦК КПСС М. А. Суловым.

По свидетельству В. Гроссмана, Сулов сказал: «Я не читал вашей книги, но я внимательно прочел многочисленные рецензии, отзывы, в которых немало цитат из вашего романа. <...> Рецензенты могли ошибиться в художественной оценке книги, но они были единодушны в политической оценке ее, и у меня нет никаких сомнений, что эта политическая оценка совершенно правильная. Напечатать вашу книгу невозможно, и она не будет напечатана. Нет, она не уничтожена. Пусть лежит. Судьбу ее мы не изменим. <...> Вы знаете, какой большой вред принесла нам книга Пастернака. Для всех, читавших вашу книгу, для всех, знакомых с отзывами о ней, совершенно бесспорно, что вред от книги «Жизнь и судьба» был бы несравнимо опасней для нас, чем «Доктор Живаго». <...> Я верю, что вы откажетесь. Отойдете от нынешних своих взглядов и будете писать с тех позиций, с которых написаны прежние ваши книги» («Литературное обозрение», 1988, № 7, с. 101).

Журналы в июле.

В «НМ» (№ 7) «Первый учитель» Ч. Айтматова, «За проходной» И. Грековой.

В «Нсве» (№ 7) «Крик» К. Воробьева.

В «Знамени» (№ 7) «Через кладбище» П. Нилипа.

А В Г У С Т

4 августа.

В «ЛГ» статья Н. Асеева «Как быть с Вознесенским?», призывающая и читателей и критиков к большему вниманию и большей доброжелательности по отношению к таким незаурядным и неординарным дарованиям, как А. Вознесенский.

5 августа.

В Москве подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. При подписании договора присутствовали исполняющий обязанности Генерального секретаря ООН У Тан, Н. С. Хрушев и послы многих стран, аккредитованных в Москве. В тот же день договор подписали от имени своих правительств десять послов. К 11 сентября под текстом договора стояло уже 77 подписей. В октябре договор ратифици-

ровали СССР, США и Великобритания, и он вступил в законную силу.

Как указывает Р. А. Медведев, подписание этого договора резко обострило отношения между СССР и КНР. «В крайне грубых заявлениях Китай оценивал московский договор как «величайший обман, который одурманивает народы всего мира и... полностью противоречит чаяниям миролюбивых народов всех стран... Нельзя представить себе, что китайское правительство присоединится к этому грубому обману...» Китайское правительство заявляло: «Неоспоримые факты показывают, что проводимая Советским правительством политика есть политика объединения с силами войны для борьбы против сил мира, объединение с империализмом для борьбы против социализма, объединение с США для борьбы против Китая, объединение с реакцией различных стран для борьбы против народов всего мира».

Эти заявления означали фактический разрыв между КНР и СССР» (*ДН, 1989, № 8, с. 207*).

Середина августа.

Помощник Первого секретаря ЦК КПСС В. С. Лебедев, по просьбе А. Твардовского, познакомил Н. С. Хрущева с повестью А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

По свидетельству А. Солженицына, «на даче в Пицунде Лебедев стал читать Хрущеву вслух (сам Никита читать не любил, образование старался черпать из фильмов). Никита хорошо слушал эту забавную повесть, где нужно — смеялся, где нужно — охал и кричал, а в середине потребовал Микояна, слушать вместе. Все было одобрено до конца, и особенно понравилась, конечно, сцена труда, «как Иван Денисович раствор бережет» (это Хрущев потом и на кремлевской встрече говорил). Микоян Хрущеву не возразил, судьба повести в этом домашнем чтении и была решена» (*Солженицын А. Бодался теленок с дубом, с. 48*).

Как уточняет В. Лакшин, 15 или 16 сентября А. Твардовскому «<...> позвонил домой Лебедев с известием, что повесть Хрущеву понравилась».

Дело, по рассказу Твардовского, происходило так. В Гаграх, где отдыхал Хрущев, Лебедев, уловив удобный момент, как-то стал вслух читать Никите Сергеевичу повесть. Читали и на другой день вечером. А на следующее утро уже были отложены все дела, Хрущев пригласил Микояна, отдохавшего неподалеку, и читали второй раз вслух. Хрущев смеялся и задумывался, ему понравился эпизод про «красидей», делавших

коврики с лебедями. Он по-своему оценил и искусство Солженицына, восхитившись его выражением «волчье солнышко». Попросил было пригласить Твардовского для беседы, но потом передумал.

Типографии «Известий» было дано срочное задание: набрать повесть и оттиснуть 25 экземпляров на хорошей бумаге. Было ясно, что предполагается обсуждение, вероятно, на Президиуме ЦК. Не хочет ли Хрущев дать своим сотоварищам предметный урок по критике культа личности? — догадывался Твардовский» (*Лакшин В. Открытая дверь. М., 1989, с. 199*).

17 августа.

Подписана в печать книга М. Булгакова «Пьесы» (М.: Искусство).

21 августа.

В «ЛГ» отрывок из пятой книги «Люди, годы, жизнь» И. Эренбурга.

23 августа.

В «ЛГ» подборка стихов Б. Окуджавы.

Журналы в августе.

В «Знамени» (№ 8) «Иду на грозу» Д. Гранина (окончание — № 10).

В «Звезде» (№ 8) «На практике» А. Битова.

В «Юности» (№ 8) «До свидания, мальчики!» Б. Балтера (окончание — № 9).

В «Театре» (№ 8) драматическая хроника Л. Зорина «Друзья и годы».

С Е Н Т Я Б Р Ъ

1 сентября.

В «ЛГ» статья Е. Книпович «Входящие в жизнь» — восторженный отзыв о повестях Г. Владимова «Большая руда» и В. Войновича «Мы здесь живем».

4 сентября.

В «ЛГ» статья Ст. Лесневского «Не зря слова поэтов осеняют...» — восторженный отзыв о книге стихов Б. Ахмадулиной «Струна».

9 сентября.

«Золотой лев святого Марка» — «Гран-при» XXIII Венецианского кинофестиваля присужден фильмам «Иваново детство» А. Тарковского и «Семейная хроника» В. Дзурлини.

Несколькими днями раньше на прошедшем в Венеции фестивале фильмов для детей первым призом — «Большой золотой лев» — была отмечена лента Ю. Карасика «Дикая собака Динго», а «Бронзового льва» получил А. Копчаловский за фильм «Мальчик и голубь».

13 сентября.

В «ЛГ» статья Л. Михайловой «За проходной» — восторженный отклик на одноименный рассказ И. Грековой.

19 сентября.

Умер Николай Федорович Погодин (род. в 1900 г.).

22 сентября.

Умер Эммануил Генрихович Казакевич (род. в 1913 г.).

27 сентября.

В «ЛГ» статья З. Богуславской «До свидания, мальчики, — здравствуйте, мальчики!» — восторженный отклик на повесть Б. Балтера «До свидания, мальчики!».

28—29 сентября.

Состоялся пленум правления Московского отделения СП РСФСР, посвященный творчеству молодых писателей. С докладами выступили А. Борщаговский и Я. Смеляков, в прениях приняли участие В. Цыбин, В. Аксенов, Р. Орлова, А. Вознесенский, А. Гладилин, Б. Ахмадулина, В. Максимов и др.

В первый день работы пленума в Союз писателей СССР приняты молодые московские литераторы В. Амлинский, Г. Боровик, В. Войнович, И. Крупник, Г. Семенов, В. Блинов, А. Хмелик, Ю. Эдлис, И. Виноградов, Ф. Кузнецов, О. Михайлов, В. Лакшин, Б. Ахмадулина, А. Говоров.

Журналы в сентябре.

В «Октябре» (№ 9) стихи В. Сосноры.

О К Т Я Б Р Ь

14 октября.

Резкое обострение карибского кризиса в связи с тем, что в США стало известно о том, что на Кубе размещены 42 ра-

кеты и 40 тысяч советских военнослужащих под командованием генерала армии И. А. Плиева (АиФ, 1989, № 10).

Как позднее признавался в своих мемуарах Н. С. Хрущев, «этой силы было достаточно, чтобы разрушить Нью-Йорк, Чикаго и другие промышленные города, а о Вашингтоне и говорить нечего. Маленькая деревня» (цит. по: ДН, 1989, № 8, с. 201).

Середина октября.

На заседании Президиума ЦК КПСС обсуждался вопрос о публикации повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

По свидетельству А. Солженицына, «<...> стал Никита требовать от членов согласия на опубликование. Достоверно мне не известно, но кажется-таки члены Политбюро согласия не проявляли. Многие отмалчивались («Чего молчите?» — требовал Никита), кто-то осмелился спросить: «А на чью мельницу это будет воду лить?» Но был в то время Никита «я всех давишь!» по сказке, да не обошлось, наверное, и без похвал, как Иван Денисович честно кирпичи кладет. И постановлено было — печатать «Ивана Денисовича». Во всяком случае, решительного голоса против не раздалось» (Солженицын А. *Бодался теленок с дубом*, с. 49).

20 октября.

Как рассказывает А. Солженицын, «<...> в субботу Хрущев принял Твардовского — объявить ему решение. Это была, не знаю, первая ли, но последняя их неторопливая беседа голова к голове. <...> А. Т. говорил мне: «Что это за душевный и умный человек! Какое счастье, что нас возглавляет такой человек!» <...>

«Я даже его перебивал!» — вспоминал мне Твардовский, сам удивляясь. — Я сказал ему: «От поцелуев дети не рождаются, отмените цензуру на художественную литературу. Вель если ходят произведения в списках — хуже же нет!» И Никита примирительно выслушивал, как будто сам был близок к тем мыслям, как показалось Твардовскому» (Там же, с. 49—50).

Сравни свидетельство В. Лакшина, также опирающегося на рассказ самого Твардовского: «Хрущев встретил его с такой благожелательностью, как никогда раньше. Об «Иване Денисовиче» он сказал: «Это жизнеутверждающее произведение. Я даже больше скажу — это партийное произведение. Если бы это было написано менее талантливо, получилась может быть, ошибочная вещь. Но в том виде, как сейчас, она

непрерывно будет полезна». Собеседник Твардовского дал понять, что не все члены Президиума, которые знакомы с повестью, раскусили ее значение. «А я сказал: идите домой и еще подумайте». Второй раз с ним согласились все. (Вот почему впоследствии в печати появилась формула — повесть напечатана «с ведома и одобрения ЦК»).

<...> Хрущев намекнул Твардовскому, что аппарат срыгает ему борьбу с культом личности. Литература же эти вопросы ставит.

А. Т. усердно убеждал Хрущева, что литература может лучше помочь партии и советской власти, если ей будет дана возможность свободнее критиковать темные стороны жизни. «Советская власть не такая мимозно-хрустальная, чтобы рассыпаться от такой критики,— говорил Твардовский,— и знайте, Никита Сергеевич, что все лучшее в нашей интеллигенции поддержит вас целиком в борьбе с культом личности» (*Лакшин В. Открытая дверь, с. 200—201*).

21 октября.

В «Правде» стихотворение Евг. Евтушенко «Наследники Сталина».

22 октября.

Выступая по национальному телевидению, президент США Дж. Кеннеди заявил, что Куба превратилась в «важную стратегическую базу» Советского Союза и «представляет собой угрозу миру и безопасности всех стран Америки». Он объявил, что США устанавливают «строгий карантин на все виды наступательного оружия, перевозимого на Кубу». «Все суда любого типа, идущие на Кубу из любой страны или порта,— сказал Кеннеди,— будут возвращены назад, если на них обнаружат грузы наступательного оружия. Этот карантин, если потребуется, будет распространен на другие виды грузов и средств их доставки».

Сообщается о том, что во Флориду переброшены значительные воздушные и морские силы. В районе Карибского моря крейсируют сорок военных кораблей США и в их числе авианосец «Индепенденс» со ста истребителями на борту. В районе Пуэрто-Рико назначены маневры флота с высадкой десанта на остров.

23 октября.

Советское правительство, как указывается в газетных сообщениях, заслушало министра обороны СССР Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, который доложил о проведенных мероприятиях по повышению боевой готовности в Вооруженных Силах,

и дало министру обороны необходимые указания. В этот же день Главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами стран Варшавского Договора Маршал Советского Союза А. А. Гречко дал указания о мерах по повышению боевой готовности войск и флотов, входящих в их состав.

Во второй половине дня по просьбе делегаций СССР, Кубы и США собрался Совет Безопасности ООН.

24 октября.

В «Правде» Заявление Советского правительства, в котором дается жесткая оценка действий США, «прикрытых,—как сказано,—фальшивыми фразами об угрозе национальной безопасности Соединенных Штатов», и сообщается о предпринятых советской стороной контрмерах.

По свидетельству Р. А. Медведева, «Советский Союз продолжал отрицать наличие на Кубе наступательного оружия, заявляя, что там находится только то оружие, которое необходимо для самообороны, и что «с требованием об удалении этой техники не может согласиться ни одно государство, дорожающее своей независимостью». На Кубе Фидель Кастро объявил о проведении всеобщей мобилизации. На срочном заседании Совета Безопасности советский представитель В. Зорин «разоблачал извлеченные из кучи всякого хлама сотрудниками государственного департамента США утверждения о так называемом установлении советских ракетных баз на Кубе». В это время на пути к Кубе находилось более 20 советских кораблей, и первые из них приближались к линии блокады. <...> Кеннеди получил сообщение о появлении в Карибском море советских подводных лодок, что являлось серьезной угрозой для американских авианосцев. <...>

Но Хрущев не хотел рисковать и приказал советским судам остановиться на линии блокады, предложив Кеннеди срочную встречу в верхах. Кеннеди ответил, что он готов встретиться с Хрущевым, но только после устранения с Кубы советских ракет. Воздушная разведка показывала, что эти ракеты будут готовы к действию через несколько дней. <...> Монтаж ракетных установок и бомбардировщиков продолжался. На Кубу вылетел А. Микоян, чтобы наблюдать за ситуацией с близкого расстояния и увязывать действия Советского правительства с действиями Кубы» (*ДН, 1989, № 8, с. 202—203*).

25 октября.

Исполняющий обязанности Генерального секретаря ООН У Тан обратился от имени большого числа государств — членов ООН к

Н. С. Хрущеву и Д. Кеннеди с призывом добровольно приостановить перевозки оружия на Кубу и добровольно приостановить карантинные меры.

В «ЛГ» под общей шапкой «Агрессорам — смирительную рубашку!» статьи С. С. Смирнова «Куба — да, война — нет», Г. Боряна «Ложь г-на Кеннеди», Г. Кублицкого «Трусливые хищники», П. Бровки «Голос нашей Родины — голос разума» и т. п.

26 октября.

Д. Кеннеди отдал приказ о подготовке к вооруженному вторжению на Кубу.

Заседания Совета Безопасности ООН прерваны. У Тан начал конфиденциальные переговоры с представителями СССР, США и Кубы.

Как указывает Р. А. Медведев, вечером 26 октября Кеннеди получил от Хрущева письмо, которое было продиктовано лично Хрущевым и даже не отредактировано. Советский премьер убедился теперь, что действия США не являются блефом и что мир оказался на краю пропасти. <...>

Хрущев не отрицал теперь, что на Кубе имеются советские ракеты. Американская блокада потому не имеет смысла, так как все оружие уже доставлено к месту базирования. Но ракеты находятся под контролем советских офицеров и не будут использованы для нападения на США. «В этом отношении,— писал Хрущев,— вы можете быть спокойны. Мы находимся в здравом уме и прекрасно понимаем, что если мы нападем на вас, то вы ответите нам тем же. Но тогда это обернется и против нас, и я думаю, что вы это тоже понимаете. Из этого следует, что мы люди нормальные. Как же мы можем допустить, чтобы произошли те несуразные действия, которые вы нам приписываете? Только сумасшедшие могут так поступать или самоубийцы, желающие и сами погибнуть, и весь мир перед тем уничтожить». Хрущев предлагал Кеннеди снять блокаду и дать обязательство не вторгаться на Кубу. В этом случае СССР заберет или уничтожит доставленное на Кубу ракетное оружие. <...>

Это письмо являлось явным шагом к компромиссу» (ДН, 1989, № 8, с. 203).

27 октября.

В ответном послании Д. Кеннеди заявил о готовности США снять блокаду с Кубы и о том, что США не будут нападать на Кубу, если из этой страны Советский Союз уберет наступа

тельное оружие. «Одновременно,— сообщает Р. А. Медведев,— используя более конфиденциальные каналы, Кеннеди заверил Хрущева, что США уберут свои ракеты из Турции, но позднее — после ликвидации кризисной ситуации. Но в любом случае Кеннеди требовал немедленного прекращения всех работ по развертыванию ракет и удаления под наблюдением ООН всего наступательного оружия с Кубы. В конфиденциальном порядке Кеннеди давал понять Хрущеву, что даже при желании президент США не в состоянии слишком долго сдерживать более жесткую реакцию американских властей на действия СССР. Послание Кеннеди от 27 октября было опубликовано в советской печати, что являлось, в сущности, официальным признанием присутствия советских ракет на Кубе» (ДН, 1989, № 8, с. 204).

28 октября.

В Москве получены сведения, что бомбардировка американцами ракетных стартовых площадок и других советских военных объектов на Кубе намечена на 29 или 30 октября.

Поэтому, говорит Р. А. Медведев, «не без внутреннего сопротивления и, возможно, не без борьбы внутри руководства, но Хрущев принял предложение Кеннеди. В письме от 28 октября он заявлял: «Я отношусь с пониманием к вашей тревоге и тревоге народов США в связи с тем, что оружие, которое вы называете наступательным, действительно является грозным оружием. И вы, и мы понимаем, что это за оружие».

Хрущев писал далее, что коль скоро США заявляют, что не совершат нападения на Кубу, то и мотивы, побудившие СССР поставить дружественной стране новое оружие, отпадают. Налицо все необходимое для ликвидации конфликта. Поэтому Советское правительство отдало распоряжение о демонтаже, упаковке и возвращении в СССР всего этого оружия» (ДН, 1989, № 8, с. 204).

Вечером того же дня Б. Рассел направил телеграмму Н. С. Хрущеву, в которой говорится: «Уважаемый г-н Хрущев, мне хотелось бы высказать Вам мое личное мнение по поводу того, как Вы урегулировали кубинский кризис. Я не знал еще, такого государственного деятеля, который действовал бы с таким великодушием и с таким величием, какое Вы проявили в вопросе о Кубе. И я хотел бы, чтобы Вы знали, что каждый искренний и честный человек воздает должное Вашему мужеству» (ЛГ, 1962, 30 октября).

Журналы в октябре.

В «Октябре» (№ 10) повесть В. Максимова «Жив человек».

НОЯБРЬ

5 ноября.

В «Известиях» (московский вечерний выпуск) рассказ Г. Шелеста «Самородок».

Как предполагает А. Солженицын, публикация этого рассказа за несколько дней до выхода «Нового мира» с повестью «Один день Ивана Денисовича» объяснялась стремлением главного редактора «Известий» А. И. Аджубея «<...> просто перехватить инициативу («вставить фитиля»), обскакать Твардовского уже после трудного пути и выхватить приз первым».

«На редакционном сборе «Известий»,— рассказывает А. Солженицын,— гневался Аджубей, что не его газета «открывает» важную тему. Кто-то вспомнил, что был такой рассказик из Читы, но «непроходимый», и его отвергли. Кинулись по корзинам — уничтожен рассказ. Запросили Г. Шелеста, и тот из Читы срочно по телефону передал свой «Самородок». В праздничном номере «Известий» его и напечатали — напечатали с бесстыжей «простотой», даже без всякого восклицательного знака, ну будто рассказы из лагерной жизни сорок лет уже печатаются в наших газетах и настряли всем. Твардовский очень тогда расстроился и обиделся на Аджубея». (Солженицын А. *Бодался теленок с дубом*, с. 52).

16 ноября.

Вышел в свет сигнальный экземпляр одиннадцатого номера «Нового мира» с повестью А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Как вспоминает В. Лакшин, «через два-три дня о повести неизвестного автора говорил весь город, через неделю — страна, через две недели — весь мир. Повесть заслонила собой многие политические и житейские новости: о ней толковали дома, в метро и на улицах. В библиотеках 11-й номер «Нового мира» рвали из рук. В читальных залах нашлись энтузиасты, сидевшие до закрытия и переписывавшие повесть от руки. <...>

Редакции разрешили допечатать к обычному тиражу — дело неслыханное — 25 тысяч экземпляров. В ближайшие дни после выхода номера заседал многолюдный, с приглашенным гостем, как тогда полагалось, Пленум ЦК. В киосках, расположенных в кулуарах, было продано свыше 2 тысяч экземпляров 11-го номера. Вернувшись с Пленума, Твардовский рассказывал, как заколотилось у него сердце, когда в разных концах зала замелькали голубенькие книжки журнала» (Лакшин В. *Открытая дверь*, с. 202).

По свидетельству А. Солженицына, «с трибуны пленума Хрущев заявил, что это — важная и нужная книга (моей фамилии он не выговаривал и называл автора тоже Иваном Денисовичем). Он даже жаловался пленуму на свое политбюро: «Я их спрашиваю — будем печатать? А они молчат!..» И члены пленума «понесли с базара книжного» — две книжечки: красную (материалы Пленума) и синюю (11-й номер «Нового мира»). Так, смеялся Твардовский, и несли каждый под мышкой — красную и синюю» (*Солженицын А. Бодался теле-нок с дубом, с. 54—55*).

17 ноября.

В «Известиях» (московский вечерний выпуск) первый отклик на повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — статья К. Симонова «О прошлом во имя будущего». Из статьи:

«О небольшой повести А. Солженицына <...>, наверное, будет написано много статей.

<...> Думается, что А. Солженицын проявил себя в своей повести как подлинный помощник партии в святом и необходимом деле борьбы с культом личности и его последствиями. <...>

В нашу литературу пришел сильный талант. У меня лично не остается в этом никаких сомнений».

19—23 ноября.

На Пленуме ЦК КПСС с докладом «Развитие экономики СССР и партийное руководство народным хозяйством» выступил Н. С. Хрущев.

Пленум ЦК КПСС избрал Л. Н. Ефремова кандидатом в члены Президиума ЦК. Секретарями ЦК КПСС избраны А. П. Рудаков — председатель Бюро ЦК КПСС по промышленности и строительству, В. И. Поляков — председатель Бюро ЦК КПСС по сельскому хозяйству, Ю. В. Андропов, В. Н. Титов — председатель Комиссии по организационно-партийным вопросам при ЦК КПСС. Секретарь ЦК КПСС П. Н. Демичев утвержден председателем Бюро ЦК КПСС по химической и легкой промышленности. Секретарь ЦК КПСС Л. Ф. Ильичев утвержден председателем Идеологической комиссии при ЦК КПСС. Секретарь ЦК КПСС А. Н. Шелепин утвержден председателем Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Председателем Партийной комиссии утвержден Н. М. Шверник, его первым заместителем З. Т. Сердюк.

По свидетельству Р. А. Медведева, сущность предпринятой Н. С. Хрущевым очередной реформы «состояла в перестройке партийного руководства в стране по производственному прин-

ципу вместо территориально-производственного, который всегда существовал в партии. По решению ЦК КПСС областные комитеты партии разделялись теперь на обкомы по промышленности и на обкомы по сельскому хозяйству. Эта поспешная перестройка сразу же вызвала множество неувязок. К тому же кроме обкомов в каждой области создавались и два облисполкома. <...> Чиновников стало больше, а решать различные проблемы стало труднее. Усложнилось и управление на уровне республики, где создавалось два Бюро — по промышленности и по сельскому хозяйству. Усложнилось управление и на районном уровне, где кроме райкомов партии по сельскому хозяйству создавались «зональные» промышленные райкомы, расположенные чаще всего в ином населенном пункте...

<...> Было решено провести укрупнение совнархозов, недостатки в работе которых становились все очевиднее. <...> Одновременно для координации работы республиканских совнархозов создавался Совнархоз СССР, которому подчинялась вся промышленность. <...> В целом структура партийного и государственного управления в стране стала настолько сложной, что в ней невозможно было разобраться без специальных схем, которые вывешивались в приемных различных учреждений» (ДН, 1989, № 8, с. 199).

22 ноября.

В «ЛГ» статья Г. Бакланова «Чтобы это никогда не повторилось» — отклик на повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Подчеркивается, что автору этой повести «<...> не придется, оправдывая внутренний компромисс, говорить знакомым: «Понимаете, я хотел больше сказать, но не напечатают же...» Рязанский учитель, в прошлом боевой офицер Советской Армии, а между двумя этими этапами своей биографии — заключенный, Солженицын написал суровую, мужественную, правдивую повесть о тяжком испытании народа, написал по долгу своего сердца, с мастерством и тактом большого художника. Читая ее, испытываешь многие чувства. Среди них боль, но это очищающая боль. И испытываешь гордость. Гордость за народ наш. Все эти люди, точные, живые характеры, с такой силой правды и человечностью написанные Солженицыным, — это весь народ, кровная часть его, вырванная насильственно, бессмысленно изолированная от общества. Народ строил, создавал, но такой ли могла быть наша страна сегодня, если бы во все ее славные и тяжелые годы и эти люди были бы с нами!»

23 ноября.

В «Правде» статья В. Ермилова «Во имя правды, во имя жизни. По страницам литературных журналов» — восторженный отклик на

повести «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына и «День летящий» В. Кожевникова.

О А. Солженицыне, в частности, сказано: «В нашу литературу пришел писатель, наделенный редким талантом, и, как это свойственно истинным художникам, рассказал нам такую правду, о которой невозможно забыть и о которой нельзя забывать, правду, которая смотрит нам прямо в глаза. <...>

Повесть А. Солженицына, порою напоминая толстовскую художественную силу в изображении народного характера, особенно замечательна тем, что автор целиком сливается со своим главным героем, и мы видим все изображаемое в повести глазами Ивана Денисовича».

24 ноября.

В «ЛГ» стихотворения Б. Слуцкого «Тридцатые», «Хозяин», «Бог».

28 ноября.

В «ЛиЖ» статья А. Дымшица «Жив человек» — положительный отзыв о повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Оценка А. Твардовского: «Эта задыхающаяся газетка поместила рецензию Дымшица, написанную будто нарочно так, чтобы отвадить от повести... Ни одной яркой цитаты, ни напоминания о какой-либо сцене... Сравнивает с «Мертвым домом» Достоевского, и то не попад. Ведь у Достоевского все наоборот: там интеллигент-ссылный смотрит на жизнь простого осторожного люда, а здесь все глазами Ивана Денисовича, который по-своему и интеллигента (Цезаря Марковича) видит» (Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева, рукопись).

Конец ноября.

Как вспоминает А. Солженицын, «<...> через десяток дней после появления повести художественный совет «Современника», выслушав мою пьесу («Олень и шалашовка», тоже уже смягченная из «Республики труда»), настойчиво просил разрешить им ставить тотчас, и труппа будет обедать и спать в театре, но за месяц берется ее поставить! И то было верное обещание, уж знаю этот театр. А я — отказал... <...> Как же отдать пьесу в «Современник», пока ее не посмотрит «Новый мир?»» (Солженицын А. *Бодался теленок с дубом*, с. 61—62).

Журналы в ноябре.

В «Театре» (№ 11) пьеса С. Алешина «Палата»,

ДЕКАБРЬ

1 декабря.

Н. С. Хрущев, другие руководители партии и правительства посетили развернутую в Манеже Выставку произведений московских художников¹. По официальному сообщению, оценивая выставку в целом, Н. С. Хрущев сказал:

«Как и на всякой выставке, здесь представлены и хорошие, и средние, и слабые работы. Устроители выставки в ряде случаев, видимо, пошли на поводу у тех, кто защищает слабые и неприемлемые произведения, проявили либерализм. А такая политика не может привести к дальнейшему подъему советского искусства социалистического реализма. В руководстве искусством нужна идейная последовательность и принципиальность, ясность, четкость и непримиримость к любым шатаниям и отступлениям от главной линии развития нашего искусства — искусства народа, строящего коммунизм».

Как вспоминает участвовавший в этой выставке Б. Жутовский, «круг художников, в котором находился и я, попал тогда под разгром из-за игры случая».

Мы понятия не имели о сложившейся к этому моменту в Союзе художников ситуации: одна команда живописцев, находящаяся у власти, решила, что пора сводить счеты с другой командой, которая подошла к этой власти слишком близко, и, чтобы убивать наверняка, придумала, как воспользоваться обстоятельствами и сделать это руками первого человека в государстве.

Нас же на выставку в Манеж, открытую к 30-летию МОСХа, пригласили буквально за день до его визита. <...> Нам выделили в Манеже на втором этаже три зала. <...>

На следующий день <...> я остался у входа и, когда подъехал Хрущев, пристроился к его свите и ходил за ним по первому этажу, слушал, как неведомый нам замысел приводится в исполнение.

Как он орал о том, что ему бронзы на ракеты не хватает, что картошка Фалька — это песня нищеты, а обнаженное тело

¹ «Хорошо помню,— рассказывает работавший в ту пору в аппарате ЦК КПСС Ф. Бурлацкий,— что посещение им художественной выставки в Манеже было спровоцировано специально подготовленной справкой. В ней мало говорилось о проблемах искусства, зато цитировались подлинные или придуманные высказывания литераторов, художников о Хрущеве, где его называли «Иваном-дураком на троне», «кукурузником», «болтуном». Заведенный до предела Хрущев и отправился в Манеж, чтобы устроить разнос художникам» («Никита Сергеевич Хрущев», с. 19—20).

его дивы — это не та женщина, которой надо поклоняться. Те же, кто рядом с ним, подливали масла в огонь. <...>

Все дальнейшее было глумлением. Витийством. Досталось каждому.

<...> Когда Хрущев подошел к моей последней работе, к автопортрету, он уже куражился:

— Посмотри лучше, какой автопортрет Лактионов нарисовал. Если взять картон, вырезать в нем дырку и приложить к портрету Лактионова, что видно? Видать лицо. А эту же дырку приложить к твоему портрету, что будет? Женщины должны меня простить — жопа.

И вся его свита мило заулыбалась. <...>

Когда Хрущев пошел в соседний зал, где висели работы Соболева, Соостера, Янкилевского, я вышел в маленький коридорчик перекурить. Стою рядом с дверью, закрыв ладонью сигарету, и вижу, как в коридор выходят президент Академии художеств Серов и секретарь правления Союза художников Преображенский. Они посмотрели на меня, как на лифтершу, и Серов говорит Преображенскому: «Как ловко мы с тобой все сделали! Как точно все разыграли!» Вот таким текстом. И глаза на меня скосили. У меня аж рот открылся. Я оторопел. От цинизма. <...>

А Эрнст Неизвестный все это время зверюгой ходит <...> Крайне максималистичен. Вожак. Поняв, что, быть может, это действительно финал, он встал перед Хрущевым и говорит: «Никита Сергеевич, вы глава государства, и я хочу, чтобы вы посмотрели мою работу». <...>

Как только Хрущев увидел работы Эрнста, он опять сорвался и начал повторять свою идею о том, что ему бронзы на ракеты не хватает. И тогда на Эрнста с криком выскочил Шелепин: «Ты где бронзу взял? Ты у меня отсюда не уедешь!» На что Эрнст, человек неуправляемый, вытаращил черные глаза и, в упор глядя на Шелепина, сказал ему: «А ты на меня не ори! Это дело моей жизни. Давай пистолет, я сейчас здесь, на твоих глазах, застрелюсь».

Выходили мы с выставки с таким чувством, будто у входа на нас ждут «черные вороны» (*Огонек*, 1989, № 15, с. 18—19).

5 декабря.

В «ЛГ» передовая «Служить народу!» — о посещении Н. С. Хрущевым выставки в Манеже, статья Б. Иогансона «Сила искусства» — об этом посещении и письмо председателю Комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров СССР А. Н. Шелепину от группы писателей (В. Аксенов, Н. Анциферов,

Н. Асеев, Б. Ахмадулина, А. Безыменский, С. Баруздин, А. Вознесенский, Г. Владимов, В. Войнович, А. Гладили и др.), приветствующих восстановление в соответствии с решением Пленума ЦК КПСС «подлинно всенародного контроля, уничтоженного в период культа личности Сталина».

«В годы деятельности ЦКК — РКК,— говорится в письме,— рядом с миллионами добровольных контролеров активно работали советские писатели. <...> Мы считаем себя наследниками этой драгоценной традиции и готовы принять участие в работе Комитета».

8 декабря.

В «ЛГ» интервью с А. Твардовским, который сообщил, что «в одном из ближайших номеров будут напечатаны два рассказа А. Солженицына: «Матренин двор» из сельской жизни и «На станции Кречетовка», действие которого происходит в дни войны».

В этом же номере отрывок из повести В. Аксенова «Апельсины из Марокко».

В этом же номере отклики ленинградских и грузинских писателей на создание Комитета партийно-государственного контроля и отчет о сессии Академии художеств СССР. Указывается, что единогласно избранный президентом академии В. Серов «в своей заключительной речи оценил встречу в Манеже, состоявшийся там разговор как выдающееся событие в жизни советского искусства. Он говорил о том воодушевлении, о горячем желании работать, создавать произведения, достойные эпохи, которым охвачены сегодня все советские художники».

11 декабря.

В «ЛГ» стихи А. Прокофьева, полемически направленные против «Треугольной груши» А. Вознесенского, и статья П. Антокольского «Отцы и дети», поддерживающая художественные поиски В. Аксенова, Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Б. Окуджавы.

12 декабря.

Выступая на сессии Верховного Совета СССР Н. С. Хрущев заявил, что «партия подвергла решительной и острой критике ошибки и злоупотребления Сталина, хотя она и не отрицает его заслуги перед партией и коммунистическим движением».

15 декабря.

В «ЛГ» статья Р. Рождественского «...И не кончается земля» — защита молодых писателей (В. Аксенова, Евг. Евтушенко, А. Вознесенского) от «проработочной критики». «Проявлением именно такой критики,— пишет Р. Рождественский,— представляется мне статья

Н. Сергованцева «Откуда «мальчик»?» С ее отнюдь не мягкими намеками на то, что литературная молодежь из всех прошедших лет помнит только 1956 год и начисто забыла 1917-й». «Молодые,— завершает свои рассуждения Р. Рождественский,— уже достаточно сильны для того, чтобы честно, по-партийному говорить о самых сложных вещах. Они говорят о них. Говорят в полный голос. И интерес к молодой литературе, как мне кажется, идет от этого».

17 декабря.

В Доме приемов на Ленинских горах состоялась встреча руководителей Коммунистической партии и Советского правительства с деятелями литературы и искусства.

С докладом выступил секретарь ЦК КПСС Л. Ф. Ильичев, который сказал: «Нельзя допустить, чтобы под видом борьбы с культом личности расшатывали и ослабляли социалистическое общество, социалистическую культуру. Разоблачение культа личности, преодоление его последствий должно не ослаблять, а укреплять наши силы. Если мы под видом критики последствий культа личности будем бить по нашему обществу, нашей идеологии, мы не создадим великое искусство коммунизма, а растеряем то, что приобрели».

В обмене мнениями, как указано в официальном сообщении, приняли участие Н. Грибачев, Евг. Евтушенко, Г. Серебрякова, С. Щипачев, И. Эренбург, художники А. Дейнека и В. Серов, кинорежиссер С. Герасимов. В ходе беседы выступил Н. С. Хрущев¹.

¹ «Запомнилось несколько выступлений,— рассказывал позднее М. Ромм.— В одном назвали меня провокатором, политическим недоумком, клеветником, а заодно разносили Щипачева... Суть другого выступления сводилась к тому, что комманданты лагерей были прекрасные коммунисты...

А реплики Хрущева были крутыми, в особенности когда выступали Эренбург, Евтушенко и Щипачев, которые говорили очень хорошо. <...>

Вначале он вел себя как добрый, мягкий хозяин крупного предприятия: вот угощаю вас, кушайте, пейте. <...>

А потом постепенно как-то взвинчивался, взвинчивался и обрушился раньше всего на Эрнста Неизвестного. <...> Долго он искал, как бы это пообиднее, пояснее объяснить, что такое Эрнст Неизвестный. И наконец нашел, нашел и очень обрадовался этому; говорит: «Ваше искусство похоже вот на что: вот если бы человек забрался в уборную, залез бы внутрь стульчака и оттуда, из стульчака, взирал бы на то, что над ним, ежели на стульчак кто-то сядет. <...> Вот что такое ваше искусство. И вот ваша позиция, товарищ Неизвестный, вы в стульчаке сидите».

Говорит он это под хохот и одобрение интеллигенции творческой, постарше которая,— художников, скульпторов да писателей некоторых» («Никита Сергеевич Хрущев», с. 139—140).

Как вспоминает А. Солженицын, «на той первой кремлевской встрече меня еще превозносили, подставляли под аплодисменты и объективы — на «Иване Денисовиче» и выпустил последний вздох весь порыв XXII съезда. Поднималась уже общая контратака сталинистов, которую недалновидный Хрущев с благодушием поддерживал. От него мы услышали, что печать — дальнобойное оружие и должно быть проверено партией; что он — не сторонник правила «живи и жить давай дружим»; что идеологическое сосуществование — это моральная грязь; и борьба не терпит компромиссов» (*Солженицын А. Болдался теленок с дубом, с. 72*).

«Этим,— рассказывает В. Лакшин,— было положено начало череде «исторических встреч», как будто не было у Советского правительства больших забот, чем приструнить творческую интеллигенцию. Началось с абстракционистов и «проблемы Манежа», но круг критикуемых быстро расширился: подверглись разпосу молодые поэты Вознесенский и Евтушенко, досталось и И. Эренбургу за его мемуары, и В. Некрасову за путевые очерки, печатавшиеся в «Новом мире». В газетах появились статьи и «письма земляков», бранивших поэтическую «Вологодскую свадьбу» А. Яшина.

«Начали с абстракционизма, но, кажется, имеют-то в виду реализм»,— проницательно комментировал Твардовский. Впрочем, вне всякой логики, солженицынская повесть находилась некоторое время вне критики, как получившая высочайшее одобрение. На встрече 17 декабря в Доме приемов Хрущев поднял Солженицына из-за стола и под бурные аплодисменты представил его собравшимся. М. А. Сулов, подойдя, долго тряс его руку. На встрече в Кремле 7—8 марта 1963 года Хрущев снова поминал «Ивана Денисовича» как вещь, написанную с «партийных позиций» (*Лакшин В. Открытая дверь, с. 205*).

18 декабря.

В «ЛГ» сообщение о том, что на соискание Ленинских премий 1963 года поступили роман М. Алексеева «Вишневы омут», «Повести гор и степей» Ч. Айтматова, цикл из четырех повестей А. Бека «Волоколамское шоссе», повесть В. Быкова «Третья ракета», новые стихи в книгах «Слово» и «Лирика» Е. Винокурова, роман Е. Воеводина «Покоя нет», роман С. Воронина «Две жизни», книга стихов Р. Гамзатова «Высокие звезды», роман С. Залыгина «Тропы Алтая», поэма Е. Исаева «Суд памяти», повесть «Синяя тетрадь» и рассказы «При свете дня», «Враги», «Приезд отца в гости к сыну» Э. Казакевича, роман Б. Кербабаева «Небит-Даг», книга для детей в сти-

хах Н. Кончаловской «Наша древняя столица», художественный перевод книги Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» Н. Любимова, книга стихов А. Малышко «Полдень века», книга стихов С. Маршака «Избранная лирика», книги для детей С. Маршака, роман Б. Мунгонова «Хилок наш бурливый», роман А. Первенцева «Матросы», книга стихов Р. Рзы «Весна во мне», книга стихов П. Севака «Человек на ладони», роман Р. Сирге «Земля и народ», повесть В. Федорова «Сумка, полная сердец», новые стихи и поэма «По зову Ленина» в книге «Цветы бури» С. Хакима, книги стихов Н. Хикмета «Новые стихи», «Человеческая панорама», пьеса А. Штейна «Океан», повесть А. Шубина «Непоседы», путевые очерки В. Сафонова «Путешествие в чужую жизнь», «Опаленные солнцем».

22 декабря.

В «ЛГ» речь секретаря ЦК КПСС Л. Ф. Ильичева «Творить для народа, во имя коммунизма» на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства 17 декабря. Из речи:

«Мы должны внести полную ясность:

мирного сосуществования социалистической идеологии и идеологии буржуазной не было и быть не может. Партия выступала и будет выступать против буржуазной идеологии, против любых ее проявлений. Следуя указаниям Владимира Ильича Ленина, она всегда отстаивала и будет отстаивать партийность в литературе и искусстве. <...>

В идеологии идет и ни на минуту не прекращается схватка с буржуазным миром, идет борьба за души и сердца людей, особенно молодежи, борьба за то, какими будут они, молодые люди, что возьмут с собой из прошлого, что принесут в будущее. Мы не имеем права недооценивать опасность диверсий буржуазной идеологии в сфере литературы и искусства.

Идея сосуществования в области идеологии есть не что иное, как предательство интересов марксизма-ленинизма, интересов социализма».

В Центральном Доме литераторов состоялось обсуждение повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

По свидетельству Р. Орловой, «зал был переполнен. Горячий накал страстей. Выступали в большинстве своем люди отсидевшие. К. (Караганов А. В.— С. Ч.) председательствовал.

В самом конце выступила и я. И вмешалась в тот спор о Солженицыне, который начался до опубликования повести и продолжался долго. Почему не изображена «главная трагедия» — так многие это формулировали, — трагедия арестованного коммуниста, оставшегося верным идеям партии и в тех условиях?

Я сказала тогда, что кроме права каждого писателя писать о том, что близко именно ему, есть и другое обстоятельство. Для чего существует партия? Для себя самой? Как только партия перестает существовать для Ивана Денисовича и тысяч таких, как он, партия вырождается в антинародную секту. И это относится не только ко всей партии в целом, но и к каждому ее члену. Зачем вступил? Для личного преуспеяния, как в правящую партию, или чтобы людям было лучше жить, чтобы Ивану Денисовичу жилось по-человечески?

Здесь меня прервал громким криком Рудольф Бершадский: «Так что ж, по-вашему, у нас не было партии? Она перестала существовать?» <...>

В тот момент по такому обвинению («не было партии» уже снова можно было организовать «дело».

В своей заключительной речи К. осторожно поправлял все «крайности»: он возражал В. Померанцеву, сравнившему наши и фашистские лагеря; меня он взял под защиту, заявил, что «Бершадский не понял Орлову», что в Программе КПСС записано — все для человека, что именно это я имела в виду» (Орлова Р. *Воспоминания о непростом времени*, с. 101—102).

24—26 декабря.

В Колонном зале Дома союзов собрание молодой творческой интеллигенции.

Как вспоминает В. Лакшин: «В президиуме — Ильичев, Снастин, Аджубей, Сатюков и др.

<...> Начались пламенные неискренние речи. Что-то кричал с трибуны Вл. Котов, потом учено рассуждал о ревизионизме Ю. Суровцев и прочие подготовленные ораторы. Я несколько раз сгоряча выкрикивал реплики: «Неправда» и т. п. Ильичев встал за столом и сказал, обернувшись в мою сторону: «Мы знаем, кто это кричит, и если это повторится, попросим выйти из зала».

В перерыве, в курилке, ко мне подошел В. Чивилихин. <...> «Что творится...» — сказал я. Он горячо поддержал меня: «Да, что творится...» «Надо выступать», — сказал я. «Да, пожалуй, надо выступать», — сказал он. И мы разошлись по местам.

В конце заседания, когда Ильичев объявил, что заканчивает прения, Чивилихин выскочил с поднятой рукой, требуя слова. «Дать, дать!» — закричал я. «Только 5 минут», — вынужден был согласиться перед гудящим залом Ильичев.

И Чивилихин понес: «Наши духовные отцы — Кочетов, Грибачев, Софронов, им стреляют в спину...» <...>

Моему благодушию был урок. 26-го речь произносил Ильичев, «воспитывал» творческую молодежь часа два...» (Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева, рукопись).

26 декабря.

В Большом зале ЦДЛ вечер памяти Марины Цветаевой.

27 декабря.

В «ЛГ» сообщение о том, что секретариат правления СП СССР освободил В. А. Косолапова от обязанностей главного редактора «Литературной газеты».

Главным редактором «ЛГ» утвержден А. Б. Чаковский.

Конец декабря.

Как вспоминает Л. Копелев, «<...> член парткома Юрий Корольков на партийном собрании в Союзе писателей требовал наказывать соучастников сталинских преступлений. Он прочитал заявления, которые Лесючевский, директор издательства «Советский писатель», писал в НКВД в 1937—1938 гг., доказывая, что поэты Борис Корнилов и Николай Заболоцкий — враги советской власти¹.

Корнилов погиб в заключении, Заболоцкий провел много лет в лагере на Магадане, а потом в ссылке.

Корольков требовал привлечь «доносчика к строгой партийной и гражданской ответственности».

Лесючевский отвечал ему бледный, судорожно-нервически-напряженный. Он говорил, что это были не доносы, а «критические экспертизы», которые у него потребовали уже после ареста обоих поэтов.

«Вы посмотрите газеты тех лет, многие критики, в том числе и сидящие здесь, писали об этих и других литераторах куда хуже, куда резче, еще до того, как те были арестованы» (Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве. Анн Арбор, 1988, с. 86—87).

Журналы в декабре.

В «НМ» (№ 12) «Вологодская свадьба» А. Яшина, «В Америке» В. Некрасова.

¹ Тексты этих «критических экспертиз» Н. В. Лесючевского опубликованы в «Литературной России», 1989, 10 марта.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ</i>	
Из поэмы «За далью — даль». ТАК ЭТО БЫЛО. <i>Новый мир</i> , 1960, № 5	3
<i>ВИКТОР НЕКРАСОВ</i>	
ВТОРАЯ НОЧЬ. <i>«Новый мир»</i> , 1960, № 5	14
<i>ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО</i>	
«НИГИЛИСТ». <i>«Юность»</i> , 1960, № 12	53
БАБИЙ ЯР. <i>«Литературная газета»</i> , 1961, 19 сентября	54
<i>ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ</i>	
ЗВЕЗДНЫЙ БИЛЕТ. Роман. <i>«Юность»</i> , 1961, № 6—7	57
<i>ГЕОРГИЙ ВЛАДИМОВ</i>	
БОЛЬШАЯ РУДА. Повесть. <i>«Новый мир»</i> , 1961, № 7	219
<i>ДАВИД САМОЯЛОВ</i>	
СОРОКОВЫЕ. <i>«Новый мир»</i> , 1961, № 8	321
<i>НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО</i>	
ОБЕЛИСКИ. Стихи солдата. <i>«Тарусские страницы»</i> , Калуга, 1961	322
<i>БУЛАТ ОКУДЖАВА</i>	
БУДЬ ЗДОРОВ, ШКОЛЯР! Повесть. <i>«Тарусские страницы»</i> , Калуга, 1961	328
<i>НАУМ КОРЖАВИН</i>	
ПЕСНЯ, КОТОРОЙ ТЫСЯЧА ЛЕТ	390
«ВЕК ОТКРЫВАЛСЯ ДЛЯ МЕНЯ НЕПРОСТО...»	392
ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ	393
СОВРЕМЕННОКИ	393
«МНЕ БЕЗ ТЕБЯ ТАК ТРУДНО ЖИТЬ...»	396
«ПРЕДЕЛЬНО КРАТОК ЯЗЫК ЗЕМНОЙ»	397
ОВАЛ	397
НАД КНИГОЙ НЕКРАСОВА. <i>«Тарусские страницы»</i> , Калуга, 1961	397
<i>ВИКТОР СОСНОРА</i>	
Из цикла «ПО МОТИВАМ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ». Соснора В. Январский ливень. Л., 1962	398
<i>ЭММАНУИЛ КАЗАКЕВИЧ</i>	
ПРИЕЗД ОТЦА В ГОСТИ К СЫНУ. <i>«Знамя»</i> , 1962, № 5	404
<i>ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО</i>	
ДАВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ! <i>«Новый мир»</i> , 1962, № 7	432
НАСЛЕДНИКИ СТАЛИНА. <i>«Правда»</i> , 1962, 21 октября	433
<i>ГЕОРГИЙ ШЕЛЕСТ</i>	
САМОРОДОК. Рассказ. <i>«Известия»</i> , 1962, 5 ноября	436
<i>БОРИС СЛУЦКИЙ</i>	
БОГ	444
ХОЗЯИН. <i>«Литературная газета»</i> , 1962, 24 ноября	445
<i>СЕРГЕЙ ЧУПРИНИН</i>	
Оттепель: хроника важнейших событий	446

ОТТЕПЕЛЬ.

1960—1962

СТРАНИЦЫ РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Составитель
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЧУПРИНИН

Заведующая редакцией
Л. Сурова

Редактор
И. Колчина

Художественный редактор
И. Сайко

Технический редактор
Н. Привезенцева

Корректоры
Н. Кузнецова, Л. Сидорова

ИБ № 4429

Сдано в набор 15.12.89. Подписано к печати 24.05.90.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарни-
тура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72.
Усл. кр.-отт. 28,35. Уч.-изд. л. 29,32. Тираж 50 000 экз.
Заказ 461. Цена 2 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр,
Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

2 р. 10 к.

**ОТТЕ-
ПЕЛЬ**
1960-
1962



*Московский
рабочий*